2009
№ 2

ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ

журнал метадисциплинарных исследований

The POLITICAL CONCEPTOLOGY
journal of metadisciplinary research

THE SOUTHERN
FEDERAL
UNIVERSITY

2009
№ 2

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТОЛОГИИ
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ:

журнал метадисциплинарных исследований

Научный журнал.

Издается с 2009 года

2009. № 2

Политическая концептология:

журнал метадисциплинарных исследований
Научно-аналитическое издание

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл № ФС77-32422 от 09 июня 2008 г.

Учредитель: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»

Редакционная коллегия:

Главный редактор
Заслуженный деятель науки РФ, академик Академии педагогических наук Украины, Доктор политических и доктор философских наук, профессор **В.П.Макаренко**
Кандидат философских наук, доцент **С.П.Поцелуев** (зам.главного редактора)
Кандидат политических наук **М.С.Константинов** (ответственный секретарь)

Редакционный совет:

Председатель редакционного совета
Доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор А.В.Лубский (Ростов-на-Дону)
Доктор политических наук, доцент А.И.Бардаков (Волгоград)
Доктор экономических наук, профессор В.В.Вольчик (Ростов-на-Дону)
Профессор ординарный, доктор габилитованы Анджей Захариаш (Жешов, Польша)
Доктор политических наук, профессор В.С.Малахов (Москва)
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ О.Ю.Мамедов (Ростов-на-Дону)
Доктор философских наук, профессор Н.С.Розов (Новосибирск)
Доктор философских наук, профессор В.В.Савчук (Санкт-Петербург)
Доктор исторических наук, профессор В.Н.Ткаченко (Киев, Украина)
Доктор исторических наук, профессор И.М.Узнародов (Ростов-на-Дону)
Доктор философских наук, профессор С.Г.Чукин (Санкт-Петербург)
Доктор философских наук, кандидат психологических наук В.И.Шкуратов (Ростов-на-Дону)

Электронная версия журнала: **http://politconcept.sfedu.ru**

Адрес учредителя:
344006, г.Ростов-на-Дону
ул. Б.Садовая, 105
тел.: (863) 263 3158 263 8498
факс: (863) 264 5255
e-mail: rectorat@sfedu.ru

Адрес редакции:
344038, г. Ростов-на-Дону
пр.Нагибина, 13, к.308
тел. (863) 230 3090
факс: (863) 230-30-71
e-mail: politconcept@mail.ru

Содержание

Слово редактора
МАКАРЕНКО В.П. Научно-обывательское знание – интеллектуально-политические моды?.. ….....5

Общие проблемы политической концептологии
КОЛЧИНСКИЙ Э.И. Наука и кризисы в XX веке: некоторые результаты сравнительного анализа.....29
НЕРЕТИНА С.С., ОГУРЦОВ А.П. Концепты политического сознания (окончание).....41
ОЛЕЙНИК А.Н. Таксономия властных отношений.....103
ОБОЛОНСКИЙ А.В. Мораль как детерминанта политического поведения....129

Общество: концепты, институты и символы
ГУДКОВ Л.Д. Массовая идентичность и институциональное насилие.....157
ШНИРЕЛЬМАН В.А. Идентичность и политика постсоветской памяти.....209

Обратная перспектива
ПОЛИКАРПОВ В.В. Рукопись, найденная на Петроградском фронте.....231
ПОЛИКАРПОВ В.В. Из следственных дел Н.В.Некрасова.....243

Переводы и комментарии
ЭРНСТ ЮНГЕР. Через линию (перевод Г.Хайдаровой).....251
САВЧУК В.В. Судьба нигилизма в России.....280

Книжная полка
ЧУКИН С.Г. Размышления над книгой В.П.Макаренко.....303
САВЧУК В.В. Еще раз об актуальности «Нацистского мифа».....319

НАШИ АВТОРЫ.....337
CONTENTS.....338

НАУЧНО-ОБЫВАТЕЛЬСКОЕ ЗНАНИЕ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ МОДЫ?

В.П. Макаренко
Заслуженный деятель науки РФ,
академик Академии педагогических наук Украины,
доктор политических и философских наук, профессор,
Южный федеральный университет

Главная цель данной статьи – сведение воедино разрозненной проблематики для конституирования особого направления исследований, обозначенного в заглавии. Эта перспектива вытекает из логики моего научного поиска, в состав которой давно входят темы идеологической и политической бюрократии[1]. Роль толчка при создании текста сыграл сборник «Мыслящая Россия». Начну с двух продуктивных констатаций, сделанных коллегами.

Во-первых, С.Кордонский зафиксировал феномен «научно-обывательского знания». Оно базируется на трех мифологемах: *объективности знания* – убеждении, что реальность классифицирована, проанализирована и в целом уже объяснена; *конструктивности реальности* - убеждении в том, что социальное устройство кем-то сделано, сконструировано; *управляемости социальными процессами* - убеждении о том, что жизнь управляема; можно и нужно принять единственно верное решение; власть имущие этого решения не принимают и им надо объяснить, кто виноват и кого надо наказать. Поскольку большинство ученых-гуманитариев разделяют такие убеждения, они такие же обыватели, как пенсионеры. Только их предрассудки выражаются калькированными с английских терминов словами.

Интеллектуальное сообщество современной России, - отмечает С.Кордонский, – это осколки аппаратов и экспертных институтов прежних и нынешних политических режимов (ЦК КПСС, Гайдара, Ельцина, Путина). Все они транслируют указанные мифологемы, мечтают вернуться во власть, заинтересованы в политических технологиях, а не знании. Так называемые «современные проблемы» базируются на одной и той же схеме: лоббисты

[1] См.: Макаренко В.П. Бюрократия и государство. Ростов-на-Дону, изд.РГУ, 1987; Бюрократия и сталинизм. Ростов-на-Дону, изд.РГУ, 1989; Статьи «Идеологическая бюрократия», «Политическая бюрократия» // Политология. Энциклопедический словарь. М., Publishers, 1993

формулируют общую проблему, исходя из частных интересов руководителей здравоохранения, судей, преподавателей и пр. Затем эта формулировка транслируется в правительство, которое выделяет ресурсы на решение. Создается рабочая группа, пишется законопроект, который через правительство поступает в парламент, после вступления которого в силу под видом реформ наступает ад кромешный. Мозговые центры исходят не из реальных проблем, которые надо и можно решать, а из моделей реальности хозяйствующих субъектов, заинтересованных только в распиле бюджета[2].

Во-вторых, Б.Капустин показал, что на развитии российской политологии отрицательно сказались коммерциализация и отсутствие критики как необходимого условия интеллектуальных инноваций (самые важные политические идеи всегда формировались теми, кто находился в оппозиции к статус-кво). Отсюда бесконечное топтание на парадигме «модернизации-либерализации-демократизации-глобализации». Большинство российских политологов используют третьесортный умственный материал советологии и постсоветологии, неспособны освободиться от злобы дня, выработать и сохранить дистанцию, нужную для критической рефлексии. Поэтому бесплодная оппозиция «западничества» и «славянофильства» опять воспроизводится в поле социогуманитарных знаний[3].

Отсюда вытекает исходный вопрос статьи: как создать массив знания, невыгодного или неудобного ни большинству ученых-обывателей, ни властвующим кликам? Для ответа присмотрюсь к духовной ситуации.

Шаблоны мысли и строительные леса

Концепт «заинтересованного лакейства». В массе интеллектуальной продукции распространены два шаблона: типы европейского интеллектуала и русского (славянского) интеллигента противоположны; русская интеллигенция играет особую роль в гармонизации отношений между властью и обществом. Для полемики с этими догматами и создания альтернативного проекта интеллектуала я предлагаю использовать:

1. Концепцию П.Джонсона – английского историка либерально-консервативного направления. Он поставил вопрос: соблюдали ли прошлые и нынешние властители дум в своей жизни идеологии, которые вырабатывали и пропагандировали? Для ответа П.Джонсон проанализировал следующие проблемы: первообраз интеллектуала; критика государства; частная жизнь интеллигенции; генезис художественной, интеллектуальной и политической богемы; отношение интеллигенции к деньгам, насилию и истине. На основании анализа указанных проблем П.Джонсон показал: никакого существенного различия между европейскими интеллектуалами и русскими интеллигентами не

[2] См.: Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. Под ред. В.Куренного. М., 2006, с.27-34

[3] См.: там же, с. 65-67

существует; феномен «заинтересованного лакейства» фиксирует сходство данных типов[4].

2. Обоснованное Г.И.Абелевым понятие «альтернативной науки». В СССР сложилась альтернативное научное сообщество, которое не смешивалось с официальным научным сообществом по причине разных ценностей и судеб. Оно соединяло свободу с поиском истины, чувствами долга, совести и достоинства в их вечном надындивидуальном измерении[5].

Политика как абсурд. Существует много пониманий политики. Я предлагаю:

1. В нормативном смысле использовать идею Х.Арендт о политике как сфере воплощения свободы, но дополняю эту идею антропологическим принципом политики: прежде всего речь идет о негативной свободе человека от своекорыстия, властолюбия и стремления к духовному господству[6]. Этот принцип позволяет сравнивать все существующие системы власти и государства, но ни одну из них не превращает в идеал или критерий для сравнения с другими. Пока неизвестно ни общество, ни группа людей, в этом смысле свободных. Тем хуже для них…

2. В дескриптивном смысле рассматривать политику как воплощение абсурда и привожу для обоснования множество гносеологических аргументов[7]. Здесь я хотел бы обратить внимание на следующие тенденции:

А) Уже существует первичная классификация всей истории России XX в. по датам газетных публикаций (от 1 января до 31 декабря) с точки зрения абсурда[8]. Абсурд имеет непосредственное отношение к повседневной жизни (по этому вопросу существует богатая литература) и к политике СССР: «… абсурд состоял в том, что если человек строил государственную промышленность, добиваясь ее эффективности, его обвиняли именно в развале промышленности; если он отвечал за обороноспособность страны, в процветании которой был единственный смысл его жизни, его обвиняли в подрыве армии, в работе на иностранные разведки, в продаже секретов тем державам, против которых строилась оборона. Если человек отвечал за развитие науки, подбирал наиболее способные кадры, создавал им условия для максимальной отдачи сил, его обвиняли в развале этой науки, в заведомом вредительстве и саботаже; если это был врач, боровшийся за жизнь своих пациентов, его заставляли признать, что подлинной его задачей было как можно скорее и как можно больше отправить людей на тот свет»[9].

---

[4] См.: Макаренко В.П. «Заинтересованное лакейство»: проблема сходства европейских интеллектуалов и русской интеллигенции // Гуманитарный ежегодник. Москва-Ростов-на-Дону, 2008

[5] См.: Абелев Г.И. Очерки научной жизни. М., Научный мир, 2006, с.274-279

[6] См.: Макаренко В.П. Русская власть. Ростов-на-Дону, изд.РГУ, 1998

[7] См.: Макаренко В.П. Аналитическая политическая философия: очерки политической концептологии. М., Праксис, 2002; Макаренко В.П. Политическая концептология: обзор повестки дня. М., Праксис, 2005

[8] См.: Безелянский Ю. Огненный век. М., Пашков дом, 2001

[9] Никитин А. Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в советской России. Москва, Аграф, 2000, с.133

Стало быть, социальная и политическая история СССР может рассматриваться как процесс вырождения профессионализма во всех сферах деятельности, включая политику. Влияние этого процесса на постсоветскую реальность требует специального исследования[10]. Эмпирическим материалом может быть оппозиционная пресса, особенно циклы публикаций В.Шендеровича, А.Политковской, Т.Москвиной и других авторов[11].

Б) Существует также теория абсурда. Ее онтологические аспекты намечены в трудах Д.Зильбермана более тридцати лет назад[12]. В Цюрихском университете в 2001 г. прошла конференция, результаты которой опубликованы и включают разделы: теория абсурда; абсурд и общество; репрезентация абсурда в визуальных искусствах; грамматика абсурда; абсурд и литература; абсурд в науке; абсурд и философская мысль; абсурд и мистическая мысль; абсурд в фольклоре; абсурд на исходе XX века[13]. Логическим продолжением этого ряда будет тема «Абсурд и политика».

Концепт моды. Существует множество видов рефлексии о моде. Я понимаю *моду* в соответствии с теорией Х.У.Гумпрехта. Он развивает идею Г.Зиммеля о конформистско-индивидуалистической природе моды, которая позволяет одновременно вписаться в общество и дистанцироваться от него. Для объяснения этого феномена Гумбрехт описал исторические свойства моды[14] и вытекающую их них иллюзию: мода приводится в движение механизмами рынка и подчиняется воле его игроков.

Загадочность моды определяется следующими свойствами: временный, злободневный характер; мода не стремится оказаться в авангарде современности; модельеры балансируют на грани между настоящим и будущим. Как же модельеры угадывают вкусы будущего сезона? Гумбрехт на этот вопрос отвечает так: индустрия моды навязывает потребителю новые формы и цвета; все нововведения абсолютно произвольны, для их изобретения не требуется ни таланта, ни чутья; модельеры придумывают формы и цвета, которые в будущем сезоне увеличат единомыслие и объемы продаж.

В мире моды новизна считается абсолютной ценностью. Но такой подход появился лишь в романтизме начала Х1Х в. На деле мода подчиняется капиталистическому императиву: не предугадывать, а провоцировать новые

[10] Но это не значит, что Российская империя была эталоном профессионализма, как пытается убедить нас целая серия книжной продукции под рубрикой «Империи». Противоположный ход мысли намечен в книге: Ливен Д. Российская империя и ее враги с ХУ1 века до наших дней. М., Европа, 2007

[11] См.: Шендерович В. Комментарий к событиям российской жизни (сентябрь-октябрь 2004 г.) // Континент. № № 118-136; Политковская А. За что. М., Новая газета, 2007; Москвина Т. Энциклопедия русской жизни. СПб, Амфора, 2008

[12] См.: Гурко Е. Модальная методология Давида Зильбермана. Минск, Экономпресс, 2007

[13] См.: Абсурд и вокруг. Отв.ред. О.Буренина. М., Языки славянской культуры, 2004

[14] Исторические свойства моды состоят в следующем: периодичность изменений доминантных форм одежды; направление изменений определяется не индивидами, а интуицией модельеров, обслуживающих рынок; модельеры представляют публике свои коллекции, которые должны вписываться в единый стиль, меняющийся от сезона к сезону.

желания и потребности у потребителей. В итоге индустрия моды завоевала мировой рынок и добилась безраздельного господства.

Отсюда вытекает парадокс: в мире моды социальное признание и экономический успех не противоречат эстетической ценности; но при выборе индивидуального стиля попытка идти против течения не считается признаком хорошего вкуса. Основа моды - код принадлежности-исключенности: «Концентрируя все внимание на поверхностных слоях постоянно обновляющегося мира, любители моды никогда не пытаются ничего в этих слоях объяснить. У моды нет смысла. Если бы мода была наделена каким-то поддающимся расшифровке смыслом, ее приверженцам не хватило бы быстроты реакции, чтобы все время оставаться внутри той сиюминутной реальности, которая задается правилами их любимой игры»[15].

Для анализа данного парадокса в условиях России я предлагаю использовать идею В.Е.Кемерова, который описал особенности российской философской моды: неприязнь к логике - общее свойство русской и советской интеллигенции; равнодушие к методологии - общая характеристика профессиональных философов и обществоведов нескольких поколений, включая нынешнее; превалирование словесного творчества над анализом реальных проблем: «Журналисты, политики и чиновники постоянно говорят об исправлении общества, наведении порядка, сохранении единства России. Однако порядок, единство общества, сила государства – это *слоганы* из предвыборного жаргона, равно используемые различными политическими движениями. Порядок, единство общества и сила государства – это *проблемы,* которые еще нужно поставить перед людьми. Но для этого российской философии необходимо *разорвать дистанцию* (курсив мой, В.М.) с обыденным жаргоном и журналистской попсой»[16].

Эти констатации позволяют сформулировать общий вопрос: как «заинтересованное лакейство» проявляется в современной России и влияет на ее интеллектуализм? Для ответа на вопрос, анализа интеллектуально-политических мод и механизмов их воспроизводства я предлагаю использовать следующие положения теории моды: индустрия моды *навязывает* потребителю мнимо-новые формы интеллектуальной продукции; эти нововведения *произвольны*, изобретаются бездарями на вершине институтов производства идей и политико-мировоззренческих технологий; бездари-модельеры работают ради увеличения *единомыслия* граждан и *роста объема продаж* продуктов духовного производства; смысл большинства таких продуктов по меньшей мере дискуссионен.

Формы интеллектуальной продукции

[15] Гумбрехт Х.У. Три загадки моды // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. Выпуск 1. Осень 2006, с.26
[16] Кемеров В.Е. О философской моде в России // Вопросы философии. 2000, № 11, с.9

Уже в середине 1990-х гг. стало ясно, что в России под видом реформ воспроизводятся свойства советского прошлого: связь власти-собственности и появление новых социальных групп на основе ее передела; социальное расслоение; всевластие бюрократии; социальная несправедливость; безразличие власти к правам человека; зависимость социальной жизни от властных решений; компромисс между коммунизмом и национализмом; связь историографии и социальных наук с политикой и идеологией[17].

На протяжении 1990-х гг. в духовной ситуации обозначилось несколько тенденций: заимствование западных концепций; воспроизводство учений и доктрин из политического и духовного прошлого страны; поиски религиозной и национальной идеи. Книжные лотки и научные журналы переполнены писаниной на эти темы[18]. В рамках указанных тенденций приобрели популярность множество интеллектуальных мод. Некоторые я рассмотрю.

Историософия – одно из суеверий Нового времени[19]. Однако оно до сих пор не разрушено. Г.Зверева показала, что в настоящее время существуют следующие способы изображения истории России: хроника (с претензией на безоценочность); публицистика (отрицание принципа историзма, произвольное обращение с понятиями, категоричность оценок); сближение историографии с фольклором и художественной литературой (апология мистики, использование обыденного языка). Основой этих процедур служат разные концепции цивилизационной специфики России, содержание и реализация «русской идеи», «судьбы России». Стимулом такого изображения служит официальная концепция преемственности нынешней России с СССР и Российской империей: «В официозных дискурсах историософские «готовые формы» служат обоснованием геополитического позиционирования новой России при разработке идеальной модели многополюсного мира, аргументами в пользу ее особого положения между Западом и Востоком»[20]. Эти шаблоны превращаются в новые догматы веры при поиске новой государственной идеологии.

В таком русле работают неолибералы, неоконсерваторы, неоевразийцы, традиционалисты-почвенники. Все они эклектично соединяют историософию особого пути России с избитой схемой политической историографии - описанием истории путем некритического соединения формационного и цивилизационного подходов. Большинство авторов обосновывают особую (цивилизационную, национально-культурную) идентичность России - выпадение из *нормы* при высоком духовном, нравственном, интеллектуальном,

---

[17] См.: Геллер М. История России. 1917-1995. В 4-х тт. Россия на распутье. 1990-1995. Т.4. М., Наука, 1996, с.109; Игрицкий Ю.И. Меняющаяся Россия как предмет концептуального анализа // Отечественная история. 1998, № 1, с.3-4; Согрин В.В. Историография и идеология: нерасторжимый брак? // Вопросы философии. 1996, № 8; Столович Л.С. Смех против тоталитарной философии: советский философский фольклор и самодеятельность // Звезда. 1997, № 7, с.222-223

[18] См.: Малия М. Из-под глыб, но что?.. История западной советологии // Отечественная история. 1997, № 5;

[19] См.: Бохеньский Ю. Сто суеверий. М., Прогресс, 1993, с.72-73

[20] Зверева Г. «Присвоение прошлого» в постсоветской историософии России: дискурсный анализ публикаций последних лет // Новое литературное обозрение. 2003, № 1/59, с.543

экономическом потенциале. Сюжет истории выстраивается из коллажа известных событий и персонажей. Но процедура «отнесения к известному» стирает дистанцию между исследователем и предметом и обусловливает легкость присвоения историческим понятиям произвольных значений, снимает проблему качественного и временного различения исторических событий. Для этого применяются стереотипы «уроки истории», «свое – чужое».

В историософии всегда присутствуют идеи континуальности событий, детерминизма (законы, закономерности, причинно-следственные связи), иерархической структуры «мирового исторического процесса» (цивилизации, эпохи, века, периоды, этапы), исторических типов и вневременных аналогий. Совмещение религиозно-этического, национально-культурного, национально-государственного, державно-имперского, геополитического измерений облегчают выбор и легитимацию базовых концептов и дискурсов. А стремление к правдоподобию реализуется за счет популярных политико-идеологических и социально-культурных концептов, которые выдаются за онтологические сущности.

Указанные построения неверифицируемы, нефальсифицируемы, самореферентны. Они используют старые схемы советского обществоведения - идеализм, провиденциализм, прогрессизм, мессианство, дидактика. Ссылки на модных авторов (от славянофилов и западников до Н.Бердяева и евразийцев) служат знаками концепций. Рабочие операции авторов в пространстве современных «историософских» («цивилизациологических») текстов – перекрестное цитирование и самоцитирование, использование непроблематизируемых слов-концептов и общей риторики – создают у читателя впечатление, что он приобщился к новому нормативному знанию. Используются стереотипы обыденного языка, знания и метафоры, что усиливает эффект реальности для потребителя текстов[21].

Новая историософия произвольно определяет смысл нескольких вербальных конструкций (Киевская Русь, принятие христианства, византизм, татаро-монгольское иго, ордынство, Московская Русь, Смута 1, петровская Россия, екатерининская Россия, самодержавие, Смута 2, сталинизм, Смута 3). При этом транслируется привычка мыслить в идеальном пространстве и условном времени (мировая, всеобщая история) и внеисторических клише (Россия, Запад, Восток, Азия, Европа).

Концепт российской цивилизации подразумевает некое онтологическо-телесно-духовное целое. Ее антропоморфизация осуществляется путем использования органицистских и биологических метафор (Гердера, Данилевского, Ильина, Бердяева, Гумилева и т.д.) для обоснования идеи единства российского суперэтноса как тела Российского государства:

[21] Например, прилагательное «русский» автоматически придает существительному новое значение. В либеральных концепциях слово «русский» прилагается к универсалиям (система, власть, популяция) и должно их преобразовать в новые (не западные) понятия. У неоевразийцев и традиционалистов-почвенников это слово приобретает статус сакрального.

«Формируется апологетическая мысль о преемственности феноменов Державности и Империи в метаисторическом движении/восхождении Российской цивилизации через циклы»[22]. Тело государства персонифицируется в ряде личностей, а российская цивилизация сопрягается с телом русского народа в оппозиции к Западу.

Из этих посылок вытекают следствия: отказ от идеи прогресса (теории догоняющей модернизации), поскольку Россия не может подтвердить свое величие и державность социально-экономическими показателями; апология цикличного развития в рамках самоорганизующихся и самовоспроизводящихся территориальных, конфессиональных, духовно-психологических целостностей; опора на миф о коллективно-историческом, уникальном опыте народа, который выражается в «духовном складе», «национальном характере»; анализ настоящего и будущего государства и общества через культурно-историческое измерение.

Указанные процедуры выполняют полицейско-охранительную роль: «Новая *историография* ориентирована на поддержку атрибутов нового национального государства. Это выражается в активном использовании и семантической нагруженности концептов национальной культуры, менталитета, церкви, государства, державы, империи. Таким образом, она имеет «выходы» в современную социально-политическую практику и выглядит вполне прагматичной… В дискурсах отчетливо просматриваются связь новой «историософии» с «русским проектом» федеральной власти: постулируемая моноэтничность новой России подкрепляется идеей православной цивилизации, приверженности народа особым духовным и нравственным константам, которые якобы с древности определяют национальный (народный, общероссийский) характер, в том числе – такие его черты, как коллективизм, соборность; идея сильной вертикальной исполнительной власти и неактуальности концепта «гражданское общество» для России исходит из тезиса о переходности и пограничности российской цивилизации (третий путь), из исторического опыта Власти как системообразующего начала и из отказа от идеи «модернизации второго эшелона»; геополитические проекты многополюсного мира подтверждаются актуализированными неоевразийскими построениями, которые переводятся в практическую плоскость»[23]. Причем, большинство историков считают эти тенденции нормальными.

Итак, общие свойства постсоветской историософии состоят в следующем: методологическая неопределенность и охранительный характер; под видом новых выступают старые концепции, поскольку они идеологически близки власти, а в редуцированном виде не отличаются от формационного подхода, приправленного либеральной лексикой; имитация идеологического консенсуса, которого нет в российском интеллектуальном сообществе; отсутствие

[22] Зверева Г. Указ.соч., с.549
[23] Там же, с.553-554

критериев взаимных оценок и продуктивного диалога. «В конечном счете построения новой *историософии* в постсоветской России выглядят попытками генерации и закрепления такого научно-публичного дискурса, который претендует на академическую нормативность в изменяющемся пространстве социально-гуманитарного знания и одновременно, в условиях становления российской государственной идеологии, стремится принять на себя властные догматические функции в общественной сфере и образовании»[24].

Н.А.Косолапов показал, что в этом дискурсе геополитика (далее ГП) занимает одно из главных мест и описал ее свойства[25].

1. Отрицание развития. ГП рассматривает историю как броуновское движение и непрерывную смену гегемонов. Формационный подход считает развитие неизбежным, цивилизационный - допустимым (у каждой цивилизации своя дорога; развитие состоит из множества дорог; все идут в разных направлениях). ГП исключает всякую магистраль развития.

2. Объяснение движущих сил внешней политики государств и динамики международных отношений (далее МО) множеством факторов (географическое положение, размеры, климат, топография, природные ресурсы, демография, уровень технологического развития, военно-экономический потенциал). В период появления ГП господствовала история дипломатии, всеобщая история (реестр войн и договоров) и нормативно-правовой подход. ГП (наряду с марксизмом и политическим реализмом О.Бисмарка-М.Вебера) была одним из направлений критики нормативного подхода. Но идеи классиков англо-американской ГП не подтвердились опытом политического развития в XX в. Только после распада СССР США обретают возможность контроля над мировым океаном.

3. Использование науки для обслуживания целей и интересов государства. По этому пути пошла германская ГП, в рамках которой родилась концепция «жизненного пространства». После прихода Гитлера к власти К.Хаусхофер стал советником по внешней политике. К чему привели эти советы – известно.

ГП не объясняет истории, а выступает апологетом внешней политики империй (Великобритании, Германии, России, США) и предшествует официальным политико-стратегическим доктринам второй половины XX в. ГП пытается объяснить только межимперские отношения эпохи. Но имперские правящие клики и специалисты-геополитики всегда пренебрегали интересами населения, проживающего в регионах противоборства империй. Эффективность политики в истории зависела от стихийного равновесия интересов империй. В настоящее время США оторвались от всех и претендуют на глобальную империю. А глобальная империя отрицает ГП: «…мир перерос имперские формы организации физического и социального пространства, а тем самым и геополитику; геополитическая модель неприменима более к описанию

[24] Зверева Г. Указ.соч., с.556

[25] См.: Косолапов Н.А. О месте политики в эпоху глобализации // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2003, № 4, с.128-151

и пониманию реалий сегодняшнего и завтрашнего мира. Обращение к геополитике означает в духовном смысле риск очутиться среди идейной реакции, а в практическом – опасность обречь внешнюю политику своей страны в лучшем случае на неэффективность, в худшем – на тяжелейшие стратегические просчеты»[26].

В этом контексте и возникла идея глобализации. Речь идет о следующих процессах: формирование целостной экономики, опирающейся на транснациональные банки и корпорации как субъектов экономических отношений; международно-политическое оформление целостности ведет к дальнейшему ограничению суверенитета государств, занимающих второе и последующие места в фактической иерархии субъектов МО; стремление США и Англии воспользоваться этими процессами. После распада СССР ушла в прошлое дихотомическая модель глобализации. Она базировалась на военно-политическом и военно-экономическом противоборстве либерализма и коммунизма - крайних течений западной общественно-политической мысли и практики. Но в последние десятилетия рушится также Вестфальская система с идеей суверенитета и глобальной суперимперии Габсбургов, основанной на единстве светской и духовной власти. Снова повышается роль идеологий и религий. Размываются признаки государства как субъекта МО. Возникает мировая политика с новыми субъектами (транснациональные банки и корпорации, международные организации, политические движения и союзы, международная организованная преступность).

Политико-стратегическая глобализация - это процесс формирования супранациональной общности, нормы и правила которой претендуют на приоритет над государственными. Эта общность складывается под влиянием: экономического обмена стран, транснациональных корпораций, коллективного нормотворчества; желания самой развитой части мира сделать процесс глобализации контролируемым; интересов и идей одного субъекта глобальных отношений. После 2000 г. США возглавили третий процесс. Они хотят воплотить идею Габсбургов - создать суперимперию и построить глобализацию на неоимперских началах. Возникает система глобального неформального господства США в мире – глобализация по понятиям, а не по международному праву.

Отсюда вытекают общие тенденции глобализации: одновременная ликвидация и распространение Вестфальской системы МО на весь мир; словесное признание и реальное ограничение суверенитета государств; МО номинально остаются светскими (не подвластными церкви и идеологии), а на практике реидеологизируются; законным признается только то, что укладывается в формулу «экономический либерализм – политическая демократия – военно-политический союз с Западом – вера в Бога»; вся эта связка и каждая ее часть есть идеология, утверждаемая в мире с мессианской

[26] Косолапов Н.А. Указ.соч., с.138

самонадеянностью и фанатизмом; словесная терпимость к нехристианам на практике обостряет конфликт с мусульманами; стремление США и НАТО реализовать идею суперимперии. «Если … эта идея окажется реализованной, глобально-имперский миропорядок постигнет судьба всех его предшественниц-империй: продержавшись некоторое время, он будет взломан силами внутренней трансформации и надолго уступит место господству субглобализационных явлений и процессов всех типов и уровней»[27]. Тем самым понятие *«многополярного мира»* научно бессодержательно.

В настоящее время идет борьба трех моделей глобализации: стихийно-демократической (охлократический антиглобализм); олигархической (члены большой восьмерки и ЕС); авторитарной («программирующее лидерство» США). Эти модели осложняются становлением мирового общества (*world society*) и международного сообщества (*international community*). Субъектами первого выступают государственные элиты, второго – международные организации. Из-за переплетения интересов данных субъектов измена Родине стала универсальной.[28]

Положение локальных элит двусмысленно: они первыми приобщаются к благам глобализации и действуют в ущерб интересам своих стран и народов; они зажаты в «клещи» между требованиями местных ортодоксов сохранять уклад, веру, традиции и образ жизни и требованиями мирового сообщества все больше открывать глобализации экономику и социальные отношения своих стран. Эти элиты коррумпированы, заняты выяснением отношений кланов и группировок, разжигают конфликты на этнической почве. Так вели и продолжают себя вести союзная и республиканские элиты накануне и после распада СССР. И такое поведение локальных элит – благо и цель для любых империй.

Глобальные элиты тоже стимулируют конфликты, связанные со стремлением удержать на долгую перспективу роль государства-лидера в системе МО. Они культивируют разрыв между лидером и ближайшими к нему странами и сползание все большего числа стран в состояние торможения, нулевого развития и регресса[29]. Провоцируют и создают направляемые конфликты для построения глобального миропорядка («программируемое лидерство» США дополняется «просвещенным неоколониализмом» ЕС).

---

[27] Там же, с.144

[28] «Человек, личные накопления которого связаны с мировой экономикой и часто размещены за границей и/или в иностранной валюте; администратор, назначение и функции которого подчинены внутренним правилам транснациональной корпорации или существенно связаны с ними; политик, обязанный принимать во внимание не только интересы своего электората внутри страны, но и позиции различных сил и тенденций в мире; режим, легитимность которого изначально связана или в реальном масштабе времени во многом зависит от сил и процессов внешнего мира – все эти и подобные им явления, массовые и заурядные в мире даже уже последней четверти XX в., были бы немыслимы в системе геополитических отношений и несовместимы с ней, рассматривались бы в системе этих отношений однозначно как измена «своей» стране». Там же, с.145

[29] Возникает риск «…бунта одичавшего большинства против резко и далеко оторвавшейся от большинства человечества «глобальной» элиты, к числу которой могут оказаться причислены не только отдельные социальные страты, но целые страны и народы». Там же, с.146

Одновременно во многих странах созрели силы, все громче призывающие: «Барин, приди и рассуди!». Новейшая волна колониализма движима снизу настоящими и будущими локальными элитами.

Отсюда вытекают следствия глобализации: ограничение суверенитета государств и сведение его к функциональным аспектам; рост полицейских функций государств; зависимость развития и стабильности от внешних инвестиций, из-за чего внешний мир может влиять на направление и темпы развития большинства государств; трансформация системы былых МО в глобальные и становление последних как нового вида социума, состоящего из государственных элит; приватизация функций государства (безопасность, оборона, социальная поддержка населения) транснациональными корпорациями, частными вооруженными формированиями и др.; международно-политическое оформление глобализации; попытка создания суперимперии США или развитого мира ЕС обречена на неудачу с труднопредсказуемыми последствиями; но эта попытка требует опоры на идеологию, подкрепляемой экономикой, технологией, военным делом, культурой, потребительским потенциалом ее носителей.

Н.А.Косолапов констатирует: в целом геополитика и глобалистика – важнейший признак того, что в мире наступила фаза глубокой, агрессивной и мощной идейно-политической реакции. Распад СССР не изменил систему МО, но стимулировал кризис левой идеи. С начала 1980-х гг. правые силы господствуют, а левые им прислужничают[30]. Перспективы изменения данного положения вещей становятся все более туманными.

Основным звеном в идейно-политической реакции выступает культурно-цивилизационный подход (далее КЦП). Он породил горы литературы – от школьных учебников до научных монографий и политических речей. Авторы всей этой продукции пренебрегают общими характеристиками КЦП: он отражает кризис исторического познания, концепции рациональности, разрыв классической и современной теорий познания, гносеологии и аксиологии; его риторика смешивает научные, мифологические и спекулятивные утверждения; радикализирует противоположные типы рефлексии: история очищается с помощью понятий (культурно-исторические типы, цивилизационный процесс, мировая цивилизация и т.п.) или познание очищается процедурой понимающего описания с помощью понятий (душа, лицо, стиль культуры, текст, дискуссия, эписистема и т.д.); транслирует традиционное противопоставление фактов и ценностей; его философские посылки размыты, отвергают идеал истинности, отличаются многозначной семантикой.

КЦП - это идеология, выступающая средством рационализации и иррационализации противоречия между сущим и должным. Его познавательная функция включает универсалистские теории, тогда как адаптивная замыкается

[30] См.: Левые в Европе XX века: люди и идеи. М., 2001, с.398-425

в смыслах отдельных культур. Поэтому семантика и семиотика КЦП дуалистичны и тенденциозны. КЦП – модус сервилизма науки перед властью[31].

Кроме того, в постсоветской России культурология стала формой выживания философии. Отцы-основатели советской культурологии (С.Аверинцев, А.Гуревич, М.Петров и др.) разрабатывали ее для противостояния советскому официальному дискурсу. Большинство современных культурологов не могут выдерживать определенный дискурс и соответствовать философскому уровню анализа. Культурология методологически несостоятельна. Она - дитя тоталитарной системы идеологического воздействия. Для обозначения этих свойств КЦП В.Савчук ввел понятие «культурала», конечная цель которого - популярность, обретение власти. Культурал подписывается под чем угодно, лишь бы вызвать интерес у теле- и аудиоаудитории. Он обращен к массовому, а не профессиональному сознанию. Его сверхзадача – удержать внимание и удержаться в кадре. Ради прибыли символического капитала культурал готов на все: «Культурал - производное системы, сети режима актуальности»[32].

Не менее важны политические следствия КЦП.

Концепт цивилизации – это *империализм фантазии*. Ренессанс делил Европу на север и юг, Просвещение - на запад и восток. Просвещенческая концепция цивилизации обосновывала колонизацию и захваты, устанавливая между землями вымышленную связь. «Прежде чем родиться на карте, Восточная Европа родилась в головах просветителей»[33]. Восточная Европа и Россия как ее часть возникла как интеллектуальная конструкция - набор хаотических наблюдений, которые связывали воедино совершенно разные земли и народы.

Из Парижа Восточная Европа казалась идеальным полем для деятельности просвещенных монархов: деспотизм располагался на безопасном удалении, а философы могли помогать мыслью, советом и «планом цивилизации». Восточная Европа создавалась как опытное поле, где Просвещение могло претворять в жизнь свои социальные теории и политические мечтания[34]. Интеллектуальное господство Просвещения выразилось и в наименовании народов Восточной Европы – они получали имя в результате скрещения этнографии, антропологии, фольклора и расовой теории. В результате древнее представление о существовании восточных варваров (скифы, сарматы, славяне) было перенесено в ХУШ столетие. Тем самым «…дипломатия, картография и философия образовали треугольник, признавая, подтверждая и оправдывая друг

[31] См.: Следзевский И.В. Эвристические возможности и пределы цивилизационного подхода // Цивилизации. Вып.4. М., 1997; Наука и квазинаука. Под ред. В.М.Найдыша. М., Альфа-М, 2008, с.262-263

[32] Савчук В. Режим актуальности. Актуальная философия. Издательский дом СПбГУ, 2004, с.22

[33] Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., НЛО, 2003, с.517

[34] В России все еще предстоит создать (по мнению Вольтера); разрушить и создать заново (по мнению Лемерсье); в любом случае это пространство открыто для любого, «кто пожелает составить правильный план для преобразования здешней формы правления» (по мнению Руссо).

друга… Изобретая Восточную Европу, Просвещение … создавало культурный контекст для амбициозных проектов порабощения, осуществлявшихся и в ХУШ веке, и позднее»[35]. Для поддержки завоевательной политики были мобилизованы английские, французские, немецкие и американские ученые. В XX в. такой подход к цивилизации развивали германские геополитики, американские культурологи (типа С.Хантингтона) и политологи (типа З.Бжезинского) и множество их последователей в сфере теории цивилизации.

Итак, деление Европы на Западную и Восточную – искусственный интеллектуальный продукт. «Восточная Европа» - это анахроничная, искусственная категория, хотя она до сих пор удобна по аналитическим и идеологическим соображениям. В современном Гарвардском университете воспроизводится стремление физиократов ХУШ в. разрабатывать рецепты для Восточной Европы и России.

В целом концепт цивилизации – иллюзия[36]. Его влияние на мировой процесс колонизации и современную ситуацию в России детально исследовано М.Ферро[37]. Я предлагаю дополнить его выводы результатами анализа имперских внешнеполитических идеологий[38]. Между российской и западноевропейской территориальными экспансиями Х1Х в. существуют параллели: вслед за Британией и Францией Россия присоединяла земли, расположенные на другом континенте; оценивала завоеванные азиатские территории как отсталые и слабо развитые; ощущала собственную цивилизаторскую миссию; соперничала с другими европейскими колониальными державами.

Русская дипломатия в Азии ориентировалась на несколько идеологий:

1. Конкистадорский империализм - Азия рассматривалась как объект завоевания ради завоевания. Самым последовательным приверженцем этой идеи был Н.М.Пржевальский. Свои изыскания в Центральной Азии он считал «научной рекогносцировкой», предлагая повторить в этом регионе подвиги Кортеса с деньгами в кармане, штуцером в одной и нагайкой в другой руке, присоединить Монголию, Синьцзян и Тибет, воспользовавшись слабостью Китая[39].

---

[35] Там же, с.523-524

[36] Вольтер в письмах Екатерине 11 предлагал «упорядочить хаос» - как интеллектуальную и военную цель. И царица ее реализовала в путешествии: «Иллюзорные превращения деревенских хижин в дворцы, потемкинских деревень в город подчеркивали самую главную иллюзии екатерининского путешествия в Крым, иллюзию цивилизации». Там же, с.205

[37] См.: Макаренко В.П. Колониализм: взгляд из сегодняшнего дня // Общество и экономика. 2002, № 8-9

[38] См.: Схиммелпеннинк ван дер Ойе Д. Идеологии империи в России имперского периода // Ab Imperio:теория и история национальностей и национализма в постсоветском пространстве. 2001, № 1-2, с.211-226. Под идеологией имеется в виду система идей о политике, обществе, поведении класса (группы), которая (система идей) оправдывает определенные действия.

[39] Например, при описании первого путешествия в Центральной Азии Пржевальский приводит такой эпизод. При встрече с местным князем тот начал расспрашивать про Россию: «Какая у нас религия, как обрабатывают землю, как делают стеариновые свечи, как ездят по железным дорогам и, наконец, каким образом снимают фотографические портреты. «Правда ли, - спросил князь, - что для этого в машину кладут жидкость человеческих глаз? Для такой цели, - продолжал он, - миссионеры в Тянь-дзине выкалывали глаза детям,

2. Восточничество – вариант славянофильской идеологии, в котором подчеркивалось азиатское наследие России. Идеологом этого движения был князь Э.Э.Ухтомский. Он считал, что два века владычества монголов сблизили Россию с Востоком. Русская душа ориенталистична, отторгает грубый материализм и одобряет автократическую власть. Русский царь – это современный хан. Ухтомский предлагал: воссоединить Россию с Китаем, поскольку Восток является слабым, отсталым и зависимым, а Запад воплощает зло республиканизма, атеизма и революции; отвергал военные средства - народы Азии сами тянутся к династии Романовых (в Азии для России нет границ, кроме необъятного синего моря); призывал к неограниченной экспансии на Восток ради единства России с Востоком перед лицом Запада. Эта идеология ушла под воду вслед за Балтийским флотом в Цусиме. Но после революции возродилась в «евразийстве», которое сегодня тоже существует в России.

3. Мирное проникновение – рост влияния России на Востоке мирными экономическими средствами. Главным идеологом был Витте С.Ю., который навязывал свое мнение силой и определял политику Петербурга в Азии. Его идею экономики как движущей силы внешней политики возродил В.И.Ленин после 1917 г. Сегодня та же идея пропагандируется русскими либералами.

4. Имперское видение военного министра А.Н.Куропаткина. По его мнению, империи должны заниматься не столько завоеваниями, сколько самозащитой. Аннексия чужих территорий не исключалась, но только ради укрепления границы против потенциальных нападений со стороны соседей. Он объединил в своей концепции европейские представления о противостоянии рас, культурный пессимизм и социальный дарвинизм с традиционной идеологией пограничья. Предупреждал о «желтой опасности» (трактовку которой тоже позаимствовал на Западе), сближая расу и религию. Предлагал в XX в. создать «…союз народов белой расы против народов желтой расы и чернокожих. Деление на эти две группы будет близко отвечать и делению на две группы по религиозным верованиям. В одном лагере будут христиане, в другом язычники. По причинам религиозным и политическим, особенно если столкновение белой и желтой рас ознаменуется первоначально успехами желтолицых, магометане могут соединиться с язычниками, чтобы общими усилиями свергнуть иго белолицых христиан. Тогда на каждого христианина будет приходиться два врага не христианина»[40]. Эта идеология сегодня воспроизводится в публикациях об угрозе «исламского фактора».

которых брали к себе на воспитание; за это народ возмутился и умертвил всех этих миссионеров»». Пржевальский Н.М. Путешествия. М., Детгиз, 1958, с.96. Поэтому местное население резонно подозревало русского путешественника в тайных целях путешествия, определяя всех европейцев без различия наций как «заморских дьяволов». В свою очередь Пржевальский сообщал, что местное население крестится исключительно из-за материальных выгод, а «…репутация хорошего стрелка производит на азиатцев чарующее впечатление». Там же, с.177. См. также с.109, 248

[40] Куропаткин А.Н. Русская армия. СПб., Полигон, 2003, с.351

Таким образом, под прикрытием цивилизации внешняя политика России/СССР воплощала элементы разных идеологий в зависимости от личных пристрастий, конъюнктуры и изменения политического курса.

Иллюзия цивилизации *переплелась с использованием науки для маскировки колониальной политики*. Показательный пример - борьба Англии и России в Средней Азии на протяжении от Петра 1 до заключения англо-российского договора 1907 г. В частности, экспедиция по захвату Хивы в 1839 г. была обусловлена тем, что Перовский хотел, чтобы англичане поглубже увязли в афганской авантюре и не смогли бы протестовать против аналогичной деятельности Санкт-Петербурга по смене властителя в Хиве[41].

В декабре 1864 г. министр иностранных дел России Горчаков распространил меморандум, в котором проводились параллели между отношением России к Центральной Азии и отношением Англии, Франции, Голландии и Америки к их колониальным владениям: «Позиция России в Центральной Азии, - гласил документ, - является точно такой же, как у всех цивилизованных государств, которые вступили в контакт с поселениями полудиких кочевников, не обладающих никакой определенной социальной организацией. В таких случаях более цивилизованное государство, как правило, вынуждено в интересах безопасности своих границ и коммерческих отношений осуществлять некоторое господство над теми, чей буйный и неуравновешенный характер делает их нежелательными соседями. В свою очередь, недавно умиротворенные регионы нуждаются в защите от грабежей племен, находящихся вне закона, и так далее. Вот почему российское правительство вынуждено было насаждать цивилизацию там, где варварский способ правления вызывает страдания народа, и оберегать свои границы от анархии и кровопролития. Такова судьба любой страны, которая оказывалась в подобном положении. Британия и прочие колониальные державы были неумолимо вынуждаемы не столько амбициями, сколько настоятельными потребностями к дальнейшему распространению своих владений. Самая большая трудность – принять решение остановиться. Мы будем признательны, если ведущие государства, у которых меньше нерешенных вопросов и выше организация, установят для нас с географической точностью пределы, на которых мы должны остановиться». На деле Горчаков просто хотел выиграть время для правительства. Российские завоевания не остановились на обещанных Горчаковым рубежах и продвинулись еще дальше на юг»[42].

Итак, под прикрытием разговоров о цивилизации европейские страны (включая Россию) расширяли свои владения. Концепт цивилизации маскировал

[41] «Если бы стали просачиваться слухи о приготовлениях, то экспедицию надлежало официально характеризовать как «научную», направляющуюся для изучения Аральского моря, лежавшего как раз на пути. Действительно, в последующие годы «научные экспедиции» часто служили прикрытием активности русских в Большой Игре, тогда как англичане предпочитали посылать своих офицеров с аналогичными заданиями в «свободный поиск», что позволяло при необходимости от них отречься». Хопкирк П. Большая игра против России. Азиатский синдром. М., Рипол Классик, 2004, с.256

[42] Хопкирк П. Указ.соч., с.365-366

двойную политику России. После меморандума Горчакова полковник М.А.Терентьев в книге «Россия и Британия в борьбе за рынки Центральной Азии» обосновывал необходимость агрессии. Позицию военных выразил генерал Скобелев после взятия крепости Геок-Тепе. Три дня он позволял пьяным войскам насиловать, грабить и резать. А в оправдание своих действий заявлял: «Я придерживаюсь того принципа, что продолжительность мира находится в прямой зависимости от резни, которую вы устраиваете врагу. Чем сильнее вы на них давите, тем дольше они сидят тихо». Это, утверждал он, куда более эффективный метод умиротворения неприятных соседей, чем традиционный британский, использованный Робертсом в Кабуле: публичное повешение главарей порождает только ненависть, а не страх»[43]. После аннексии Мерва русские ответили: «это произошло по требованию туркмен, которые пожелали, во-первых, покончить с состоянием анархии, а во-вторых, наслаждаться благами цивилизации»[44].

Стало быть, концепт цивилизации обслуживал связь дипломатии, шпионажа и военщины: «Это подтверждается другими примерами стратегии двойной политики России. Одна, исходящая из Санкт-Петербурга, была официальной и склонной к компромиссам. Другая, неофициальная и агрессивная, была в употреблении внутри страны, хотя при необходимости всегда могла быть дезавуирована»[45]. В то время граница была неопределенной линией на еще более сомнительной карте. Россия из завоеванных ханств создавала Центрально-Азиатскую империю. После взятия Коканда в 1875 г. оказалось: русские за десять лет аннексировали территорию размерами в половину Соединенных Штатов. Но официальное заявление гласило: царь Александр «уступил пожеланиям жителей Коканда стать российскими подданными». На деле большинство населения выступало как против русских, так и против их местных марионеток. А местные царьки (типа Якуб Бека) стравливали могучих соседей, используя их взаимную ревность, чтобы сохранить свои позиции[46].

Духовный неосоветизм – отрыжка или состояние общества?

Такая военно-политическая диалектика претерпела модификацию во внешней политике СССР. Эта политика базировалась на двух китах: явном (через Наркомат иностранных дел) и тайном (через Коминтерн и разведку). В середине 1920-х гг. сформировалось три главных принципа внешней политики нового государства: 1. СССР – оплот мировой революции; его укрепление равносильно укреплению революционного движения во всем мире; во имя СССР можно жертвовать революциями и партиями в других странах. 2. Мировая война между социализмом и капитализмом неизбежна, поэтому

[43] Там же, с.476
[44] Там же, с.486
[45] Там же, с.429
[46] Там же, с.414-417

международное коммунистическое и рабочее движение есть резервная армия СССР. 3. Капиталистические страны – враги СССР, поэтому в их отношении надо проводить такую политику, которая сочетает шпионаж и подрывную деятельность с поддержанием нормальных дипломатических и торговых контактов[47].

Внешняя политика СССР воспроизвела политику Российской империи. Этот вывод обоснован во множестве исследований. Приведу пару свежих.

Бывший разведчик Э.Генри в середине 1960-х гг. написал записку в ЦК КПСС, но она увидела свет более 50 лет спустя. Я не буду сейчас анализировать подводную часть этого «айсберга» и выяснять идейные, политические, институциональные и конъюнктурные аспекты мировоззрения автора и публикаторов текста[48]. А только покажу, что даже записка позволяет отвергнуть стереотипы советской (и постсоветской) историографии и пропаганды. В целом Сталин проводил политику, которую «…он считал гениальной, выдержанной на уровне самого Талейрана, - политику перекройки карты мира не путем революций, как это предвидел Ленин и как этого ожидало международное рабочее движение, а путем тайного, закулисного сговора с империалистами»[49].

Такая политика была следствием сталинского ума: «Этот ум, столь натренированный в тактике подспудной внутрипартийной борьбы с помощью органов, в области международных отношений никогда не взлетал выше довольно тривиального восточного талейранства. Мысль Сталина всегда стелилась по земле; отсюда, как и от полуобразованности, ограниченность его политического зрения. Реальным и реалистическим во внешней политике Сталин, как правило, считал то, что лежало ближе всего на поверхности, например, поближе к государственным границам. Он подходил к мировой политике именно так, хотя в середине XX века прежние измерения политической мощи и безопасности великих держав на основе ситуации у их непосредственных границ уже были в значительной мере аннулированы на практике военной и политической техникой». «Вместо большой международно-революционной политики он проводил малую великорусскую политику – ту, которая в сущности исходила из таких же близоруких и давно отброшенных жизнью установок, что старая политика царей». «Он никогда в действительности не верил в рабочий класс, верил только в себя, в

[47] По этому вопросу существует громадная литература. Укажу одну из свежих книг: Фирсов Ф. Секретные коды истории Коминтерна. 1919-1943. М., АИРО-XX1; М., КРАФТ+, 2007

[48] Не исключено, что все эти аспекты можно свести к заключительным строчкам заслуженной красноармейской песни:

С отрядом флотским
Товарищ Троцкий
Нас поведет
В последний бой!...

[49] Генри Э. К вопросу о внешней политике Сталина (записка). Прометей. М., «Русский раритет», 2007, с.33. Недаром Сталин так восхищался Талейраном и даже помиловал сидевшего в тюрьме историка Тарле, который написал книгу о Талейране в расчете на Сталина.

вооруженные силы, в хитрость, да еще в репрессивные органы. А для международной политики репрессивных органов было недостаточно». «Полицейская точка зрения всегда имела немалое значение в отношении Сталина к вопросам и людям международного коммунистического движения»[50].

В итоге проведения сталинской внешней политики произошло территориальное расширение СССР на западе и востоке. Однако это вызвало ряд следствий: 1. Запрет на народно-демократическую революцию во Франции. В результате – спад революционной волны по всей западной части европейского континента после разгрома фашизма. 2. Восстановление буржуазных режимов во всех находившихся в руках Гитлера европейских странах за пределами зоны советской оккупации. 3. Стремительное возрождение реваншистского германского милитаризма за Эльбой. 4. Заключение военного союза между Западной Германией и великими державами капиталистического мира. 5. Неудача попытки овладения Западным Берлином. 6. Спад послевовенной революционной волны в Италии и Греции, утрата важнейших позиций у Адриатического и Эгейского морей. 7. Распространение политики культа на новые социалистические государства в Европе. В результате – сотрясения внутри новой социалистической системы в последующие годы (мятежи в Берлине и Венгрии, волнения в Польше, разрыв с Югославией, осложнения с Румынией, переход Албании в китайский антисоветский лагерь). 8. Прекращение сотрудничества военных лет между СССР и США, Англией, Францией, переход к длительной и изнурительной «холодной войне». 9. Распространение культа на Азию, поощрение маоцзедуновской диктатуры внутри китайской компартии. В результате в последующие годы – возникновение нового антисоветского лагеря в Восточной Азии и раскол мирового коммунистического движения. 10. Безуспешная атака на национальную буржуазию в Индии, Индонезии, Бирме, Малайе, на Филиппинах. В результате - отсрочка сближения между СССР и азиатским нейтрализмом. 11. Безуспешная атака на буржуазию Турции и Ирана. В результате – присоединение стран Ближнего Востока в антисоветскому Багдадскому пакту (ныне СЕНТО). 12. Безуспешная атака на японскую буржуазию. В результате – дальнейшее сближение Японии с США. 13. Безрезультатная война в Корее, способствовавшая новому сплочению антисоветских сил в капиталистическом мире. 14. Объединение всех империалистических государств в мировой антикоммунистический блок НАТО-СЕНТО-СЕАТО-АНЗЮС, вслед за окончательным провалом попыток антианглийских кругов в Вашингтоне договориться со Сталиным о прямом американо-советском соглашении относительно Германии. 15. Систематическое дальнейшее ухудшение советско-американских отношений.

[50] Там же, сс.37-38, 41-42, 73

16. Спад окрепших в годы войны просоветских настроений среди широких масс капиталистического мира в результате внутренней и внешней политики СССР.

Таков баланс. В итоге СССР попал в двойную осаду: антисоветский блок на Западе; антисоветский социализм в Азии. Никакой объективной необходимости попасть в такую осаду не было. Туда завела только внешняя политика Сталина. Поэтому вся внешняя политика Сталина (до и после второй мировой войны) – сплошной провал[51].

На первый взгляд, записка выглядит посмертным политическим иском старого Коминтерновского разведчика «вождю народов и другу физкультурников». Однако О.Гриневский показал, что такая военно-дипломатическая диалектика *воспроизводилась в СССР и после Сталина*. Машина советской внешней политики управлялась с вершины властной иерархии. Каждый день в Кремль поступала кипа телеграмм со всего мира (из посольств, резидентур КГБ и ГРУ). Но для Л.И.Брежнева советники отбирали 1-2 страницы всей мировой информации, сообразуясь с особенностями генсека: тот реагировал только на элементарные житейские ситуации и сердился на любые умные и глубокие обобщения. Вся поступающая информация сводилась к десятку сведений: кто на кого напал; где случилось землетрясение или катастрофа; кто куда поехал, какой скандал с кем приключился[52].

Глава советской дипломатии А.А.Громыко пришел в большую политику на волне сталинских «посадок» в конце 1930-х гг. Это навсегда лишило его человеческих чувств веры, дружбы, товарищества. Он руководствовался следующими принципами поведения: архиосторожность, стремление быть на стороне сильного, избегал принимать решения, в острых ситуациях ничего не делал – плыл по течению. И в таком направлении учил молодых советских дипломатов[53].

Советская военно-дипломатическая диалектика – продукт *личных и институциональных отношений* между Министерством Иностранных Дел, КГБ, Министерством Обороны и Международным отделом ЦК КПСС, который курировал идеологию. С 1950-х гг. МИД конфликтовал с Международным отделом ЦК КПСС, поскольку руководители этих ведомств (Громыко-Пономарев) не терпели друг друга. С шефом КГБ Андроповым Громыко дружил. Независимо от этих отношений СССР проводил двойную политику в отношении сопредельных азиатских стран – Ирана, Ирака, Афганистана.

В этих странах вековые племенные и религиозные распри умножались на нищету народа и амбиции радикальных политиков, которые выступали под лозунгами марксизма, национального возрождения, арабского национализма. Эти лозунги обычно скрывают стремление силовых структур к власти. Молодые политики щеголяли верностью марксизму и цитатами из Ленина – в традициях Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, где они учились.

[51] Там же, с.101-104
[52] Гриневский О. Тайны советской дипломатии. М., Вагриус, 2000, с.128,14
[53] Там же, с.58,88,333

Например, йеменские политики бездумно перенесли в свою страну всю структуру власти СССР: всепроникающий партаппарат, многочисленные органы советской власти, молодежные и другие общественные организации. Но в СССР жило 250 млн., а в Йемене – всего полтора миллиона: «куда ни плюнь – везде начальник, а работать некому и нищета фантастическая. Сорок процентов бюджета страны тратится на содержание армии, не считая расходов на Министерство внутренних дел и госбезопасность!»[54].

Самый важный пункт воспроизводства сталинской политики после смерти Сталина – *отрицательное отношение советского руководства к революциям* в Иране, Ираке, Афганистане. Данное отношение зависело не от социальных процессов в данных странах, а от контекста противоборства между СССР и США. Американские аналитики на основе анализа иранской революции первыми зафиксировали альтернативу ближневосточных стран: военная или религиозная диктатура. Отсюда вытекала необходимость вмешательства США во внутренние дела. МИД, КГБ и международный отдел ЦК КПСС считали: несмотря на перспективу антиамериканской революции в Иране, «…Советский Союз не имеет к ней никакого отношения и не обладает реальными рычагами воздействия на ситуацию в стране»[55].

Не менее важное следствие сталинского ума и политики - *вмешательство* КГБ в события. Ю.В.Андропов наладил контакты со всеми группами, которые имели реальные шансы влиять на политику. Первым делом вышел на контакт с окружением Хомейни. Оказалось, что тот очень осторожно относится к любым делам, касающимся Советского Союза. Когда в Иране взяли американских заложников, и США начало готовить их освобождение, СССР официально заявлял протест против вмешательства во внутренние дела Ирана, а на деле одобрял эти действия. В Кремле созревали планы вторжения в Афганистан. Американская акция в Иране могла служить оправданием: ввели войска, чтобы поставить предел американской экспансии. Такую позицию занимал Устинов[56].

Затем лидеры Ирана взяли курс на экспорт исламской революции: призвали иракских шиитов восстать против «атеистических палачей в Багдаде», а мусульман Персидского залива - свергнуть прогнившие королевские режимы, которые живут по законам «неверного Запада». Во время ирано-иракской войны Международный отдел ЦК выступал за Иран, Министерство Обороны – за Ирак, МИД и КГБ заняли среднюю позицию: военная победа любой стороны может привести к кардинальным изменениям в регионе, которые будут не в

[54] Там же, с.98, 112

[55] Там же, с.171. В ответ на инициативы США СССР решил припугнуть американцев. Запустил дезинформацию о серьезных военных приготовлениях на иранской границе. Вашингтон клюнул: с конца сентября 1978 г. американские разведоценки стали рисовать картину подготовки массового советского вторжения в Иран. Например, в Специальной оценке национальной безопасности в августе 1980 г. указывалось, что наступление готовится по трем направлениям: из Закавказья, Туркмении и Афганистана. Даже количество войск указывалось – 12 дивизий Закавказского военного округа, 3-4 дивизии Туркестанского военного округа и части 40-й армии из Афганистана. На деле в 1978-1979 годах в этих округах проводились рутинные военно-штабные учения, а не военные приготовления. См.: там же, с.171-173

[56] Там же, с.176,179

интересах СССР. Одновременно Советский Союз снабжал оружием противоборствующие стороны.

Саддам Хусейн нанес первый визит в Москву 11 декабря 1978 г., будучи вторым человеком при президенте Басре. Незадолго до поездки он обезглавил местную компартию (казнил 21 руководителя, многих арестовал по обвинению в проникновении в вооруженные силы). На заседаниях Совета революционного командования Саддам Хусейн стрелял в тех, кто пытался ему перечить, а потом как ни в чем не бывало продолжал вести заседание. Затем сделал переворот: 22 иракских руководителя были приговорены к смерти, 33 посадили в тюрьму на срок до 15 лет. По его указанию высшие руководители партии и государства лично приняли участие в расстрелах своих бывших товарищей. Так Саддам Хусейн стал президентом. Международный отдел ЦК предлагал отменить его визит. Но Громыко выступил в поддержку визита, мотивировав тем, что «Саддам Хусейн едет в Москву отчитаться о проделанной работе по сплочению арабов в борьбе против капитулянтской политики Садата»[57].

КГБ докладывал также о возможности свержения Дауда в Афганистане. Но информации ходу не давали, поскольку она не вписывалась в картину представлений об Афганистане. Международный отдел ЦК (Пономарев, Ульяновский) и КГБ (Андропов, Крючков) полагали: Афганистан – отсталая страна, где господствуют средневековые племенные отношения, а весь образ жизни определяется исламом. Поэтому социалистической революции в Афганистане быть не может – она преждевременна с точки зрения объективного уровня социально-политического развития афганского общества и государства.

Апрельская революция в Афганистане застала Москву врасплох. Громыко занял выжидательную позицию, Устинов молчал, Андропов и Пономарев доказывали: Афганистан не созрел для социалистической революции; создание однородного коммунистического правительства приведет к сплочению правой оппозиции, вызовет беспорядки, которые неминуемо повлекут за собой иностранное вмешательство; надо создать коалиционное правительство, в которое должны войти коммунисты наряду с другими партиями, но оставить за собой ключевые позиции – армию, полицию, госбезопасность.

На почве отрицательного отношения советского руководства к революциям в сопредельных азиатских странах возникла *проблема фундаментализма*. После иранской революции Москва впервые столкнулась с исламским фундаментализмом и встала в тупик: что это такое и как к нему относиться? Глава МИДа Громыко не сомневался: «Фундаментализм – это крайне реакционная религия… Мракобесие. Примерно так же оценивало фундаментализм руководство международного отдела ЦК. Пономарев, его

[57] Там же, с.181-182

заместители Ульяновский и Брутенц в один голос говорили, что это *клерикальная революция* и даже в некотором смысле контрреволюция»[58].

МИД решил разобраться, поскольку все страны Ближнего и Среднего Востока более-менее охвачены идеями исламского возрождения. Но в Москве специалистов не оказалось. Позвали «ученого из Баку». Тот прочитал апологетические лекции о прообразе «исламского общества», восходящего к Мухаммеду и имаму Али. «Ученый из Баку» считал: путь к обществу исламской справедливости пролегал через внедрение ислама во все поры жизни. Исламская революция призывала свергнуть шаха, освободиться от разлагающего влияния Запада, запретить потребление спиртных напитков, обязать женщин носить чадру. Но отцы-основатели фундаментализма учили, что угроза для истинных мусульман исходит не только от «материалистического Запада», но и от «атеистического Востока». «А в борьбе против одной сверхдержавы не следует опираться на поддержку другой. Надо идти собственным мусульманским путем. Имам Хомейни так и говорил: - Америка хуже Англии, Англия хуже Америки, а Россия хуже их обоих»[59].

Дипломаты помельче считали: фундаментализм – это возвращение к древним национальным ценностям, которые обеспечат мир, благополучие и процветание; фундаментализм – отряд национально-освободительного движения. МИД решил установить деловой контакт с фундаменталистами, использовать их для вытеснения США и других западных держав с Ближнего Востока. С исламом бороться бесполезно, поскольку он впитался в повседневную жизнь и мировоззрение людей на Востоке глубже, чем христианство на Западе. Но оставались опасения относительно советских мусульман (Центральная Азия, Кавказ, Татария, Башкирия). А поскольку ясности не было, Громыко и Андропов решили ничего не делать, будучи заражены совчванством, которое проявляли вслед за Хрущевым[60]. Громыко и Андропов тоже считали, что в СССР все передовое – наука, культура и даже история.

Афганскую авантюру с самого начала пробивали Суслов и Пономарев, желая присоединить Афганистан к социалистическому лагерю. Начальник Генштаба Н.В.Огарков возражал против ввода войск, ибо регулярная армия не в состоянии справиться с горскими партизанами. Но Устинов привел к тому, что армия была вынуждена поддерживать акции КГБ. Так хвост начал крутить собакой[61].

О.Гриневский считает, что уроков из афганской трагедии не сделано, поскольку за Афганистаном последовала Чечня. Политбюро прикрывалось

---

[58] Там же, с.207

[59] Там же, с.209

[60] «Хрущев искренне сердился, когда ему говорили, что наша Солнечная система находится на окраине Вселенной. Он видел в этом подвох: как он, руководитель великого Советского Союза, может находиться на задворках?». Там же, с.212

[61] Там же, с.298,299,309

немощным Генсеком и превратилось в большое боярское гнездо, где каждый владел и управлял своей вотчиной. Согласие строилось на круговой поруке: ты не лезешь в мои дела – я не лезу в твои. На этой основе принимались главные политические решения. В этом боярском синклите никто друг другу не доверял, между собой не общались, но следили, чтобы никто не посягнул на их вотчинные владения. Лишь Андропов, Устинов, Громыко держались вместе, определяли военно-политический курс государства и никого к этому не подпускали.

Политические взгляды «тройки» были таковы: Устинов занимал левый фланг, уповая на силу, а разговоры о разоружении, политических и дипломатических средствах укрепления безопасности считал пустой болтовней для научных симпозиумов; Громыко занимал правый либеральный фланг, не оспаривал значение военной силы, но считал, что безопасность должна строиться на сочетании военных и политических акций; Андропов находился в центре. Громыко выступал генератором идеи компромисса с Западом, но при выработке конкретных позиций никогда не конфликтовал с военными, особенно если Андропов был на их стороне. В то же время поощрял заместителей на бескомпромиссность в отношениях с МО и КГБ. Если не удавалось выработать общую позицию, соглашался с военными, полагая, что на них лежит главная ответственность за оборону страны[62].

Резюме

Из всего сказанного вытекает повод для дальнейших размышлений о нынешнем рынке идей в России. А я пока ограничусь банальностью: все указанные интеллектуально-политические моды скрывают влияние дипломатических, военных и разведывательных агентств на реальную политику и процессы производства идей. Отсюда вытекают вопросы, почти не осознанные отечественным научным сообществом: следует ли считать такое влияние нормой или аномией (в смысле Э.Дюркгейма) или аномалией (в смысле Д.Норта)? свободны или несвободны люди, которые подчиняются данным модам и бездумно (иные – вполне осознанно) строгают историософские, геополитические и культурно-цивилизационные тексты? можно ли идти против течения в мире интеллектуально-политических мод или лучше уподобляться «ученому из Баку» в московской или ростовской разновидности?..

Статьи данного номера могут рассматриваться как этап на пути осознания данной проблемы.

[62] Там же, с.333-334

НАУКА И КРИЗИСЫ В XX ВЕКЕ: НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

Э.И. Колчинский
доктор философских наук, профессор,
директор Санкт-Петербургского филиала
Института истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова РАН

Сегодня, когда речь идет о кризисе науки в России, под этим понятием фактически подразумевают слом прежних отношений между учеными, обществом и властью. В рамках ранее существовавшего симбиоза государства и научного сообщества власти стремились использовать ученых для получения знаний, для развития экономической и военной мощи СССР, для идеологического оправдания своей политики, для повышения международного престижа. Вместе с образованием наука составляла единую систему, от которой зависело воспроизводство интеллектуальных ресурсов, всей инфраструктуры страны, включая аппарат управления, систему здравоохранения, экономику и т. д. В свою очередь ученые считали свою работу исключительно важной для государства, которое было единственным заказчиком научных проектов, предоставляя материально-финансовые и людские средства для их осуществления.

Историко-сравнительный анализ кризисных ситуаций, в которых оказывалась наука в разных странах, начиная со времен Английской буржуазной революции и вплоть до «культурной революции» в КНР[1], показал, что эта модель взаимоотношения науки и власти характерна для периодов, требовавших максимальной мобилизации ресурсов. Она нередко реализовалась во время крупных социально-политических и экономических потрясений, войн, обострения геополитической ситуации и т. д. Тогда научные результаты пытались получить при минимуме затраченных средств ценой индивидуального напряжения ученых. Такую модель мы с зарубежными коллегами характеризовали как мобилизационную[2]. В Советской России она

[1] Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки // Ред.-сост. Э. И. Колчинский. СПб., 2003.
[2] Grunden W., Kawamura Yu., Kolchinsky E., Maier H., Masakutsu Ya. Laying the Foundation for Wartime Research: A Comparative Overview of Science Mobilization in National Socialist Germany, Japan and Soviet Union // Osiris,

формировалась в период между двумя мировыми войнами, когда от революций и гражданской войны страна перешла к ускоренной модернизации, а затем ценой огромных потерь одержала победу над нацистской Германией, растратив далее огромные экономические и интеллектуальные ресурсы в гонке вооружений. В течение нескольких десятилетий СССР удавалось вести ее на равных с США, прежде всего, благодаря жесткой централизации и максимальной мобилизации всех сфер производства, включая науку.

Крупные потрясения в XX веке переживали и другие ведущие страны мира, в первую очередь Германия и США. Германия, оказавшись в глубочайшем кризисе после поражения в Первой мировой войне и не справившись с политической демократией Веймарского периода, оказалась под властью нацистов, приведших ее к страшному разгрому во Второй мировой войне. США породили экономический кризис западного капитала на рубеже 1920-1930-х гг., ставший для этой страны национальной катастрофой. Затем вместе с Англией, Китаем и СССР США обеспечили разгром Германии, Японии и их союзников, а впоследствии были вынуждены нести главное бремя расходов западных стран в гонке вооружений в годы холодной войны.

Конечно, в каждой из названных стран кризисы, переживаемые наукой, были вызваны разными причинами и протекали в специфических формах. Соответственно, при выходе из них складывались свои модели отношений науки и государства. Но во всех случаях их формирование было трудным процессом нахождения общего языка между учеными и политиками, а научному сообществу каждый раз приходилось осмысливать и заново формулировать представления о своем месте в национальном строительстве и об ответственности государства за развитие науки.

Вопрос о влиянии кризисов на отношения науки, власти и общества и ранее привлекал внимание историков и социологов науки[3]. Ещё в начале 1960-х гг. Дж. Бен-Дэвид пытался выяснить причины, благоприятствующие или препятствующие победе в конкуренции ученых разных стран[4]. Однако в сравнительном плане, как правило, анализировались или отдельные науки или наука в целом в экстремальных условиях тоталитарных государств[5]. Важно же посмотреть, как протекал кризис и в либеральных странах.

2005. Vol. 20. P.79-106.

[3] Так, классическая книга Роберта Мертона (Merton R. The Sociology of Knowledge. New York, 1957) появилась вследствие беспокойства за судьбы науки. "Эффект спутника" — смятение в американской науке и политике, вызванное тем, что Советский Союз опередил США в освоении космического пространства, — заставил американское правительство лихорадочно выискивать пути для ликвидации своего отставания в этой области. Были предприняты громадные политические и экономические усилия для ускорения развития американской науки в приоритетных областях. Это породило первую волну паники перед "утечкой мозгов" в Америку, куда европейские ученые переезжали, привлеченные выгодами новой научно-технической политики.

[4] Ben-David J. The Scientists Role in Society. A Comparative Study. Chicago, London, 1984.

[5] Beyrau D. Bildungsschichten unter totalitären Bedingungen: Überlegungen zu einem Vergleich zwischen NS-Deutschland und der Sowjetunion unter Stalin // Archiv für Sozialgeschichte. 1994. Bd 34. S. 36–41; Terroristischen Diktaturen im 20. Jahrhundert /Hg. M. Vetter. Opladen, 1996; Josephson P. Totalitarian Science and Technology. New Jersey, 1996; Stalinism and Nazism. Dictatorschips in Comparison / Ed. I. Kershaw, M. Levin. Cambridge. 1997; Science and Ideology / A comparative history / M. Walker. London; New York, 2003.

В основу проведенного анализа было положено представление о кризисах как о периодах социально-политической и экономической неопределенности, характеризующейся неустойчивостью тенденций и многовариантностью выходов к стабильному состоянию. Как свидетельствует материал, кризис – не столько крах, сколько исходный момент в становлении форм организации науки. Кризис нередко оказывался тяжелой болезнью роста, обусловленной трагической перестройкой ранее существовавших отношений. Ученые, втянутые в водоворот кризисных периодов истории, всегда страдали от болезненных пертурбаций. В то же время они активно участвовали в происходящих процессах, убеждая власти и общество, что наука - важнейшее орудие для выхода из кризиса.

Особенно интенсивно поиск новых отношений в системе науки, общества и государства шел в Веймарской Германии. Период Веймарской республики стал временем перманентного кризиса. Само слово "кризис" было неотъемлемой чертой той эпохи[6]. Интеллигенция говорила беспрестанно о кризисе основ мировоззрения, познания, морали, политики и даже всей западной цивилизации[7]. От глобального кризиса научное сообщество страдало в первую очередь. Если промышленники, финансисты и политики заботились о себе сами, а рабочие отстаивали свои интересы в ожесточенной стачечной борьбе, то преподаватели вузов и сотрудники научных учреждений были на первых порах беззащитны в социально-политическом контексте Германии послевоенного периода.

Социально-культурная и политическая среда прямо, а иногда в самых грубых формах воздействовала на науку. Ученые чувствовали себя заброшенными в море социально-политической демагогии, оккультизма, мистицизма и теософии[8]. Под сомнение были поставлены основополагающие принципы науки: причинность, закономерность и рационализм. Агрессивная общественная среда неизбежно влияла на мировоззренческие и морально-ценностные основы научного сообщества, поколебленные еще в годы Первой мировой войны. В итоге интенсивно шли процессы политизации и идеологизации науки, проявившиеся особенно ярко в создании расовой гигиены и расовой антропологии.

Кризис в Веймарской республики преодолевался учеными как путем самоорганизации научного сообщества, лидером которого были знаменитые химики и физики (Ф. Хабер, М. Планк и А. Эйнштейн), так и за счет усиления

[6] Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск, 1993.

[7] Ringer F. Decline of the German Mandarins: The German Academic Community, 1890-1933. Cambridge (Mass), 1969

[8] Forman P. Weimar Culture, Causality, and Quantum Theory, 1918-1927: Adaptation by German Physicists and Mathematicians to a Hostile Intellectual Environment // Historical Studies in the Physical Sciences. 1971. Vol. 3. P. 1-115; Harwood J. Weimar Culture and Biological Theory: A Study of Richard Woltereck (1877-1944) // History of Science. 1996. Vol. 34. P. 347-377; Hardwig W. Die Preussische Akademie de Wisseschaften in der Weimar Republik // Die Preussische Akademie de Wisseschaften zu Berlin. 1914-1945. Berlin, 2000 S. 25-50; Уолкер М. Наука в Веймарской Германии // Науковедение. 2000. № 2. С. 143-157.

правительственной поддержки. Её удалось получить благодаря умелой защите интересов ученых под лозунгом «Наука есть заменитель военной мощи». Принципиально новая форма финансирования научных исследований – поддержка на конкурсной основе наиболее перспективных проектов была обеспечена созданием фонда Поддержки немецкой науки, который возглавил министр культуры Пруссии Ф. Шмидт-Отт. Бурный институциональный рост демонстрировало Общество кайзера Вильгельма, финансируемое правительством и промышленностью.

Временным выходом из кризиса в послереволюционной России стала сложная система научных учреждений, получавших поддержку из разных источников. Эта система складывалась в сложном диалоге дореволюционных лидеров научного сообщества А.П. Карпинского и С.Ф. Ольденбурга с властями (В.И. Лениным и А.И. Рыковым).

В годы «Великого перелома» конца 1920-х гг. она была подвергнута коренной реорганизации и заменена жестко регулируемой централизованной наукой[9]. Ее неотъемлемой чертой стали массовые репрессии и «шараги» в тюрьмах. В то же время вера коммунистических вождей в науку побуждала их к организации новых научных учреждений, вузов и кафедр в таких масштабах, о которых ученые в других странах не могли тогда даже мечтать[10]. Время потребовало новых лидеров научного сообщества в диалоге с властями, которыми стали В.Л. Комаров и С.И. Вавилов, использовавших в этом диалоге лозунги «Союз науки и труда» и «СССР- центр мировой науки». СССР, осуществив максимальную концентрацию национальных ресурсов, раньше других использовал науку для создания мощного военно-промышленного потенциала.

Из главных стран западной демократии наиболее глубокие испытания в межвоенные годы выпали на долю научного сообщества США в период экономического кризиса 1929—1933 гг. ("Великой депрессии"), потрясшего основы экономики и финансов крупнейшей капиталистической страны, что эхом отозвалось во всем мире. Фундаментальные науки, а также исследования, связанные с промышленностью, страдали в первую очередь. Промышленности предлагали самой нести груз науки. Ученые в очередной раз осознали, что без помощи государства им не выжить, и прилагали максимум усилий, чтобы добиться бюджетного финансирования. С другой стороны, правительство также вынуждено было искать пути спасения науки, достижения которой оно намеревалось более интенсивно использовать в экономике страны. При правительстве Ф.Д. Рузвельта был создан Консультативный научный совет во главе с президентом Массачусетского технологического института К.Т. Комптоном, который взялся за всесторонний анализ государственной системы

[9] За «железным занавесом». Мифы и реалии советской науки / Под ред. М. Хайнеманна, Э. Колчинского. СПб., 2002.

[10] Академическая наука в Санкт-Петербурге // Отв. ред. Ж. И. Алферов. Ред.-составители Э.И. Колчинский и Э.А. Тропп. СПб., 2003.

науки с целью ее улучшения. Предложенная "Программа возрождения научного прогресса" была направлена на координацию научно-технических усилий в восстановлении национальной индустрии[11]. Программа включала и экстренные гранты помощи для фундаментальной науки. В результате государство стало активнее участвовать в разработке и финансировании научных программ. Неизбежным становился контроль над выделяемыми государством средствами на те или иные проекты, лоббируемые во властных структурах разными группами ученых, подчеркивавших их необходимость для национальной безопасности и процветания экономики. Упрочение грантов как стержня американской системы финансирования науки также пришлось на трудный период начала 1930-х гг. Даже деятельность таких благотворительных фондов, как Рокфеллеровский фонд и корпорация Карнеги, претерпела заметные изменения в научной политике распределения грантов.

Во всех случаях образование новых форм взаимодействия науки и государства было трудным процессом, когда было необходимо найти общий язык между учеными и политиками. В конечном счете, наука не только выжила, но и укрепила свое положение. Правда в СССР ей пришлось для этого пожертвовать независимостью, жизнью многих ученых и, как выяснилось позднее, потенциалом своего развития. Система же взаимодействия науки и государства, установившаяся в США после "Великой депрессии", несмотря на некоторые изменения, в целом сохраняется до настоящего времени.

Вторая мировая война превратила науку в важнейший элемент безопасности государства и придала ей беспрецедентное политическое значение, прежде всего, в Германии, СССР, США и Японии. Исход войны в немалой степени был предопределен отношениями между властью и научным сообществом, складывавшимися как в странах антигитлеровской коалиции, так и в странах, входивших в Берлинский пакт.

В Германии с приходом нацистов к власти была предпринята попытка централизовать научные исследования, превратив науку и высшую школу в инструмент национал-социалистической политики и идеологии. Было объявлено, что «национал-социализм – это биология на практике». Сотни ученых были уволены в результате расовых и политических чисток. Многие из них, включая А. Эйнштейна, эмигрировали. Его «еврейскую» теорию относительности хотели заменить «арийской физикой», пропагандируемой лауреатами Нобелевской премии Ф. Ленардом и И. Штарком. Планировалось создать особые нацистские научные структуры типа фонда СС «Наследие предков».

Однако тотальная нацификация науки провалилась. Для создания нового оружия, будь-то атомная бомба или ракеты, нужна была нормальная, а не арийская наука. Поэтому нацисты, поменяв руководителей на высших этажах руководства науки в главных научных учреждениях и вузах, продолжали

[11] Dupree A. H. Science in the Federal Government: A History of Policies and Activities. Baltimore, 1986. P. 350.

использовать и «белого еврея» физика В. Гейзенберга и настоящего еврея биохимика О. Варбурга. Фактически Третий рейх паразитировал на немецкой науке, используя ученых и структуры, унаследованные от Веймарской республики. В итоге немецкая наука потеряла поколение ученых в результате чисток, эмиграции и огромных жертв во Второй Мировой войне, а также последующей денацификации и «утечки мозгов»[12].

Нарастание военной угрозы позволило советскому правительству уже с 1934 г. начать кампанию по превращению страны в "осажденную крепость", где наука должна была обеспечить военно-технологическое преимущество и тем самым национальную безопасность. Именно в СССР наука впервые стала одним из главных государственных приоритетов. Число научных работников и научных учреждений возросло во много раз и стало потреблять значительную часть национального дохода и ресурсов. Вместе с тем в развязанных властями массовых репрессиях погибло немало ученых, а тотальный контроль над идеологизированной наукой привел к доминированию в некоторых отраслях знания псевдонаучных построений. Война прервала эти негативные тенденции, вывела советскую науку из состояния самоизоляции, восстановила научные контакты советских и англо-американских ученых и завершила формирование Большой науки как важнейшего фактора национальной безопасности.

Война заставила государственно-партийную бюрократию дать научному сообществу новые права, как внутри страны, так и в международном общении. Ученые становились не только консультантами, но партнерами власти при определении научной политики. Они играли важную роль в укреплении союзнических уз, будучи полпредами нашей страны в Америке и Великобритании, создавая у интеллектуальной элиты Запада позитивный образ СССР, оплота демократии и социальной справедливости, заклятого врага фашизма. Военный союз с Великобританией и США предполагал также тесное сотрудничество с учеными этих стран в разработке нового оружия и новых военных технологий. В результате резко возрос социальный статус ученого, а административная верхушка научного сообщества сама стала частью высшей государственной элиты.

Война стала мощным катализатором становления в США системы государственных органов руководства наукой. Еще до вступления в антигитлеровскую коалицию правительство США предприняло ряд организационных мер по мобилизации национальных научно-технических ресурсов. Созданному в 1940 г. Национальному комитету оборонных исследований было дано право использовать для своих нужд не только правительственные лаборатории, но и по контрактам - неправительственные учреждения. В июне 1941 г. для повышения эффективности координации работ военно-оборонного характера было создано Управление научными

[12] Уолкер М. Наука при национал-социализме // Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки / Ред.-сост. Э. И. Колчинский. СПб.:, 2003. С. 701-727.

исследованиями и разработками, которому было поручено подготовить проекты военного значения и ликвидировать разрыв между исследованиями, разработками и производством современного оружия, координируя научно-технические проекты в военных ведомствах и НАСА, а также военно-медицинские исследования.

В исполнительный комитет Управления вошли выдающиеся ученые, которые выступали с инициативными предложениями и решали вопросы о распределении отобранных проектов для реализации между организациями. Среди организованных Управлением работ особое место занимает "Манхэттенский проект", связанный с созданием атомного оружия. Значительные изменения внесла война и в научные исследования военных ведомств США, управлявших армией, военно-морскими и военно-воздушными силами. Созданные в них научно-исследовательские подразделения эффективно действовали во время войны и были сохранены после ее завершения.

Таким образом, ученым Германии, СССР и США удавалось в годы Второй мировой войны доказывать свою необходимость для обеспечения обороноспособности страны. Проекты в этих областях встречали понимание в самых атавистических и тоталитарных режимах. Это заставляет нас по-новому взглянуть на проблему свободы научного творчества в условиях политической диктатуры. Из естественных наук биология в наибольшей степени в XX в. испытала воздействие жесткого административно-государственного управления и оказалась восприимчивой к различным политическим и идеологическим влияниям. Чрезмерная восприимчивость биологии к идеологическим и политическим влияниям породила множество мифов о "мягко" и "жестко" идеологизированных науках, о "героях и злодеях науки", о биологах— "жертвах", "пособниках" и "инициаторах" преступлений тех или иных режимов, об ученых "под Гитлером", "при Гитлере", "с Гитлером"[13].

И в Германии, и в СССР ученые активно включались в экстренную модернизацию экономики, быстрое и коренное преобразование социальной структуры общества, подготовку новой элиты во всех сферах общественной жизни, учитывая массовую поддержку политики правящей партии, внедрение коллективистских форм поведения, повышение роли технократов в выработке общенациональной политики и т. д.[14]. При этом степень свободы отдельных ученых и отраслей знания зависела в значительной мере от государственной значимости проводимых исследований. Не вся наука была репрессирована, некоторые отрасли весьма успешно развивались в результате мощной финансово-материальной поддержки со стороны государства. Вопреки многим

[13] Beyerchen A. Scientists under Hitler: Politics and the Physics Community in the Third Reich. New Haven, 1977; Karter M. Doctors under Hitler. Chapel Hill; London, 1989; Deichmann U. Biologen unter Hitler. Vertreibung, Karrieren, Forschung. Frankfurt; New York, 1992.

[14] Im Dschungel der Macht. Intellektuelle Professionen unter Stalin und Hitler / Hg. D. Beyrau. Göttingen, 2000.

мифам, ученые далеко не всегда были жертвами тоталитарных режимов, а иногда искренне поддерживали поставленные перед ними цели и задачи[15].

«Пролетарская», «диалектическая» биология в России и расовая гигиена, евгеника и антропология в Германии – примеры попыток диалога науки и власти на базе общей идеологии в периоды кризисов. Биологи обеих стран знали, сколь опасна выжидательная позиция. Они активно занимались научной политикой: выступали с проектами и предложениями, боролись за свой статус, вели переговоры, шли на компромиссы, совершали сделки, обзаводились патронами среди новой политической элиты, используя их для решения организационных и финансово-административных вопросов.

Ученые, убеждавшие власти поддерживать науку, должны были вести диалог с ними с использованием понятных им идеологем: "индустриализация", "реорганизация", "ускоренная модернизация", "нацификация" и т. п.[16]. В итоге биологическое сообщество Германии с самого начала продемонстрировало готовность содействовать целям и задачам национал-социализма и приняло основные составляющие его идеологии: народность, расизм, антисемитизм, милитаризм, пангерманизм и вождизм. В свою очередь, многие теоретические понятия биологии (наследственность, раса, чистые линии, гибридизация, отбор и борьба за существование) стали существенными элементами языка идеологии Третьего рейха. "Союз" биологов с нацистами, провозгласившими лозунг: "Национал-социализм— это прикладная биология", был вполне естественен. В нем биология заняла привилегированное место, получила большую государственную поддержку и процветала. Здесь были созданы массовые движения расовых гигиенистов и евгеников, основаны новые фонды, кафедры, институты, научные и популярные журналы[17].

История биологии в СССР и в Германии свидетельствует, что диалог ученых с государственными лидерами возможен даже при различии политических взглядов, если у них общая исходная платформа— вера в усовершенствование общества, достижимое усилиями науки и техники. В конечном счете, технократия и утилитарные соображения определяли научную политику государств и поведение самого научного сообщества[18].

---

[15] Колчинский Э.И. В поисках «советского» союза философии биологии. Дискуссий и репрессии 1920-начале 1930-х гг. СПб., 1999.

[16] Macrakis K. Surviving the Swastika: Scientific Research in Nazi Germany. Cambridge, MA, 1993; Walker M. Nazi Science. New York, 1995, Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalismus. Bestandsaufnahme und Perspectiven der Forschung / Hg. Kaufmann D. Göttingen, Bd 1-2. 2000; Die Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1914-1945 / Hg. Fischer M.W. Berlin, 2000. Macracis K. Surviving the Swastika. Scientific Research in Nazi Germany. New York, 1993; Die Kaiser-Wilhelm / Max-Planck-Gesellschaft und ihre Institute. Studien zu ihrer Geschichte: Das Harnack-Prinzip B.v.Brocker / Hg. H. Laitko. Berlin, 1996; Medizin, Natirwissenschaft, Technik und Nationalsozialismus. Kontinuität und Diskontinuitäten / Hg. Meinel C., Voswinkel P. Stuttgart, 1994; Kater M. Das "Ahnenerbe" der SS 1935-1945. München, 1997.

[17] Proctor R. Racial Hygiene: Medicine under the Nazis, Cambridge (Mass.), 1988; Weindling P. Health, Race and German Politics between National Unification and Nazism. 1870-1945. Cambridge, 1989; Aly G., Chroust P., Pross Ch. Cleansing the Fatherland. Nazi Medicine and Racial Hygiene. Baltomore; London, 1994. P. XII-XIII; Proctor R. The Nazi War on Cancer. Princeton, New York, 1999.

Кризисная ситуация «холодной войны» сильно сказалась на науке в СССР и США. В СССР сложившаяся в 1930 –х гг. система взаимоотношений науки и государства была укреплена и ужесточена, но степень вмешательства партийно-государственного аппарата в науку предопределялась значимостью той или иной отрасли знаний для военно-промышленного комплекса. Задача победить в «холодной войне» требовала возврата к изолированности от научного сообщества Запада[19]. В этой ситуации «железный занавес» и идеология "особости" советской науки обусловили постоянное вмешательство партийно-правительственных органов в деятельность научного сообщества, что привело к доминированию псевдонаучных построений в отдельных областях научного знания. Это вызывало недовольство со стороны ученых. Не случайно именно среди них окрепло диссидентское движение и, в конечном счете, они выступили главной социальной опорой лидеров "перестройки".

Послевоенные реформы науки в США превратили ее в неотъемлемую часть военно-промышленного комплекса и вызвали "охоту на ведьм" в период маккартизма, наглядно показав, что научное сообщество подвергается идеологическому и политическому давлению со стороны власти и в демократических странах[20]. Не только политики, но и многие ученые стремились реформировать науку, чтобы победить в «холодной войне». Эксцессы эпохи маккартизма оказали огромное влияние на ученых и их взаимоотношения с государством, которое было объято страхом перед экспансией коммунизма и преследовало ученых за их прошлые взгляды, политические убеждения или политические высказывания, отличавшиеся от превалировавших в те годы. Правда, это не вело к созданию некой особой «антикоммунистической науки», подобной "мичуринской генетике" или "советскому творческому дарвинизму" в СССР. Деформация науки выразилась, прежде всего, в том, что она стала неотъемлемой частью военно-промышленного комплекса. Даже "дело Оппенгеймера" не удержало ученых от стремления включиться в исследования, связанные с обслуживанием военных ведомств. Они охотно участвовали как в разработке оружия массового уничтожения, включая биологическое, так и в поиске способов их применения, как это было в Корее[21]. Маккартизм не смог заставить большинство

[18] Naturwissenschaft, Technik und NS-Ideologie. Beitrage zur Wissenschaftsgeschichte des Dritten Reichs / Hg. H. Mehrtens, S. Richter. Suhrkamp, 1990.

[19] Herf J. Reactionary Modernism: Technology, Culture, and Politics in Weimar and the Third Reich. Cambridge, 1984; Козлов Б. И. Академия наук СССР и индустриализация России. М, 2003.

[20] Schrecker K. No Ivory Tower. McCarthyism and the Universities. New York; Oxford, 1986; Badash L. Scientists and the Development of Nuclear Weapons: from Fission to the Limited Test Ban Treaty, 1939-1963. Atlantic Highlands, 1995; Wang J. American Science in an Age of Anxiety: Scientists, Anti-Communism and the Cold War. Chapel Hill, 1998; Needel A. Science, Cold War and the American State: Lloyd V. Berkner and the Balance of Professional Ideals. Washongton, 2000.

[21] Endicott S., Hagermann E. The United States and Biological Warfare. Secrets from the Early Cold War and Korea. Bloomington, Indiana, 1998.

американских ученых служить «холодной войне», но он способствовал тому, что многие ученые всецело подчинили свои научные интересы ее задачам.

Несмотря на специфику взаимоотношений науки и государства, или, точнее, науки и власти в каждой стране, существовали некоторые общие алгоритмы. Наука страдает не только тогда, когда общество отказывается ее поддерживать, но и от чрезмерного внимания государства. Необходимы оптимальные взаимоотношения между государственным регулированием и финансированием научных исследований и участием научного сообщества в определении адресатов этой финансовой поддержки и основных направлений научного развития. Однако становление таких взаимоотношений требует огромных усилий со стороны научного сообщества и затягивается нередко на многие десятилетия.

Во время различного рода революций новая власть и общество нередко стремились реформировать науку следующими способами: а) избавиться от неугодных по тем или иным соображениям ученых; б) привлечь на свою сторону тех ученых, которые ей необходимы по политическим или сугубо практическим соображениям; в) воспитать новых ученых, близких властям в социально-политическом плане; г) сократить или трансформировать неугодные научные институты; д) создать новые институты; е) сформировать «идеологически корректную науку», отличающуюся от мировой.

Чтобы выжить в этих условиях и сохранить науку, ученые не могли пассивно ждать помощи от государства. Успех сопутствовал тем, кто постоянно стремился к диалогу с властями, объясняя им важность фундаментальных исследований и, в конечном счете, практическое значение науки как для государства, так и для общества в целом. Особенно восприимчивы были правители к обещаниям ученых создать перспективные технологии и новое оружие, обеспечить захват новых территорий и их быстрое освоение, рост военного могущества и международного влияния, финансово-экономическое процветание, разрешение социально-политических конфликтов, успокоение общества и т.п. Немалое значение имело и то, что в роли главных радетелей за науку в Германии, СССР и США выступали ученые, чьи достижения получили широкое признание, и поддержка таких ученых со стороны правительства способствовала росту его политического престижа как внутри страны, так и за рубежом.

Опыты кризисов во взаимоотношениях науки и власти свидетельствуют о том, что самый жестокий режим готов был к компромиссу с учеными, допуская с их стороны идеологическое и даже политическое инакомыслие в тех случаях, когда считал, что выгода от эксплуатации их знаний или международного авторитета превышает некий дискомфорт от отсутствия беспрекословного послушания и от непривычных нелицеприятных высказываний. Научное же сообщество в целом было готово принимать любую идеологическую риторику, быть "идеологически корректным". Для достижения своих целей ученые

старались убедить власти в необходимости финансировать научные проекты, подогревая их утилитарные настроения. В тех случаях, когда государственный бюджет становился единственным источником финансирования научных исследований, конкуренция внутри научного сообщества за покровительство власть предержащих неизбежно резко обострялась, а лоббирование научных проектов во властных структурах становилось необходимым для выживания. Неизбежны были этические и политических компромиссы.

XX век убедительно показал, что для развития науки была важна не столько политическая свобода, сколько мощная поддержка со стороны государства при условии невмешательства его в профессиональную деятельность ученого. Но такие взаимоотношения в принципе недостижимы. Свобода в профессиональной деятельности, без которой рано или поздно приходят в упадок не только фундаментальные, но и прикладные науки, возможна лишь при наличии множественных независимых источников финансирования, что, однако, чревато распылением средств и отставанием в стратегически важных направлениях, как это произошло с США в создании водородного оружия и в освоении космического пространства в 1950-е гг. Поэтому весьма непросто создать такие оптимальные формы сотрудничества правительства и научного сообщества в распределении имеющихся материальных и людских ресурсов и в координации научных исследований с учетом как общенациональных интересов, так и мировых тенденций научного поиска.

В поиске новых форм взаимоотношений науки и государства каждая из сторон старалась с максимальной выгодой для себя использовать неустойчивость кризисных ситуаций. Государство при этом руководствовалось сиюминутными утилитарными соображениями военно-оборонного, социально-экономического или идеолого-политического порядка, а научное сообщество в целом старалось остаться в русле мировой науки. Национальные науки России и Германии в XX в. развивались относительно успешно, так как сумели адаптироваться к тоталитарной социально-культурной среде. Обе страны в XX в. пережили радикальные изменения в политике и идеологии, с одной стороны, и важные нововведения в организации науки, с другой. Связь между тем и другим не является ни простой, ни непосредственной. Институциональные инновации были ответом на смешанное профессиональное, экономическое и политическое давление. Именно потому, что эти три фактора присутствовали всегда, ни один их них не доминировал.

Когда существовавшие организации, например, Академии наук в России, Германии и США, Общество кайзера Вильгельма в Германии, Институт Карнеги и Рокфеллеровский фонд в США старались адаптироваться к новым политическим обстоятельствам, их значительная институциональная инерция гарантировала, что они будут изменены, а не радикально трансформированы. Каждый режим имел возможность создавать новые организации, но последние

также должны были приспосабливаться к уже существующим институтам и требованиям международного научного сообщества, и в результате никогда не становились настолько новыми, насколько ожидалось. Научные организации и научная политика России, Германии и США и других стран были столь часто новаторскими и эффективными именно потому, что они находились под постоянным влиянием различных сил и часто под значительным давлением. В результате получились научные организации, которые подвергались воздействию почти всех режимов, но не определялись полностью ни одним из них.

Веймарская республика не создала долгоживущих демократических институтов, так же как Третий рейх — фашистских, а СССР - коммунистических. "Великая депрессия" в конце 1920-х гг. в США не прекратила научные исследования, а "экономические чудеса" в послевоенной Германии и Японии не дали ученым всех тех средств, которых они желали. Давление международного сообщества не могло остановить ни репрессии против российских ученых, ни изгнание "неарийских" ученых в первые годы правления национал-социалистов.

Философы и историки науки часто спорят, какие факторы играют главную роль в ее развитии — внешние или внутренние, социальные или когнитивные. Исследование выживания науки в кризисные времена позволит установить разные способы их взаимодействия - как продуктивные, так и деструктивные. Существенные различия в конфигурациях отношений власти и науки в экстремальных условиях открывают многие варианты сравнения науки в различных государствах, переживавших кризисные времена. Выполнение этой задачи позволит перейти от общих утверждений о влиянии социально-культурных и политико-идеологических факторов на науку к изучению конкретных механизмов этого влияния в разные исторические периоды и в разных странах.

КОНЦЕПТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ[1]

Светлана Неретина
доктор философских наук, профессор,
главный научный сотрудник Института философии РАН

Александр Огурцов
Лауреат Государственной премии,
доктор философских наук, профессор,
зав. отделом Института философии РАН

Раздел Ш.
Концепт как ядро политических концепций.

Глава 6. Поворот к модели коммуникации в политических концепциях.

Обычно любые формы знания рассматриваются под углом зрения «истинно»/«ложно» и воссоздания действительности. Рассмотрение научных рассуждений как «языковых игр», осознание их многообразных модальностей – от предписаний до оценок, от приказов до выражения состояний сознания - не только показало неудовлетворительность прежних вариантов исследования и задало совершенно иную перспективу в анализе научного знания, но и потребовало совершенно иного понимания его структуры и форм. Оказывается, что в культуре и в науке, в частности, существенную роль играют не только дескриптивные (информативные, индикативные, фактические, ассерторические – это все разные обозначения одного и того же типа рассуждения), но и оценочные суждения, которые предполагают иные модусы рассуждения и суждения («необходимо», «возможно», «невозможно», «сомнительно», «доказуемо», «недоказуемо», «сомнительно», «хорошо», «плохо», «лучше», «хуже», «предпочтительно», «равноценно», «обязательно» и т.д.). Прежние способы анализа научного знания, при которых оно отождествлялось с совокупностью дескриптивных утверждений, а задача состояла в поиске и в утверждении десигната предиката – факта, ценности, императива, оказались неадекватными, и началась

[1] Работа выполнена в рамках внутреннего гранта Южного федерального университета № 05/6-33, 2007 г. Начало см.: Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. 2009, № 1

разработка новых средств в изучении дискурсивных практик и их новая трактовка.

Наиболее предпочтительными оказались *методы лингвистики*, которые позволили осмыслить культуру и знание как *дискурс* со своей семантикой, своим синтаксисом и своей прагматикой, причем *коммуникативность этого дискурса* и составляет его differentia specifica. Культура и научное знание, в частности, были поняты не столько в контексте бытия, не столько в контексте коммуникаций, сколько как определенное *коммуникативное действие*.

Характеристики знания «обросли» лингвистическими коннотациями, так что освободить современную эпистемологию от языка «трансцендентальной прагматики», как называет свою философию К.-О.Апель, от языка «коммуникативного действия и сообщества» (Ю. Хабермас) уже невозможно. Необходимо отметить, что с самого начала теории коммуникативного действия и коммуникативного сообщества противостояли тем трактовкам знания и сознания, которые редуцировали их к феноменам «личного знания», апеллируя к умению и мастерству и выделяя в нем, подобно тому, как это сделал М.Полани, такие слои, как явное, артикулируемое, центральное знание и неявное, неартикулируемое, скрытое знание.

В противовес «монологической» трактовке знания, при которой акцент делается на невыразимости в словах рассуждения, на необходимости вживания и веры в ту или иную теорию, важности страстности и самоотдачи в познании, на которых настаивал М. Полани, теории коммуникативного действия исходят из «социабельности» любого знания и действия и кладут в основание исследований когнитивных феноменов коммуникативные сообщества разного рода, прежде всего языковые (дискурсивные) коммуникативные сообщества. Знание оказывается одной из функций коммуникативного действия и сообщества, коммуникативность знания предполагает выявление различных форм дискурса – от экспликативного до экспрессивного.

Коммуникативное действие – исходный пункт анализа политических концептов. Исходной посылкой классической гносеологии в ее интерпретации познания была монологичность, или робинзонада, как методологическая предпосылка концепции. С этой особенностью классической гносеологии был связан и акцент на *самосознании*, который присущ классической (особенно немецкой) философии политики.

В 70-80-е годы прошлого века развертываются концепции коммуникативного действия (К.-О.Апель, Ю.Хабермас) – не просто более широкого понимания действия, но и кладущей в свое основание действие, ориентированное на *взаимопонимание*. С этим поворотом в социальной философии и социологии науки коррелировали и попытки перейти в структуралистской теории дискурса к осмыслению взаимопонимания различных акторов – от взаимодействия актеров и режиссуры до трактовки аудитории как акторов, участвующих в действии, от анализа коммуникаций внутри научного сообщества (например, лабо-

ратории) до осмысления методологии как правил дискурса и коммуникаций. Любое социальное действие имеет коммуникативный характер и предполагает признание со стороны другого. Поэтому в состав коммуникативного действия обычно включаются: 1) коммуницирующие субъекты, 2) интерсубъективные смыслы, 3) проект, 4) мотивационный комплекс.

Теория коммуникативного действия строится по образу и подобию теории речевых актов. Моделью коммуникативного действия служит речевое взаимодействие, где существуют акторы – субъекты речевого взаимодействия, которые стремятся достичь согласия, процесс речевого взаимодействия и взаимное признание притязаний на истинность, на правильность и правдивость высказываний. Акторы могут принять в качестве основания своих притязаний совокупность либо состояний вещей, либо межличностных отношений, регулируемых законом, либо субъективных переживаний.

Интериоризация норм осуществляется двояким образом: она может быть основана на убеждении или на санкциях, или на сложном соединении того и другого. Коммуникативное действие предполагает включение принципа универсализации, организации универсального дискурса. В зависимости от вида дискурса отличается и принцип универсализации. Присущая нормам значимость долженствования принципиально отличается от истинностной значимости пропозиций тем, что рациональное согласие – не акт разума, а акт воли, акт коллективного выбора, связанного с соучастием во власти. Тем самым притязания норм на значимость подобна притязанию на власть.

Спор между М.Фуко и Ю.Хабермасом. В этом отношении показательна дискуссия между М.Фуко и Ю.Хабермасом. Каждый из них зафиксировал (естественно, по своему) ведущие темы современного политического сознания (дискурс, власть и властные отношения – это сделал Фуко, коммуникативность социального действия - Хабермас). Каждый из них отрицал и не принимал анализ социально-политических проблем в терминах и модели рефлексивной рациональности и стремился определить политику, исходя из новой коммуникативной парадигмы. И вместе с тем они полемизировали друг с другом, хотя и не публично (их возможная встреча на семинаре в США в начале 80-х гг. так и не состоялась), но в текстах и интервью. Мы не будем касаться их принципиальных различий и совпадений в трактовке политики и философии, в понимании критики и ее функции в политической философии, поскольку этого уже касался В.Фурс,[2] а охарактеризуем несколько существенных пунктов в их понимании коммуникации. Причисляя Ю.Хабермаса к последователям Франкфуртской школы, Фуко замечает, что французская общественность плохо знакома с мыслью этой школы: «я полагаю, что философы этой школы поставили проблемы, над которыми мы еще бьемся, а именно проблему отношения власти и рациональности»[3]. Имея в виду прежде всего книгу Т.Адорно и М.Хоркхеймера

[2] *Фурс В.* Социальная философия в не-популярном изложении. Вильнюс. 2006.С.68 и далее.
[3] *Фуко М.* Интеллектуалы и власть. Ч.2.Статьи и интервью 1970-1984. М.,2005.С. 254

«Диалектика Просвещения», Фуко единодушен с ними в увязывании критики рациональности с критикой просветительской философии, которая считала, что можно достичь свободы с помощью разума, узурпировавшего место свободы.

Между ними налицо явные расхождения: Фуко не приемлет и считает опасным само понятие рационализации, настаивая на том, что надо раскрывать исторические типы рациональности, обращаться не к общим рассуждениям, а «ставить реальные, подлинные вопросы и формулировать их со всей четкостью, со всей сложностью и проблематичностью»[4]. Можно сказать, что Фуко отдает приоритет конкретно-историческим формам рационализации и способам организации «дисциплинарного общества» в разных сферах жизни – от психиатрии до школы, а Хабермас подвергает критике скрытые за принципом рациональности универсалистские притязания на господство. Фуко вполне справедливо упрекает Хабермаса в утверждении утопических элементов политического сознания, поскольку тот говорит об идеальном состоянии коммуникативного сообщества, где истины могут циркулировать беспрепятственно и где отсутствуют отношения власти, что, по мнению Фуко, невозможно. Он даже называет политическую философию Хабермаса утопией коммуникации, обладающей прозрачностью, противопоставляя трансценденталистскому, а тем самым неисторическому, способу мысли Хабермаса свой историцизм и ситуационизм.

Гораздо более критичен относительно Фуко Ю.Хабермас. Он посвящает его критике две главы, выросшие из лекций, в книге «Философский дискурс о модерне» (главу IX – «Критика разума и разоблачение наук о человеке: Фуко» и главу X «Апории теории власти»). Выделим те пункты в концепции власти М.Фуко, которые подвергнуты критике со стороны Хабермаса: a) структуралистско-системное понимание дискурса, что приводит Фуко, по словам Хабермаса, к «абсолютно несоциологическому пониманию социального»[5], в котором центральное место занимают практики «репрессивной изоляции»[6]; b) анализ гуманитарных наук как технологий власти и дисциплинарного насилия; c) наделение современности («модерна») привилегированным статусом, что находит свое выражение в презентизме историографии, т.е. в реконструкции прошлого, исходя из актуальных задач настоящего времени, и в утверждении плюрализма историй (история «должна стать множественной»[7]); d) власть превращается у Фуко в трансцендентальное условие, необходимое для истины, являясь одновременно средством эмпирического анализа технологий власти. Хабермас весьма точно упрекает Фуко в двусмысленном употреблении понятия «власти»: «Оно приобретает, с одной стороны, невинность дескриптивного понятия, применяется для описания и служит *эмпирическому* анализу технологии власти, который, с методической точки зрения, далеко не случайно различают с рациональной, исторически ориентированной социологией знания. С другой сторо-

[4] Там же.С.272,286.
[5] *Хабермас Ю.* Философский дискурс о модерне. М.,2003. С.253
[6] Там же. С.255.
[7] Там же.С.261.

ны, в тайне истории своего возникновения категория власти сохраняет смысл теоретического базового понятия, которым эмпирический анализ технологий власти задает конститутивное значение этого концепта в контексте критики разума, а генеалогическая историография гарантирует, что разоблачит тайны власти».[8] Хабермас подчеркивал, что Фуко запутался в противоречиях, что он возродил те апории власти рефлектирующего субъекта, от которых стремился освободиться, в апориях презентизма, релятивизма и допущения трансцендентальной, бессубъектной воли к власти. Наконец, Хабермас обратил внимание на «демонстративные пробелы в изложении истории системы исполнения наказаний, упуская достижения в либерализации и правовых гарантиях в этой области.[9] Универсализация принудительно-репрессивного характера власти касается и отношения полов, эмансипации женщин, норм воспитания детей и др. Хабермас по сути дела упрекает Фуко в том, что тот, критикуя просветительскую философию рефлектирующего субъекта, остается в ее пределах, превращая отношение субъекта к самому себе в трансцендентально-эмпирическое раздвоение,[10] где власть оказывается безличным условием всех коммуникаций человека и вместе с тем его эмпирическим бытием. Эта же апория относится и к его трактовке дискурса: с одной стороны, власть дискурсивных формаций, в том числе и языка как системы норм, безлична и бессубъектна, образуя условие возможности коммуникаций, а с другой стороны, каждый акт дискурсивных практик предполагает признание со стороны участников коммуникации определенных норм дискурса, возможность их взаимопонимания и понимания другого. Апории концепции власти Фуко во многом коренятся в том, что за точку отсчета было взято речевое сообщество, и дискурсивная формация по сути дела ограничивалось группой, вступающей в дискурс – речевой беседой. Поэтому и выявлялись разные аспекты существования дискурса: дискурс как система безличных норм языка, гарантирующей понимание, с одной стороны, и дискурс как взаимное понимание субъектов коммуникации, - с другой.

Итак, поворот философии к концепциям коммуникативного действия существенно трансформировал философию субъекта: единицей анализа вместо пропозиций стали речевые акты, их пресуппозиции, речевое сообщество стало пониматься как система дискурсивных практик, научный дискурс как совокупность речевых актов, имеющих модальный смысл и направленных на достижение согласия. Коммуникативная природа знания была тем пластом в жизни научного сообщества, который в классическом сознании, отдававшим приоритет рефлексивным механизмам разума, выпадал из поля внимания и исследования, поскольку акцент делался на мыслительную работу ученого, проходящую в уединении, лишь в конце прошлого века оказалась в центре внимания. Прежнее единое дисциплинарное сообщество распалось на множество научных микросообществ, каждое из которых использует свой тезаурус, «говорит на своем

[8] Там же.С.283.
[9] Там же.С.300.
[10] Там же.С.308.

языке», а коммуникации между сообществами предполагают обращение к «зонам обмена», которые в классической философии выпадали из поля зрения.

Ныне возникают *новые формы пересечения областей исследования*, *новые зоны обмена* информацией между учеными. Если ранее в философии науки проводилось размежевание между фундаментальным и прикладным знаниями, а последнее рассматривалось как приложение истин, добытых в фундаментальных исследованиях, то ныне оказывается, что фундаментальное знание вырастает из прикладного, а прикладное знание дает мощный импульс и техническим разработкам, и новым способам теоретической мысли. Это же относится и к коммуникациям между научными микросообществами. М.К.Петров обратил внимание на значение неформального общения ученых, использующих различный тезаурус, которое он назвал «коридорной ситуацией». П.Галисон, анализируя формы организации пространства в лаборатории Ферми, отметил, что наряду со встречами экспериментаторов и теоретиков на семинаре лаборатории, «встречи умов» происходили в кафетерии, комнате отдыха и в аэропортах. Это означает, что существующие в науке «зоны обмена» далеко не институциализированы, что в них велика роль неформальных, межличностных контактов, институциализация которых разрушит один из важных каналов коммуникаций в науке и один из источников научных инноваций. Существенен и тот язык, на котором происходит эта неформальная коммуникация – вырабатывается *особый тезаурус общения* между участниками научного проекта, каждый из которых использует высоко специализированный тезаурус своей дисциплины. Этот тезаурус общения М.К.Петров связывает с тезаурусом, полученным благодаря общеобразовательной школе, а П.Галисон - с упрощенным жаргоном, аналогичным «пиджину» в антропологической лингвистике[11].

Глава 7. Условия коммуникативного действия.

К условиям процесса коммуникации следует причислить иммунитет против подавления и неравенства, симметричность коммуникации, руководство одним мотивом – мотивом совместного поиска истины. Хабермас и Апель допускают существование идеального «неограниченного коммуникативного сообщества». Введение коммуникативного сообщества как предпосылки возможности знания и культуры было начато Ч.Пирсом вместе с понятием «неограниченного сообщества исследователей», Дж.Ройсом – с понятием «сообщества интерпретации», Дж.Г.Мидом – с понятием «сообщества универсального дискурса».

Можно согласиться с теми логико-семантическими правилами дискурса, которые были предложены Р.Алекси:

1. Ни один говорящий не должен противоречить себе.

[11] *Galison P.* Image and Logic. A material Culture of Microphysics. N.Y.,1987; *Галисон П.* "Зона обмена»: координация убеждений и действий// Вопросы истории естествознания и техники. М., 2004. № 1. С. 64-92; *Петров М.К.* История европейской культурной традиции и ее проблемы. М., 2004.

2. Каждый говорящий, применяющий предикат F к предмету а, должен быть готов применить предикат F к любому другому предмету, который во всех релевантных отношениях равен а.

3. Разные говорящие не должны использовать одно и то же выражение, придавая ему различные значения.

4. Каждый говорящий может говорить только то, во что он сам верит.

5. Тот, кто прибегает к высказыванию или норме, не относящимся к предмету дискуссии, должен привести основание для этого.

6. Каждый владеющий языком и дееспособный субъект может принять участие в дискурсе.

7. Каждый может ставить под вопрос любое утверждение.

8. Каждый может вводить в дискурс любое утверждение.

9. Каждый может выражать свои установки, желания и потребности.

10. Никакое принуждение, господствующее вне или внутри дискурса, не должно мешать никому из говорящих реализовать свои права, определенные в пунктах 6 и 7.[12]

Таковы правила и условия дискурса. Они молчаливо принимаются и интуитивно осознаются участниками коммуникации. Само наличие этих правил дискурса и их признание участниками коммуникации означает, что молчаливо признаются условия дискурса, которые сродни принципу универсализации. Универсальная значимость нормы и обусловлена тем, что она признается всеми заинтересованными лицами, всеми участниками дискурса.

Если классическая философия и позитивизм даже в XX в. исходили из размежевания субъекта от объекта, то посылка теории коммуникативного действия состоит в том, что «познание на основе наблюдения, на уровне субъект-объектного отношения, всегда уже предполагает познание как смысловое взаимопонимание на уровне субъект-субъектных отношений»[13].

Вопрос заключается в том, допускают ли трансцендентальные горизонты специфических языковых игр, или речевых коммуникаций, какое-то единство? Возможно ли допущение некоего универсального трансцендентального горизонта? Или нет? Если допускается (эта позиция характерна, например, для разнообразных поисков «универсального языка» в философии Нового времени – от Лейбница до Вико, от Вико до Вежбицкой), то это означает, что возможно и взаимопонимание в межкультурных коммуникациях. Если предполагается многообразие различных языков и одновременно фиксируется единообразие условий жизни, то допускается существование общих парадигм для языковых игр, которые и обеспечивают взаимопонимание. Это означает, что предполагается «языковая компетенция» (Н.Хомский), или «коммуникативная компетенция» (Хабермас), общая для всех людей. Если понятие «языковой компетенции» характеризует скорее процесс усвоения языка, смыслопонима-

[12] *Хабермас Ю.* Моральное сознание и коммуникативные действия. СПб., 2000. С. 137-149.
[13] Там же. С. 206.

ния, а не смыслопорождения, то понятие «коммуникативной компетенции» характеризует не только инварианты «жизненного мира» человека, но и семантико-прагматические универсалии языковой способности и языковой коммуникации.

Использование логики аргументации связано с введением иных исходных единиц анализа – вместо пропозиций речевые действия, вместо синтаксиса и семантики – прагматика, вместо логической необходимой связи внутри пропозиции – притязание на значимость, которое подтверждается в дискурсе. Аргументы и есть те средства, с помощью которых обеспечивается интерсубъективное признание поначалу гипотетических притязаний на универсальную значимость.

Историки политических концепций и философы политики столкнулись с дилеммой: либо допустить возможность рациональных дискуссий и доказательства между сторонниками конкурирующих парадигм, основанную на существовании универсальных посредников коммуникации и рациональных стандартов аргументации, либо исходить из актуальных исторических дискурсивных практик, не допуская при этом никаких стандартов рациональности. Эта дилемма была сформулирована Р.Бернстайном: «либо неизменные стандарты рациональности (объективизм), либо произвольное предпочтение одного множества стандартов или практик конкурирующим множествам (релятивизм)».[14] Универсальным рациональным стандартом (или медиатором коммуникаций внутри научного сообщества), по интерпретации Бернстайна, является разум, запечатленный в социальных практиках и представляющий собой совокупность наилучших из возможных научных аргументов, которые только можно привести.

Идея «присутствующего разума», который избавляет философа науки от впадения в релятивизм, с одной стороны, и в догматизм, с другой, отстаивается и Дж.Александером.[15] «Присутствующий разум» - это совокупность разделяемых и обязывающих норм, общих истин, на которых основывается понимание и взаимопонимание между людьми, тематизация норм и правил коммуникативного понимания, обретение контекстуальной интерпретацией универсалистского значения, осмысление коммуникативных правил в формах обобщенного знания (лингвистики, теории коммуникации и др.), ставших интеллектуальными традициями, методологические правила и стандарты объяснения и согласования научных утверждений (и с наблюдениями, и внутри теории), исследовательские программы, дисциплинарные матрицы. «Присутствующий разум» обеспечивает существование дискурса, релевантного доказательству и критериям научности, признанными научным сообществом, и служит гарантом того, что научные коммуникации не выродятся в болтовню идеологически ангажированных приверженцев той или иной доктрины убеждений. Идея «присутствую-

[14] *Bernstein R.J.* Beyond Objectivism and Relativism. Philadelphia, 1983. P. 68.

[15] *Александер Дж*. Общая теория в состоянии постпозитивизма: «эпистемологическая дилемма» и поиск присутствующего разума // Социология 4М. М., 2004. Вып. 19. С. 182.

щего разума», по словам Александера, нацелена на то, чтобы построить теоретический дискурс «на основе универсального аргумента»[16].

Возрождение идеи «присутствующего разума» не ведет к тому, что осознается иной статус норм в границах коммуникативной рациональности, который принципиально отличен от безличных, самостоятельно сущих, объективно идеальных (методологических, этических и прочих) норм разума: вместо того, чтобы понять нормы как стратегии и ориентации исследований, как методологически регулятивные правила, представленные в исследовательской программе, как способы концептуализации и объединения научного сообщества, как те предпочтения, которые приняты в нем, обеспечивая солидарность и сплоченность научного сообщества, гальванизируется нормативность Разума, присутствующего в научных исследованиях и в коммуникациях между учеными. Иными словами, философия вновь столкнулась с попытками возрождения классического Разума в качестве антитезы его деконструкции.

Философия гуманитарных и социальных наук прошли свой круг – от утверждения универсальных методологических правил до погружения научной рациональности в исторически изменчивые контексты научной коммуникации. Теперь же начинается новый круг – возврата к идее универсальности, поиска универсальных норм и правил, в том числе и научных коммуникаций. Но этот новый круг уже обогащен осознанием того, что собой представляет научная практика, насколько дискурсивные практики «отягощены» процедурами аргументации и интерпретации и не могут быть целиком и полностью редуцированы к методам доказательного знания, сколь трудно достижение согласия в научном сообществе и тем более объективности знания. Примером широкого использования методов включенного наблюдения и аргументативной логики могут служить полевые исследования Б.Латура и С.Вулгара «Лабораторная жизнь».[17]

Глава 8. Концепт как ядро политических концепций. Отличие политической концепции от политической теории

Коммуникативная природа концептов и концепций не позволяет описать их с помощью понятий интенциональной феноменологии, делающей акцент на направленности сознания на вещь и противопоставляющей предметное содержание мысли от актов мысли. Поэтому анализ концепта включает в себя не только отношение "своей" и "чужой" речи в диалоге, исследованное М.М.Бахтиным, но и новые варианты модификации феноменологии - например, "респонсивной феноменологии" (Б.Вальденфельс), где отношение Я и Другого становится центральным, новые варианты трансцендентализма, например, трансцендентальная прагматика языка (К.О.Апель), которая исходит из значимости

[16] Там же. С. 196.

[17] *Latour B., Woolgar S.* Laboratory life: the social construction of scientific facts. London.1979; Латур Б. Дайте мне лабораторию и я переверну мир!//Логос. 2002. № 5-6.

вопросов и ответов для аналитики сознания, из понимания знания как трехместного интенционального акта, опосредованного знаком и включенного в контекст "понятийно-языкового взаимопонимания безграничного коммуникативного сообщества"[18]. Безграничное коммуникативное сообщество заместило собой трансцендентального субъекта, а интерсубъективность значения трактуется как априори идеального коммуникативного сообщества. Уже обращение к прагматике и коммуникативным контекстам функционирования языка позволило Апелю указать на существование "интерсубъективно значимых "сущностных" определений, - не со стороны монологического - по возможности независимого языка - сущностного усмотрения, но - в конечном счете - со стороны *понятийно-языкового взаимопонимания безграничного коммуникативного сообщества"*[19]. Эти формы понятийно-языкового взаимопонимания Апель не называет концептами, для него они включены в общий пласт понятийного языка, фиксируемого в различных аспектах - монологическом и коммуникативном. И все же он фиксирует в языке семантические системные структуры, предопределяющие любое взаимопонимание, а это и есть, по нашему мнению, концепт в отличие от понятия.

Поворот философии к коммуникативным познавательным структурам, к анализу познавательных форм в контексте коммуникационных актов шел параллельно повороту лингвистики к исследованию речи, прагматических контекстов языка, выявлению концептов как смысловых единиц метаязыка. Первый шаг лингвисты сделали в начале 90-х годов - в работах кружка "Логический анализ языка" (под руководством Н.Д.Арутюновой) и исследованиях т.н. "семантических примитивов" А.Вежбицкой, которая выделила около 60 "универсальных атомов смысла", универсальных элементарных концептов, присущих всем естественным языкам. Подчеркнем еще раз, исследования в философии прагматических аспектов языка, включение в орбиту гносеологического анализа коммуникативных характеристик языка и речи *шло параллельно и иногда даже с опережением* лингвистических исследований концептов. Лингвистический анализ концептов при всем различии исследовательских программ, движимых либо лексикографическими, либо культурологическими интересами, в конечном счете было обусловлен переходом от логики искусственных языков, сконцентрированных преимущественно на синтаксисе, к логическому исследованию естественного языка, где приоритет отдается уже проблемам семантики и прагматики языка.

Итак, концепт можно охарактеризовать как смысловую форму, возникающую и функционирующую в смысловом поле естественного языка, в контекстах дискурсивных практик (от речи до текстов). Он взаимоинтенционален, поскольку взаимоинтенционален любой акт речевой коммуникации, он многомерен и исполнен смысловой напряженности, поскольку является выражением

[18] *Апель К.- О.* Трансформация философии. М.,2001.с.258.
[19] Там же.

ценностных ориентаций и предпочтений участников коммуникативных актов, нагружен их интерпретациями. В этом их принципиальное отличие от понятия, логическое значение которого всегда всеобще, не зависит от естественного языка и однозначно выражают логические отношения в идее, в идеальном бытии. Смысл же концепта всегда субъектен. В этой связи можно напомнить слова Г.Г.Шпета, сказанные, правда, относительно выражения субъектности в языке: "О чем бы нам не сообщал известный "субъект", что бы он ни передавал в своих словах, так или иначе в них может сказаться также личность или субъективные свойства самого рассказчика. "выражении" его лица, в его речах, в тоне, характере, темпе, в самом подборе слов сказывается и он сам. Есть специальные словесные средства и формы, выражающие внутренние чувства, настроения, внутреннее отношение вообще субъекта к передаваемому им содержанию, такова, например, образная или фигуративная речь, взволнованная, спокойная, мягкая, резкая, радостная, грустная, изысканная и пр. и пр. Во всех этих случаях человек передает не только *нечто*, но и "выражает" также произвольно или непроизвольно, свое отношение к этому нечто, так или иначе реагирует на него""[20]. Объективирующий дискурс, или как его называет Шпет, терминативная речь, стремится элиминировать субъекта, освободиться от выражений говорящего о самом себе, о своих намерениях и т.п. Терминативная речь присуща науке. Фигуральная - риторике. Поэтому в риторике и предпринимались первые попытки осмысления роли тропов, особенно метафор. Поворот философии к неориторике, возникновение логики аргументации, анализа повествования и дискурса не только существенно расширил репертуар языковых средств, ставших предметом исследования, но и кардинальным образом сместил акценты: теперь уже объективирующий дискурс (или терминативная речь) оказался частным и даже вырожденным случаем всего богатства прагматики языка.

Концепция (от лат. conceptio - схватывание). Изначально термин "концепция" в латинском языке означал "слоги, то есть связи, или концепции, потому что они схватывают, или соединяют буквы". Затем это слово стало понятием философского дискурса, который выражает или акт схватывания, понимания и постижения смыслов в ходе речевого обсуждения и конфликта интерпретаций, или их результат, представленный в многообразии *концептов*, не отлагающихся в однозначных и общезначимых формах понятий. Часто термин концепция отождествляется с такими терминами, как "идея", "система", "теория" в широком смысле слова, что, на наш взгляд, неправомерно. Концепция связана с разработкой и развертыванием *личного знания*, которое в отличие от теории не получает завершенной дедуктивно-системной формы организации и элементами которого являются не идеальные объекты, аксиомы и понятия, а *концепты - устойчивые смысловые сгущения*, возникающие и функционирующие в процессе диалога и речевой коммуникации. Не случайно Д.М. Армстронг назвал кон-

[20] *Шпет Г.Г.* Язык и смысл//Логос. 1996. №7. С.114.

цептами любые формы предикации. Концепции, приобретая пропозициональную форму теории, утрачивают свою сопряженность с коррелятивностью вопросов и ответов, образующих определенный комплекс. Концепции коррелируют не с объектами, а с вопросами и с ответами, выраженными в речи, и смысловыми "общими топосами", признаваемыми участниками диалога. Референциальное отношение к предметам в них опосредовано речью Другого и моей речью, ориентированной на Другого. Каждый элемент концепции коррелирует не с объектом, а с целостностью личного опыта.

Концепт составляет ядро концепции, которая, претендуя на общезначимость, все же несет на себе отпечаток личности, его взглядов, установок, способов постановки и решения проблем. В лучшем случае концепция интерсубъективна. Будучи «растиражированной», концепция превращается в идеологию микросообщества и социальной группы. Социально-политическое познание не может не существовать в многообразии концепций, которые все и благодаря своему множеству могут репрезентировать социально-политическое бытие. Отсекая в ходе конкуренции ту или иную концепцию, мы раскалываем то зеркало, в которое глядимся. Как известно, политическая борьба различных микрогрупп обычно и связана с превращением защитников других концепций в своих оппонентов и даже врагов. В этом исток не только догматизации той или иной социально-политической концепций, но и деформирующего влияния политической конкуренции на самосознание общества. Теория в строгом смысле слова всегда связана с построением идеальных объектов, с выявлением их связей между собой, с пониманием знания как дедуктивно построенной системы, где одна теорема выводится из другой. Так были построены «Начала» Евклида. Так была построена механика Ньютона. На такое же построение претендовали структурно-функциональный анализ социального действия Т.Парсонса, но таковым он не являлся. Для любой социально-политической концепции важен тот контекст, в котором она формируется и существует.

Уже в средневековой философии оппозиция "доктрина - дисциплина", возникшая в контексте устного обучения, где одна сторона характеризует знание для обучающего, а другая - для обучаемого, была восполнена Петром Абеляром схоластическим методом "Да" и "Нет", что не только углубило антиномии религиозности, но и вынудило комментирующий разум обратиться к герменевтике как искусству истолкования и к осмыслению особенностей знания, функционирующего в речевом обсуждении и конфликте интерпретаций. Философия Нового времени, ориентировавшаяся на построение теории, сначала полностью освободила знание от его коммуникативных связей и особенностей и свела идею концепта к понятию, а концепцию - к теоретико-системному знанию. В XX в. концепция связывается с символизацией личностного перцептивного опыта через воображение (С. Лангер), через метафору (Х. Блюменберг) или через систему тропов (Х. Уайт). В современном постмодернизме (Ж. Делез, Ф. Гваттари) философия понимается как "творчество концептов", противопостав-

ляемых понятиям науки. Концепты, понятые как ядро концепции, рассматриваются ими как "нечто внутренне присутствующее в мысли, условие самой ее возможности, живая категория, элемент трансцендентального опыта", как "фрагментарные единства, не пригнанные друг к другу, так как их края не сходятся", научающие нас пониманию, а не познанию, как "архипелаг островов" смысла.[21] Коммуникативная природа концептов и концепций не позволяет описать их с помощью интенциональной феноменологии, делающей акцент на направленности сознания на вещь. Поэтому наряду с концепцией диалога (М.М. Бахтин, В.С. Библер), где концептуальным ядром выступает произведение, существует и "респонсивная феноменология" (Б. Вальденфельс), исходящая из отношений Я и Другой, из значимости вопросов и ответов для сознания, а ныне развивается трансцендентальная прагматика языка (К.О. Апель), теория речевых актов (Д. Серль), теория коммуникативного действия (Ю. Хабермас), сопрягающие формы сознания с формами коммуникаций.

Раздел IV.
Сами концепты.

Глава 9. Концептуализации управления, права и собственности.

Отношение «господин – раб» («властелин- слуга»). О нем, например, идет речь в Аристотелевой «Политике», объединяющей в себе темы экономики, наилучшего образа правления, общей теории полиса, реальных видов управлений и идеального вида. Аристотель, как и мы, считает, что всегда испокон веку люди не были довольны своим государством, а потому надо понять, что оно такое по природе и каким могло быть. При чтении «Политики», которую Аристотель называет «эксотерическим рассуждением» (1322 а 22), где говорится о том, что «человек – существо полисное» (1253 а 3), или «общественное» (1253 а 8), иногда возникает неудовлетворенность, ибо читаешь во многом известное, и удивление, ибо известно такое же, что вызывает ненависть и удивление по сей день: при попытках сохранить застойную или неправедную власть администрация подсылала подслушивателей в дружеское собрание или на встречи (у нас называемых стукачами, люди из опасения их отвыкали свободно обмениваться мыслями), подстрекала людей к взаимной вражде, сталкивала друзей с друзьями, простых и знать, богатых с богатыми, вызывая взаимное недоверие и лишение политической энергии (1314 а).

Неудовлетворенность снимается только тогда, когда вдруг осознаешь, что все это было впервые. Впервые были выделены типы правления, впервые даны определения и этих форм правления, и того, что такое гражданское общество,

[21] *Делез Ж., Гваттари Ф.* Что такое философия? СПб., 1998.С. 49.

которого у нас до сих пор нет, потому что люди у нас наделены гражданством, а не являются гражданами по природе.

Речь ведется о трех видах политических устройств – монархии, аристократии и политии. Обычно в школьных курсах называют вместо политии демократию. Это совсем не так, ибо полития (политический строй) – это распорядок в области организации должностей в полисе, создающийся на основании сознания общей пользы для создания прекрасной жизни. Термин «полития», когда *ради общей пользы правит большинство* и которую нередко путают с демократией, часто применяется у Аристотеля и для общего обозначения всех видов госустройства. От этих трех основных видов отклонились тирания, олигархия (основанная на богатстве) и демократия (основанная на бедности). За исключением аристократического устройства, все остальные живы до сих пор, сопротивляясь отрицанию Штраусом историзма: история как раз высветила ту константу, то неотменимое в самой жизни и философии, на что направлены были усилия мысли и человеческого делового опыта. При этом Аристотель описал как практически применимое смешение разных политических устройств или их вырождение одно в другое: демократии в олигархию, монархии в тирании…

До сих пор актуальны его размышления о том, что наибольшая собственность не должна превышать более, чем в определенное число раз (он считает, что в 5 раз) наименьшую собственность, что у толпы распри происходят из-за имущественного неравенства, а у людей образованных – из-за почестей. А потому, если бы кто-нибудь пожелал найти радость в себе самом, ему пришлось бы прибегнуть только к одному средству – философии, так как для достижения остальных средств потребно содействие людей. Слова о том, что величайшие преступления совершаются из-за стремления к избытку, а не к предметам первой необходимости, что зачинщиками возмущений бывают одаренные люди, поскольку возмущаются равенством, считая его недостойным себя, читаются как строки из современных СМИ. Поскольку человеческая порочность ненасытна, то значение имеет не имущественное равенство, и устроить надо так, чтобы люди достойные не желали иметь больше, а недостойные не имели к тому возможности. Так же читаются и фразы о необходимости учета военной мощи, что законы надо излагать в общей форме, в то время как человеческие действия единичны.

Аристотель сообщает сведения о политических устройствах «как существующих в действительности, так и оставшихся только в проектах» (1274 b 27), обращая внимание на необходимость строгого разграничения понятий, которые одни и те же по форме меняют свое содержание в разных политиях. Так, например, кто в демократии гражданин, в олигархии уже не гражданин; поскольку же, как правило, эти два вида устройства смешиваются, то, если эти понятия не разграничены, то возникает много трудностей при разрешении вопросов. Гражданином, по Аристотелю может считаться тот, кто участвует в законо-

совещательной или судебной власти, чья деятельность направлена на служение добродетели, граждане должны быть свободны от забот о предметах первой необходимости, кто имеет доступ к какой-либо должности. Поскольку гражданином может быть только тот, кто имеет досуг, ремесленники не могут быть гражданами (1278 a 5 – 10), хотя это, по Аристотелю, трудноразрешимые вопросы, ибо речь идет о профессиональном отношении к делу. К трудноразрешимым вопросам Аристотель относит и вопрос о единстве и размерах государства (Вавилон три дня уже был как взят, а часть жителей об этом не знала), и вопрос о природе взросления некоей политии – одно ли и то же государство, если прошли три поколения? Реки называем, хотя вода разная.

К добродетели гражданина относится способности и властвовать и подчиняться.

Не сторонник ни демократии, ни олигархии, Аристотель все же считает, что править должно большинство. Он объясняет это тем, что большинство людей, каждый из которых сам по себе может и не быть дельным, объединившись, окажется лучше тех же самых граждан, если бы они действовали порознь. Но в этом заключается специфическая трудность: каждого из большинства небезопасно подпускать к управленческим должностям, но не менее безопасно от участия отстранять. И поскольку должности, необходимые для обслуживания большинства, такие как врач или кормчий, должны занимать знатоки, то, исходя из этой позиции опыта и знания, предоставлять народной массе решающий голос небезопасно (1281 b 25 – 1282 a 10). Потому вопрос о равенстве или неравенстве – специфическая трудность политической философии (1282 b 20 - 25), ибо стремление повсюду соблюсти равенство, основанное на ошибке в *первоначале* может привести к плохому исходу, ибо из равенства по рождению (все участвующие в Народном собрании – свободнорожденные) делают вывод о равенстве вообще. Этот вывод сделает Гоббс в XVII в. Возражение против вероятности такого равенства, пишет он, основано на «суетном представлении о собственной мудрости, присущее людям, полагающим, что они обладают мудростью в большей степени, чем простонародье, т.е. чем все другие люди кроме них самих и немногих других, которых они одобряют… Но это обстоятельство говорит скорее о равенстве, чем о неравенстве людей в этом отношении, ибо нет лучшего доказательства равномерного распределения какой-нибудь вещи среди людей, чем тот факт, что каждый человек доволен своей долей».[22] В условиях, однако, всеобщего равенства и правообладания, прав всех на все право, по Гоббсу, – пустой звук, реально приводящий к отрицанию права. Выход Гоббс видит в замене естественного права, понимаемого как «свобода всякого человека использовать свои собственные силы по своему усмотрению для сохранения своей собственной природы, т.е. собственной жизни», естествен-

[22] *Гоббс Т.* Левиафан. М., 1936. С.113.

ным законом, то есть разумным ограничением этого права в целях обеспечения жизни и покоя[23].

Гоббс видит различие между правом и законом, что обычно смешивается, в том, что первое «состоит в свободе делать или не делать», а второй «определяет и обязывает к тому или другому члену этой альтернативы, так что закон и право различаются между собой так же, как обязательство и свобода, которые несовместимы в отношении одной и той же вещи».[24] Добровольное отчуждение или перенесение прав в пользу другого означает, что отчуждающий права в принципе не интересуется тем, кому их передал, а передающий права желает, чтобы оно досталось кому-то или чему-то определенному. Перенос прав на государство означает полное и безоговорочное повиновение этому государству, точнее сам перенос прав и есть государство. А так как права человека безграничны, то и права государства безграничны. Потому подчинение власти безусловно в силу делегирования ей прав.

Гоббс игнорировал такую форму правления, как демократия. Поэтому при определении и утверждении естественного равенства для него не составляло никакого труда опираться на естественный разум и искусство общежития, заключающееся в практическом отчуждении прав властным органам, которые обязывают людей повиноваться любым властям. Однако Аристотель жил в ситуации политического разноправия, потому ошибки в определении равенства казались ему чреватыми переворотом или нарушением системы правления. Именно поэтому, пишет Аристотель, – и мы в этом с ним солидарны, –необходимо теоретическое знание предпосылок для наилучшего правления, которое подходил бы для всех политий, хотя «в теоретических построениях нельзя искать той же точности, какая требуется при наблюдении над тем, что доступно исследованию путем опыта» (1238 a 20).

Будучи, повторим, сторонником аристократического правления, то есть правления свободнорожденных, благородных, богатых и знающих людей, Аристотель обосновывает это свое мнение анализом других форм правления, прежде всего демократических, поскольку долгое время жил в демократических Афинах. Он предостерегает от определения демократии как такого вида правления, при котором верховная власть сосредоточена в руках народной массы с таким органом управления, как советы, утрачивающие, однако, свое значение там, где всеми делами занимается народное собрание. Ибо считается, что и в олигархиях власть принадлежит большинству, хотя реально она сосредоточена в руках богатого меньшинства. Олигархическим строй является по укладу и господствующим обычаям, а по законам он демократический. Часто такое происходит после политических переворотов. Свобода и равенство – основные признаки демократии – часто толкуются как возможность делать всякому что угодно, не считаясь с полисом. Этим пользуются демагоги, которые начинают

[23] Там же. С.117.
[24] Там же.

властвовать над мнением народа. Возводя обвинения на должностных лиц, говорят, например, что их должен судить народ, который охотно верит в это. Таким образом происходит или может произойти подмена исконного закона властными решениями заинтересованных лиц, а народное собрание занято частными вопросами. Рассуждая о наказании преступников, он, например, считает, что конфискации надо производить не в пользу общественной собственности, что реально может вести к ее перераспределению, а делать конфискованное священной собственностью, тогда вынесение приговоров будет легче и справедливее, ибо никто не получает выгоды (1320a 10). Но при любом строе погоду делают средние люди со средней собственностью (1295b 30 - 40). Что касается правонарушений, то Аристотель считает их чем-то «вроде софистического вывода: если каждая отдельная часть мала, то и целое невелико. А это отчасти так, отчасти не так: ведь целое, взятое во всей его совокупности, не мало, оно лишь состоит из мелких частей. Таким образом, должно прежде всего остерегаться такого начала, а затем уже не верить тем софизмам, которые составляются для обмана народной массы». (1307b 35 – 1308a 5).

Ибо что представляла собой древнегреческая полития (так называлась любая форма правления вообще)? Прежде всего и изначально полития – это форма *общения* свободных людей, которая охватывает собой все остальные формы общения. (1252a 1 - 10). Таких людей Аристотель называет государственными общниками (koinōnoi, 1261a), то есть имеющими отношение к общему благу, а не к высшему, кафолическому. Это «общение родов и селений ради достижения совершенного самодовлеющего существования, которое… состоит в счастливой и прекрасной жизни» (1281a 1 - 5). Человек способен по природе к такому объединению, потому что ему дана речь, то есть то, что позволяет обращаться к другому и понимать его, мысль и способность тем самым восприятия добра и зла. Более того, полисное единство первично по природе как целое, которое предшествует части. Человек, по Аристотелю, может быть завершен только в полисе, это человек-полис, обладающий наибольшим единством.

Цель Аристотеля – исследовать человеческое общение в наиболее совершенной форме. Поскольку совершенное общение происходит в полисе, то он и желает исследовать разные виды его устройства. При том, что общество есть единство, то немаловажно рассмотреть вопрос о том, что такое полисное единство. «Государство, - по мысли Аристотеля, - при постоянно усиливающемся единстве перестает быть государством. Ведь по своей природе государство предстает неким множеством» (1260и 15 – 20). И хотя государство мыслится как семья, а семья как один человек, все же оно состоит из множества людей с разными качествами. Поскольку государство не военный союз и не объединение многих народов (федерация), то оно должно руководствоваться принципом взаимного воздаяния; этот принцип должен существовать между свободными и равными, так как все они хотят управлять, но не могут делать это

одновременно, но периодически. «Таким образом, оказывается, что правят все, как если бы сапожники и плотники стали меняться своими ремеслами и одни и те же ремесленники не оставались бы постоянно сапожниками и плотниками» (1260a 30 - 36).

Сказанное свидетельствует о сильном влиянии Аристотелевой идеи на ленинскую мысль о том, что каждая кухарка может управлять государством. Это очевидно демократический принцип Афинской политии, хотя, как считает Аристотель, сторонник аристократического правления, «было бы лучше, если бы правили, насколько это возможно, одни и те же люди» (там же). Но «равные уступают место равным, как будто они подобны друг другу и помимо равенства во власти. Одни властвуют, другие подчиняются, поочередно становясь *как бы другими*» (там же). Это «как бы другие» свидетельствует, что властвование и подчинение наличествует в одном и том же носителе, который в зависимости от обстоятельств может попеременно быть то тем, то этим. Такое многообразие свойств есть указание на универсально-понятийное мышление (свойства которого описал М.К.Петров[25], прежде всего возможность в одном субъекте совмещения разных профессий, каждая из которых подчиняется той, что востребована здесь и теперь) и есть свидетельство логической трудности исполнения этой двойственности, представленной в одном. Субъект осознается Аристотелем подвижным местом контакта «текучего», как говорил Петров, «мира деятельности»[26] и неизменности знакового мира, которым является полис. «Можно и другим способом *доказать,* - пишет Аристотель (выделено нами. – *Авт.*), - что стремление сделать государство чрезмерно единым не является чем-то лучшим», например тем, что «семья - нечто более самодовлеющее, чем отдельный человек, полис – нежели семья, а осуществляется государство в том случае, когда множество, объединенное государством в одно целое, будет самодовлеющим» (1261b 10 - 13). При этом стоит учитывать, что с укрупнением единицы, степень ее единства уменьшается. Нет ничего более единого по степени единства, чем человек, и нет ничего менее единого, чем он, по степени общения. Потому «если более самодовлеющее состояние предпочтительнее, то и меньшая степень единства предпочтительнее, чем большая» (1261b 13 - 15).

Даже если единство государства будет доведено до крайних пределов, «все равно о таком единстве **не** будет свидетельствовать положение, когда все вместе будут говорить: “Это мое” и “Это не мое”, тогда как именно это Сократ (в диалоге «О политическом строе», в русском переводе носящем название «Государство». - *Авт.*) считает признаком совершенного единства государства» (1261b 15 - 20). Выражение «всё» двусмысленно, считает Аристотель. Если под ним понимать «каждый в отдельности», то совершенства можно достигнуть быстрее. Это связано с тем, что понимать под собственностью. Аристотель в отличие от Сократа понимает собственность как частную, принадлежащую кому-

[25] См.: *Петров М.К.* Язык, знак, культура. М., 1991 (глава «Генезис европейского социального кодирования» и др.)
[26] Там же. С.212.

нибудь одному, единственно дозволяющей сказать «Это мое», ибо общая («наша») собственность предполагает «наименьшую заботу. Люди заботятся всего более о том, что принадлежит лично им; менее заботятся они о том, что является общим, или заботятся в той мере, в какой это касается каждого. Помимо всего прочего люди проявляют небрежность в расчете на заботу со стороны другого…». (1261b 34 – 1262a).

Под этими словами можно подписаться сейчас, они и сказаны так, как если бы были применимы к настоящему моменту. Бибихинское отношение к собственности как своему, как к свободе – родом отсюда. Переживая коллапс с собственностью, не умея ее определить, мы, прежде ее не имевшие, и сейчас не умеем ее ни защитить, ни назвать своей. Как номинальные владельцы земельных участков, мы уже трижды меняли свидетельства о собственности, и не уверены, что поменяли его в последний раз. Лучший пример – «дело Ходорковского», от которого осталась оскомина, ибо была на не проясненных основаниях отнята собственность, еще не успевшая осознать себя как собственность. Перераспределение этого имущества, потребовавшего участия огромного аппарата государственного насилия, заставило вспомнить старое прозвище России как «тюрьмы», в данном случае не важно кого или чего, в то время как признание этой собственности, пусть в виде природного дара, что Аристотель считает истинным ее основанием, дало бы хоть надежду на близость права, на правовую охрану и тогда уже на приближение к собственной сути.

Аристотель настаивает именно на термине «полис», который нельзя переводить как «государство». «Неправильно, - пишет он, возражая Сократу и Платону, - говорят те, которые полагают, что понятия “государственный муж”, “царь”, “домохозяин”, “господин” суть понятия тождественные. Ведь они считают, что эти понятия различаются в количественном, а не в качественном отношении; скажем, господин – тот, кому подвластно небольшое число людей; домохозяин – тот, кому подвластно большее число людей; а кому подвластно еще большее число – это государственный муж или царь» (1252a 5 - 10). «Это, однако, далеко от истины», - говорит Аристотель (1252a 16). Эти слова можно повторить, рассмотрев наше российское понятие государства, накрепко связанного со своим синонимом «царь». Сказки начинаются со слов «в некотором царстве, в некотором государстве», где эти слова – суть одно. Однако у нас они столь тесно связаны с понятием страны, что вошли в глубины российской ментальности, если мы не слышим между ними никакого различия, кроме звукового. Но и в нем не отдаем себе отчета, ибо спокойно говорим о *демократическом государстве*. Как если бы было возможно отождествить власть народа с единоличной властью царя. Лишь в последнее время эти слова стали осознаваться как оксиморон, правда осознание это едва брезжит. Некоторые (не все) люди вдруг почему-то возмутились, когда государственный деятель Б.Е.Немцов назвал Б.Н.Ельцина «царем Борисом», хотя глава государства есть в нашей, российской традиции царь-государь, да и время от времени возникающие идеи

возвращения монархии на деле есть не что иное как вытеснение на поверхность того, что было загнано глубоко внутрь.

Аристотель жестко различает эти формы правления. Пользуясь методом расчленения сложного на простые элементы, «мельчайшие части целого» (там же), он находит «наилучший способ теоретического построения», состоящего «в рассмотрении первичного образования предметов» (1252a 25). Такой метод позволил Аристотелю различить естественное (неосознанное) от «сознательного решения». К естественному стремлению он относит попарное существование мужчины и женщины, объединенных для продолжения рода. А к «сознательному решению» - парное существование господина и раба, где под господином понимается существо властвующее, по природе не только сильное, но нравственное и умное, способное к предвидению, а под рабом - существо подвластное, не способное к такому решению. В таком случае господином оказывается не тот, у кого больше подвластных, а тот, кто по природе обладает моральной и физической силой и умом. Именно качества морального ума-предвидения обозначает границу между господином и рабом.

Такое различие Аристотель полагает свойством природно развитой гражданственности, ибо он отрицает такое свойство у варваров, у которых, как он пишет «женщина и раб», которые «по природе своей два различных существа», «занимают одно и то же положение, и объясняется это тем, что у них отсутствует элемент, предназначенный по природе своей к властвованию. У них бывает только одна форма общения – общение раба и рабыни». Здесь однозначно заявлено специфическое горделивое отличие эллина от неэллина, но не менее существенно и то, что заявлено оно не на основании этнических различий, а на основании осознанного отношения к общению, основанному на отправлении властных функций, на признании общественных властных отношений первичными относительно естественных.

На этом различии зиждется возможность *совмещения разных правлений внутри одного полиса*. Так, в семье, которая есть естественным путем возникшее общение для удовлетворения повседневных надобностей, или в колонии семей (селении) естественно явление царя, ибо «во всякой семье старший облечен полномочиями царя» (1252b 22). Именно семья представляет два элемента: свободного, то есть господина и раба, мужа и жены, отца и детей. Одна власть над рабами, другая власть над свободными по природе. Однако Аристотель представляет и другое мнение, согласно которому власть господина над рабом противоестественна и основана на насилии, то есть на несправедливости. Это позволяет Аристотелю считать варваров как бы младшими по возрасту, ибо они повторяли в аристотелево время способ властвования, который был у греков в древние времена.

Из селений возникает полис как естественное завершающее общение. Отсюда и вывод о человеке как полисном существе, изначально, по природе, обладающем нравственностью, являющейся основанием права и собственности.

Живущего вне полиса Аристотель называет либо недоразвитым, либо сверхчеловеком, без роду, без племени, вне законов и дома, жаждущего войны. Это «отдельная пешка на игральной доске». Полис же – целое, уподобленное живому существу.

Через 20 с лишним веков Гоббс скажет, что вещи – всегда единичны, универсальны только имена вещей. Аристотель, похоже, придерживается иного мнения, считая, что человек именно как человек неотъемлем от речи, а потому он как таковой, то есть обладающий речью как любым другим органом тела, есть универсальное существо. Это чисто концептуальное понимание – общего в вещи. Полис – завершенное выражение этого универсального существа. «Уничтожь живое существо в его целом, и у него не будет ни ног, ни рук, сохранится только наименование их» (1253a 20 - 21).

Показав, что полис по природе связан с правом, Аристотель начинает объяснять способы связи полиса с собственностью, которую он рассматривает как «часть дома» и «часть семейной организации» (1253b 20 - 25). Рассуждения о собственности важны потому, что именно они объясняют, кто по природе является свободным, а кто рабом. В любом доме есть предметы первой необходимости, создающие саму возможность не только хорошо жить, но и просто жить. Собственность, по определению Аристотеля, это «орудие для существования». Собственность – не домохозяйство, поскольку собственность относится к искусству приобретения средств, а домохозяйство к искусству пользования ими. Владелец или господин орудий различает орудия одушевленные и неодушевленные. Для кормчего рулевой – орудие одушевленное, а руль – неодушевленное. Для любого владельца собственности ее создатели – орудия одушевленные, а результаты создания, изделия, - неодушевленные. Одушевленные орудия – посредники между изделиями и господином. Орудия относятся к продуктивной деятельности, то есть пойетике, а собственность как таковая является орудием активной деятельности. Жизнь – активная деятельность, а не продуктивная. Раб, собственность, то есть продуктивная деятельность, служит жизни, то есть деятельности активной, являясь ее частью – частью целого. Соответственно собственность есть часть чего-то другого и немыслима без этого другого, потому господин не принадлежит рабу, а раб принадлежит господину.

Это значит, что свободный – тот, кто по природе не принадлежит никому, то есть тот, кто не занимается ремеслом, создающим орудия, а раб – тот, кто по природе работает на кого-либо, даже если он создает высокие произведения искусства. Он тем самым принадлежит не самому себе, а другому, поскольку призван к созданию орудий, служащих кому-либо, а соответственно сам является собственностью кого-либо по причастности орудия чему- и кому-либо. Потому властвование и подчинение природно необходимы, и это единство властвования и подчинения наблюдается даже, если рассмотрению подлежат не два существа, а одно. Душа живого и не извращенного природой существа осуще-

ствляет господскую власть над его телом, а разум полисную, как государственный муж.

В отношениях между господином и рабом господин олицетворяет политическую деятельность, поскольку обладает рассудком, которым не обладает раб, способный только к пониманию. Раб, по Аристотелю, повторим и проартикулируем, - тот, кто способен нечто исполнять, и это его природное свойство. Аристотель упоминает и о существовании рабства по закону. Оно «является своего рода соглашением, в силу которого захваченное на войне называют собственностью овладевших им». Свое отношение к такого рода рабству Аристотель выражает резко, хотя и не персонифицированно: «Это право *многие* причисляют к противозаконiям из тех, что иногда вносят ораторы: было бы ужасно, если бы обладающий большой физической силой человек только потому, что он способен к насилию, смотрел на захваченного путем насилия как на раба и подвластного себе» (1255a 5 - 11).

Обратим внимание еще раз: раб (слуга) – тот, кто по природе не обладает стремлением властвовать, обладая ремесленными способностями, служащими для удобства жизни других людей, господин – тот, кто занимается политикой и философией (1255b 35). В силу такого распределения полисных сил Аристотель «вообразил» как науку о власти господина, так и науку о рабстве, «последнюю – вроде той, какая существовала в Сиракузах, где некто обучал людей рабству: за известное вознаграждение он преподавал молодым рабам знания, относящиеся к области обычного рода домашних услуг» (1255b 20 - 26), нечто вроде нашего фабзавуча или ремесленного училища.

Само соединение политики и философии как удела свободного определенным образом уравнивает оба этих способа жизни, поскольку оба свидетельствуют о свободе от *раб*оты, под которой понимался физический труд. Сын каменотеса Сократ, отказавшийся от идеи изгнания, свидетельствовавшего бы о его принадлежности к недоразвитым или сверхчеловекам, рассудительною силой Аристотеля причащался сословию свободных властвующих людей.

Вся «Политика» в известном смысле спор с Сократом. Аристотель словно проигрывает заново все его рассуждения, взвешивая на весах правильности разные мнения. Так, рассуждая о справедливости, Аристотель приводит и мнение Сократа о справедливости как о благоволении к людям и мнение его оппонента Фрасимаха о ней как выгоде сильнейшего, а рассуждая о благородстве происхождения, приводит мнение Анита, будущего судьи Сократа, о том, что от хороших родителей происходит хорошее, и Сократа, что природа стремится к этому, но не может этого достигнуть. Аристотель на основании *своего* метода диалектически рассудил, что противоположные мнения не убедительны одно без другого. Убедительности способствует применение любой вещи на деле, с каковой мыслью мысленно же согласился бы впоследствии Л.Витгенштейн. «Дурное применение власти не приносит пользы ни тому, ни другому», так что «рабу и господину», то есть подвластному и властвующему, «полезно взаимное

дружеское отношение» (1255b 10 - 15), понятное только при условии правильного применения природных способностей, а не насилия. Такое определение никак не умаляет человеческого достоинства. В любом случае в полисе выявляются два вида власти, существующие вместе и одновременно: монархия как власть господина в семье и полития как власть государственного мужа над равными и свободными (там же).

На этом важно остановить внимание. Древнегреческий раб, как видно из описания определения Аристотеля – не египетский раб, не русский крепостной, привязанный к земле, и не советский житель ГУЛАГа, куда без суда и чаще всего без следствия отправлялись люди для подъема народного хозяйства (что, по Аристотелю, рабское дело), которого к тому времени не было, фактически обреченные на смерть. Обреченные не потому, что они обязаны были умереть, но потому, что никому не было дела до их выживаемости. Рабами к тому же становились как люди физического труда, так и умственного, стесненные обязательной, как говорил Бибихин, собственностью, под которой подразумевались кружка, ватник, работоспособное тело[27]. Власть силою властных волюнтаристских решений резонно уравнивала людей во всем, ибо все считались равными умственно и физически – в ХУП в. это провозгласил в «Левиафане» Т.Гоббс, и почему-то именно эта формула равенства возымела успех, предполагая, что главным определителем умственных способностей является благоразумие, выражающееся в том, что каждый человек доволен тем, чем наделила его природа. [28]

Почему же люди позволяли сделать себя рабами, не используя самого термина «раб»? Первый ответ на поверхности: в России в течение долгого периода каждый был зависим от государя (Москва вобрала в себя византийство и присвоило его приемы тоталитарного государства), и эта зависимость, прошедшая в одночасье не изгоняется из ментальности, тем более, что речь идет в основном о тех людях, кто изначально принадлежал не к отчужденному от народа высшему сословию, а к низшему, подвластному, прописанному и приписанному к определенному месту земли. Поскольку это был *весь* народ, то явилось на свет, по словам В.В.Бибихина, «диктатура как карикатура, абсурдная, пугающая, нечеловеческая. И то же можно сказать о революции 1991 г.»[29]. Это первое. Второе. Ни о каком дружеском отношении речи быть не могло, поскольку идеология провозглашала, что лучшее дело любви – это ненависть, не предполагающая дружелюбия. Принято думать, что народная власть была отчуждена от народа. Так можно считать относительно царской России, даже Киевской и Московской Руси, но соответствует ли это советской действительности?

---

[27] *Бибихин В.В.* Своё, собственное // *Бибихин В.В.* Другое начало. СПб., 2003. С. 376.

[28] Обратим внимание на то, что Шпет своим переводом названия раздела «Феноменологии духа» Гегеля «Господство и рабство» (Herrschaft und Knechtschaft) связал господство и рабство с определенным историческим феноменом, хотя имел полное право универсализировать эту систему отношений, поскольку речь идет о властелине и слуге. Впрочем, может быть, здесь скрыт намек на то, что в тоталитарном государстве – все рабы одного господина.

[29] *Бибихин В.В.* Введение в философию права. М., 2005. С. 171.

Царская власть была расстреляна. От самозванцев были застрахованы, варягов не призывали. Как на варягов уповали в 60 – 80—е годы диссиденты, обращавшиеся за идейной помощью к Западу. Но с 1917 г. была установлена партийная власть, многие представители которой были выходцами из народа, во всяком случае – из разночинной интеллигенции. Сейчас иногда говорят, что эта власть была захвачена бандитским путем, и приводится много примеров бандитизма: одиночные террористические акты, грабеж банков, организованный большевиками. Эти вещи, разумеется, не мелочи, но продумать надо, что такие акты совершались не ворами и не бандитами, а планировались хорошо образованными людьми, к каковым относился, например, Л.Красин. Разумеется, вождями пролетариата была использована старинная ненависть народа к богатым. Но ненависть-то действительно была! Крестьяне из блоковской деревни объяснили ему, что пожгли Шахматово потому, что все жгут. Вот этот квантор всеобщности здесь самое важное. Замечание маркиза де Кюстина, записки которого великолепно проанализировал В.В.Бибихин во «Введении в философию права», о том, что в России *богатые не соотечественники бедным*, пришлые, приданные, не ведающие народа, объясняет эту всеобщую ненависть гораздо лучше, чем просто ненависть эксплуатируемых к эксплуататорам. В этом плане и лозунг «грабь награбленное» звучит иначе: как возможность освобождения от чужаков, которых русские пролетарии не знали и которыми, согласно Аристотелю, были те, кто вне закона, вне полиса, кем отказался быть Сократ. После уничтожения (физического и идеологического) этих чужаков-богатых, ненависть обратилась внутрь, на самих носителей ненависти и стала пожирать собственных родителей. Унять ее помогли война, разруха (последнюю не смогло уничтожить то прежде неграмотное и замученное население, которому времени не хватило образоваться в народ), а впоследствии внутреннее диссидентское движение, пригрозившее вмешательством Запада, тех же варягов. Человек, если исходить из теории Аристотеля, природно правовое собственническое существо, живущее в определенной системе власти. Но в ситуации отсутствия права, собственности, реального участия в управлении, то есть в ситуации рабского состояния, такое существо, потеряв имя раба и не приобретя имени гражданина, одновременно потеряло право называться человеком, оно человекоподобно, а потому обладая мягким нравом и дружелюбием в семье среди равных и своих (где все государственные мужи и жены), ненавистной стороной обращено в сторону других, даже ближайших соседей, на чью, пусть малую, собственность уже не рабы, но и не граждане, поскольку собственности у них не было, кроме весьма скудной личной, могли претендовать *не по праву*, ибо нет права брать чужое. Срабатывал первопринцип все того же Гоббса – война всех против всех в отсутствие правильного государственного управления. Если все люди могут претендовать на все (кухарка управлять государством), то все может принадлежать всякому, соответственно рождая войну всех против всех. Доносы способ-

ствовали такому чудовищному, извращенному способу возвращения себе состояния и имени человека, зависящим от обладания собственностью.

Что такое собственность? Что такое собственность, помимо того, что она часть дома, часть семейной организации и искусство для приобретения средств? Аристотель пишет, что «вопрос о том, представляет ли искусство наживать состояние часть науки о домохозяйстве, или оно является особой, отличной от нее отраслью знания, вызывает затруднения, если считать, что тот человек, который владеет указанными искусствами, может исследовать, в чем заключается источник имущественного благосостояния и вообще собственности». Отождествляя в известном смысле понятия “собственность” и “богатство”, Аристотель пишет, что они «заключают в себе много разновидностей» (1256a 15 - 20).

Анализируя эти самые виды, Аристотель фактически фиксирует то, что можно назвать «охотой», «схватыванием», а то и «захватом». Разделяя искусство приобретения собственности 1) по природе и 2) по опытности и использованию технических приспособлений, Аристотель полагает, что первичная собственность образовалась от умения взять то, что даром давала природа. Разделив этот первичный захват натрое, Аристотель выделил прежде всего *кочевников*, затем охотников и земледельцев. Первые – наиболее ленивые - «питаются, не прилагая ни труда, ни заботы мясом домашних животных… возделывая как бы живую пашню», вторые живут разными видами охоты, среди которых на первое место ставит грабеж, или разбой. Впоследствии грабеж и разбой Аристотель выделяет как самостоятельный образ жизни тех, «кто непосредственно трудится над тем, что дает природа, не прибегая для добывания средств к жизни к обмену и торговле» (1255b 3- 1256b), называя подобный образ жизни «нуждой» как первоначальным импульсом обретения своего и «даром» природы. Причем и нужда и природные дары – свидетельства жизни, предназначенные для жизни, без которых ни самой жизни, ни человека как целого, а Аристотель рассматривает именно целое человека, нет.

Искусство приобретения собственности по природе не беспредельно, его пределом является количество и величина используемых орудий. Беспредельным является искусство приобретения собственности с использованием опыта и экономических, политических и технических приспособлений. Пользование этой собственностью двояко: по прямому назначению (обувь надевают на ноги) и ради обмена (продажа или обмен обуви). Цель такого искусства также двоякая: оно не противно природе и в то же время служит восполнению недостающего по природе. Такого рода искусство привело к развитию монетарной меновой торговли и иного, чем первоначальное, понимание богатства, способствуя разведению понимания терминов собственности по природе и собственности как наживания богатства. При этом как любое искусство оно имеет предел, заданный достижением богатства и денег, и не имеет предела в средствах достижения предела. Но в отличие от других искусств, чья цель – нечто иное, чем

оно само (например, цель медицины – в здоровье человека), цель искусства приобретения собственности как богатства – приумножение того же самого. И хотя все искусства направлены на обеспечение жизни, последнее в отличие от других направлено на обеспечение *не благой* жизни. «И так как эта жажда беспредельна, то и стремление к тем средствам, которые служат утолению этой жажды, также беспредельно. И даже те люди, которые стремятся к благой жизни, ищут того, что доставляет им физические наслаждения, и так как, по их представлению, средства для осуществления этого дает собственность, то вся деятельность таких людей направляется на наживу… они стремятся к ней… пуская в ход все свои способности вопреки даже голосу природы… а для достижения цели приходится идти на все… Поэтому с полным основанием вызывает ненависть ростовщичество, так как оно делает сами денежные знаки предметом собственности… Этот род наживы оказывается по преимуществу противным природе» (1258a – 1258b 1 - 10).

Аристотель, говоря о способах приобретения собственности, настаивает на их изначально природном характере, что и создает их единство с политикой. «Нужно предполагать это искусство как бы уже имеющимся в наличии: так ведь и политика не создает людей, но берет их такими, какими их создала природа; точно так же и природа – земля, море и т.п. – должна доставлять человеку пропитание; и на обязанности домохозяина лежит всему тому, что получается из этих источников, дать соответствующее назначение» (1258a 20 - 25).

Правильное искусство приобретения собственности и противное природе реально способствуют тому, что образуются правильные и противоприродные способы политического управления как связанные друг с другом. Ибо виды деятельности образуют и способы властвования и подчинения. Так, деятельность, связанная с обменом, влечет за собой, с одной стороны, увеличение богатства и свободный статус, а с другой – предоставление своего труда за плату. Тот род деятельности, где случайности почти нет места, является самым искусным, где возможны телесные повреждения – самым низменным, где требуются только физические силы – самым рабским, где меньше всего требуется добродетели – самым неблагородным.

В доказательство истинности своих взглядов на природу собственности и на способы ее наживания Аристотель ссылается на специальную литературу и на «ходячие рассказы», полагая, однако, что у каждого человека есть собственная цель в жизни. Так, предметом стремлений философов является не богатство, а мудрость. Пример того явил Фалес, который в ответ на упреки в бедности, поскольку занятия философией не приносят никакой выгоды, использовал свои знания астрономии для быстрого разбогатения: предвидя урожайный год оливок, он роздал в задаток имеющуюся у него небольшую сумму денег всем владельцам маслобоен, законтрактовав эти маслобойни задешево из-за отсутствия конкуренции, а отдавал маслобойни на своих условиях, заработав много денег. Аристотель считает, что этот пример не только свидетельствует разные

образы жизни, но полезен и политикам, которые должны учитывать полезные способы обретения денежных средств, в которых нуждается полис. Более того, анализируя разные природные и неприродные способы обретения собственности, разные способы властвования на примере одной, отдельно взятой семьи с бинарными отношениями господина-раба, мужа-жены, отца-детей, служащей аналогией для управления полисом, Аристотель реально анализирует нравственные проявления добродетели (скромность, мужество, справедливость), считая, что в зависимости от ответа на вопрос, кому более всего они подобают, изменятся определения властвующего и подвластного. Эти добродетели, считает он, зависят от свойств души. Так, способность решать не свойственна рабу, женщине она свойственна, но лишена действенности, а у ребенка, которому эта способность также свойственна, находится в неразвитом состоянии. Такой вывод отрицает сократическое представление о добродетели: Сократ считает, что добродетель сама по себе тождественна самой себе. На взгляд Аристотеля «одно мужество свойственно начальнику, другое – слуге», находясь в зависимости от природы души каждого. И если добродетель не свойственна «рабу по природе», то она свойственна ремесленнику, который таковым стал не по природе, а по «науке», занимаясь низким ремеслом и являясь «в состоянии ограниченного рабства». Вопрос о нравственных достоинствах, по мнению Аристотеля, не распределяется по рубрикам «да» и «нет», ибо в любом случае речь идет о людях, то есть о тех, кто способен быть добродетельным. Поэтому «господин должен давать рабу импульс необходимой для него добродетели, выступая в роли наставника, каковым он является в разной степени для жены и детей, ибо правильно устроенному, то есть на основании достоинства, полису нужны достойные женщины и достойные дети.

Аристотель много внимания уделяет тому, какой должна быть собственность, склоняясь, как мы уже сказали, в пользу частной собственности, поскольку «вообще нелегко жить вместе и принимать общее участие во всем, что касается человеческих взаимоотношений» (с.4101263а 15 - 16). «Собственность, - полагает он, - должна быть общей только в относительном смысле, а вообще частной». При общей собственности нет места для благородной щедрости, которая должна быть у человека-собственника своего имущества. Напротив, возрастает нравственная испорченность, уничтожающая «само существование». Отдавая предпочтение способу пользования собственностью, освященному обычаем и упорядоченному законами, он полагает наилучшим способ, при котором собственность – частная, а пользование ею – общее, ссылаясь на пример Лакедемона. Где каждый пользуется рабами, конями и собаками другого, как своими собственными. Подготовить к этому граждан – дело законодателя, цель которого насаждать добрые нравы, философию и законы. Поскольку «все давным-давно придумано», то вызывает удивление постоянство внутри полисных распрей, что свидетельствует о невозможности устоявшегося представления о

единстве семьи и государства, не дающего исхода «своему» как свободе человека (1263а 20 - 40).

Бибихин обратил внимание на то, что «русская *свобода* происходит от *своего* не в смысле собственности *моей*, а в смысле собственности *меня.* Собственно я, сам и свой, и есть та исходная собственность, минуя которую всякая другая будет недоразумением. Древнегреческое именование бытия, пхуйб, - напоминает он, сохраняло исходное значение собственности, имения. У позднего Хайдеггера *событие* как явление, озарение бытия указывает одним из значений на *свое*, *собственное* (Ereignis – eignen). От скользящей релятивности *своего* в смысле кому-то юридически принадлежащего мысль не может не возвращаться к основе *собственно своего* как настоящего, чем человек интимно захвачен без надежды объясниться, лишь ощущая тягу захвата. Свобода по сути не независимость, она привязана к тайне *своего*»[30]. Когда Аристотель повторял старую пословицу «У друзей всё общее», он имел в виду то же самое – поделиться с другом можно только своим и со свои другом, с иным «я», понимаемым как тайна самого себя. На лишенность этой тайны указывал Аристотель, оспаривая идею общности жен, детей и имущества, предлагаемую Сократом и достойную удивления именно у Сократа, твердо отстаивавшего собственную позицию как частного человека, не желавшего участвовать в государственных делах.

Между тем именно такая идея своего как своей собственности отвечала и умонастроенности грека, в себя включавшей в себя мир. Закон, и это понимал Сократ, должен считаться с двоицей: *землей и людьми*, поскольку по сути это одно, ибо дары земли и принятие этих даров входит в определение человека человеком. Не мешало бы добавить к этому слова «соседние места», говорит Аристотель, жестко разграничивавший свое как свое и юридически оформленную собственность как результат общения людей, образующий полисное правление, где, напомним, «меньшая степень единства», а значит и меньшая доля своего.

Понимание свободы как своего, не просто как независимости фактически прошло через всю человеческую историю (с разными поправками, зависящими от принципа управления). Гоббс определил ее как «отсутствие сопротивления», под которым он понимал «внешние препятствия для движения»[31], которая вполне совместима с необходимостью, подобной тому, как «вода реки, например, имеет не только *свободу*, но и *необходимость* течь по руслу. Такое же совмещение, - пишет он, - мы имеем в действиях, которые люди совершают добровольно»[32]. Свобода стран, имеющих собственное управление, тождественна свободе каждого человека, которой тот пользовался бы, «когда не было бы совершенно ни гражданских законов, ни государств»[33]. Она одинакова как в монархическом, так и в демократическом государстве[34], где правовыми субъектами выступают

[30] *Бибихин В.В.* Своё, собственное. С.371.
[31] *Гоббс Т.* Левиафан. С.171.
[32] Там же. С.172 – 173.
[33] Там же. С.175.
[34] Там же.

все свободные граждане, а закон или решение относительно какого-либо дела принимается их большинством (восемьдесят голосов не хватило Сократу для оправдания).

Ясно, что собственность понимается как природное дарование, которое, наряду с другими дарами обеспечивает определение человека как человека.

Естественное право и позитивное право. Последнее право – это то, что определяется законодателями (что положено), то есть не все то, чем руководствуется человек в своей жизни и даже не главное. Ибо главное – это его неотъемлемые права на жизнь и свободу и, как сказано, то есть повторено вслед за создателями философии, в Декларации независимости, на счастье. Между тем, по словам Л.Штрауса, в Германии и США термин «естественное право» в XX в. утратил свое значение, передав свои права в одном случае «историческому сознанию», в другом – идеалу, идеологии, даже мифу, а о России мы и не говорим. Однако то, что общество не вполне поработило человека, свидетельствует, что есть нечто, что обеспечивает его жизнь и жизнь близких ему людей. Это и называлось естественным правом, которое для нас сейчас (в этом можно согласиться со Штраусом) «скорее предмет воспоминания, чем познания»[35].

Однако чем дальше углубляешься в философские обоснования бытия человеком, тем больше сталкиваешься с тем, что некогда называлось естественным правом. Как пишет Штраус, естественное право претендует на то, чтобы оно было различимо человеческим разумом, а история вроде бы свидетельствует о том, что его нет. «Иными словами, не может быть естественного права, если нет неизменных принципов справедливости, но история показывает нам, что все принципы справедливости изменчивы»[36]. Проще вернуться к старым текстам и посмотреть, свидетельствуют ли они об этом праве или нет. И вовсе не факт, что мы обнаружим там идею справедливости. Оно есть там, речь идет о природе. Штраус прав, говоря, что в Ветхом завете нет природы, значит нет и естественного права. Природу открыла философия. Это открытие сопровождалось и открытием естественного права. «Но *philosophos* не тождественен *philomythos*». Аристотель в «Метафизике» и Платон в «Законах» называют философов теми, кто рассуждал о природе и отличает их от людей, рассуждавших о богах. Смысл открытия природы заключался не в определении природы как совокупности феноменов или обычая и особенностей поведения, а а в «”нашей” особенности поведения, особенности “нас”, живущих “здесь”, образ жизни самостоятельной группы, которой принадлежит человек» и правильное поведение человека[37]. А оно установлено богами, их сыновьями или учениками. Платон, как считает Штраус, скорее обстановкой диалогов «О политическом строе» и «Законы» обсуждает естественное право, когда говорит о необходимости

[35] *Штраус Л.* Естественное право и история. М., 2007. С.12.
[36] Там же. С.15.
[37] Там же. С.81.

жертвоприношений, о Миносе, принесшем критянам божественные законы, чем явными утверждениями[38].

Но вот Сократ напрямую говорит о том, что «придать здоровья означает создать естественные отношения господства и подчинения между телесными началами», что «внести справедливость в душу означает установить там естественные отношения владычества и подвластности ее начал»[39], а в «Апологии Сократа» напрямую говорит о том, что, занимаясь философией, он занимается божественным делом, поскольку побуждает к справедливости и добродетели. Разумеется, это можно назвать обстановкой, но мы назвали бы это апелляцией именно к естественному праву, что, кстати, явилось основанием, в этом мы абсолютно согласны со Штраусом, для его осуждения: «в обществе, управляемом общественными законами, строго запрещается обсуждать эти законы настоящему обсуждению, т.е. критическому исследованию, в присутствии молодых людей; Сократ, однако, обсуждает естественное право – предмет, чье открытие предполагает сомнение в прародительском или божественном кодексе, - не только в присутствии молодых людей, но и в беседе с ними»[40], хотя предполагается, что принципы этого права неизменны и необсуждаемы. А потому Платон не пытается установить существование естественного права, а попросту принимает его как установленное, как то, что есть, и есть не по договору людей, а на основании свободы. Потому Сократ и говорит, что справедливость равна сама себе, независимо от того, принадлежит ли она свободному или рабу, ибо противоприродно обращаться с любым человеком как с несвободным или не равным. Гражданское общество необходимо именно для того, чтобы привести его в изначальную гармонию с естественным правом, а для этого нужны законы, принятые конвенционально, которым необходимо повиноваться.

Можно согласиться со Штраусом и считать Сократа основателем политической философии. И его понимание естественного права состоит в тождестве закона и природы, в нераздельности мудрости и умеренности, в соответствии жизни и природы, а это значит жизнь по достоинству, добродетели, справедливости. Это значит жить на основании своего, собственного, того, что и Аристотель будет утверждать, что свобода по сути привязана к *своему*, что обладание собственностью по природе как даром входит в определение человека по природе. Само обсуждение естественного права является у него частью его обсуждения политического права. «Понятие справедливости, - пишет он, связано с представлением о государстве, так как *право*, служащее мерилом справедливости, является *регулирующей нормой* (курсив всюду наш. – *Авт.*) политического общения» (1253 a 38)

Подобное же отношение к естественному праву можно обнаружить и у Цицерона, который в «Законах» доказывал естественную социальность человека, их сходство друг с другом, как и неравенство людей относительно добродетели.

[38] Там же. С.83.
[39] *Платон.* Государство. 444 d.
[40] *Штраус Л.* Естественное право и история. С.84.

И в средние века политический характер естественного права не стал смазанным, поскольку рядом с Градом Божьим всегда шел Град земной. Вопрос о наилучшем правлении был решен просто и окончательно: лучшим был признан монархический строй, самым привлекательным теократическое государство в том виде, как его мыслил Карл Великий – в единстве божеского и человеческого. Фома Аквинский, написавший специальный трактат «О правлении государей», во многом в определениях справедливости и несправедливости и в определениях типов правлений отталкивается от Аристотеля, называя политию, аристократию и монархию справедливыми правлениями, а тиранию, олигархию и демократию («засилье народа») – неправедными.

Фактически часть этой книги является своего рода рефератом «Политики» Аристотеля, по ходу дела комментируемого и подправляемого Аквинатом. Фома дает не только определения человеку как существу общественно-политическому, являющемуся таковым на основании «естественной необходимости, не только определения разных политических устройств, но и определения свободного («тот, кто сам является своей причиной») и раба («тот, кто является тем, кто он есть по причине другого»[41]), какового социального деления не было и не могло быть в его время (середина ХШ в.). Но зато было деление, исходящее от религии и чисто философское деление на первичные и вторичные причины. Фома, отвечая на вопрос, как возможно зло в мире, если Бог – это Благо, замечал, что есть причина первичная, Творец, Создатель мира, который не ответственен за зло этого мира, а есть причина вторичная. Ею является человек, носитель свободной воли и тоже творец. Он-то, как созданный из двух природ - божественной и ничто - и является ответственным за зло, происходящее от ничтожения благой природы.

Поэтому истинно свободным является Бог, человек же как сотворенный – раб Божий, который «есть по причине другого». Вот этот скрытый комментарий делает картину социальности, представленной Фомой, несколько смазанной, но оттого и интригующе интересной, загадочной, ибо в изложение тихо вкрадывается совершенно иная реальность. Цель гражданина земного града, стремящегося ко граду Бога, невозможна иначе, как через добродетельную нравственную жизнь. Такая нравственная жизнь - не «сегментом добродетельной жизни», как полагал Штраус[42], а причастие ей. Человеку врожденна эта добродетель от природы, потому она никогда в христианстве не достигает нулевой отметки.

«Человек, - пишет Фома Аквинский, - имеет врожденное знание о том, что ему необходимо для жизни». Только «кому-то из тех, кто направляется к цели, удается достичь ее прямым, а кому-то непрямым путем»[43]. И речи о спрямлении пути нет у Аристотеля, здесь же постоянно присутствует Бог-свидетель, незри-

[41] *Фома Аквинский.* О правлении государей//Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе У1 – ХУП вв. Л., 1990. С. 234.
[42] *Штраус Л.* Естественное право и история. С.137.
[43] *Фома Аквинский.* О правлении государей. С.234.

мо направляющий человека к цели, вопреки его сопротивлению. Поскольку «стало должны пасти пастыри», они «должны заботиться о благе подвластного им множества»[44]. Поскольку же люди, стремящиеся к Богу, «приближаются к тому, чтобы стать единым целым», то для Фомы очевидно, что «один управляет» этим процессом «лучше, чем многие».

Ссылаясь на природное устройство человека, то есть на то, что он есть, и не просто есть, а «есть-что-то», через которое он явлен весь как целое, которое причастно сотворившему его благу, Фома полагает, что эта природа врождена человеку так, что все, «что существует по природе, устроено наилучшим образом, ведь природа в каждом отдельном случае действует наилучшим образом, а общее управление в природе осуществляется одним»[45]. И это «единый Бог, творец всего и правитель… А если то, что происходит от искусства, подражает тому, что происходит от природы, и творение искусства тем лучше, чем больше приближается к тому, что существует в природе, то из этого неизбежно следует, что наилучшим образом управляется то человеческое множество, которое управляется одним. В самом деле среди множества частей тела существует одна, которая движет всем, а именно сердце, и среди частей души по преимуществу главенствует одна сила, а именно разум»[46].

Выше мы писали о гоббсовом Левиафане как искусственном организме, где сердце – мотор, нервы – нити, и теперь можем утверждать, что он был не просто хорошим студиозусом в Оксфорде, но и сумел намеченные движительные механизмы представить как единственно правильные в земном граде, вокруг которого вращаются все прочие сфера. У Фомы же все подчинено ничтожению именно земного и воссиянию вечного. Живой Бог, от которого только и могла возникнуть жизнь (а не от идеи Бога), в качестве законодателя является подателем естественного врожденного права на жизнь и свободу. Это право действительно не зависит от наилучшего режима, но режим должен обеспечить наилучший позитивный закон.

Штраус различает три типа классических учений естественного права: сократо-платоновский, аристотелевский и томистский.

Первый тип права характеризует справедливость как воздаяние каждому должного по природе, не причиняет вреда, но любит друзей или соседей. Полис должен, таким образом, чтобы выполнять эти и только эти правила справедливости, стать своего рода «всемирным полисом» (если оставить множества, внутри каждого начнутся противоречия, как поступать с другим полисам, если там обнаружится обман), а граждане, его составляющие, должны быть мудрыми, их подчиненность естественному закону, управляющему естественным городом, есть благоразумие. Как считает Штраус, такое решение проблемы справедливости выходит за границы политической жизни. Во-первых, потому что справедливость в полисе может быть только несовершенной. Мудрые принуждены

[44] Там же.
[45] Там же. С.236.
[46] Там же.

там править, вопреки своему нежеланию править, поскольку их жизнь посвящена поиску неизменной истины. В-третьих, если человек стремится только к вечной истине, то любой другой человек, просто нравственный и просто справедливый, в сравнении с ним урод, не приспособленный к жизни в таком полисе.

Второй тип отрицает диспропорцию между естественным правом и полисной жизнью. Аристотель отвергает «божественное безумие Платона» и соответственно право, выходящее за пределы политического общества. «Он обсуждает справедливость, как ее знает каждый, и как она понимается в политической жизни, и он отказывается быть втянутым в водоворот диалектики, уносящий нас за пределы справедливости в обычном смысле слова, к философской жизни»[47]. Мы уже писали, что для Аристотеля важно свое, собственное, и это обретенное качество оказывается важнейшим для политического общежития и обсуждения. Более того, Аристотель полагает, что естественное право изменяемо.

Штраус в попытках объяснить эту изменяемость ссылается на Аверроэса, толковавший это право как «юридическое естественное право», на Марсилия Падуанского, толковавшего это «юридическое естественное право» как квазиестественное, ибо в действительности оно зависит от человеческих установлений. Сам Штраус склонен считать, что Аристотель «думал не о каких-либо общих утверждениях, но скорее о конкретных решениях… Естественное право состоит из таких решений»[48]. Ибо всеобщее благо подразумевает, полагает Штраус, не только некий универсально действенный и неизменный принцип, но «простое существование, простое выживание, простую независимость данного политического сообщества». Например, самое справедливое общество не может выжить без шпионажа, который возможен только, если правила естественного права приостановлены. «Исключения также справедливы, как и правила, - считает Штраус, - и Аристотель, кажется, наводит на мысль, что существует не единственное правило, каким бы базовым оно ни было, не подверженное исключению»[49].

Что касается нас, то мы считаем, что это оригинальная модернизация, и что возможно объяснить изменчивость естественного закона исходя из категориальной логики Аристотеля, согласно которой сущее изменяется через самоё себя.

Что касается томистского учения, то Штраус полагает, что в нем царит полное согласие между естественным правом и гражданским обществом. В этом учении нет сомнений в неизменном характере принципов естественного права, зависящего только от божественного вмешательства и веры. Сомнение вызывает только познаваемость этого права человеческим разумом, «не освещенным божественным откровением»[50].

---

[47] *Штраус Л.* Естественное право и история. С.149.
[48] Там же. С.152.
[49] Там же. С.153.
[50] Там же. С.156.

На наш взгляд, ошибка именно в последнем утверждении, ибо в средневековом христианском мире полагалось, что любой разум иллюминован божественным откровением. Ошибка проистекает от того, как кажется, что здесь, как и в античности, предполагается движение разума к неизвестно где пребывающей неизвестной истине, в то время как в средневековье считалось, что истина дана в откровении, и она овладевает человеком, а не человеком ею. В этом смысл причащенного или верующего разума христианства. В этом и состоит habitus (обладание) практическими принципами, которые связаны с божественным законом через synderesis (сознающую совесть или совестливое сознание).

О том, что Штраус считал христианскую истину лежащей где-то там, по ту сторону земного мира, в котором жил и действовал человек, свидетельствует то, что он не определил, что понималось под естественным правом самими средневековыми мыслителями. Между тем такое определение есть у Петра Абеляра в «Диалоге между Философом, Иудеем и Христианином». Этот «Диалог» вместе с его «Этикой, или Познай самого себя» - первые книги, посвященные специально, отдельно от теологии христианской этике. В «Диалоге есть параграф «О естественном и позитивном праве», где даны определения того и другого. Под естественным правом понимается прежде всего любовь, то есть то, что цепко скрепляет двух обращенных друг к другу субъектов, прежде всего Бога и человека. Естественное право коренится не в данности свободы, собственности, справедливости, а прежде всего в любви, свойственной не только человеку как таковому, а его разуму, о чем часто забывается, считая его простым счетчиком, рассудительным органом.

Гоббс, например, сам будучи христианином и, конечно, ближе других упомянутых здесь персонажей по времени к Фоме Афинскому и даже Петру Абеляру, писал о ratio, что так назывались в Риме счета, а ratiocinatio – операция счета, что рассуждение человека «лишь образует в уме итоговую сумму путем сложения частей или образует остаток путем вычитания… образует имя целого… или имя другой части»[51].

Не то Петр Абеляр. «Естественное право – это то, которое нужно преисполнить трудом, это сам разум, который естественно присущ всем, у всех пребывает, убеждает, чтобы почитать Бога, любить родителей, наказывать злодеев»[52]. В любви сходятся, сцепляются, конципируются, охватывают друг друга Бог и человек, родители и дети. Это место встречи. В отличие от Философа, который определяет естественный же закон как «нравственное познание, которое мы называем этикой и которое заключается только в нравственных доказательствах», Иудей определяет его как врожденность у отдельных людей любви к собственному роду и к тем, с кем они воспитываются. Более того, считалось, что еще до возникновения традиции закона либо соблюдений законода-

[51] *Гоббс Т.* Левиафан. С. 58.
[52] *Петр Абеляр.* Тео-логические трактаты. М., 1995. С. 377.

тельных предписаний, большая часть их содержалась «в естественном законе, который состоял в любви к Богу, и в котором весьма почиталась справедливость и существовали любезнейшие Богу люди, такие, как, например, Авель, Енох, Ной и его сыновья, а также Авраам, Лот и Мельхиседек»[53] и др. Закон выражает состояние любви как к людям, так и к Богу, и Иудей и Христианин дают понять Философу, что его закон, который он называет естественным, содержится в ветхозаветном так, что, если бы исчезли все прочие заветы, то тех, что касаются совершенной любви, было бы достаточно как для «нашего, так и для вашего спасения»[54].

Любовь – это собственность, но не имущественная, это и есть собственно свое как оправдание и защита своей и только своей жизни. И эта собственность от природы, каковой является не сущность человека, не чтойность (она может измениться), а сам Бог. Все остальное от ничто, которое не природа. При этом во всем, что касается праведности (справедливости) «важно, - как пишет Петр Абеляр, - не сходить с пути не только естественного, но и позитивного права», права, установленного людьми. Ибо в христианстве у христианина двоякая задача: стремиться к Богу (философия называлась боголюбием, поскольку истиннейшая любовь – любовь к Богу) и стремится к людям ради исправления, назидания и братской взаимопомощи, ибо «к позитивному праву относится то, что установлено людьми для обеспечения или увеличения всеобщей полезности, или благопристойности; или [к позитивному праву относится] то, что опирается либо только на обычай, либо на авторитет записи, касательно, например, наказания виновных, то есть при испытаниях обвинений по судебному решению, так как у одних [народов] есть ритуальные поединки или пытка огнем, у других концом всякого препирательства является клятва, а вся тяжба ограничивается свидетелями»[55]. Здесь требовались стойкость и воздержание, великодушие и терпение, и все это составляло справедливость. Так что скорее надо говорить не о томистском понимании естественного закона, а о средневеково-христианском, с которым резко разойдется нововременная мысль, жестко (в лице Гоббса) разделившая естественное право и естественный закон, к чему ниже мы еще вернемся, и Декарта, сделавший естественное право основанием своего «я».

Собственность как власть. Понимание собственности как природного дарования, которое, наряду с другими дарами обеспечивает определение человека как человека, было свойственно не только Древней Греции, но и Риму. Юристы не определяли предельные категории вполне в духе Аристотеля, который высшие роды оставлял без дефиниций. Считалось, что свобода, свое собственное – это природа человека, она и служила основанием всякого права и считалась условием именования человека гражданином, принимавшим на себя ответственность, связанную с властью в доме (pater familias) в отличие от безот-

[53] Там же. С. 322.
[54] Там же. С. 335.
[55] Там же. С.378.

ветственности раба, чужеземца, живущего в пределах Рима, либертина – всех, кто не мог платить налоги и не шел в армию. Однако все это предполагало, что есть нечто навек запечатленное, с чем нельзя спорить. К этому нечто относились собственность, владение, обязательство, иск, даже преступление. Они-то и не имели никакого определения, потому что «всякое определение в гражданском праве опасно». Определительный бум – это свойство Византии, и оно в конечном счете привело к появлению идеологии, выраженной в сентенциях.

В варварской, а впоследствии и не варварской Европе дело было иначе. На варварских территориях будущей Западной Европы, начиная с У в., создавались «Правды» «наподобие римского права», но не означало копирование или приспосабливание римского права к своим обычаям, а обладание, как в Риме законами. Там тоже собственность не определялась, она подразумевалась настолько как само собой разумеющееся, что назначались разные штрафа за кражу ястреба. В появившемся на рубеже У – У1 вв. во время правления Хлодвига во Франкии знаменитом «Салическом законе» (Lex Salica)[56], субъектом которого являлся, однако, не свободный франк, а свободный человек (homo ingenuus) вира за кражу ястреба из-под замка, что характеризовало его хозяина как человека, пекущегося о своей собственности, втрое превышала виру за кражу ястреба с шеста и в 15 раз за кражу ястреба, сидящего на дереве, то есть улетевшего от хозяина. Мир олицетворялся домом-виллой и землей. Землей и тем, что под землей, где могла быть укрыта собственность, должны были клясться в суде люди, совершившие убийство. Землю должны были бросать на родственников, объявляя их наследниками своей вины, за которую те должны были заплатить. Наследник, в чью полу бросили стебель, то есть росток, выращенный в земле-символе единства с нею человека и его собственности, считался признанным в качестве наследника. Сумма виры за убитого в доме превышала сумму виры за убитого вне дома в девять раз.

Весь «Салический закон« подчинен принципу охраны двора, хозяйства, и вилла-дом выступает как единый правовой субъект. Более того, здесь решение по делу, касающемуся виллы, не принималось мажоритарно, как, скажем, в древних политиях, оно не принималось, если против него был хотя бы один голос. В расчет принималось право индивида, право прецедента, мнение каждого отдельного человека. Так, в титуле о переселенцах-мигрантах (весьма существенном и для современной ситуации европейских стран) записано: «Если кто-либо захочет переселиться в виллу к другому и если один или несколько (жителей виллы) захотят принять его, но найдется хоть один, который воспротивится переселению, он не будет иметь права там поселиться» (§1 гл.45 «О переселенцах», или «De migrantibus»). И дело не в том, что впоследствии в эту главу были внесены коррективы, скажем, переселиться можно было по королевской

[56] Подробно см.: *Неретина С.С.* Прецедент «Салического закона»//*Неретина С.С.*Верующий разум. Книга Бытия и Салический закон. Архангельск, 1995.

грамоте, а в том, что статьи эти добавлялись, а не замещали старые. Старый титул не отменялся. На основании сохранения старых законов и добавленных была развернута Столетняя война, когда одни объявили себя наследниками по закону Хлодвига, запрещавшему наследование земли женщине, другие по закону Хильперика, поправившему первоначальную статью и разрешавшему женщине наследование земли. При этом множество казусов не успевало ритуализоваться, делая важным этот и только этот случай, а не некую всеобщую норму. Салические франки узаконили не общие структуры повинностей, но каждый отдельный случай. Важна не просто вещь, но качества вещи, ее возраст, местонахождение, приметы (ястреб на шесте, меченый, свинья двухгодовалая, поросенок молочный, коровы с колокольцами и без, кража внутри дома и вне) – не собственность вообще, а конкретная собственность принималась в расчет, становясь объектом права. Индивидность не подводится под общее, как хотел Сократ в «Законах», поэтому нарастает и вводится в закон количество особых провинностей.

Прецедентность Салического закона имеет силу и в наши дни. Артур Ф.Мак-Эвой в статье об интерактивной теории природы и культуры сообщает факт, ставший предметом судебного разбирательства в Верховном суде штата Нью-Йорк в 1805 г. Предметом этого процесс стал спор между двумя охотниками-лисятниками Постом и Пирсоном. Первый выследил, поднял зверя и готовился выстрелить. В этот момент появился Пирсон, убил лисицу и ушел. Перед судьями встал вопрос, чьей собственностью становится дикое животное в определенный момент, потому что до того оно никому не принадлежало, находясь в «природном состоянии». И хотя суд решил в ползу «узурпатора Пирсона», сам этот факт, как пишет Мак-Эвой, «выявляет рельефную картину возникновения прав собственности»[57]. Сейчас, да в 1805 г., этот спор кажется казуистичным, если забыть о том, что именно такими спорами изобилует Салический закон (ястреб на шесте, на дереве, в клети). С тех далеких лет (прошло 13 веков) все эти лисицы и ястребы давно стали частью природной среды, но возникший вопрос об экологии, то есть о контроле «за численностью крыс или гоферов», ставит одновременно и вопрос о количестве инвестиций «для поддержания уровня численности лисиц в угоду меховщикам или состоятельным охотничьим клубам»[58]. Не только старые казусы Салического закона начинают работать, но и рассуждения Сократа и Фрасимаха в «Политическом строе» о справедливости: заботится ли пастух о благе овец или волов ради их собственного блага или ради блага владельцев и своего собственного (Государство, 343 b – c).

Возврат к старым действовавшим прецедентам обусловлен и опасением перед иррациональным использованием ресурсов, ведущим к их уничтожению. Биолог Г.Хардин опубликовал в 1968 г. статью, где речь шла о группе конкурирующих фермеров, которые выпасали скот на общинном пастбище. Трагедия

[57] *Мак-Эвой Артур Ф.* К интерактивной теории природы и культуры: экология, продукция и познание в Калифорнийском рыбном промысле//Вопросы истории естествознания и техники. 1994. №3. С. 101.
[58] Там же. С. 102.

заключалась в том, что все фермеры, желая получить максимальную прибыль, считали более выгодным выпасать на нем больше коров, чем пастбище могло выдержать. Это «экономически рациональное поведение» привело «фермеров к иррациональному результату»: пастбище было «съедено», уничтожено, а в конечном счете были уничтожены их собственные средства к существованию[59]. Все это свидетельствует как раз о важности возвращения к истории мысли, вопреки мнению Штрауса, ибо мысль, возникшая в истории, становится уже в силу того, что она мысль, вне своей собственной истории. Она просто мысль, которую может и обязан знать мыслящий. «Ни созданная в ХУШ в. теория общественного договора, ни социал-дарвинизм (ни евклидова геометрия, коли на то пошло) не имели своей целью описать мир лишь так, как он существует при определенных условиях, - пишет Мак-Эвой. – Напротив, каждая из этих теорий как бы объясняла, каково *по сути* положение вещей в мире, независимо от времени, места и обстоятельств. Такие теории в определенном смысле творят мир по своему образу, ибо они организуют представления людей и направляют их действия, которые трансформируют мир. Но подобно тому, как люди развивают свои взгляды на мир в процессе взаимодействия с окружающими их социальной и материальной средами, точно также и эти взгляды претерпевают изменения по мере того, как люди снова и снова переделывают мир в ответ на изменения своих представлений о нем». Здесь срабатывает принцип Аристотеля об изменчивости естественного права. А то, что «разорение североамериканской дикой природы к концу Х1Х в. явилось достаточным доказательством того, что взгляд на мир, косвенным образом проявившийся в процессе “Пирсон против Поста”… нуждался в корректировке»[60]. Здесь, однако, не надо спешить и быть близорукими, положив на полку снятый было оттуда Салический закон. Правда за спиной того, другого и третьего, нечто прочное – «за» ними, оно-то и помогает ориентации, способствуя тому. Чтобы нечто было вовремя снято с полок и вовремя поставлено на них вновь, но не уничтожено. В этой прямизне мысли нет никакого релятивизма. В этом проявляется ее тропизм, не учитывать который – смерти подобно, ибо «человеческая жизнь и мысль погружены друг в друга и вместе – в не-человеческий мир. И поскольку трагический миф об общих пастбищах упускает это из виду, он может оказаться не столько эвристической моделью понимания проблем окружающей среды, сколько рецептом их обострения»[61].

Но, если вернуться из ХХ в., в начало средневековья, то и собственность, и прецедентность связана с такой особенностью варварского, а потом и средневекового права, которую можно назвать силой личности, за которой прежде всего признается свойство *властности*. Обладание самыми высокими правами

[59] Там же. С. 103.
[60] Там же.
[61] Там же. С.115.

выражает именно эту силу. Не Римское право оказало воздействие на будущее средневековое правосознание, а его собственное «германство».

Как собственное «германство», как связь права и силы («нерасплетаемость», как это назвал Бибихин) оно оказало влияние и на определение такого неуставного права как mores – нравы, обычаи в отличие от уставного (позитивного) права. Очевидно, что большая часть права не может быть записанным по той же причине, по какой не может быть последовательно изложен ход нашей мысли, ибо это – природа нашего существования. В этом смысле право, полученное человеком просто в силу данной ему жизни, большей частью остается неуставным, неопределимым, но не бездейственным. И хотя во имя осуществления мира мы должны жить при кодифицированном правосудии, осуществляющем элементарный контроль над сохранением порядка, сама такая упорядоченная жизнь свидетельствует о том, что этот порядок все же возник если не из хаоса, то из упомянутых данностей жизни.

Чаще всего, говоря о нравах, имеют в виду обычай, обычное право, которое сохраняется при любых кодификациях его и близко к бесправию. Ибо, скажем, «при революционной смене государства снижается до нуля роль писаного права (старое полностью подлежит замене, новое еще не упрочилось)»[62]. Это мы замечаем и в нынешней России с 1989 г., когда стала почти «нормой» для большинства жизнь «по понятиям». В конце 90-х годов на встречах «силовых предпринимателей» вставал вопрос, договариваться ли по законам или по «понятиям», то есть по упомянутому неуставному праву, которое во время правовых срывов становится мафиозным, гораздо более жестким, чем писаный кодекс, но более доходчивый, понятный, а в силу его востребованности вот здесь и вот сейчас и более свежим, готовым соперничать с официальным правом.

Еще в середине 90-х в России договоры основывались на «понятиях», при этом под «понятием» понимался «некий навык, с помощью которого определяется, кто виноват и что за этим следует». Как следует из пересказа доклада В.Волкова о соотношении сил между государством и бизнесом, произнесенного на Малых банных чтениях, проходивших под шапкой «Русские разговоры. Спор, диалог, дискуссия в современном обществе», разговор по «понятиям» сейчас исчез в малом и среднем бизнесе, но остался в отношениях государства и крупного бизнеса. И это ясно: «мелкие» и «средние» - низы, отчужденные от верхов, государство же по-прежнему правит исходя из чуждых «народу» интересов, заместив место бандитов[63]. Удивительно другое, что живут по «понятиям» те, кто создает законы, одновременно создавая и прецедент их толкования «по жизни» и не позволяя сформироваться тому, что можно назвать «народной силой».

О чем это свидетельствует? Можно, конечно, сказать, как мы и сделали, что система «понятий» - срыв официального права, но можно истолковать их в

[62] *Бибихин В.В.*Введение в философию права. С.7.

[63] «Русские разговоры. Спор, диалог, дискуссия в современном обществе: как, где и о чем нам говорить друг с другом?» Малые банные чтения – 2005//Новое литературное обозрение (далее НЛО). 2006. №1 (77). С. 532-533.

духе того, что до сих пор характеризовало российскую государственность: стремление переключить неканоническое право (им часто и было неписаное обычное право) в каноническое, но ожившее в свете старых законов и относительно новое, действие которых еще не известно, потому что долго находилось в тени. Тем самым могло бы не установиться новое право, но восстановиться старая ситуация отчуждения власти от невласти, от «населения».

Эта связь старых mores не просто с обычаями, а с порочностью задолго до этого нынешнего обсуждения, обсуждалась в средневековой Европе в момент, когда вновь возникающие города требовали, во-первых, жесткой кодификации прав феодала и вассала, цеха и магистрата, ремесленника и короля, народа и короля, феодала и короля, феодала и крестьянина, когда подняли голову легисты, знавшие толк в праве гражданском и праве международном, в частном и естественном, а во-вторых, эти города, наводненные вагантами и пелеринами, но главным образом крестьянами из соседних и не близлежащих деревень, требовали отличения обычного, то есть неуставного права от уставного. Петр Абеляр, попытавшийся в «Этике» это сделать, в определении сочетал это право (mores) с добродетелями или пороками сознающей души (animus), «которые делают нас склонными к дурным или добрым делам». Причем пороки или благости свойственны не только этой сознающей себя душе, но и телу. От них зависит, «например, хилость тела или его крепость, каковую мы называем силами, лень или живость, хромота или стройность, слепота или зрячесть. Отсюда, когда мы произносим ради выделения таковых слово “пороки”, то уточняем: это пороки души. Именно они, то есть пороки души, противопоставляются добродетелям, как неправедность – праведности, трусость – стойкости, неумеренность - воздержанию»[64].

Понимать эти пары надо не врозь, а вместе, что значит: когда действуют mores, они вместе и порочны, и добродетельны. И только сознание-совесть, synderesis, свойственная сознающей душе способна привести в действие один из этих механизмов. В этом и новизна, и пагубность жизни «по понятиям».

Гоббсу пришлось заново открывать вслед за Римским правом, что человек наделен всеми правами по природе не сознающей души, а просто по природе жизни. Но, если вернуться к идее собственности, то и Гоббс считает введение собственности действием власти[65]. Дар собственности остается имеющим важнейшее значение, но этот дар надо заслужить силой. Как пишет Ортега-и-Гассет, «германский дух» «неизбежно нес на себе отпечаток выдающейся личности. Личности, а не какого-то “индивида”. Сначала требовалось завоевать, потом – отстоять… Любой феодал с негодованием отвергнет и самую мысль, что можно обратиться в суд, чтобы кто-то отстоял его личное достоинство (как то предлагало Римское право. – *Авт.*). Последнее защищается не с помощью суда, а в честном поединке с оружием в руках. Потому средневековье постоянно

[64] *Петр Абеляр.* Теологические трактаты. С. 247.
[65] *Гоббс Т.* Левиафан. С. 197.

утверждало право на риск, с чем сообразуется и столь важное для уяснения его своеобразия понятие прецедента. «Существенно, - продолжает Ортега-и-Гассет, - что (политическое) сплочение оказалось основанным не на коллективном, безличном, административном начале, как в Древнем Риме, а на духовном, личностном. Германское государство явилось системой частных отношений между "властителями". Нынешний европеец не сомневается, что право, да и государство, на котором последнее зиждется, должно существовать до и сверх личности. По этой логике изгой, лишенный гражданства, неизбежно лишен и прав»[66]. Так считают не только нынешние европейцы, но и нынешние русские европейцы, считающие идею личности гипертрофией, тесно связанной с религиозной этикой[67]. «Древние германцы», еще не христиане, «рассуждали по-иному, считая, что право – неотъемлемо от качеств выдающейся личности. Итак, не личность определяется правами, гарантированными государством. Наоборот, она правомочна, поскольку является именно личностью, живым, неповторимым человеком. Иначе говоря, она зависит исключительно от себя, от своих внутренних качеств. Изгнанный из Кастилии Сид не был подданным какого-либо государства и, тем не менее, все свои права сохранил в неприкосновенности»[68].

Это сложившееся в Европе право, исходящее от личности, надо помнить, размышляя о России, потому что идея обеспечения правами, в которой, разумеется, могли участвовать сильные воины, то есть простые свободные люди[69], настолько срослась с идеей власти и силы (Бог назывался Omnipotentia, Всемогуществом, Всесилием), что стало представителем деспотий или тираний. Но в древних государствах они считались отклонениями, скажем, от монархии, а в Российском государстве – основанием правления.

Гоббс уже об этом не помнит, как не помнит и о том, что тирания и олигархия все же считались, хотя и отклоняющимися от нормы монархии и аристократии, но все же формами правления. Сократ даже полагал, что при сохранении справедливости, неважно, каково само правление. Гоббс же не помнит об этом настолько, что введение собственности считает актом одного лишь суве-

---

[66] *Ортега и Гассет Х.*. Бесхребетная Испания // *Ортега и Гассет Х.* Этюды об Испании. М., 1994. С.88.

[67] См., например: *Тимофеева О.* Монолог, обращенный к смерти // НЛО. № 77. 2006 (1). С. 425.

[68] *Ортега и Гассет Х.*. Бесхребетная Испания. С. 88.

[69] В этом смысле примечателен эпизод с суассонской чашей, приведенный Григорием Турским в «Истории франков». Однажды франки унесли из какой-то церкви большую чашу удивительной красоты. Епископ той церкви попросил короля Хлодвига ее вернуть. Король, пообещав ему это, выразил перед воинами желание, чтобы эту чашу отдали ему сверх его доли. «Те, кто был поразумнее, сказали: "Славный король! Все, что мы здесь видим, твоё. Делай теперь все, что тебе угодно. Ведь никто не смеет противиться тебе!" Как только они произнесли эти слова, один вспыльчивый воин (заметим: просто воин, из тех свободных, кто составлял войско. – *Авт.*), завистливый, неумный, поднял секиру и с громким возгласом "Ты получишь отсюда только то, что тебе полагается по жребию", - опустил ее на чашу… король перенес это оскорбление с терпением и кротостью (не забудем, что это пишет епископ. – *Авт.*). Он взял чашу и передал ее епископскому послу… А спустя год Хлодвиг приказал всем воинам явиться со всем военным снаряжением… И когда он обходил ряды воинов, он подошел к тому, кто ударил (секирой) по чаше, и сказал: "Никто не содержит оружие в таком плохом состоянии, как ты… И, вырвав у него секиру, бросил ее на землю. Когда тот чуть-чуть нагнулся за секирой, Хлодвиг поднял свою секиру и разрубил ему голову…" (*Григорий Турский.* История франков. М., 1989. С.48).

рена, а греческий закон, ньмпт, называет распределением, определяя справедливость как воздаяние каждому его собственного[70] и забыв определения справедливости Сократом (сила, которая делает вещи такими, каковыми они являются по природе, естественные отношения господства и подчинения между телесными началами[71], от чего не отказывался и Аристотель). Это забвение произошло потому, что изменилось представление о своем собственном: относясь к человеку как к созданному богом механизму (сердце – пружина, нервы – нити, суставы - колеса), Гоббс полагает, что и сам человек – существо искусственное; древняя Сократическая максима *познай самого себя* преобразуется, по таким представлениям, в *читай самого себя*[72]. Это значит, что людей, особенно власть имущих, надо поощрять не к варварскому отношению к нижестоящим людям, а к их поучению, потому что, в силу тождественности человеческих мыслей и страстей, зная собственные мысли и страсти, вышестоящий будет точно знать мысли и страсти нижестоящего.

Выступая против Аристотелева принципа, что человек – полисное существо, Гоббс доказывает, что человек по природе существо не общественное. В обществе он ищет не друзей, а осуществление собственных интересов в войне всех против всех, хотя задача государства – всех умиротворить. Этому и способствует естественный закон, который на деле есть «найденное разумом общее правило»[73], то есть правило-договор, найденный по правилам искусства составления правил.

Искусственно создав Левиафана как гражданское общество, civitas, где верховная власть – это душа; награда и наказание – нервы; богатство и спасение (безопасность) народа – занятие; память – советники; справедливость и законы – *искусственный* разум, гражданский мир – здоровье; смута – болезнь; гражданская война – смерть, человек побуждается к исполнению естественного закона (слово «естественное» двуосмысленное слово – оно означает искусство, которым обладает человек, чья природа, то есть естество, искусственного происхождения в силу его сотворенности). Естественный закон при этом в отличие от исконного стремления человека к войне призван к установлению мира, заключая в себе обязательство выполнения соглашений, отклик на благодеяние, умение приноравливаться к другим людям, прощение, учет размеров блага при благодеянии, полностью отвечая определению, которое Гоббс дал разуму как «искусственному совершенству»[74].

В ранней и новой Европе это право власти, не считающееся с законами, соседствовало с гражданским правом как таковым, с общим неписаным и записанным правом, с пониманием и оправданием правом своей (личной и частной) собственности. Гоббс после 1649 г., то есть после казни монарха, пишет: «Если

[70] См.: *Гоббс Т.* Левиафан. С.197.
[71] *Платон.* О политическом строе (Государство). 444 d.
[72] *Гоббс Т.* Левиафан. С. 38.
[73] Там же. С.117.
[74] Там же. С.211.

кто-либо один или несколько человек утверждают, что суверен нарушил договор, заключенный им при установлении государства, а другие или кто-либо другой из его подданных, или суверен сам утверждает, что никакого нарушения не было, то в этом случае не имеется судьи для решения этого спора, и мы снова таким образом отброшены к праву меча, и каждый человек снова получает право защищать себя своей собственной физической силой»[75].

Глава 10. Философия и власть

Политолога Лео Штрауса критика называла то «главным политическим философом неолиберализма», то «крестным отцом неоконсерваторов», «фашистствующим профессором», хотя все его родственники в Германии погибли в концлагере в 1942 г., то марксистом, то антиамериканцем, то «гипертрофированным американским патриотом» … Сейчас говорят, что его взгляды уже не пользуются влиянием. Нас же сейчас интересует, что Штраус – великолепный историк, предметом которого является политика.

В его книге «О тирании» жестко поставлен вопрос и соотносимости философии и власти. Саму эту книгу (причем по желанию автора) реально составляют три произведения: «Гиерон» Ксенофонта, самолично переведенный Штраусом, с двумя действующими лицами: поэтом-мудрецом Симонидом и тираном Гиероном (которые беседуют по поводу того, кому лучше живется – частному человеку или тирану и о возможности преобразования тирании в справедливую тиранию, если так можно выразиться, через идеи любви, почитания и счастья), комментарии к этому диалогу Л.Штрауса, названные «О тирании» (комментарии детализированные, очень тонкие и компетентные), рецензия-эссе Александра Кожева и ответ на него Л.Штрауса. Вместе это представило содержательный диалог на тему отношения философа и власти.

Анализ «Гиерона» можно назвать образцом текстологического анализа текста, ведущего к нетривиальным выводам, которые на первый взгляд из этого текста, кажущегося содержательно скромным, извлечь трудно. Этот диалог тем более актуален, что «угроза тирании – сверстница политической жизни»[76]. Понимание тирании как зла для государства и блага для тирана базируется, по Штраусу, на мнении обыденного ума, заключающего, что власть, телесные удовольствия и богатство имеет большее значение, чем добродетель. Такого рода обыденное мнение склонно отождествлять мудрость как благо с тиранией (Сократа обвиняли в том, что он не обличал его, а предполагал как одно из возможных правлений наряду с демократией при условии правления справедливости), хотя тиран избегает слова «свобода», неотъемлемое от мудрости.

Анализируя отношение Ксенофонта к тирании, Штраус полагает, что оно зависит от соотношения понятий «закон» и «справедливость». При тождестве

[75] Там же. Левиафан. С.149.
[76] *Штраус Л.* «О тирании». СПб., 2006. С.63.

этих понятий исчезает различие между справедливыми и несправедливыми законами. Справедливость в делах по своему существу может быть независима от закона, а потому возможна и при тирании – политическом строе, как известно, пренебрегающем законом. Если справедливость по существу надзаконна, то «власть без закона вполне может быть справедлива… Абсолютная власть человека, который знает, как править, … на деле будет превосходить власть законов, поскольку хороший правитель – это живой и "зрячий" закон, тогда как сами законы "незрячи"… Следовательно, власть во всем хорошего тирана предпочтительнее власти законов и справедливее таковой»[77].

Штраус сопоставляет двух мудрецов из двух трактатов Ксенофонта: Симонида и Сократа. Сократ, на взгляд Ксенофонта, перехваченный Штраусом, полагает знание единственным оправданием власти – не силу, не обман и не избрание-наследование, а потому будет легитимным то правление, конституционное или тираническое, которое изъявит готовность слушать советы того, кто «хорошо говорит» потому, что «хорошо думает»[78]. Однако, несмотря на такие теоретические рассуждения, представляющие «максимально заостренную форму отражения проблемы закона и легитимности» и ведущие к избавлению «своих приверженцев от безоговорочной верности, к примеру, афинской демократии»[79], Ксенофонт, по мнению Штрауса, полагает, что в реальности слушающая мудреца тирания невозможна, поскольку «тиранического» учения для гражданина, признававшего общество, управляемое законами, не существует. Одно из важных отличий правителя от мудреца состоит в том, что правитель, чья функция – «делать», даже «делать хорошо», должен служить всем своим подданным, в то время как мудрец (Сократ), чья функция – «говорить» (обсуждать), сохраняет возможность свободного общения с теми, с кем ему нравится вести разговор, поскольку он свободен настолько, что может позволить себе даже жизнь чужестранца. Более того, «*если мудрость и добродетель составляют высшее благо, отечество и город таковыми быть не могут. Если высшее благо – добродетель, то не отечество как таковое, но только добродетельное сообщество*», именно оно есть *наилучший политический строй*, оно «способно нераздельно завоевать всю преданность порядочного человека»[80].

Взгляд Кожева на проблему соотношения власти и мудрости (в данном случае - философии) принципиально иной. Прежде всего он, оценивая Ксенофонтов диалог, считает, что беседующий с тираном поэт-мудрец ведет себя не как Мудрец, а как Интеллектуал, «который критикует реальный мир, в котором живет, с точки зрения некоего "идеала", сконструированного им в дискурсивном универсуме», каковому идеалу «он придает "вечную" ценность – прежде всего потому, что таковой не существует в настоящем и не существовал в про-

[77] Там же. С.133.
[78] Там же. С.134.
[79] Там же. С.136.
[80] Там же. С.168.

шлом»[81], представляя собой утопию. Кожев, придерживаясь гегелевского направления мысли, выраженного в «Феноменологии духа», полагает, что вести речь о тирании или любом политическом действии через идеи любви, почитания и счастья невозможно, «поскольку эти три феномена предполагают наличие элементов, которые не имеют ничего общего с политикой»[82], кроме того, состояние счастья может дать любой заинтересованный труд или даже война. Более того, философ, а не интеллектуал, дающий советы правителю, должен стоять на почве реальности, избегая утопии. В связи с этим возникает вопрос, что такое философия и кто такой философ.

По Кожеву, 1) владеющий диалектикой философ способен избавляться от предрассудков, обладая при этом большей конкретностью мышления. Абстракция возможна лишь для упрощения конкретной реальности; 2) философ как владелец всеобщего вполне способен сам взять власть в свои руки или быть советчиком для власти. Вопрос в том, хочет ли он этого. Проанализировав позиции философов, задавших образ философствования как чистого теоретизирования, или созерцания, а потому ведущих одинокое существование в некоем Саду или Республике письмен и расценив это существование как изолированное и эгоистичное, Кожев полагает необходимым для философа участвовать в истории. Соответственно для него не чужда проблема признания, и эта проблема делает философа неотличимым от государственного деятеля. Помимо прочего, эта идея делает для него необходимым участие в воспитании (быть «педагогом от философии»).

Для Сократа, как это понимает Кожев, нет никаких помех, чтобы вступить в общение, «начать публично демонстрировать свою добродетель, как он делает это не только для контроля над собой, но также (а может быть, и прежде всего) для внешнего “признания”»[83]. Поскольку же философ вполне способен исполнять высшую власть, остается проблема доверия к нему со стороны высшей власти, поскольку она всегда будет подозревать в нем возможного соперника. Вопрос состоит и в том, окажется ли при активном участии в государственном правлении чистой совесть философа, поскольку философ, ограниченный, как любой человек, временем, не всегда во-время подавал бы советы, не успевая за временем и выставляя себя тем самым или посмешищем, или лицемером. «Конфликт философа, оказавшегося перед лицом тирана, никоим образом не отличается от конфликта интеллектуала перед лицом действия… По Гегелю, такой конфликт является единственной подлинной трагедией, разыгрывающейся в христианском и в буржуазном мире – трагедией Гамлета и Фауста»[84]. Поэтому свой отказ от действия философ мог бы оправдать только методом исторической верификации, позволяющим проанализировать смены образов правления (природного сущностного единства государства Александра

[81] Там же. С.223.
[82] Там же. С.230.
[83] Там же. С.254.
[84] Там же. С.261.

Македонского, которое могло быть следствием философии Аристотеля, и тварной социальной однородности возможного христианского государства).

В ответном слове Штраус, не согласившийся с аргументами Кожева и показавший, как такие состояния, как любовь, почтение и счастье входят внутрь любого человеческого (и философского) действия, выразил мнение, что «классические мыслители не расценивали конфликт между философией и государством как трагический»[85]. Более того, он полагает, что «не война и не труд составляет человеческое в человеке, но мышление»[86], а счастье состоит не в завершении Истории и не в ее Смысле, а в наилучшем режиме.

Очевидно, что это – цель любой политической деятельности, и потому нельзя исключать возможности «советов», о чем говорилось и что было со времен оно.

Илья Кукулин на ХП Банных чтениях говорил, что «советские» интеллигенты, считая невозможной публичную политическую жизнь, но желая участвовать в ней, продвигали свои проекты в среде властных элит «конспиративно и без какого-либо публичного обсуждения»[87]. К числу таких «прогрессоров» он относит методологический семинар Г.П.Щедровицкого. К ним можно добавить бывших влиятельных людей в сфере идеологии, вроде Л.В.Карпинского, вышедших из власти, желавших ее изменения, но тоже действовавших конспиративно. Это как раз лишнее доказательство, что изменения в политике могли быть по-варяжски произведены «сверху».

Во время перестройки и после нее оппозиционно настроенные интеллектуалы, среди которых было немало философов, тоже «пошли во власть», но, не сумев понять специфики «выделения» довольно быстро оттуда ушли. Остались те, кто сумел приспособиться к власти, то есть сумел стать «иностранцем» для народа. Поскольку же осталась фразеология, то они некоторое время имели успех за счет демократической фразеологии, довольно скоро утомившей и их самих, и тех, кто их поддерживал. Попытки разговора власти с интеллектуалами, поскольку интеллигенция как слой распалась, ни к чему не приводили, ибо речь шла о поддержке этими уважаемыми интеллектуалами власти, ни к чему не привела, так как власть не поняла или не знала, что в нашей стране при искони существовании отделенности власти, как бы хороша она ни была, часть интеллектуалов, особенно тех из них, кто не связан с высокими технологиями, необходимыми для государства подкармливаемыми властью, являются оппозицией власти. В этом была их принципиальная позиция.

Колебания некоторых из гуманитариев, выраженное в призывах к поддержке, скажем, власти Б.Н.Ельцина, который, хотя бы на первых порах, казался демократическим, ну, может быть, отдавал олигархщиной, были, с одной стороны, основаны на переживаниях несусветного, подавлявшего любую свежую мысль сравнительно недавнего прошлого и страхом перед его возвращени-

[85] Там же. С.317.
[86] Там же. С.322
[87] НЛО. 2006. № 1 (77). С.516.

ем. А с другой стороны, возможно, непониманием его укорененности в далеком прошлом, о котором успели забыть. Ну, кто, кроме Бибихина и специалистов-историков, у которых были цели, далекие от современной политики, вспомнил об этих варягах, ставших легендой, героями песен, метафорой врага, в котором для российского уха соединились и этимологически точные значения варяга как заморской стороны, как воина и телохранителя и вместе скупщика по деревням всякой всячины, офени и маклака?

Вопрос как раз в полной переделке, в установлении и упрочении своей собственности, которую нельзя будет ассоциировать с краденой, своего права, которое нельзя будет ассоциировать с подачкой верхов, своей свободы, не ассоциированной с регистрациями, прописками и полицейскими мерами. Внутреннее воспитание и самовоспитание, самодетерминация в обществе не тождественны переговорам с властью, советам власти и помощи власти, которой пока что человек, не входящий в ее структуры, оппозиционен по российской природе.

Глава 11. Русская специфика

Вопрос в том, как мы понимаем политику и почему в отличие от западного гражданина говорим о власти как о чем-то отчужденном от народа, откуда вообще это весомое противопоставление власти и даже не народа - населения. Даже сейчас, читая статьи или выступления вроде бы вполне «продвинутых» философов, историков и других людей, осмысливающих политическое положение страны на постсоветском пространстве, можно столкнуться с такими понятиями как «советский опыт» (опыт чего? Мысли? Но нужно еще доказать, что мысль обладает свойствами советскости или капиталистичности) или «интеллектуальный канон» (если канон, то действует ли интеллект, и если все-таки канон, то не идет ли речь о бессознательном, то есть не о «культурном наследии», а просто о бессознательном восприятии некоего жизненного статуса, что есть не мысль, не интеллект и не культура, ибо последняя требует осознания[88]). Если же, как было сказано на одной из конференций «слова “новый канон” по смыслу близки словам “новые школы” или “новые направления”»[89], то при близком взгляде на «школы» общее у представителей любой из них – проблема, а не решение.

При попытке понять специфику российской собственности, видимо, нелишне учитывать, что деспотия была и в Западной Европе, не только в Византии, чьей наследницей в качестве Третьего Рима явилась Россия. Но европейцы были памятливее, у них хватило времени на память (как отложенном времени). В России не было времени ни сложиться природной собственности, ни памятливости о ней. Еще близко было то время, которое Аристотель назвал ленивым в отношении собственности, полагая, что люди, с одной стороны, возделы-

[88] Каждое слово нуждается в пояснении, ибо у нас часто и культура воспринимается как традиция не в цицероновском смысле, а в этнографически-археологическом.

[89] Опыт креативных начал // Новое литературное обозрение (НЛО). 2006. № 1 (77). С.511.

вали как бы живую пашню, не прилагая особой заботы и труда к добыванию средств к жизни, с другой – жили разными видами охоты, среди которых не на последнем месте был грабеж.

Когда мы говорим о российском тоталитарном государстве, вопрос об идеологии не последний, если не сказать первый, ибо ныне мы оказались в ситуации без идеологии. Многие ощутили себя как бы в пустом пространстве, а потому призыв к созданию новой идеологии (причем неизвестно, на какой основе) в массе нашел восторженный прием. На этой волне «укрепление» государства за счет говорильни и призывы к патриотизму имеют особенный успех, «за» которым скрыты приготовления к созданию нового не столько промышленного, сколько военного комплекса. Между тем в теории права не так давно высказывались мнения, что идеологические нагрузки на некоторые статьи действующей Конституции ничего не добавляют к правовой норме[90], хотя сопровождаются принятием огромного количества неработающих законов. Сторонников призывов к идеологизации, сути которой никто не понимает и не предлагает, лишь бы она способствовала авторитету правящей партии при сохранении любых мнений, – того рынка-базара, который есть, возможности манипулировать СМИ, по-прежнему не занимаясь общественным правосознанием, – ничуть не смущает, что одновременно действуют призывы к вестернизации. Когда читаешь сегодня вести с научных конференций, удивляешься обилию сопоставлений себя с французами, итальянцами или немцами, словно речь идет о братьях-двойняшках: так нам хочется породниться. Однако и хочется для того, например, чтобы выяснить смысл некоторых слов. Карл Шлегель, например, рассказывал о негласном табуировании в гуманитарном знании ФРГ термина «пространство», имевшего коннотации с нацистскими призывами к расширению жизненного пространства. Нечто похожее у нас было с термином «социализм» или «коммунизм» на заре постсоветской эры, и все эти слова, когда произносились, произносились с очевидным не столько критическим, сколько ироническим оттенком, как «всеобщие выборы» одного кандидата в депутаты Верховного совета. Всеобщие выборы 2007 г. несмотря на изменившуюся риторику и наличие похожих партий реально повторяют те самые выборы.

О предшественнице России – Руси стало банальностью говорить, что она переняла от Византии не только ортодоксию, но и институт тоталитаризма, заключавшийся прежде всего в личной зависимости каждого члена государства от личной воли царя, затем императора, чего никогда не было в Западной Европе, руководствовавшейся принципом «вассал моего вассала – не мой вассал». Столь же часто вспоминают и о том, что Россия вследствие монголо-татарского иго переняла все черты восточной деспотии. В совокупности обе эти формы правления привели к тому, что любые проявления исследовательского духа, все мыслительное богатство задыхалось внутри идеологического государства, не

[90] См.: *Колдаева Н.П.* К вопросу о роли идеологических факторов в правообразовании // Теория права. Новые идеи. Вып.4. М., 1995.

вело к созданию права (Византия пользовалась Римским правом, определив все недоступные определению предельные вещи и тем самым выхолостив из него животворный дух, поскольку тоталитарной власти законы ни к чему). Да и союз власти с церковью был не лучшим выбором, ибо, как пишет Бибихин, «для среднего, по натуре индифферентного жителя лояльность в отношении своей религии, рода, национального предания меркла перед культом государственного могущества»[91]. С.С.Аверинцев еще ранее писал о Византии, что «если какой-либо род мистики волновал его сердце, это был мистический восторг перед таинственным величием империи ромеев»[92]. Это же состояние передалось и жителю Руси, желавшей стать наследницей Второго Рима в качестве Третьего Рима. Если римское право коренилось в самом природном состоянии человека и было стянуто формой и требовало дисциплины, которую брал на себя человек, живший на основании этого права, то там, где это право стало всего лишь инструментом власти, оно выродилось в сумму решений, которые иногда исполняются, иногда остаются в бумагах, как, например, закон о пристегивании ремнями в автомобиле.

Договоры по «понятиям», о которых уже говорилось, в России в свете изначально сложившейся отделенности государственной власти от населения вовсе не случайны, поскольку законы выражают чаяния только «верхов», отчужденных от «низов». Здесь не работает сократический принцип, согласно которому «законы… справедливы для подвластных» (Политика, 338 е). Сократические принципы были хороши для некоей единости, из чего бы она ни исходила – из демократии или тирании. В данном случае предполагается единость в определении справедливости для людей, говорящих на одном языке и в ситуации возможности единомыслия, достигаемого не благодаря жизненной эмпирии, а благодаря правильному философскому исследованию. Но и в его время к такому исследованию относились скептически, не отождествляя теоретическое и эмпирическое. Его оппонент Фрасимах, будто предвидя представление Л.Витгенштейна о том, что любая вещь опознается по ее применению, которое можно отнести и к законам, говорил, что «устанавливает законы всякая власть в свою пользу: демократия – демократические законы, тирания – тиранические… во всех политиях справедливостью считается одно и то же, а именно то, что пригодно существующей власти» (там же). В подтверждение этого он приводит искусство пастуха, которые заботятся не о благе овец, а о благе их владельцев. Рассуждения Сократа о том, что пастух может соединять в себе разные человеческие качества, помимо искусства пасти овец (нахлебника и стяжателя), и что его истинное назначение сохранять овец в наилучшем состоянии, успеха не имели, поскольку в этом случае соединяются несколько не человеческих качеств, а искусств: ибо пастух это и охранник чужого добра. Диалог не приводил спорящих к единству мнений, оно могло быть достигнуто только насилием.

[91] *Бибихин В.В.* Введение в философию права. С. 181.
[92] Культура Византии. 1У – первая половина УП вв. М., 1984. С.273.

«Как же тебя убедить? – сказал Фрасимах. - …Не впихнуть же мои взгляды в твою душу!» (345 b). Более того, представления самого Сократа о политиках, а ими являются и правители, представления, выраженные им в диалоге «Менон» мало чем отличаются от взглядов на политиков Фрасимаха. Политики, говорит Сократ, «ведут свои города по правильному пути; разумом они совсем не отличаются от прорицателей и боговдохновенных провидцев: ведь и те в исступлении говорят правду… мы правильно назовем людьми божественными тех, о ком только что говорили, - прорицателей и провидцев и всякого рода творцов; и не с меньшим правом мы можем назвать божественными и вдохновенными политиков: ведь и они, движимые и одержимые от бога, своим словом совершают много великих дел…» Мы здесь опускаем вопрос о том, с помощью знания или нет, творят эти люди, важен акцент на их безошибочность. И Фрасимах говорит реально то же: «Правитель, поскольку он действительно настоящий правитель, ошибок не совершает, он безошибочно устанавливает то, что для него всего лучше, и это должны выполнять те, кто ему подвластен» (340 e – 341 a).

Вряд ли сейчас кто-либо, желая создать новое правильно управляемое общество, будет по-аристотелевски рекомендовать учить благородных юношей грамматике, гимнастике, музыке, «а иногда» и рисованию. Все эти дисциплины давно входят в состав всеобщего образования. Но вот осмыслить опыт существования монархий, аристократий, политий и их отклонений в виде тирании, олигархии и демократии по-прежнему необходимо, чтобы понять, почему наша страна так долго и упрямо склонна к деспотической монархии или к тирании. Здесь мало сказать о византийском наследии и монголо-татарском иге, которые за семь веков сумели преобразить общество, ибо и с конца ига прошло тоже без малого шесть веков. Надо понять также, почему мы с придыханием повторяем слова Черчилля о том, что, несмотря на недочеты демократий, он не знает лучшего правления, соглашаясь с ними. Ведь Афины казнили Сократа в 70 (!) лет. Трудно разделить некоторую удовлетворенность этим фактом Л.Штраусом, который сказал, что ему все же дали дожить до 70 лет, в то время как в Спарте его сбросили бы со скалы еще в младенчестве (Л.Штраус напомнил об этом в «Естественном праве»).

Аристотель считал, что лучшее правление аристократическое, что любое хорошее правление пользуется «советами», не прошедшими в России ни в начале, ни в конце XX в., да и Черчилль все же жил не вполне в демократической Англии, которая официально называется монархией, королевством, и до сих пор там правит та же королева, что и во времена Черчилля. Сократ считал и вовсе, что хорошее правление – справедливое, независимо от того, какой строй на дворе, пусть и тиранический, чего демократические Афины ему не простили. Констатация же факта «возвращения в политическую жизнь X1X – XX1 веков иррациональной мифологической стихии» в виде Левиафана, основанной на «эмоциональном переживании символов», способствовавшем появлению поли-

тической теологии[93], - не его объяснение, тем более не объяснение возвращения «нашего», российского Левиафана, как бы при этом не были некритичны и нерефлексивны наши интеллектуалы. Более того, тема Левиафана настолько стара, что даже упоминание имени Гоббса лишь подкрашивает ее, и она не столько мифологична, сколько, как могли бы сказать постпостмодернистские интеллектуалы, артрелигиозна, ибо представляет град земной, изображавшийся на средневековых миниатюрах (можно посмотреть рукопись «Исторической библии» Гийара де Мулэна Х1У в.[94]) именно в виде Левиафана. Скорая мысль – не всегда правильная мысль. Скорый на мысль М.Хайдеггер однажды просчитался в своих ожиданиях, расплачиваясь за эту скорость всю жизнь. Слова «мне было стыдно», почти оброненные в письме, на деле выражали эту пожизненную расплату.

Точно также от постсоветской России трудно, хотя и хотелось, ожидать рефлексии результатов, достигнутых советской культурой, прежде всего теорией литературы, куда «ушла» по большей части и философия.

Здесь сработал принцип О.Розенштока-Хюсси: он касается смены способов и образов жизни, что было всегда во время болезней общества, к которым он относил а*нархию, декаданс, революцию и разного рода войны.* Время этих болезней он считает временем отсутствия речи, ибо в катастрофе теряют силу старые традиции. Это время не захвата мира, а потери обретенного опыта. И даже если находятся люди, передающие нечто из прошлой традиции, то или а) их слова лишены силы убеждения, или б) их слова лишены вообще какой-либо силы, поскольку отсутствует сам предмет разговора. Время же выздоровления – время рождения новых *стилей речи,* посредством которых общество укрепляет пространственно-временные оси, которые задают направление и ориентацию. Слишком шумные опыты с рекламой, с разнузданными СМИ, пиаровскими акциями – свидетельство неустойчивости времени, это скорее поверхностные явления, чем проявления некогда зажатых титанических сил. Эти еще впереди.

Очевидно, что, как ни пристегивай к собственно философствованию в России все накопленное знание до Х1Х в., началось оно именно со второй половины века Х1Х, может быть, с уникальной фигуры Владимира Соловьева, и продолжалось вплоть до 1922 г., до «философского парохода», когда сформировавшаяся философская метафизическая культура резко заявила о своей и политической направленности (многие философы принадлежали к разным партиям, прежде всего – кадетской).

Что мешало философии формироваться ранее? Философская мысль требует свободы, в России этого не было никогда, с момента образования Руси. Это было связано прежде всего со способом образования особой государственности, зависевшей от призванных варяжских пришельцев, для которых жители призвавшей их страны и стали населением – термин родом отсюда. С этого мо-

[93] Там же. С.512.
[94] С.С.Неретина описывала ее в: «Образ мира в “Исторической библии” Гийара де Мулэна».

мента той свободы, которой по природе обладали племена, освоившие будущую территорию Руси, с этого момента не существовало, они, эти имена даже имя приняли чужое. Свобода (в том числе свободное философствование) растекалась по разным отсекам и сусекам, прежде всего ее прибежищем, как и в советские времена, была литература и гуманитаристика в широком смысле слова.

С середины Х1Х в. начинается политическое ослабление режима, разговоры о земстве, судах присяжных, школах стали делом, что и создало свободное пространство для мысли. Меньше чем век Россия была заведенной мощным импульсом в основном на базе православия собственной мысли и осознания собственной культуры. Затем это исчезло, и вплоть до середины 80-х годов ХХ в. мысль эта питалась тайными крохами с западноевропейского и восточного столов, породив странный интеллектуальный симбиоз, который и по сей день дает о себе знать. Советской философии, как ни называй те институции, что носили это имя, не было. Была идеология, внутри которой изнывали жаждущие свободы умы, перенося эту свободу на историю философии в той мере, в какой это дозволялось[95], а дозволялось столь мало, что позволившие себе глоток свободы тут же изгонялись из институтов.

Отношение между властью и философией также старинное. Достаточно вспомнить отношения Сократа с афинской политией, кончившиеся плачевно, диалог тирана Гиерона и поэта-мудреца Симонида в диалоге Ксенофонта «Гиерон» (о Симониде вспоминает и Платон в «Политии»). Но с конца ХУШ в., после того как философия преобразилась в наукоучение, она стала рассматриваться как «пакет знаний», пакет же остается неизменен при любых властных коллизиях. То, что она – пакет, властью усвоено, но вот то, что пакет этот знает лишь то, что ничего не знает, осталось за бортом, и философия вынуждена об этом напомнить всем, в том числе и власти. Не то чтобы она оказалась не готовой к новым перипетиям (не готовы «пакетчики»), но она – напротив, приготовилась узнать новое незнание. В этом – ее свобода и новизна.

Нам кажется, что в этом случае нельзя говорить о том, что философия имеет какую-то базу, тем более базу в виде европейской философии – ни к чему иному, кроме как к подражанию, имитации, толкованию и повторению задов это не ведет, если признать, что философия – всегда новое, что она говорит то с помощью рассуждения, то с помощью того, что называли и называют боговдохновенностью. Не являясь заложниками религии, мы спокойно произносим это слово. Можно сказать иначе – «по наитию», это мало что меняет. Но то, что вдруг обретает голос, свидетельствует о важности не голоса даже, а именно «вдруг», которое в данном случае становится едва ли не термином (в первом номере онлайнового журнала «VOX» была сделана попытка описать его). Если философия знает то, что она ничего не знает, то она вынуждена обратиться к

[95] См. перепалку философов Э.В.Ильенкова и М.К.Петрова на страницах книги М.К.Петрова «Искусство и наука. Пираты Эгейского моря» (М., 1995).

началу, или – всегда – начало, а это не имеет ни территориальных, ни этнологических, ни исторических отметок, поскольку стоит в точке преобразования того, чего еще нет, в то, что вот-вот свершится. Не ясно – как? Но в этом и удивление, и энигматичность философии. Можно сказать, что ее сестра – утопия, которая обеспечивает свершение должного.

Глава 12. Гражданское общество или общества по интересам.

В конце 80-х годов XX в., когда началось обсуждение перспектив создания гражданского общества в России, подчеркивалась важная роль интеллигенции в этом процессе. Но во время этого обсуждения подверглись анализу и критике и понятие интеллигенции, которую отличает от любой другой общности опора на либерализм и нравственные устои, и ее способности решать поставленные ею же задачи.

Гражданское общество, повторим, появилось там, где уважалась собственность, право и законы, применение и исполнение которых были неукоснительны. Право же, как оно сложилось в России, несмотря на обилие законов и судебников, издаваемых после Х1У в., не обладало такой неукоснительностью, а без этого любой разговор о гражданском обществе – маниловщина. Можно вести речь о структурных, социальных, политических и прочих характеристиках социума, но не об обществе самостоятельных и независимых правовых субъектов.

При этом мы, не имеющие такого общества, называем цивилизацией, то есть гражданским образованием (от лат. civis - гражданин) любое долговременно существовавшее государство, будь то Египетские царства или Урарту (недавно удалось увидеть даже такое словосочетание, как «мусульманская *цивилизация*», то есть не гражданское образование, а религиозное, по сути своей сакрализующее все, с чем имеет дело). Употребляя же термин «цивилизация», мы часто употребляем в качестве высшей стадии ее развития термин «культура», забыв, что сам этот термин ушел с исторического поля в 1У в. н.э. как терминноситель *ветхой* языческой философии, не ориентированной на «*нового* Адама», и вернулся лишь спустя тысячелетие[96]. И хотя термин «гражданское, или цивилизованное, общество» как союз свободных полисных людей употреблялся еще Аристотелем, в полной мере его можно применить лишь к европейскому Новому времени, когда возник принцип свободы и равенства для всех.

В годы слома советской власти В.С.Библер выделил существенные характеристики гражданского общества, среди которых на первом месте стоит развитая промышленность, предполагаюшая разделение основных форм деятельности (промышленный и сельскохозяйственный труд, всеобщий труд в сфере культуры), а также «*суверенная роль свободного работника*… динамика *необходимого и прибавочного* времени» и свободный рынок с его разнообразием

[96] См. об этом: *Неретина С.С., Огурцов А.П.* Время культуры. СПб., 2000.

интересов, ориентаций, спроса и предложения[97]. В этом смысле гражданское общество находится в эпицентре политэкономических и социально-исторических проблем, трансформируя их, характеризуя тем самым «не надстройку, но самую суть современного производства»[98]. Такое общество определяется как *форма общения* разных социальных групп, четко структурированных по программам и формам деятельности, обращенных на самих себя, на свои права и свободы, что освобождает их от жестких социальных сцеплений. В обществе свободно группирующихся по классовым, творческим, производственным и любым другим интересам людей меняется роль меньшинства, которое перестает быть заложником решений, принятых большинством голосов. В гражданском обществе меньшинство может быть ко всему прочему действующей оппозицией, «не отвечающей … *за* власть, но отвечающей *на* действия власти»[99], что, разумеется, предполагает свободу митингов и демонстраций, опору на собственность и гласность.

Многое из того, о чем говорил В.С.Библер, можно было прочесть и раньше - в статьях юристов, экономистов, историков и философов начала XX в., особенно требование гласности, под которой понимались, прежде всего, публичность принимаемых властных решений и снятие информационной государственно-полицейской блокады. Такие требования, однако, напрочь исчезли в годы советской власти, и малейшие попытки их реанимирования кончались физической расправой. Жесткий разрыв между чаяниями неправящего большинства и грубой властной силой правящего меньшинства выражал тотальную оксиморонность СССР, позволившего разрушить или перемешать все социальные структуры, соответствующие промышленному производству (буржуазию, рабочий класс, крестьянство, интеллигенцию). Но и нынешнее государство не менее оксиморонно: **внешне** смяв старую власть к 1991 г. и выразив ненависть к ее полицейским методам, народ делегировал – вполне в духе гражданского общества – свои права депутатам Государственной думы и президенту, в действиях которых обнаружилась **внутренняя** глубокая связь с прежними властными структурами. Была разрушена промышленность. Возник странный рынок, допускающий вмешательство государства, разрушающее его основы, вывоз капитала. Слово «интеллигенция» стало почти ругательным не только в советское время («а еще шляпу надел»), но и в постсоветское. Желание построить государство на демократических основах столкнулось с жесткими препятствиями ментального порядка: общество, практически не знающее, что такое демократические основы, реально решило сконструировать *неосоветское* государство на усеченном *неороссийском* пространстве с учетом возможностей и потребностей в рынке с прогнозируемым и регламентируемым переделом собственности и со свободой слова без гласности или при неполной гласности.

[97] *Библер В.С.* О гражданском обществе и общественном договоре//*Библер В.С.* На гранях логики культуры. М., 1997. С.350.
[98] Там же. С.352.
[99] Там же. С.354.

Делается это часто руками тех самых интеллигентов, которые ратовали за **неполитическое** гражданское общество, могущее появиться в соответствии с «требованиями **политической** теории марксизма» и как результат выполнения «**политической** задачи перестройки, происходящей в нашей стране **под руководством партии**»[100].

Сейчас настрой на тотальное государственное преобразование (выраженный именем «перестройка») и образование гражданского общества сменился апатией большинства населения при одновременном политическом возвышении сложившихся групп коррумпированных политиков-бизнесменов со штампованными лозунгами, а вместе с тем трудным «низовым» повсеместным запуском производств и трезвым анализом «нашего положения», требующего – может быть, прежде всего - правового образования. В противном случае право замещается непреднамеренным беззаконием, преднамеренным обманом или преступлением, о чем говорил Гегель. Двойственная позиция государства в отношении правосознания сейчас очевидна: с одной стороны, показательные уроки судопроизводства демонстрируются едва ли не на всех каналах телевидения, с другой, происходит немотивированное попрание прав собственности.

За 90 лет, прошедших после Октябрьской революции, полностью разрушилась старая идеология. Это единственное крупное достижение последних лет требует своего анализа. Время существования советской власти определяется как время торжества марксизма, который в теории предполагал отмирание права вместе с отмиранием государства. Процесс оказался явно не синхронным. Правовой **при**каз (лат. термин jus-право производен от лат. iubeo-приказываю, устанавливаю) успел только **по**казать свою силу, поскольку советское государство развивалось от науки к утопии, у которой нет опоры в общепринятом праве. Такое государство мгновенно разворачивает два права: право силы и маргинальное право отдельных людей. Носители того и другого права оказались друг относительно друга право-преступными.

Двоеправие стало ведущей силой советского общества: в одном случае право облекалось в форму марксистской идеологии, а в другом – международных прав человека, противостоящих этой идеологии. Но это двоеправие сыграло революционизирующую роль: оно привело к тому, что даже марксистская философия, призванная на службу идеологии, освобождалась от тождества с нею, поскольку в лоне идеологии она обязана была заниматься **критикой** своей эпохи, соответственно – не только критикой буржуазного общества, но и своего. Доведение этой критики до кульминации имело следствием ликвидацию себя как идеологии, чем объясняется огромный интерес к выросшей из анализа марксистской теории «постмодернистской» философии. Это, в свою очередь, вело к отрицанию некоего одного права на истину и к уравниванию всех типов дискурса. История, таким образом, отрывалась от опоры на закономерности, утверждая могущество «среды» и открывая равные возможности для одновре-

[100] 50/50. Опыт словаря нового мышления. М., 1989. С. 446, 448. Выделено нами.

менного осуществления 1) парадигмальной смены социального кодирования (как в Японии, где произошло крушение важнейшей опоры японского менталитета – военной традиции), и 2) возникновения авторитарного, в нашем случае - **нео**советского государства.

Процесс парадигмальной смены предполагает довольно длительный «замороженный» период, когда старое сломано, а нового еще нет. Единственной общей платформой для сообщаемости людей становятся деньги. Такую властную систему можно назвать **монето- или money-кратией**. Во время такой перестройки мышление для своего постоянного обновления не нуждается ни в памяти, ни в личности, ни в вере, обеспечивая себя теми возможностями, которые связаны с монетарностью. Выход через такой катаклизм опасен тем, что он открывает все пути, в том числе старые, на которых делаются попытки обновить и память, и веру, и патриотизм: это и есть авторитарные пути. При утрате опоры в социальности на этих путях обнаруживаются желание и возможность (через финансовый капитал, военную силу) навязать обществу решения, от которых оно уже, было, отказалось, но в силу «усталости» готово их принять, тем более что советизм до конца не повержен, а только прикрыт. Закон о запрете неправительственных организаций, которые финансировались иностранными фондами, и которые были способны служить основанием гражданского общества, стал той фишкой, которая позволяет поставить вопрос, а не является ли сама российская потребность в таком обществе потребностью гоголевского Ноздрева выговориться и надолго замолчать? Ведь не случайно термин «гражданское общество» употребляется как антоним термина «военизированное общество» и при желании его цели можно свести к чему угодно, например, к проблемам образования.

Сейчас некоторые национальные республики в России «получили столько автономии, сколько хотели». Каким же образом гражданское общество, предположительно охватывающее всю Россию и основанное на общеевропейских принципах светских свобод, может допустить внутри себя религиозную правовую систему, скажем, шариат? Разумеется, исповедуя свободу совести, нельзя вмешиваться в политико-религиозную жизнь людей (стран) с иным, чем у нас, вероисповеданием. Но ориентированный на европейские ценности человек оказывается при этом в состоянии парадокса. Признавая, что азиатские и кавказские регионы страны перестали пылить за ее европеизированной частью, он будет отстаивать право на их культурную самостоятельность и на независимость правовых систем, ибо он - европеец особого рода: он живет не только в многонациональном, но и в многоконфессиональном государстве. Это значит, что при провозглашенном принципе свободы и равенства он обязан признавать религиозные права и таких конфессий, где нет деления на светское и духовное, где человек сакрализует все мирское и в любом случае действует от имени своего Бога или богов. Может ли быть в таком случае сложено гражданское, не-

религиозное общество, признающее равные права мужчин и женщин и отстаивающее для них правовое единство?

Европейская система права отвергает право религии вмешиваться в светскую жизнь людей. Примером такого рода является запрет на ношение хеджаба во Франции. Священный закон может быть сильнее светского, но определяет права человека в мире не он. Недавние бунты арабской молодежи во Франции показали предел, до которого были доведены права человека, в том числе права на передвижения, эмиграцию и пр. Безграничная либерализация привела к необходимости защиты гражданских прав населения, которое признало главной для себя правовую систему, основанную на либерализме. В этом случае колеблется роль интеллигенции в становлении гражданского общества. Тем более что гражданские общества в Европе были созданы не с ее помощью (она там отсутствовала), а с помощью профессионалов-легистов и предпринимателей, которые служили не государю, а общему благу государства. При этом общему благу служил и государь. Российский же византинизм, то есть зависимость всех и каждого только от личности государя в отличие от изначальной иерархической организованности европейского общества (когда вассал моего вассала – не мой вассал, даже если я - государь), это общее служение исключал. Этот подспудный византинизм, давление истории на менталитет человека, двуосмысленная природа закона, внешне выполняющего служебную или утилитарную роль, но внутренне подпертого тем, что со времен Платона называется врожденными идеями, обеспечивает возможность возврата к авторитарному правлению. Здесь как раз и требуется сохранение мудрого баланса между старым и новым.

В Древнем Риме, Иудее и христианской Европе главенствовало представление о законе, который был до нас и всегда. Lex-закон (от греч. легп-собираю и соответственно от льгпт-слово, смысл) полагался существующим прежде нас. Мы же создаем систему позитивных - положенных, то есть вторичных - законов, нащупывающих не дающуюся в руки правильность и регистрирующих правовые коллизии *этого* времени и часа. Естественное же право, по свидетельству древних, изначально шло от того, что они называли божественной или сакральной властью. Но и те законодатели, которые не являются сторонниками этой власти, осознают необходимость отчуждения закона от субъектности автора конкретного установления, проводя закон через сложные процедуры доработок и обсуждений, тем самым мешая его сиюминутному перетолковыванию, что и лежит в основе традиционных демократий. Jus-право - не свод законов, а прямой наказ, знак внеположности истинного закона.

Эта двуосмысленность закона предполагает единство писаного и неписаного права, которые в зависимости от требований момента проявляют то одну, то другую сторону. При революционной смене государственного строя заметно снижается роль фиксированного свода права, а мы пережили с 80-х годов, по крайней мере, два революционных кризиса - 1989 г. и 1991 г. Требовательные

призывы к установлению гражданского общества, которое стояло бы над идеологией, над партиями и осуществляло бы контроль над действиями правительства, правоохранительных органов, судопроизводства, шли от интеллигенции, которая, повторим, была своеобразным закоперщиком и государственных сдвигов. «Младшие научные сотрудники» вкупе с академиками А.Д.Сахаровым, Вяч.Вс.Ивановым и С.С.Аверинцевым и многими правоведами взялись за дело, засучив рукава, но **сути** дела не знал никто. «Опыт словаря нового мышления» показал способы его формирования. Одни авторы «Словаря» полагали, что перекапывать надо «все до основания», другие оглядывались на преступную правящую КПСС, третьи надеялись на идейную помощь Запада (в «Словаре» представлены два взгляда на зарождающуюся российскую демократию – российских и западных политологов).

Публикацию такого опытного словаря можно было бы назвать началом формирования гражданского общества, если бы слова сопровождались конкретными и не запоздалыми делами. Новая мысль требовала определения собственности, установления отношения к ней и ее правообеспеченности. Но именно понятие собственности не было продумано ни философски, ни юридически, ни экономически или политически, поскольку прежние - коммунистические - принципы предполагали полную отмену собственности. В этих терминах мы не расценивали свою жизнь. Поэтому правом не были обеспечены ни личная собственность (выражение «собственник» имело негативный смысл), ни общенародная, прежде всего земельная. У власти в конце 80-х оказались «хорошие люди» (термин тех лет), но оказались растерянными перед этой проблемой.

Не было и того, что в средневековые времена называлось достоинством земли, предполагавшим, что земля становилась графством, маркизатом или крестьянским мансом не оттого, что ею владел граф, маркиз или крестьянин, а наоборот - достоинства/недостатки земли позволяли владельца называть графом, маркизом, дворянином, которому не возбраняется держать и крестьянскую землю, платя налог, соответствующий качеству этой земли.

В России же земля всегда была «бесправна», и это стало выгодно современным «захватчикам-практикам»: они осуществили быстрый захват разбросанных, никому не принадлежащих и неоцененных земель и недр в свои руки. Возможность захвата была обнаружена, но не осознана, отчего произошел разлад между активностью делателей и пассивностью думающих. В.В.Бибихин, который, может быть, одним из первых всерьез обдумывал этот разлад, писал, что современный захват мира, приватизация – прямое продолжение девяностолетия (или еще дольше) обобществленной собственности в России. В этом захвате он сумел разглядеть самою «стихию человеческого существа», включающую в себя юридический беспредел, упреждая ситуацию, при которой захват как удивление перед миром, если не осмыслить его именно как удивление, то есть не осмыслить философски, может превратиться в грабеж[101]. Другой фило-

[101] См.: *Бибихин В.В.* Своё, собственное//*Бибихин В.В.* Другое начало. М., 2003. С.364 – 365.

соф, М.К.Петров, еще раньше В.В.Бибихина показал связь такой философии с хитроумным Одиссеем, умевшим обойти рифы разбоя и привязывавшим себя к мачте корабля, слыша пение сирен, но не бросаясь, очертя голову, на их призыв. Оба философа обратили внимание на то, что в определение мудрости входит безупречная техническая точность, обнаруженная Аристотелем в деятельности камнерезов и скульпторов (Никомахова этика, У1 7 1141а 9). Беспредел же возникает там, где «видение» не превращается в сознательное «ведение». Поскольку беспредел «концептуально не уловим», то «юридическому сознанию кажется», что собственник *готов* к обладанию собственностью, а на деле готов только к ее *сохранению* любыми средствами, поскольку эти проблемы возникают вследствие раннего и незаметного «перевертывания всякого увиденного *есть* в смысле имеется в *есть* в смысле у меня имеется»[102].

Вопрос именно в том, *у какого меня* есть эта собственность, ибо на роль «я» может претендовать и частное лицо, делающее многократные попытки юридически ее оформить, и государство, пользующееся тем, что юридическая практика *не готова* к такому оформлению: скачок от бессобственного состояния к собственному остался за пределами кодифицированного права. Владение частной собственностью в России у всех под вопросом и может быть, как видно из «дела Ходорковского», только временным. Более того, не схвачена двуосмысленность понятия собственности как 1) записи имущества на юридическое лицо и как 2) этимологического обозначения «своего», связанного с поиском себя. «Мы ничему не принадлежим так, как своему, - пишет В.В.Бибихин. – Мы заняты своим делом, живем своим умом и знаем свое время. *Свое* определяет владение в другом смысле, чем нотариально заверенное имущество… Русская *свобода* происходит от *своего* не в смысле собственности *моей*, а в смысле собственности *меня»,* и это «собственно свое непознаваемо… попытки вычислить, сформулировать уводят от него»[103]. Однако сама эта непознаваемость обеспечивает свободу собственности. «Вещь принадлежит тому, кто ей возвращает ее саму, обращается с ней по ее истине»[104], а не на основании того, что она может мне дать или что я могу от нее получить. Такой узкий подход к делу в России, не создавшей своей теории собственности и прежде оглядывавшейся на Маркса, может сделать неудачными любые юридические попытки ее отстоять, если прежде не будет допытана сама истина вещи, которая включает и ее свободу от меня. В некоем «важном смысле» крепостной крестьянин в царской России был, на взгляд В.В.Бибихина, владельцем полнее и свободнее, чем помещик[105], потому что именно крестьянин, а не помещик сидел на земле и был с нею заодно.

Гражданское общество потому так и необходимо, что, не следуя политическим и владельческим указкам, ставит интерес отдельного человека на первое и

[102] Там же. С.365.
[103] Там же. С.370 – 371.
[104] Там же. С.378.
[105] *Бибихин В.В.* Введение в философию права. М., 2006. С. 45.

главное место. Проблема именно в том, кто и что может дать стимул рождению такого общества. Провал первой постсоветской попытки, осуществленной интеллигенцией, позволяет критически рассматривать возможность ее приоритетного участия в его создании, тем более что, вопреки своему имени, интеллигенция склонна к мистицизму. То, что на Западе обсуждалось бы как научная *гипотеза*, в России вполне может быть принято за истину в последней инстанции. Так было с конца Х1Х в., когда союз ума, воли и дела заместился субъективными устремлениями отдельных исторических личностей. Правда, земство и такая политическая сила как либеральная интеллигенция, прежде всего партии октябристов и кадетов пытались всерьез провести либерализацию страны, установление парламентаризма, введение частной собственности на землю, регистрацию обществ и собраний, подчинение бюрократии общественному контролю, но это многими рассматривалось не как самоценная необходимость, а как вина перед попранными правами народа, не позволившая нецивилизованной России решить цивилизационные проблемы. Однако, как поражение революции 1905 г., так и победа ее в 1991 г. привели к тому, что интеллигенция как нечто ответственное за итоги своей деятельности практически исчезла. И в 1905 г., и тем более в 1991 г. она скорее обозначила *конец* своей миссии*, а не канун*, хотя *лишь «накануне» у интеллигента происходит концентрация всех сфер духовной деятельности, при которой одновременно взвинчиваются и нравственные усилия.* Потом начинается вырождение. Тогда был крен в сторону интеллигентного пролетариата (как считал С.С.Ольденбург), а сейчас - в сторону любого профессионально действующего специалиста или бомжа, поскольку отпадает необходимость в постоянном участии в той политической деятельности, которую можно было бы считать не следствием пиара, а нравственной работой. Интеллигенция представляла силу только в моменты рассогласованности реального дела и реального слова. Для народа такая интеллигенция была «не грабителями…даже не просто чужими как турок или француз, - писал русский европеец М.О.Гершензон, - он видит наше человеческое и именно русское обличье, но не чувствует в нас человеческой души, и потому он ненавидит нас страстно»[106]. Это напоминает резко негативное отношение того же народа к какому-нибудь правительственному деятелю, пока тот не проявит качеств *профессионала* и *специалиста*.

Тем не менее, дело граждан не должно стоять на месте. Для начала хорошо бы воссоздать не гражданское общество, а **общества** с разнообразными интересами, исключающие из своих программ какие бы то ни было интимные, даже чувственные отношения народа к правителю (будь то М.С.Горбачев, Б.Н.Ельцин или В.В. Путин), учащиеся жить собственными силами, обладающие навыками полисной жизни. Такие общества (клубы), которые, к счастью, сейчас есть и некоторые из них («Красная площадь») активно функционируют, должны ис-

[106] *Гершензон М.О.* Творческое самосознание//Вехи. М., 1990. С. 74 – 75, 91, 92.

ключать нарушение основных принципов существования индивида, обеспечивать возможности интеграции в мировые сообщества и обособления от государства, если оно не дает гарантий хотя бы простой безопасности.

Вместо заключения.

Подведение итогов исследованиям, совсем недавно начатым, – задача не выполнимая. Речь скорее может идти об указании на те области, которые остались не охваченными в данном исследовании, на те концепты политического сознания, которые еще ждут своего описания. Страх и террор, воля и свобода, справедливость и равенство, представительство и выборы, обман и честность в политике, толерантность и агрессия, личность и лицо, гражданин и бюргер, отчуждение и объективация, - вот некоторые из них, что пришли на ум. Среди них есть те, что связаны с переживаниями личности, но превратились в интерсубъективные феномены политической жизни, но есть и те, что являются политическими реалиями. Надо отметить, что в современной философии политики начали анализироваться и те, и другие феномены[107]. В международной политике необходимо учитывать столкновение концептов разных этнонациональных групп, приверженцев различных конфессий и последователей разных политических групп. И не следует относить одни социально-политические процессы к материальному базису, а другие – к идеологической надстройке, как это делалось еще совсем недавно в отечественных политических исследованиях. В политической жизни переживания индивида, приобретшие интерсубъективную структуру, оказываются столь же реальными, как и распределение собственности и нормы права. Они обладают принудительной силой, отнюдь не меньшей, чем институции собственности. Конечно, они более лабильны, чем политические институции, требуя адекватной для них методологии, но они столь же реальны, будучи одним из истоков тоталитаризма и авторитаризма.

Любое (и это хотелось бы подчеркнуть) политическое сознание включает разнородные концепты. Так, на одной стороне шкалы политического сознания - имперское сознание с его сакрализацией власти[108]; на другой – либеральные установки «несогласных», а между ними – весь спектр политических предпочтений и ориентаций различных групп. На одной стороне шкалы политического сознания концепт «сильной руки», доходящего до апологии тирании и деспо-

[107] Сошлемся на только что вышедшую книгу Кори Робина «Страх. История политической идеи» (М.,2007), в которой страх из предмета социальной психологии и исторической антропологии, каким он был, например, в школе «Анналов», стал объектом политологии.

[108] В сегодняшней «Независимой газете» описана квазирелигиозная община деревни Большая Ельня Нижегородской области, где ее основательница Фотиния Светоносная считает В.В.Путина реинкарнацией св. Павла, а себя воплощением Евы, царицы Елены, Жанны д Арк и Зои Космодемьянской (Гамзаева С. Четыре воплощения Владимира Путина // Независимая газета. 24.12.2007). Так, что сакрализация власти присуще не только сознанию российского «нового дворянства», но и провинциальных обывателей. Однако считать такие экстравагантные формы политического сознания «коллективным бессознательным», присущего российской ментальности, все же безосновательно.

тии, а на другой – своеволие различных маргинальных групп. На одной стороне – патернализм, выражающийся в практике отношений «врач-пациент», «учитель – ученик» и т.д., на другой – индивидуалистическое своеволие, не признающее никаких опосредствующих норм. Между ними политические концепты различных групп, объединенных по интересам, целевым и профессиональным установкам, политическим предпочтениям и т.д.

Функции концептов политического сознания заключаются в том, чтобы определить спектр возможностей действий человека, задать его цели и осмыслить пути и средства их достижения, наметить горизонты мироотношения, мировоззрения и миропонимания. Концепты – это не коллективное бессознательное, которое человек восприемлет и лишь воплощает в своем сознании и в своих действиях. Концепты – это образцы, паттерны, парадигмы, порождающие модели, которые вырабатываются или осознанно воспринимаются человеком и которые могут быть модифицированы или радикально изменены. Российское политическое сознание последних 20 лет продемонстрировало нам грандиозную ломку себя и весьма радикальные трансформации, так и не придя к каким-то (хотя бы интерсубъективно значимым) новым концептам, из которых как из завязи родилось бы новое политическое сознание, адекватное новым социально-политическим отношениям в эпоху глобализации. Российское политическое сознание все время кружит вокруг одних и тех концептов, концепций, программ, которые уже были сформулированы и которые уже показали свою пустоту. У многих даже возникает чувство усталости из-за инфляции политических концептов, превратившихся в лозунги, в символы, не имеющие своего референтного содержания. Поэтому вполне оправдана аллергия, которую многие испытывают ко всякой политике. Думаем, что новые концепты родятся, они-то и послужат зачином нового политического сознания - рационального, светского, плюралистического и морально ответственного.

ТАКСОНОМИЯ ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ[1]

А.Н. Олейник
доктор социологии, кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник Института международных
экономических и политических исследований РАН

Введение: Множественность механизмов координации

Несмотря на значительное число научных и научно-популярных работ по этой теме, проблема власти и ее роли в структурировании обыденной жизни пока еще изучена недостаточно. Это обстоятельство отчасти можно отнести на счет весьма спорного (contested) характера самого этого концепта, что предполагает трудности с выбором лишь одного из известных определений власти, «апеллируя только к теоретическим критериям».[2] Кроме того, концепт власти используется не только в научном дискурсе, но и в обиходе. В этой связи Альфред Щюц призывает ученых-обществоведов строить свои концепты с помощью категорий, подсказываемых здравым смыслом.[3] Однако несогласованность позиций ученых усугубляется многозначностью словоупотребления слова «власть» в обыденной жизни. Настоящая работа нацелена на выявление существующих пробелов в нашем знании данной области и рассмотрении имеющихся стратегий ликвидации таких пробелов.

У статьи двойная задача – эпистемологическая и онтологическая. С одной стороны, я намерен рассмотреть подходы как континентальной, так и

[1] Данная работа написана в рамках проекта «Строительство международной экспертной сети по вопросам административной реформы в пост-советских государствах», который осуществляется при поддержке Исследовательского совета по гуманитарным и общественным наукам (SSHRC), Канада (грант No. 861-2005-0001). Автор выражает признательность д-ру Марку Беренсону (Исследовательский институт проблем развития при Университе Сассекса, Великобритания), профессору Валерию Ледяеву (Государственный Университет – Высшая школа экономики) и всем участникам семинара, проходившего в Университете «Мемориал» Ньюфаундленда в конце августа 2006 года, за их полезные критические замечания и комментарии. При этом автор несет единоличную ответственность за аргументы, приводимые в настоящей версии текста. Данная статья была первоначально опубликована в сборнике *Административные реформы в контексте властных отношений: опыт постсоциалистических трансформаций в сравнительной перспективе*, под ред. А. Олейника и О. Гаман-Голутвиной, Москва: РОССПЭН, 2008, с. 31-57.

[2] T. Wartenberg, *The Forms of Power: From Domination to Transformation* (Philadelphia, PH: Temple University Press, 1990), p.12.

[3] A. Schutz, 'Formation du concept et de la théorie dans les sciences sociales', in: A. Schutz, *Le chercheur et le quotidien: Phénoménologie des sciences sociales* (Paris: Méridiens Klincksieck, 1987), p.79.

аналитической философии в рамках единой аналитической системы. В частности, в работе будет показано, как эти два подхода дополняют друг друга, высвечивая различные элементы одной и той же картины. С другой стороны, предлагаемый мною подход позволяет по-новому взглянуть на разнообразие эмпирически наблюдаемых форм властных отношений. Я считаю, что они могут быть изучены в рамках единого аналитического концептуального аппарата.

Традиционно власть включают в предметную область политологии, что объясняется важностью этого концепта для изучения государства, политических институтов и процессов. Однако Макс Вебер определяет власть как способность субъекта навязать свою волю в процессе социального действия,[4] чем расширяет рамки ее приложения и превращает ее в одну из ключевых категорий общественных наук в целом. Для социолога, чьи профессиональные интересы сосредоточены на вопросе взаимодействий и координации, власть представляет собой *один из* ключевых механизмов координации. Власть вездесуща, поскольку повсюду существует необходимость в «координации деятельности… для достижения общей цели».[5]

Выбор координации в качестве отправной точки в исследовании проблемы власти контрастирует с методологическим индивидуализмом аналитической философии и с холистическим подходом, характерным для философии континентальной. Аналитическая философия ставит отдельного субъекта в центр анализа. Властные отношения, которые обычно приобретают форму диад, предположительно являются результатом сознательного выбора, который делают отдельные люди; они поддаются рационализации. Рассуждая таким образом, можно применить экономические модели и модели теории игр к исследованиям природы власти. Большинству экономистов, например, близка и понятна следующая фраза: «структура стимулов, с которыми приходится иметь дело субъекту, представляет собой полный набор плюсов и минусов, связанных с выбором той или иной стратегии поведения. Обычно субъекты наделены властью над другими в той степени, которая позволяет им манипулировать структурой стимулов последних».[6]

Континентальная философия, со своей стороны, подчеркивает роль, которую играют институты и общий контекст действия в формировании властных отношений и в придании им устойчивого характера. Определение власти как сплетения взаимоотношений, заложенных в существующих институтах, которое предлагает Мишель Фуко, ведущий представитель континентальной философии, занимающийся изучением проблемы власти, иллюстрирует подобное изменение в аналитическом фокусе. «Власть, как мне кажется, следует понимать как совокупность отношений силы (*rapports de*

[4] M. Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology* (New York: Bedminster Press Inc., 1968), p.53.
[5] D. Wrong, *Power: Its Forms, Bases and Uses* (New York: Harper Colophon Books, 1980), p.248.
[6] K. Dowding, *Power* (Minneapolis: MN: University of Minnesota Press, 1996), p.5.

force), которые существуют в определенной сфере и играют в ней основополагающую роль… Властные отношения не являются внешними для других типов взаимоотношений – для экономических процессов, межличностных взаимоотношений, сексуальных отношений, - они внутренне им присущи».[7]

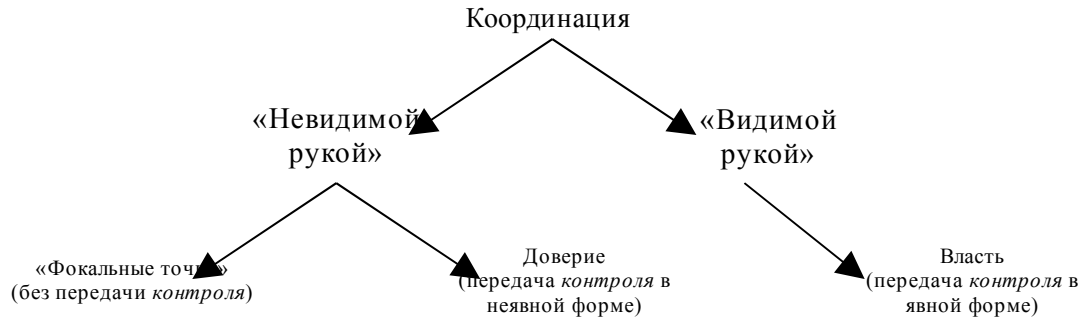
Интерес к координации предполагает, что анализ будет сфокусирован на некой области, которая располагается между индивидуальным принятием решений и его контекстом. Человек для достижения своей цели должен иметь возможность предсказывать поведение окружающих его/ее людей а так же помогать этим людям предсказать его/ее собственное поведение.[8] Иногда на нашем пути к поставленным целям встают другие люди, чьи действия становятся препятствием для их достижения. Есть и другие цели, которых нельзя достичь, не объединяя усилий с окружающими нас людьми. Институциональный контекст обеспечивает взаимодействующие стороны информацией и процедурами, благодаря которым согласованные действия становятся практически осуществимыми. Институты, поддерживающие координацию, определяются в широком смысле как «коллективное действие, контролирующее, освобождающее и расширяющее действие индивидуальное».[9] В частности, координацию можно обеспечить внутри иерархии (посредством асимметричного контроля), когда большинство решений принимает один человек. При этом считается, что другие люди вообще не должны проявлять собственной инициативы.

Было бы заблуждением считать, что власть является *единственным* инструментом координации, что исключало бы ее замену другими механизмами координации. Координация может быть достигнута спонтанно, «невидимой рукой», как любят повторять экономисты. Это утверждение иллюстрирует случай спонтанной координации, который описывает Томас Шеллинг, когда он говорит о «фокальных точках». «Успех в решении задачи поиска такого ключа [к «расшифровке» поведения визави], или, скорее, *любого ключа (*а ключом станет любой ключ, в котором общее мнение опознает таковой), может зависеть от воображения больше, чем от логики. Успех этот может зависеть от аналогии, прецедента, случайной договоренности, симметрии, эстетической или геометрической конфигурации, казуистического рассуждения и того, кем являются играющие и что им известно друг о друге».[10] Однако для того, чтобы координация взаимных ожиданий произошла спонтанно, требуется существование минимального общего культурного фона (аналогии и прецеденты культурно специфичны: ведь, в конце концов, в разных

[7] M. Foucault, *Histoire de la sexualité*, Vol. 1: 'La volonté de savoir' (Paris: Gallimard, 1976), pp.121-124.
[8] Подробнее об интерпретации и взаимной корректировке на базе координации см. P.et & L. Thévenot, 'Les catégories de l'action collective', in: A. Orléan, ed., *L'analyse économique des conventions* (Paris: Presses Universitaires de France, 1994), pp.154-157.
[9] J. Commons, 'Institutional Economics', *The American Economic Review*, Vol.21, No.4 (1931), p.648.
[10] Т. Шеллинг, *Стратегия конфликта* (Москва: ИРИСЭН, 2007), с.78.

странах люди в детстве не обязательно читали одни и те же сказки и смотрели одни и те же мультфильмы), который отсылает нас к институциональной среде.

Рисунок 1. «Три механизма координации»



Доверие – в его обобщенной форме, т.е. доверие к людям, которые человеку лично неизвестны, к людям вообще – следует считать другим альтернативным механизмом координации (Рисунок 1). Доверие означает, что «человек ожидает от других людей некоторых действий, которые влияют на выбор, который делает сам этот человек, когда ему нужно предпринять какое-то действие до того, как станут известны действия других людей».[11] Другими словами, доверие предполагает принятие односторонней зависимости в неявной форме: здесь тоже действует «невидимая рука». Высокий уровень доверия между взаимодействующими сторонами позволяет им полагаться друг на друга при выполнении обещаний и в соблюдении прав и обязательств. В другой стороны, низкий уровень доверия предусматривает участие третьей стороны, задача которой состоит в том, чтобы заставить их уважать правила игры, и, следовательно, ведет к передаче ей права контроля над действиями других.[12] Такой переход контроля и является квинтэссенцией властных отношений.[13]

По результатам *World Values Survey (WVS)* можно говорить о наличии общей тенденции к понижению уровня обобщенного доверия во всех странах мира, по крайней мере, в 80-х и 90-х годах (Таблица 1). Ситуация в отдельных странах может меняться (динамика обобщенного доверия в США выглядит особенно волатильной, если сравнить результаты *WVS* с результатами *General Social Survey*, *GSS*), но при этом средний по выборке уровень обобщенного доверия неуклонно снижается. Исключение составляет только 1999 год. Низкий

[11] E. Ostrom, 'A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action', *American Political Science Review*, Vol.92, No.1 (1998), p.12.

[12] Д. Норт, *Институты, институциональные изменения и функционирование экономики* (Москва: Начала, 1997), с.54.; D. Gambetta, *The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection* (Cambridge, MA and London: Harvard University Press, 1993), p.15; А. Олейник, 'Конституция российского рынка', в кн. А. Олейник, под общ. ред., *Институциональная экономика* (Москва: Инфра М, 2005), с.412-413.

[13] J. Coleman, *Foundations of Social Theory* (Cambridge and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1990), pp.66-67.

уровень доверия ограничивает число возможных вариантов выбора, и субъекты чаще всего полагаются на властные отношения как на инструмент координации.

Таблица 1. «Как вы, в общем, считаете: можно ли доверять большинству людей, или лучше проявить осторожность, имея дело с людьми? (% респондентов, которые выбрали первый вариант)»

Год	*Среднее по выборке WVS*				*США*			*Великобритания (WVS)*	*Россия (WVS)*
					WVS		*GSS*		
	1982	36.5 (N=27,189; 25 стран)	39.2 (N=2,325)	36.5† (N=801)	42.5 (N=1,167)	35.9 (N=1,082)‡			
1990	34.6 (N=46,587; 38 стран)				48.1 (N=3,182)		38.4 (N=1,019)	42.1 (N=1,484)	37.5 (N=1,818)
1995	25.2 (N=71,691; 57 стран)				35 (N=1,542)		33.6‡ (N=1,905)	30.4 (N=1.093)♣	23.9 (N=1,980)
1999	28 (N=91,723; 70 стран)				35.5 (N=1,200)		37.2♠ (N=2,324)	28.5 (N=1,000)	24 (N=2,415)

Источники: World Values Survey (www.worldvaluessurvey.org, сентябрь 2007 года, обработано автором) и General Social Survey (http://webapp.icpsr.umich.edu/GSS/, сентябрь 2007 года, обработано автором). † – данные за 1983 год; ‡ – данные за 1996 год; ♣ – данные за 1998 год; ♠ – данные за 1998 год; ♦ – обследование проводилось на основе нерепрезентативной выборки, в одном регионе (Тамбовская область).

Властные отношения принимают различные формы. По этой причине они являются хорошей дифференцирующей переменной с рядом атрибутов. В результате того, что в фокусе оказываются властные отношения, сравнительные исследования можно проводить без использования терминов и концептов, относящихся только к отдельному случаю, отдельной стране или области. Часть I данной статьи посвящена обсуждению трех регистров социального действия: привычного, нормального и обоснованного. В частности, будет показано, что сфокусированность на отдельном человеке оказывается обоснованной для анализа координации лишь в некоторых регистрах социального действия. В других случаях требуется смещение акцента на институциональную среду, в рамках которой субъекты координируют свои действия. Изучение взаимоотношений между типом социального действия (привычное, нормальное и обоснованное) и структурой властных отношений (способом навязывания своей воли) требует выстраивания двухмерной таксономии властных отношений, о чем идет речь в Части II. В каждом случае таксономия иллюстрируется с помощью эмпирически наблюдаемых форм властных отношений. Часть III содержит эмпирические иллюстрации отдельных случаев в таксономии. Вопрос о том, имеет ли смысл включать в таксономию третье измерение, а именно цели использования власти (власть как средство и власть как самоцель), будет кратко рассмотрен в Части IV. Соответствие между видом действия, с одной стороны, и структурой властных

отношений, с другой стороны, может отсутствовать, если власть имеет терминальную ценность.

Предложенный анализ имеет предварительный характер; собранных данных недостаточно для формального доказательства, и потому они используются, главным образом, в качестве иллюстрации. Тем не менее, текст показывает преимущества новой таксономии властных отношений.

Часть I: Анализ властных отношений через призму различных типов социального действия

Абстрактный и всеобъемлющий характер концепта власти делает необходимой операционализацию, или, если использовать терминологию марксистской философии, переход от абстрактного к конкретному. Первые и до сих пор чаще всего цитируемые попытки разработки всесторонней таксономии конкретных форм (атрибутов) властных отношений относятся еще к началу XX века. М. Вебер использовал различные принципы, которые лежат в основе притязаний власти на легитимность, – это может быть право, традиция, харизма, – в качестве ключевого критерия разработки таксономии. Однако он четко не обосновал выбор легитимности в качестве критерия классификации. Он просто предположил, что «каждая такая система пытается установить и поддерживать веру в свою легитимность».[14] Почему же передачу права контроля нужно непременно оценивать под углом легитимации?

Другую попытку сделать концепт власти более пригодным и полезным для эмпирических исследований предпринял Гирт Хофстед. У него в центре внимания оказывается культурно приемлемая степень неравенства в распределении права контролировать действия человека. Он использует для количественного анализа власти «дистанцию власти», измеряемую с помощью ординальных шкал. «Дистанция власти между боссом *B* и подчиненным *S* внутри иерархии есть разность между степенью, в которой *B* может определять поведение *S*, и степенью, в которой *S* может определять поведение *B*».[15] К сожалению здесь прорыв в решении проблемы измерения был обеспечен ценой перескакивания через все вопросы, связанные с легитимностью власти: список прогностических параметров властной дистанции главным образом состоит из таких объективных показателей, как географическая широта, на которой находится страна, размер ее населения и уровень его благосостояния (ВНП на душу населения). Стратегию «большого скачка» от абстрактного к конкретному взяли на вооружение и другие ученые, большинство из которых решили сосредоточиться на структурных вопросах, например:

[14] Weber, *Economy and Society*, p.213.

[15] G. Hofstede, *Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values* (Beverly Hills, CA and London: SAGE Publications, 1980), p.99.

- Степень монополизации применения силы[16] (ср. упор на легитимном в противоположность нелегитимному применении насилия у Вебера[17]);
- Экстенсивность: «Отношение числа людей, наделенных властью, к числу людей, лишенных власти»[18] (этот автор выходит далеко за рамки использования чисто структурных критериев, и его концепция в дальнейшем будет рассмотрена более подробно);
- Степень всеохватности: «Число сфер деятельности, в которых обладатель(ли) власти контролирует деятельность субъекта(ов) власти»;[19]
- Интенсивность (разновидность властной дистанции): «Набор эффективных вариантов, открытых для обладателя власти *внутри* всех без исключения сфер деятельности, где действует субъект, над которым он обладает властью»[20];
- Степень «разграничения ветвей власти и ответственности при решении таких задач, как… правовые вопросы,… законодательные вопросы,… исполнительные и бюрократические функции и… международные отношения»;[21]
- Местоположение: «уровень социальной организации…, на котором воплощена власть»;[22]
- Степень асимметрии: «отношение изменения в поведении объекта влияния к изменению в поведении источника влияния»[23].

Каждый из этих структурных критериев или их комбинации помогают создавать классификации, которые исследователь может применить к широкому кругу ситуаций, начиная от индейских племен в Америке и террористических групп до транснациональных корпораций и государств в Западном полушарии. Как это часто случается, повышение надежности достигается в ущерб валидности:[24] вопросы, касающиеся условий, при которых

---

[16] C. Tilly, 'War Making and State Making as Organized Crime', in: P. Evans, D. Rueschemeyer and T. Skopol, eds., *Bringing the State Back In* (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1985), p.171; C. Tilly, 'Terror, Terrorists, Terrorism', *Sociological Theory*, Vol.22, No.1 (2004), p.11.

[17] Weber, *Economy and Society*, p.54.

[18] Wrong, *Power*, p.15.

[19] Ibid., см. так же S. Lukes, *Power: A Radical View* (Houndmills, Hampshire and New York: Palgrave Macmillan, 2005, 2nd edition), p.75; S. Cornell & J. Kalt, 'Where does Economic Development Really Come From? Constitutional Rule among the Contemporary Sioux and Apache', *Economic Inquiry*, Vol.33 (1995), p.405.

[20] Wrong, *Power*, p.16. В этой связи Герберт Саймон (H. Simon, 'Notes on the Observation and Measurement of Political Power', *The Journal of Politics*, Vol.15, No.4 [1953], p.513) говорит о сфере деятельности в «зоне приемлимости».

[21] Cornell & Kalt, 'Where does Economic Development Really Come From?', p.405.

[22] Ibid., p.406.

[23] Simon, 'Notes on the Observation and Measurement of Political Power', p.507. Цитируемый автор предполагает, что власть всегда подразумевает взаимное влияние, однако степень такой асимметрии может быть различной.

[24] Похожая ситуация складывается и с изучением сетей. Многообразие форм сетей препятствует нахождению общепринятого языка для их описания. Последние достижения в этой области знания были получены ценой помещения в центр анализа исключительно структурных аспектов и оставления в стороне таких важных моментов, как феномен локализации взаимодействий и его последствия, противопоставление инсайдеров и аутсайдеров и так далее (А. Олейник, 'Модель сетевого капитализма', в кн. А. Олейник, под общ. ред., *Институциональная экономика* [Москва: Инфра М, 2005], с.375-378).

субъекты жертвуют частью своей свободы и самостоятельности, и, в широком смысле, касающиеся «социальных механизмов» властных отношений, остаются без ответа. Чтобы удовлетворить интерес к надежности *и* валидности, потребуются дальнейшие попытки перехода от абстрактного к конкретному, совершаемые без принесения в жертву аналитического интереса к случаю обоснованной власти.

Анализ Дэвида Битэма дает нам ключ к разгадке скрытых препятствий на этом пути. Он критикует Вебера за то, что тот не сумел систематически применить четко определенный набор дифференцирующих критериев при разработке трех идеальных типов легитимной власти. По Битэму, легитимность власти производна от (i) ее соответствия установленным правилам, (ii) обоснованности правил, что достигается, когда в их основе лежат представления, которые разделяют как те, кто господствует, так и те, кто подчиняется, (iii) выражения согласия подчиненных на определенное властное отношение.[25] У Вебера легальная власть удовлетворяет условию (i), традиционная – условию (ii) и харизматическая – условию (iii). Иными словами, эти три идеальных типа являются результатом применения трех разных критериев, что заставляет сомневаться в логически последовательном и систематическом характере таксономии.

Указанный автор также предлагает объяснение, почему необходимо обосновывать власть. В глазах любого нравственного агента «властные отношения несут в себе негативные черты – исключение, ограничение, навязывание и пр., – и [поэтому] нуждаются в обосновании».[26] В результате концепт власти и концепт легитимации полностью совпадают: *неспособность* обеспечить легитимацию власти ведет к насилию и принуждению (что исключает последние две формы из перечня властных взаимоотношений). Но тогда возникает новая проблема: можно ли использовать легитимацию в качестве дифференцирующего критерия, если она присуща *всем* властным взаимоотношениям? Иными словами, складывается впечатление, что Битэм недооценивает многообразие иных приемов навязывания своей воли другим, чем легитимации.

Идея регистров взаимодействия – привычного, нормального и обоснованного – принадлежит Лорану Тевено.[27] Представляется правильным положить ее в основу последующих шагов. Она подразумевает, что не все взаимодействия требуют легитимации. Например, локализованные (во времени, в географическом и институционном пространствах) взаимодействия с теми, кто «находится на расстоянии вытянутой руки», позволяют субъекту уделять им меньше внимания и иных когнитивных ресурсов. Привычное действие часто основывается на заведенном порядке, что делает ненужными как обоснование,

[25] D. Beetham, *The Legitimation of Power* (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press International, Inc., 1991), p.16.
[26] Ibid., p.57.
[27] L. Thévenot, 'L'action comme engagement', in: Barbier J.-M., ed., *L'analyse de la singularité de l'action* (Paris: Presses Universitaires de France, 2000), pp.213-238.

так и обсуждение: координация может произойти «молча». Заведенный порядок может действовать на физическом, телесном уровне, потому что он «запечатлен» на теле. Используя общепринятую метафору, противопоставляющую тело и сознание как средства навязывания воли,[28] привычное действие четко соответствует первому.

В регистре нормального действия действуют те субъекты, которые имеют похожие планы и проекты. Чтобы скоординировать свою деятельность, им нужно согласовать общие задачи и интересы. Поэтому они говорят на языке интересов, возможностей, полезности и функциональности. Их задача состоит в том, чтобы сделать координацию взаимно полезной и выгодной, а не в том, чтобы обосновать ее. Решение, передавать ли право контроля, в результате зависит от рационального расчета. Либо «один субъект [передает его другому], потому что первый субъект считает, что ему будет лучше, если руководить им будет другой» (случай согласованной власти, conjoint authority), либо первый субъект сделает это, «не разделяя это представление, а в обмен на материальную компенсацию» (случай рассогласованной власти, disjoint authority).[29] Представляется, что существование схожих планов и общих интересов требует координации не на основе власти, а в других формах. Поэтому Стивен Льюкс приравнивает власть к господству: «*A* влияет на *B* способом, *противоречащим интересам B*».[30] С другой стороны, концепт трансформативной власти, то есть власти осуществленной *в интересах B*, ставит под вопрос исходный постулат, касающийся конфликтной природы любых властных взаимоотношений.[31] На это могут возразить, что «родство душ» применительно к интересам не исключает применения власти. Напротив, власть может помочь в преобразовании общих интересов *in potentio* в реальные общие интересы.

И, наконец, в высшем регистре взаимодействия носят обезличенный характер, они открыты для потенциально неограниченного числа участников. Координация своих действий с обобщенным Другим требует их обоснования, которое определяется как соотнесение с общепринятыми и понятными всем критериями оценки и нравственными суждениями.[32] Здесь уже сознание

[28] T. Mitchell, 'Everyday metaphors of power', *Theory and Society*, Vol.19, No.5 (1990), pp.545-546.
[29] Coleman, *Foundations of Social Theory*, p.72.
[30] Lukes, *Power*, p.109. Курсив добавлен.
[31] Wartenberg, *The Forms of Power*, Ch.9.
[32] В этом контексте можно по-новому взглянуть на одно из ключевых допущений социоэкономики, согласно которому «индивидуальные решения и поступки производны не от одного принципа, будь то максимизация полезности и минимизация страданий или некий абсолютный императив действия, а эмпирически отражает конфликт между двумя – как минимум двумя не сводимыми друг к другу полезностями. Первая заключается в стремлении к удовольствию, вторая – в следовании моральным обязательствам» (A. Etzioni, 'Toward a New Socio-Economic Paradigm', *Socio-Economic Review*, Vol.1 [2003], p.111; см. так же A. Etzioni, *The Moral Dimension: Toward a New Economics* [New York and London: The Free Press, 1988], p.4). Модель рационального выбора применима для описания взаимодействий в регистре нормального действия, тогда как детерминированное моралью поведение характерно для регистра обоснованного действия. Конфликт между двумя принципами возникает тогда, когда то же самое действие включает в себя элементы как «нормальной», так и «обоснованной» координации.

становится ключевым средством навязывания воли. Стоит отметить, что общепринятые и понятные критерии являются внешними по отношению к индивиду. Они воплощены в институциональной среде, и в этом регистре вряд ли можно игнорировать общий контекст властных взаимоотношений.

В итоге нам удается избежать как опасности проигнорировать обоснование, так и опасности превратить ее в *ключевой* элемент властных отношений. Мы также избегаем смешения двух концептов – власти (power) и авторитета (authority). Представляется разумным определить авторитет как властные отношения, подлежащие моральному обоснованию и успешно прошедшие это испытание.[33] «Легитимная власть или авторитет … дает [подчиненному] моральное основание для сотрудничества и послушания».[34] С другой стороны, обладателю власти (power) не нужно обосновывать свое действие. Чтобы воздействовать на подчиненных: достаточно полагаться на санкции (позитивные и негативные), стратегии манипулирования, силу (физическую и психическую) или монопольное положение на рынке. Властные взаимоотношения не регулируются никакими внешними принципами или институциональными ограничениями; их ограничивает только определенная конфигурация ресурсов. Напротив, авторитет по определению ограничен. Власть существует в квази-физической области, где наличествуют парные силы действия – противодействия и причинные связи. Тогда не приходится удивляться, что аналогии, заимствованные из физики, часто используются в текстах на тему власти. Например, Аристотель сравнивал власть с физическим принуждением.[35] В этом смысле у власти есть ряд общих элементов с контролем над материальными объектами, воплощенным в праве собственности. Как формулирует Джон Коммонс, «старое разграничение *владения физическим имуществом* и *договорной свободы* превращается в разграничение поведения тех людей, которыми командуют и вынуждают к послушанию, и поведения тех, на кого воздействуют только убеждением или принуждением».[36]

---

[33] Следует признать, что есть и другие подходы к различению власти и авторитета. Д. Ронг, например, говорит об авторитете как праве на контроль, основанном из занятия определенной позиции или обладания определенным статусом (Wrong, *Power*, p.35). Как показало обсуждение с моими студентами из Летнего Международного Университета в Македонии (Скопье, июль 2005 года), «диспозиционное» определение соответствует здравому смыслу во многих странах Восточной и Южной Европы. Как представляется, здесь авторитет прочно ассоциируется с такими понятиями, как «начальство», «вышестоящие» и т.д. Сам Ронг тоже обращает внимание на определения власти и авторитета, специфичные для французского и немецкого языка в отличие от английского (Wrong, *Power*, pp.9-10; см. так же P. Hegy, 'Words of Power: The Power of Words', *Theory and Society*, Vol.1 [1974], pp.329-33). Термины для обсуждения власти на русском языка обсуждаются в В. Ледяев, *Власть: концептуальный анализ* (Москва: РОССПЭН, 2000), с.167 и Олейник, 'Конституция российского рынка', с.414-415. Однако дискуссия о специфичных для определенной культуры терминах и концептах находится дальше по пути движения от абстрактного к конкретному. К ней лучше обратиться уже после обсуждения новой таксономии.

[34] Beetham, *The Legitimation of Power*, p.26.

[35] См. Wartenberg, *The Forms of Power*, p.79.

[36] J. Commons, *Legal Foundations of Capitalism* (New York: Macmillan Company, 1939), p. 282; курсив в оригинале.

Часть II: Двухмерная таксономия власти

Власть, как было отмечено во Введении, следует рассматривать как концепт второго порядка по отношению к координации, которая представляется центральным моментом социального действия. Тем не менее, приведенное выше рассуждение наводит на мысль, что нам, вероятно, следует заняться поиском недостающего звена между координацией и властью. Можно ли считать концепт господства (domination) хорошим вариантом? Вряд ли, поскольку существуют два способа осуществления власти: *вразрез* с интересами (случай господства) и *в соответствии* с этими интересами. Далее: интерпретация господства с точки зрения институтов, которые дают возможность сделать навязывание воли постоянным и регулярным,[37] делает его менее релевантным в регистре привычных и нормальных действий. Концепт влияния, который Джеймс Скотт помещает на высший уровень своей аналитической схемы,[38] подвержен аналогичной критике. Во-первых, его смысл часто зависит от конкретной конфигурации интересов, наблюдаемой в отношениях между *A* и *B*: Льюкс, например, использует этот термин там, где отсутствует столкновение интересов, и приписывает ему чисто «позитивное» значение.[39] Во-вторых, влияние может иметь более прикладное, а не абстрактное значение: Уортенберг видит в нем особый способ навязывания воли и использует этот термин и термин «манипулирование» как взаимозаменимые (манипулирование как частный случай влияния).[40]

Возможно, что концепт контроля достаточно абстрактен и нейтрален, и в силу этого может стать связующим звеном между координацией и властью. Джеймс Коулмен определяет властные отношения в терминах передачи права контроля от одного индивида к другому.[41] Он главным образом сосредоточивается на добровольно и рационально просчитанных передачах, и от этого его анализ представляется особенно уместным в регистре нормального действия. И все же, если учесть варианты вынужденной и нерефлексируемой передачи контроля и рассмотреть тот факт, что одним из решений проблемы координации может стать слияние двух центров принятия решений в один, т.е. случай, когда принятие решений одной стороной будет контролировать другая сторона, то тогда концепт контроля может оказаться приемлемым.

Процесс концептуализации и операционализации властных взаимоотношений можно проиллюстрировать в следующем виде (Рисунок 2). Пунктирные стрелки представляют взаимоотношения, исследование которых вывело бы нас далеко за рамки данной статьи. Например, глубинное познание взаимосвязи отличного владения собой и притязаниий на то, чтобы

[37] J. Scott, *Power* (Cambridge: Polity Press, 2001), p.16.
[38] Ibid., pp.12-16.
[39] Lukes, *Power*, p.36.
[40] Wartenberg, *The Forms of Power*, pp.104-105.
[41] Coleman, *Foundations of Social Theory*, pp.66-.

контролировать действия других людей,[42] заслуживает отдельного изучения. Как было отмечено выше, механизмы контроля над материальными объектами имеют ряд общих элементов с властью над людьми в чистом виде. Но вопросы прав собственности будут рассмотрены только попутно, не углубляясь в детали.

Рисунок 2. «Концептуализация и операционализация властных взаимоотношений»

Определения, поддающиеся эмпирической проверке, выделены курсивом. Этот список определений пока еще далеко не полон. В результате того, что в центре внимания оказался асимметричный контроль во взаимоотношениях с другими людьми, большинство определений, поддающихся эмпирической проверке, относятся к политическим режимам на макро- и микро-уровнях: стандартное определение политики включает в себя деятельность, относящуюся к выработке правил, которые помогают координировать действия, и к обеспечению их выполнения.[43] Условия, при которых возникают конкретные политические режимы, взяты в квадратные скобки. Чтобы составить более полное представление о рационально-правовых и

[42] M. Foucault, *Histoire de la sexualité*, Vol.2: 'L'usage des plaisirs' (Paris: Gallimard, 1984), p.88.
[43] A. Heywood, *Politics* (New York: Palgrave, 2002), p.4.

харизматических формах власти, герократии, теократии, патриархальной и патримониальной власти, отошлем читателя к трудам Вебера.[44] Ричард Роуз с соавторами подробно разбирают определения плебисцитарных и конституционных автократий.[45]

Плебисцитарная автократия, она же «реалистическая» демократия, предполагает относительно свободные выборы и предвыборную борьбу, исключая при этом соблюдение принципа верховенства закона, т.е. условие соответствия власти установленным правилам в этом случае не выполняется. Полноценная демократия, напротив, должна включать в себя все три элемента обоснованной передачи права контроля: соблюдение принципа верховенства закона, получение согласия, выражаемого посредством регулярно проводимых выборов, и обеспечение соответствия самого закона совокупности представлений, которые разделяют как господствующие силы, так и подчиненные, и которые выражаются в *volonté générale*, или в интересах общества в целом.[46] Одно из преимуществ предложенной концептуализации состоит в том, что она позволяет избежать опасности смешения и, вследствие этого, неправильного применения концептов, которые соответствуют различным стадиям движения от абстрактного (координации и контроля) к конкретному (формы властных взаимоотношений, поддающиеся эмпирической проверке).

Подобная концептуализация положена в основу разработки более формальной таксономии властных отношений. После классификации растений и животных Карла Линнея (1730) и периодической системы элементов Дмитрия Менделеева (1869) ученые-естественники постоянно совершенствовали нормы аналитического описания. В общественных науках – отчасти из-за их непарадигматической природы[47] – прогресс в разработке ключевых концептов оказался гораздо менее впечатляющим. Предлагаемая попытка разработки всеобъемлющей таксономии властных взаимоотношений производна от двух дифференцирующих критериев: (a) типа действия и (b) механизма осуществления контроля и навязывания воли (Таблица 2).

Предыдущие таксономии были одномерными.[48] Льюкс, который утверждает, что его классификация имеет трехмерный характер, фактически использует единственный критерий: стадия деятельности, на которой происходит навязывание воли.[49] Он разграничивает фактическое принятие решений, процесс составления повестки дня (исключение некоторых тем из

[44] Weber, *Economy and Society*, pp.217-9,243-4,1006-11,1059-61.
[45] R. Rose, W. Mishler & N. Munro, *Russia Transformed: Developing Popular Support for a New Regime* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), Ch.1.
[46] Beetham, *The Legitimation of Power*, Ch.6.
[47] T. Kuhn, 'Scientific Paradigms', in: Barnes Barry, ed., *Sociology of Science: Selected Readings* (Harmondsworth: Penguin Books, 1972), p.86.
[48] Wrong, *Power*, pp.22-24; Beetham, *The Legitimation of Power*, pp.16-21; Ледяев, *Власть*, Гл.12; Scott, *Power*, p.16.
[49] Lukes, *Power*, Ch.1.

повестки дня) и наиболее глубокий уровень индивидуальных предпочтений: власть как влияние на то, чего хочет индивид.

Критерий (a) позволяет нам частично восполнить пробелы, существующие между основными теоретическими подходами в социологии, а именно интеракционизмом (сосредоточенном, главным образом, на привычном действии), позитивизмом (с его акцентом на нормальном действии) и критическими теориями (затрагивающими вопросы обоснования). Также раскрывается взаимодополняющий характер двух основных традиций в философии: континентальной философии и философии аналитической. Индивидуалистический и рационалистический подход, свойственный аналитической философии, представляется релевантным для изучения контроля, встроенного в нормальное действие. Контроль в регистре обоснованного действия производен от институциональной среды, для чего необходим глобальный и интерпретативный подход, характерный для континентальной философии.

Что касается критерия (b), то в соответствии с конкретными вопросами исследования он может быть определен либо как различные механизмы навязывания воли, либо как набор ограничений властного произвола (см. подробнее в главе «Потенциальные и реальные ограничения своекорыстного поведения государственных служащих в России»). Например, для поддержания притязаний на власть может быть использована как физическая сила, так и сила воли, если подчинение достигается посредством «создания физических препятствий, ограничивающих свободу другой стороны, причинением физической боли или нанесением телесных увечий, включая и лишение самой жизни и возможности удовлетворения основных биологических потребностей».[50] С другой стороны, сила может уравновешивать другую силу и этим ограничивать масштабы применения последней. Другими словами, предлагаемая таксономия может быть легко адаптирована к изучению ограничителей власти.

Механизмы осуществления контроля и навязывания воли перечислены в порядке снижения интенсивности насилия, которое с ними ассоциируется: от насилия в самых крайних формах его проявления до убеждения с помощью утилитарных аргументов и трехступенчатого процесса обоснования. Если использовать основную, вошедшую в обиход метафору, то постепенная замена контроля над телом (принуждения или, как это формулирует Скотт, коррекции) контролем над сознанием (убеждением) происходит в результате процесса модернизации.[51] С приходом капитализма с его обезличенными и неосязаемыми формами контроля настоятельное и непрерывное использование тела в качестве средства для навязывания воли становится менее релевантным.

[50] Wrong, *Power*, p.24.
[51] Mitchell, ‘Everyday metaphors of power’, pp. 566.

Таблица 2. «3×3 таксономия властных отношений»

			Тип действия				
			I. Привычное	II. Нормальное	III. Обоснованное		
Навязывание воли через	Насилие, через	a. Применение силы	(и/или) насилие в быту; насилие над детьми	Рабство	(и/или) деспотизм		
		b. Принуждение (угрозами)		Шантаж; рэкет			
		c. Манипулирование	Манипулирование чувством вины	Оппортунизм	Realpolitik		
	Рациональное обоснование, через	d. наложение интересов	Специализация между супругами	Монополия	Монополистический капитализм		
		e. использование структурных перекосов системы	Муж, не проявляющий дискриминации, в маскулинизированном обществе	Гибридные формы («неоклассические» договоры)	Гегемония		
		f. обеспечение выигрыша от подчинения (раздача обещаний)	Брак по расчету	Рассогласованная власть; «Фордизм»	Капитализм		
	Легитимацию, через	g. Соблюдение установленных правил	Зарегистрированный брак; венчание в церкви	Частная бюрократия; техноструктура	Рационально-правовая власть, конституционная автократия	Демократическое предприятие	Полноценная демократия
		h. Соответствие правил общим представлениям	«Межличностное взаимопроникновение»	Согласованная власть	Традиционная власть		
		i. Выражение согласия	Гражданский брак	Сеть с колесообразной структурой	Харизматическая власть, плебисцитарная автократия		

Стратегия принуждения (b) предполагает угрозу применения негативных санкций, например, силы. Принуждение отличается от силы (a), потому что, во-первых, оно оставляет подчиненному некий выбор,[52] и, во-вторых, потому что

[52] Wrong, *Power*, p.38; Wartenberg, *The Forms of Power*, p.100.

господствующий окажется в худшем положении, чем ему или ей нужно, если данная тактика не даст результата. Дело в том, что оба они проигрывают в случае реального применения силы.[53] Манипулирование (c) означает «любую намеренную и успешную попытку повлиять на реакцию другого там, где желательный ответ другому четко не сообщили».[54] Манипулирование требует контроля над информационными потоками и способности включать и выключать их тогда, когда захочется. В результате манипулирования индивид, которым манипулируют, живет в «виртуальном» мире, искусственно сконструированном в соответствии с желаниями тех, кто наделен властью. «Контроль над СМИ, естественно, является ключом к контролю над виртуальным миром».[55]

Комбинация рациональных аргументов и дискреционных ограничений, урезающих выбор, делает стратегию навязывания воли через наложение интересов (d) осуществимой. Несмотря на видимость свободного выбора, субъект, подчиненный власти монополии, ощущает угнетение. «Из-за отсутствия правил господство, которое зарождается на рынке, или в результате наложения иных интересов может ощущаться как нечто более гнетущее, нежели подчинение авторитету, при котором обязанности послушания излагаются четко и определенно».[56] Субъект, находящийся под влиянием монополистической власти, имеет только две возможности: либо принять условия, навязываемые монополистом, либо отказаться от рационального удовлетворения своих интересов, для чего требуется согласование собственной деятельности с монополистом.

Передача контроля в результате наложения интересов (d) более широко распространена, нежели случай экономической монополии. Навязывание воли может стать результатом сознательного использования, как их называет Льюкс, «структурных перекосов системы» в целом.[57] Взаимоотношения можно структурировать так, что они систематически будут благоприятны для одной стороны и неблагоприятны для другой. «Изменение ситуации выбора, в которой оказываются люди, представляет собой… важный способ изменении их индивидуальной и коллективной власти».[58] Это служит обоснованием включения в таксономию особой технологии навязывания воли, а именно власти в результате использования структурных перекосов (e), или структурной власти. Структурную власть не следует смешивать с удачей. В последнем случае, утверждает Кейт Доудинг, субъект просто получает то, что хочет, причем ему/ей не нужно навязывать свою волю, тогда как в первом случае

[53] Шеллинг, *Стратегия конфликта*, с.156.
[54] Wrong, *Power*, p.28.
[55] A. Wilson, *Virtual Politics: Faking Democracy in the Post-Soviet World* (New Haven, CT and London: Yale University Press, 2005), p.43.
[56] Weber, *Economy and Society*, p.946.
[57] Lukes, *Power*, p.25.
[58] Dowding, *Power*, p.24.

субъект прилагает усилия, чтобы обратить структурные перекосы себе на пользу.[59]

Структурные перекосы принимают, как минимум, две формы. Во-первых, правила игры, т.е. процедуры координации, обеспечивают одной стороне больше вариантов, соответствующих его/ее интересам, нежели другой стороне. Другими словами, пространство для маневра может быть разным. «Обладатели основных ресурсов ограничивают самостоятельность других тем, что ограничивают набор значимых для принятия решения факторов и стратегий действия, которые кажутся последним реально осуществимыми и желательными».[60] Во-вторых, сами интересы и желания субъекта, находящегося под влиянием структурной власти, могут быть изменены и «искажены» по сравнению с тем, что у него/нее были бы в «противоречащей факту» ситуации, когда он/она не был бы в сфере действия власти. «*A* может осуществлять власть над *B, заставляя* его делать то, что он делать не хочет, но он также осуществляет власть над ним, влияя, оформляя и определяя собственно то, чего последний хочет».[61]

Стратегия, направленная на то, чтобы обеспечить выгодность подчинения (f), выводится из модели рационального выбора в чистом виде: обещание позитивных санкций со стороны того, кто господствует, увеличивает выигрыш подчиненного, если он/она передаст право контролировать его/ее действия. И, наконец, вместо того, чтобы объединять нравственные, неутилитарные механизмы убеждения (g, h и i) в один случай, я пойду по пути, который предлагает Битэм, чтобы представить картину с бóльшим количеством нюансов.

Само определение трех типов действия предполагает возможность существования взаимосвязи между ними и механизмами навязывания воли. Например, «безмолвная» и часто нерефлексивная координация в регистре привычного действия не исключает перетекания во власть в чистых формах (заштрихованные клетки Ia, Ib и Ic). Ориентация на выполнение рационально выбранного плана или реализацию какого-то проекта требует привлечения утилитарных аргументов. Нужно говорить на языке определенных интересов (заштрихованные клетки IId, IIe и IIf). Координация с обобщенным Другим требует привлечения наиболее универсальных норм, воплощенных в праве или в традициях (g), ссылок на разделяемые всеми ценности (h) и агрегирования частных интересов (i), что указывает на заштрихованные клетки IIIg, IIIh и IIIi. Подробное рассмотрение всех случаев заслуживает отдельного исследования; в следующей части даны комментарии к некоторым из них.

[59] Ibid., Ch.4.
[60] Scott, *Power*, p.72.
[61] Lukes, *Power*, p.27.

Часть III: Эмпирические и аналитические иллюстрации

[Id] Экономический подход к браку, который разработал Гэри Беккер, иллюстрирует этот момент. Он утверждает, что разумные субъекты заинтересованы в углублении разделения труда по гендерному признаку и тем самым укрепляют и свой брак.[62] Чем больше супруги зависят друг от друга в силу взаимно дополняющего характера имеющихся у них навыков (например, один растит детей, а другой зарабатывает на жизнь), тем стабильнее их взаимоотношения.

[Ie] Томас Уортенберг рассматривает соответствующий случай, когда муж, не являющийся сторонником дискриминации, действует в рамках структуры, которая характеризуется структурным искажением в том смысле, что в ней преимущество получают мужчины, т.е. он живет в маскулинизированном обществе.[63] Несмотря на тот факт, что данный конкретный муж лично не дискриминирует свою жену, альтернативы ее действий и имеющиеся в ее распоряжении варианты производны от гендерного дисбаланса, присущего институциональной среде. Поэтому получается, что жена зависит от своего мужа и находится в неравных отношениях с ним, несмотря на то, что он предпочитает отношения недискриминационные. Координируя свои действия с действиями жены, этот муж реализует свои интересы более полно, чем его жена, и фактически он навязывает ей свою волю.

[Ih] Один из «кодов» любви, о которых пишет Никлас Луман, состоит в обозначении ее как «межличностного взаимопроникновения на высоком уровне».[64] Влюбившись, человек намеревается изучить и понять личность того, кого полюбил. Проблема нахождения общего знаменателя двух личностей не имеет раз и навсегда данного решения, потому что каждая из этих личностей имеет сложную многоуровневую структуру.

[IIc] По определению, которое часто используется в экономической литературе, оппортунизм подразумевает, что человек «преследует личный интерес с использованием коварства».[65] Иными словами, оппортунизм позволяет одной из сторон осуществить план, обманув другие участвующие в нем стороны.

[IIe] Представители институциональной экономики уделяют повышенное внимание гибридным формам (hybrids), на основе которых

---

[62] Г. Беккер, *Человеческое поведение: экономический подход* (Москва: Издательство ГУ-ВШЭ, 2003), см. Введение и раздел «Экономика семьи».

[63] Wartenberg, *The Forms of Power*, pp.157-. «Общество считается маскулинизированным, если гендерные роли существенно отличаются: от мужчин ожидается напористое, жесткое и нацеленное на достижение материального успеха действие, тогда как женщина предполгается скромной, нежной и занятой вопросами качества жизни» (G. Hofstede & G. J. Hofstede, *Cultures and Organizations: Software of the Mind* [New York: McGraw-Hill, 2005], p. 120).

[64] N. Luhman, *Amour comme passion: De la codification de l'intimité* (Paris: Aubier, 1990), p.198.

[65] О. Уильямсон, *Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация* (Санкт-Петербург: Лениздат, 1996), с.97.

осуществляется долговременное сотрудничество между партнерами, формально сохраняющими свою независимость. Долговременное сотрудничество ведет к возникновению специфических активов, которым трудно найти альтернативное применение вне рамок конкретной сделки, не нанеся при этом серьезного ущерба их ценности. В конечном счете, стороны оказываются в такой зависимости друг от друга, что не могут избежать властных взаимоотношений, если эта зависимость приобретает асимметричный характер.[66] Специфические активы приводят к возникновению структурного перекоса: их владелец имеет преимущество в переговорах о распределении прибыли от сотрудничества.

[IIf] Обычно экономисты ведут разговор о разделении полномочий по контролю в терминах отношений между Принципалом и Агентом.[67] Фордизм (имеется в виду Генри Форд) иллюстрирует идею рассогласованной власти в чистом виде. Например, предполагается, что за хорошую зарплату (знаменитая политика $5 за рабочий день) сотрудники должны соглашаться на утомительную работу за конвейером и отказываются от попыток оспорить или хотя бы ограничить всевластие своего босса. Форд, – как и некоторые другие современные ему предприниматели, включая Джорджа Пульмана, – дошел до того, что пытался присвоить себе право контролировать моральный облик своих работников.[68]

[IIg] Вебер не вдается в детали, касающиеся частной бюрократии. Он просто противопоставляет государственное учреждение частной канцелярии или бюро, которое создается для управления предприятием.[69] Концепт техноструктуры помогает пролить свет на этот вопрос. Джон Гэлбрейт использует этот термин для описания всей совокупности работников, от менеджеров высшего звена до работников умственного труда, обладающих специальными знаниями и умениями, которые организованным образом задействованы в процессе принятия решений. Другими словами, техноструктура означает любое «организованное знание», касающееся работы фирмы.[70]

[IIi] Структура сети с колесообразной структурой предполагает, что право контроля делегируется тому члену, который временно оказывается на пересечении коммуникационных каналов. В этом случае власть бывает результатом решения, основанного на консенсусе (i), который вырабатывается на основе общей заинтересованности в сокращении информационных издержек

[66] К. Менар, «Теория организаций: разнообразие соглашений в развитой рыночной экономике», в кн. А. Олейник, под общ. ред., *Институциональная экономика* (Москва: Инфра М, 2005), с.202-206.

[67] J. Stiglitz, 'Principal and Agent', in: J. Eatwell, M. Milgate & P. Newman, eds., *The New Palgrave: A Dictionary of Economics* (New York: Stockton Press, 1987), p.966-971.

[68] R. Boyer & A. Orléan, 'La convention salariale fordienne: Les obstacles d'une innovation locale dans la transformation du mode de régulation', *Couverture Orange No. 9029* (Paris: Centre d'études prospectives d'économie mathématique appliquées à la planification, 1990), pp.23-29; M. Walzer, *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality* (New York: Basic Books, 1983), p.295.

[69] Weber, *Economy and Society*, p.957.

[70] Дж. Гэлбрейт, *Новое индустриальное общество* (Москва: Прогресс, 1969), Гл.6.

и оптимизации информационных потоков (II). Поэтому «видимость иерархии вряд ли можно считать нарушением структуры группы с однородным составом».[71]

[IIg+IIh+IIi] Перечень аргументов, приводимых в пользу фирм, принадлежащих рабочим и находящихся под их демократическим контролем, обычно содержит ссылки на установившиеся правила и их соответствие коллективным представлениям, на необходимость выражения согласия со стороны подчиненных. Во-первых, сторонники самоуправляемых фирм предполагают преобразовать структуру собственности, не нарушая при этом имущественных прав (например, помогая сотрудникам выкупать акции по Плану владения служащими акциями своих компаний, Employee Share Ownership Plans) и трактуя право собственности как «право на приобретение собственных ресурсов, необходимых для обеспечения политической свободы и достойного существования».[72] Во-вторых, экономический смысл самоуправляемых фирм сводится к тому, что они усиливают «у работников материальную заинтересованность в том, чтобы делиться приватной информацией»,[73] которая представляет ценность с точки зрения управления (например о том, насколько старательно работают сотрудники). Другими словами, самоуправляемые фирмы помогают достичь единства интересов и верований. В свою очередь, существование общих интересов создает безусловную необходимость в регулярном выражении согласия со всеми ключевыми решениями. Купить команду людей – не то же самое, что купить товар.[74]

[IIIa] Попытки оправдать деспотизм и этим сделать его приемлемым в глазах обобщенного Подчиненного не редки. Например, отцы–основатели европейского Просвещения больше доверяли просвещенным деспотам, считая их движущей силой реформ, а не представительным правительствам.[75] И все же здесь присутствуют элементы случая IIIh (когда есть ссылка на совокупность общих представлений, воплощенных в научной доктрине) и чистые случаи оправдания власти просто фактом обладания ею встречаются не столь часто.

[IIIc] История *realpolitik*, или политической сферы, заполненной коррумпированными людьми и коррумпированными правителями, начинается с *Государя* Николо Макиавелли. «Разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание. Такой совет был бы

[71] O. Williamson, *Markets and Hierarchies, Analysis and Antitrust implications: A Study in the Economics of Internal Organization* (New York: The Free Press, 1975), p.47.
[72] R. Dahl, *A Preface to Economic Democracy* (Berkeley and Los Angeles, CA: University of California Press, 1985), p.112.
[73] S. Bowles & H. Gintis, 'A Political and Economic Case for the Democratic Enterprise', *Economics and Philosophy*, Vol.9 (1993), p.77.
[74] L. Putterman, 'The Firm as Association versus the Firm as Commodity: Efficiency, Rights and Ownership', *Economics and Philosophy*, Vol.4, No.2 (1988), pp.245-246.
[75] M. Malia, *Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum* (Cambridge, MA and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999), p.68.

недостойным, если бы люди честно держали слово, но люди, будучи дурны, слова не держат, поэтому и ты должен поступать с ними так же».[76] Главная задача политтехнологий, и, в частности, «черного пиара» состоит в оправдании власти путем искажения информационных потоков, если оправдать эту власть на основе неискаженной информации представляется невозможным. Инструментарий политтехнологов включает строительство политических партий, в том числе и таких, которые находятся в «псевдо-оппозиции», уничтожение других партий, провоцируя, например, конфликты и расколы, определение общей динамики проводимых ими кампаний, создание мифов и тому подобное.[77]

[IIIe] Ситуация гегемонии, которую впервые описал Антонио Грамши, возникает в результате структурных перекосов в системе в целом, а не только из-за перекосов в рыночных структурах.[78] Гегемония означает, что субъекты, на которых распространяется власть, воспринимают ситуацию таким образом, что не видят никакой серьезной альтернативы и соглашаются на собственное подчиненное положение, как на меньшее из двух (или более) зол. Дело в том, что тот, кто наделен властью, может с успехом убедить подчиненного, что его/ее смирение и есть меньшее из всех зол даже тогда, когда существуют серьезные альтернативы. Тогда искажения и перекосы на уровне культурных представлений обеспечивают обоснование передачи контроля. Подобное смещение происходит в результате распространения определенных идеологий, или, как их называет Даглас Норт, общих ментальных моделей. «Идеологии представляют собой общие рамки ментальных моделей, которые принадлежат группам людей, и которые помогают как интерпретировать окружающий мир, так и предписывают варианты его изменения».[79] Если рассматривать альтернативы через призму искаженной идеологии, то многие из них утрачивают свою релевантность, что способствует оправданию статус кво.

[IIIf] Рационализацию подчинения не следует смешивать с его обоснованием через отсылку к рациональным соображениям. Первое соответствует нормальному действию (клетка IIf), а отношения найма служат иллюстрацией (зарплата делает планы и интересы босса и работника совместимыми). Второе требует выхода за рамки конкретного плана в «сферу денег»[80] или в «рыночный мир» (*monde marchand*).[81] Тем не менее, существует противоречие в утилитарных принципах, когда их используют для оправдания подчинения в глазах обобщенного Другого: «то, что происходит на рынке, должно, как минимум, приближаться к обмену между равными».[82] Из-за этого противоречия человек редко слышит рациональные доводы в пользу

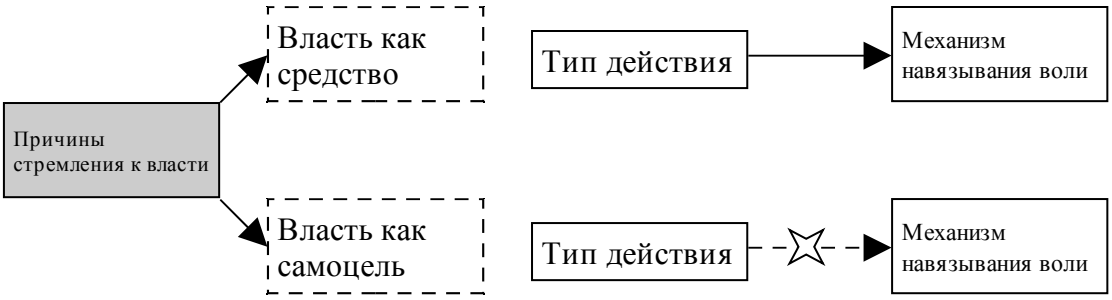
[76] Н. Макиавелли, *Государь* (Москва: Планета, 1990), Гл. XVIII.
[77] См. обзор в Wilson, *Virtual Politics*.
[78] Scott, *Power*, Ch.4.
[79] A. Denzau & D. North, 'Shared Mental Models: Ideologies and Institutions', *Kyklos*, Vol.47, No.1 (1994), p.3.
[80] Walzer, *Spheres of Justice*, pp.100-126.
[81] L. Boltanski & L. Thévenot, *De la justification: les économies de la grandeur* (Paris: Gallimard, 1991), pp.241-252.
[82] Walzer, *Spheres of Justice*, p.120.

подчинения богатым, которые звучали бы публично и за пределами фирмы. Напротив, такие аргументы нужно «развенчивать» с помощью критического анализа. Карл Маркс определяет капитализм как систему, основанную на контроле всего производственного процесса собственником капитала. Подчинение процесса производства целям накопления капитала наделяет его собственника определенными организационными функциями. «Команда капиталиста на поле производства делается теперь столь же необходимой, как команда генерала на поле сражения».[83]

Часть IV: Вводить ли третье измерение?

Взаимосвязь между типом действия и механизмом навязывания воли существует до тех пор, пока власть обладает инструментальной ценностью. Это значит, что субъекты стремятся к достижению иных целей помимо собственно захвата власти: власть не является самоценной, а инструментальна в решении проблемы координации. Однако власть может иметь и терминальную ценность, что помещает ее в тот же перечень, где присутствуют, например, богатство или слава. Это замечание подводит нас к рассмотрению вопроса о том, имеет ли смысл вводить третью переменную в таксономию. Новая переменная позволяет анализировать власть с точки зрения причин, в силу которых люди стремятся к власти. У новой переменной есть два атрибута: власть как средство достижения каких-то других целей, и власть как самоцель (Рисунок 3).

Рисунок 3. «Упущенная дифференцирующая переменная: причины, лежащие в основе стремления к власти»



Власть *как самоцель* можно представить себе как игру с нулевой суммой: одна сторона может выиграть только за счет другой стороны (Таблица 3[84]). У власти *как средстве*, напротив, есть ряд черт игры с ненулевой суммой. ««Выигрыш» в конфликте не имеет строго состязательного смысла; это не победа, одержанная над врагом. Здесь подразумевается выигрыш относительно своей собственной системы ценностей, и его можно добиться путем

[83] К. Маркс, *Капитал*, Том 1 (Москва: Издательство политической литературы, 1988), Гл.11.

[84] Большинство спортивных единоборств (да и спорт вообще) может быть концептуализировано аналогичным образом. Стоит заметить, что в данной игре есть только одно равновесие по Нэшу, когда каждый из игроков стремится навязать свою волю другому (верхняя левая клетка). В конечном счете, в этой схватке за господство победитель отсутствует.

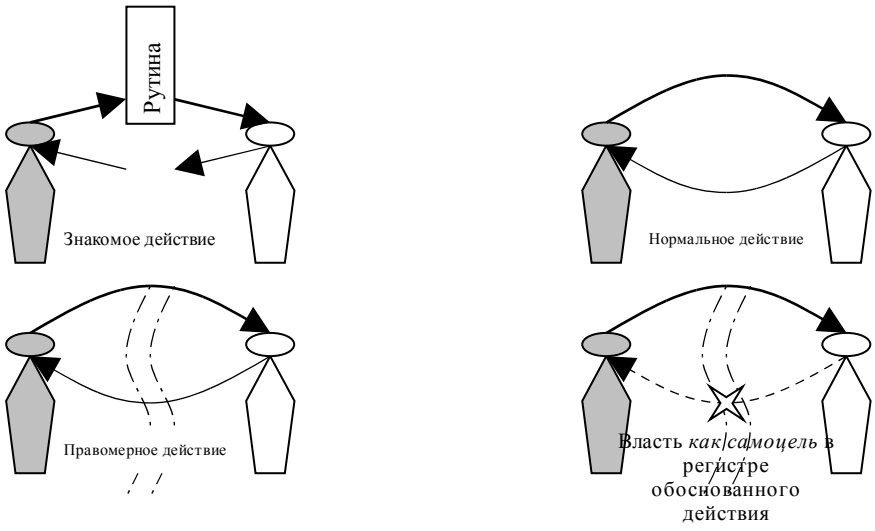
переговоров, компромиссов, а также избегая поступков, наносящих обоюдный ущерб».[85]

Таблица 3. «Власть как самоцель как игра с нулевой суммой»

		2ая сторона	
		Навязывать волю	Не навязывать волю
1ая сторона	Навязывать волю	0, 0 [N]	1, -1
	Не навязывать волю	-1, 1	0, 0

Если власть как самоцель характеризует отношения в регистре обоснованного действия, это равносильно провалу ее обоснования. Обоснованное действие требует легитимации власти, т.е. убеждения обобщенного Другого. Здесь же тот, кто господствует, в лучшем случае негативно учитывает мнение подчиненного, расценивая его как одно из препятствий навязыванию своей воли, или же просто игнорирует это мнение (Рисунок 4). Другими словами, власть остается необоснованной, несмотря на потребность в ее обосновании. Отсюда становится понятным отличие данной конфигурации властных отношений от более простого случая, когда власть навязывают с помощью насилия (Ряды a, b и c в Таблице 2).

Рисунок 4. «Прямые и обратные связи в отношениях между лицом, наделенным властью, и подчиненным: четыре случая»



Главное преимущество введения нового измерения в таксономию состоит в различении на первый взгляд сходных случаев авториета, прибегающего к принуждению, и авторитарных режимов, основанных на принуждении: в двухмерной матрице оба эти случая находились бы в клетке IIIb. Такое смешение привело к тому, что Ронг оспаривает обычное противопоставление власти как контролем, основанном на насилии (power), и авторитетом,

[85] Шеллинг, *Стратегия конфликта*, с.17.

основанном либо на рациональном расчете, либо на обосновании (authority).[86] В частности, он утверждает, что применение насилия может оказаться необходимым для достижения обоснованных целей (фактически именно этого и ожидают от современного государства согласно классическому определению Вебера,[87] а именно того, что оно применяет насилие для поддержания порядка). Однако авторитарное государство тоже использует насилие для поддержания своего порядка. Например, когда в 30-х годах Иосиф Сталин прилагал усилия по расширению сферы своего контроля, это могло выдаваться за восстановление порядка и законности.[88]

Задача различения авторитета, прибегающего к принуждению, и авторитарной власти требует знания причин стремления к власти. В первом случае контроль над другими людьми имеет инструментальную ценность, он просто является инструментом координации. В последнем случае контроль приобретает самоценность, тогда как координация совместной деятельности, по-видимому, низводится до роли средства. Это значит, что главное препятствие, мешающее полностью задействовать трехмерную таксономию, заключается в том, что необходимо восстановить картину происходящего в «черном ящике» сознания субъекта, осуществляющего контроль. Каковы его/ее *истинные* намерения и интересы? «Следовательно, отношение власти нельзя определить, если отсутствует указание на намерения и интересы… властвующего».[89]

Есть несколько исследовательских стратегий, которые могут помочь заглянуть внутрь «черного ящика» сознания субъекта, облеченного властью. Во-первых, исследователь может сделать «героическое» допущение, что институциональная среда определяет намерения субъекта. Тогда основное значение будет иметь конкретная конфигурация внешних ограничителей: жесткие рамки ограничивают оппортунизм субъекта и не дают ему/ей возможности злоупотреблять своим правом контролировать действия других людей (см. подробнее в главе «Потенциальные и реальные ограничения своекорыстного поведения государственных служащих в России»). В детерминистской перспективе чем жестче рамки, в которые помещен властвующий субъект, тем лучше. Во-вторых, исследователь может описать и проанализировать индивидуальные и групповые предпочтения обладателей власти с помощью глубинных интервью. В программу исследования тогда необходимо включить специальную методику интервьюирования, а именно

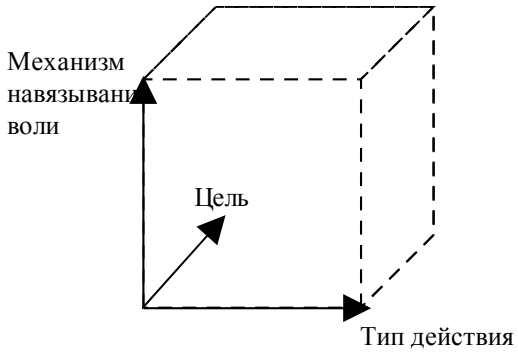
[86] Wrong, *Power*, pp.38-.
[87] Weber, *Economy and Society*, p.54.
[88] П. Соломон, *Советская юстиция при Сталине* (Москва: РОССПЭН, 1998), с.148.
[89] Scott, *Power*, p.2. Уортенберг сталкивается с похожей проблемой при введении центрального для его анализа различения между господством как «негативным» использованием власти (в ущерб кому-то) и трансформативной властью как «позитивным» использованием контроля. «Трансформативная власть не является особым типом власти... скорее, она означает особый вариант использования властных полномочий, когда они *нацелены на укрепление* (empowering) *того агента, над которым осуществляется контроль*... В этих целях может применяться влияние, сила и принуждение» (Wartenberg, *The Forms of Power*, p.195, выделено мною).

сценарные подходы и «проекционные методики»,[90] позволяющие «раскрыть» истинные намерения и интересы. В-третьих, исследовательский инструментарий также включает контрафактивный анализ, который выстроен по предложенной Льюксом модели.[91] Он нацелен на выявление того, какими будут сценарии координации в конкретной ситуации, в зависимости от того, обладает ли право контроля инструментальной или терминальной ценностью.

Выводы

В данном тексте была предпринята попытка изучить концепт властных отношений. Несмотря на то, что власть представляет собой одно из основных понятий общественных наук, существуют многочисленные пробелы, которые характеризуют большинство попыток сделать данную абстрактную категорию инструментальной и применить ее в эмпирических исследованиях, особенно в сравнительной перспективе. В отличие от таксономий властных взаимоотношений, которые разработали Льюкс, Ронг, Уортенберг, Доудинг, Битэм, Ледяев и Скотт, и которые имеют одномерный характер, в основе предлагаемой классификации лежит три переменных: (i) тип действия: привычное, нормальное и обоснованное; (ii) механизм навязывания воли: физические ограничения, рационализация и легитимация; и (iii) цель, ради которой стремятся к власти: власть как средство для достижения иных целей или власть как самоцель. Потенциально это дает нам трехмерную матрицу (Рисунок 5).

Рисунок 5. «Трехмерная таксономия властных взаимоотношений»



[90] Одна из таких методик заключается в помещении собеседника в гипотетическую ситуацию, в которой нет единственного социально одобряемого способа обоснования своих возможных действий. Одно из исследований бизнесменов, предположительно вовлеченных во внелегальные и криминальные виды деятельности, было проведено с помощью вопросов о поведении в таких «критических ситуациях» (A. Oleinik, N. Aparina, K. Clément, E. Gvozdeva, A. Kashturov & M. Minin, *L'analyse socio-économique du blanshiment: L'exemple des capitaux illicites russes en France et dans d'autres pays occidentaux* [Saint-Denis-La-Plaine: Institut National des Hautes Etudes de Sécurité, 2005]).

[91] Lukes, *Power*, pp.43-.

Что касается сравнительных исследований, то здесь многомерная классификация представляется особенно плодотворной. Она позволяет нам избежать в анализе конкретных явлений использования категорий, специфичных для какой-то страны или культуры. Одномерные аналоги не обладают достаточной гибкостью и имеют меньше степеней свободы, что мешает тонкой подстройке и улавливанию деталей. К примеру, многие исследователи описывают господствующий в России тип властных отношений в терминах «русской власти», подчеркивая тем самым ее «вписанность» в конкретную институциональную среду.[92] Однако специфика «русской власти», которую подчеркивают эти авторы – ее необоснованный характер, преобладание силы, принуждения и манипуляции и т.д. – вполне может быть описана с помощью предложенной таксономии, как перенесение модели власти (понимаемой как совокупность техник навязывания воли и цели ее навязывания), уместной в контексте привычного действия, в регистр обоснованного действия. Причем без каких-либо существенных изменений и адаптации. Отсюда феномен власти, «не нуждающейся в представлении другой вещи».[93]

Все предлагаемые выводы носят скорее предположительный характер, и требуется большая дальнейшая теоретическая работа и эмпирические исследования, чтобы более тщательно рассмотреть соответствующие допущения и гипотезы и проверить их в количественном отношении. Так, из трех типов действия – привычного, нормального и обоснованного – основное внимание было уделено последнему. Нормальное действие обсуждалось намного менее подробно, тогда как привычное действие затрагивалось весьма поверхностно. Существуют, как минимум, две веские причины для изучения привычного действия через призму властных отношений. Такие важные организационные структуры, как семья и домашнее хозяйство, воплощают определенные конфигурации властных взаимоотношений. Более того, сексуальные преступления, некоторые виды бытовой жестокости и жестокости родителей в отношении детей, могут быть лучше поняты в перспективе взаимосвязи привычного действия и навязывания воли через физические ограничения.

[92] В. Макаренко, *Русская власть: теоретико-социологические проблемы* (Ростов-на-Дону: Издательство Северо-Кавказского Научного Центра Высшей Школы, 1998); Ю. Пивоваров, *Русская политическая традиция и современность* (Москва: ИНИОН РАН, 2006).

[93] Ю. Пивоваров и А. Фурсов, «Правопреемство и русская власть», *Полития*, №1 (1998).

МОРАЛЬ КАК ДЕТЕРМИНАНТА ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ[1]

А.В. Оболонский
доктор юридических наук, профессор,
Государственный университет – Высшая школа экономики

1. Два взгляда на политическую этику

Долгое время господствующей нормой политического мышления и практики была идеология макиавеллизма, в рамках которой политика и мораль рассматривались как вещи несовместные. Однако в XX веке, особенно во второй его половине, она в значительной мере исчерпала свой идеологический потенциал и «оправдание». После того, как политика стала публичной, народ постепенно осознал свое право и обязанность непосредственно участвовать в ней, и политика постепенно возвращается к ее изначальному – аристотелевскому – пониманию.

Аристотель «видел в политике продолжение этики, своего рода развернутую этику, этику in concreto, и в то же время рассматривал саму этику как высшую политическую науку».[2] В сущности, ту же мысль проводил выдающийся социальный философ XX века Исайя Берлин, полагая, что политическая философия есть «не что иное, как этика в применении к обществу»,[3] тем самым подчеркивая важность и фундаментальный характер этических начал общественной жизни.

Да, собственно, едва ли не в каждой исторической эпохе можно найти подтверждения существования «антимакиавеллистского», морального взгляда на политику. Так, еще Августин писал в труде «О граде Божием»: «При отсутствии справедливости (вариант – «правосудия», т.е. другого перевода слова justicia– А.О.), что такое государства, как не большие разбойничьи шайки, так как сами разбойничьи шайки, что такое как не государства в

[1] Данная статья – конспективное изложение некоторых положений монографии автора «Мораль и право в политике и управлении». М. 2006.
[2] См. Гусейнов А.А. Мораль и политика: уроки Аристотеля // Ведомости. Вып.24. Политическая этика: социокультурный контекст. Тюмень. 2004. С.106.
[3] Берлин И. Философия свободы. М. 2001. С.185.

миниатюре?»[4]. По свидетельству выдающегося французского исследователя эпохи феодализма Марка Блока, в Средние века «в Германии повсеместно, даже на площадях и в трактирах, читали или по крайней мере просили переводить сочинения, где еще разгоряченные жаркими спорами церковники рассуждали на все лады о целях государства, о правах королей, их народов или пап. Другие страны не были до такой степени захвачены полемикой. Однако повсюду она оказывала свое действие. Отныне дела человеческие стали в большей мере, чем прежде, предметом для размышления.»[5] А с XУ века, с начала эпохи гуманизма, «моральная философия» стала не только фактором общественной рефлексии, но и элементом системы образования в рамках так называемых «наук о человеческом» (studia humanitatis).

Если взглянуть на страны с подлинно демократической политической культурой и традицией в современную, «постмаккиавелистскую» эпоху, то очевидно, что политико-государственная практика, политический класс (извините, не могу всерьез произносить столь модное ныне и, главное, часто произносимое без капли самоиронии выражение «политическая элита») были вынуждены отреагировать на это изменение в самосознании общества. Например, в США первый Кодекс этики правительственной службы появился еще в 1958г., правда, сначала в форме резолюции Конгресса, а с конца 70-ых – 80-ых годов этические начала государственной жизни становятся объектом достаточно жесткого социального контроля и регламентации. В том числе – и на законодательном уровне. Было признано, что **жизнеспособность и легитимность политической системы страны во многом зависят от того, насколько государственные институты и высшие должностные лица отвечают господствующим в обществе ценностям и идеалам, а их поведение соответствует нормам общественной морали.** [6] Отсюда – и внимание к Этическим кодексам (эти своды норм, определяющие стандарты поведения, могут иметь разные названия) во всех ветвях власти западных стран, о чем мы подробно будем говорить ниже.

В России же, в силу трагических особенностей ее истории (не говоря уж о снова вошедших в моду политиканских спекуляциях на специфике нашей якобы «уникальной ментальности») процесс этот, к сожалению, по меньшей мере, запаздывает. Это связано и с современными, и с историческими обстоятельствами. Начнем с современных как более близких.

В постсоветские годы, осваивая новую для ныне живущих поколений алгебру жестких рыночных отношений, мы как-то подзабыли о внеэкономических, моральных мотивах человеческого поведения, о том, что «не хлебом единым жив человек». Но уродливые реалии жизни со всей наглядностью продемонстрировали последствия подобной однобокости. В

[4] Цит. По: Графский В.Г. История политических и правовых учений. М. 2005. С.185.
[5] Блок М. Феодальное общество // Апология истории, или Ремесло историка. М. 1973. С.158.
[6] Подр. См.: Оболонский А.В. Бюрократия для XX1 века? М.2002. С.120-124-160-161.

частности, в контексте необходимости решить проблему ограничения бюрократического произвола и коррупции это предполагает повышение внимания к моральным качествам чиновничества, к проблемам административной морали.

К тому же следует учитывать и определенные опасности, которые несут с собой объективно необходимые и происходящие во всем мире изменения госслужбы с целью повышения ее эффективности и дебюрократизации посредством принятия на вооружение методов деятельности, используемых в частном менеджменте (так называемый new public management), расширение ее сотрудничества с частным сектором. В частности, происходит неизбежное расширение «серой зоны» - сферы личного усмотрения служащих на грани закона. А это, естественно, повышает требования к моральным качествам служащих. Технологически и методически сближаясь с коммерческими структурами, *госслужба не должна и не может утратить свою специфику, качественно отличающую ее от других организаций и общественных институтов. Главное в этой специфике – ее назначение – служить общественным интересам и интересам граждан, а не «начальства» или отдельных промышленно-финансовых групп (что, впрочем, отнюдь не исключает одно другого). А чтобы обеспечить это в условиях изменений, необходимо особое внимание к моральным принципам и ценностям служащих*. В противном случае госслужбу неизбежно захлестывает вал коррупции и прочих злоупотреблений, связанных с возможностью торговать от имени государства влиянием, разного рода экономическими и административными ресурсами.

Помимо этого, есть еще и собственно политическая (не путать с политиканской) необходимость резко повысить внимание к моральному аспекту госслужбы. Она обусловлена серьезным и опасным в условиях даже ограниченной демократии падением уровня доверия населения к чиновничеству. Хотя тотальное недоверие к чиновникам справедливо лишь отчасти и во многом связано с более широкими причинами – общим кризисом доверия почти ко всем государственным институтам, а также с возросшими требованиями и политическими ожиданиями граждан – игнорировать данное обстоятельство было бы непростительной политической слепотой. Во-первых, *доверие граждан – одна из фундаментальных основ демократии*. И не только демократии. Ведь советский строй далеко не в последнюю очередь рухнул из-за того, что полностью исчерпал ресурс доверия граждан. Другое дело – последующее драматическое развитие событий, когда под прикрытием сладкозвучной демократической риторики во многом произошла «реприватизация государства», отчасти новыми людьми, отчасти – прежней номенклатурой. Как отмечал С.А.Ковалев, «в 1991 г. режим выпустил новые краткосрочные облигации, под заманчивыми названиями: «демократия», «права человека», законность», процветание» и т.п. Фишки эти были, увы, плохо

обеспечены твердой валютой права и золотом действий. И по истечении семи лет пирамида доверия, выстроенная режимом, рухнула.» [7]Можно поспорить с Сергеем Адамовичем по деталям – срокам, датам, степени искренности тех, кто, по его мнению, печатал «облигации», степени готовности тех, кому они предназначались, правильно распорядиться ими и т.п. Но главное несомненно - **люди поверили в демократию, а их снова обманули. И этот кризис доверия, распространившийся на демократические институты, - может быть, ключевая драма нашего времени**, базовая причина многих сегодняшних проблем и удручающих политических «гримас» наших дней.

А, во-вторых, люди, как известно, во многом живут в мире своих субъективных представлений о жизни, в том числе, о власти, которая в демократическом обществе обязана стремиться улучшать эти представления и, во всяком случае, приближать их к реальности. Поэтому моральный аспект поведения государственных служащих очень важен и с точки зрения публичной политики.

И еще один момент: компьютерно-электронная революция, беспрецедентно расширив наши возможности, одновременно породила и новые проблемы, усложнила наш мир. В частности, поскольку многие рутинные операции и даже сложные интеллектуальные задачи «отданы» роботам и компьютерам, за человеком остается нравственная ответственность за выбор решений, за принятие либо отвержение предлагаемых умными машинами вариантов. По-моему, не только бесперспективно, но даже опасно пытаться вносить в машинное программирование связанные с моралью критерии. На заре эры роботов один из фантастов предлагал ввести в качестве «первого правила роботехники» принцип абсолютного запрета на нанесение вреда человеку. Однако сейчас очевидно, что подобные «простые» решения не «работают». Сами этические дилеммы бесконечно усложнились. И решать их, кроме человека, некому. Как предвидел еще лет двадцать назад Д.С.Лихачев, «на человека ляжет тяжелейшая и сложнейшая задача быть человеком…, нравственно отвечающим за все, что происходит в век машин и роботов.»[8]

Первыми практическими шагами в решении этих проблем применительно к государственному аппарату представляются разработка, широкое обсуждение и внедрение в аппарат Этического кодекса (Кодекса поведения) служащего, что предусмотрено Федеральной программой реформирования государственной службы, утвержденной Президентом в 2002г. Думается, должно быть несколько таких кодексов, содержащих как единые для всех нормы, так и учитывающие специфику должностей разного уровня, разных сфер деятельности, а, возможно, и региональную специфику. Ведь очевидно, что ряд действий людей, в том числе – и чиновников, по своей природе гораздо эффективней регулируются не юридическими, а неформальными (но от этого

[7] Ковалев С.А.Прагматика политического идеализма. М. 1999. С.228.
[8] Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. М. 1989. С.106.

не менее действенными) нормами групповой - в данном случае, административной - морали и нормами индивидуальной нравственности. Профессиональная этика госслужащего, как, впрочем, и любая корпоративная этика, обладают существенной спецификой. Между тем многие чиновники имеют о ней смутное или искаженное представление, либо относятся к ней с пренебрежением. Те же, кто всерьез стремится руководствоваться нормами служебной морали (а таких людей в аппарате, поверьте, немало) вынуждены методом проб и ошибок вырабатывать как бы индивидуальную версию этического кодекса. Поэтому представляется крайне важным разработать такой документ, который бы задавал систему нравственных ориентиров, давал бы рекомендации по поведению в «щекотливых» ситуациях, ясно обозначал бы область нравственных «табу» для служащего. Прежде всего, это касается сферы конфликта интересов – наиболее типичной и острой в данном отношении проблемы, но ею не исчерпывается. И, разумеется, необходимо создать особый механизм контроля над соблюдением этических норм, достаточно тонкий и учитывающий специфику именно морального регулирования поведения. Наше изучение как зарубежного, так и отечественного опыта показывает, что даже сам факт возникновения такого документа и его обсуждения в административных коллективах послужил бы повышению уровня административной морали, в чем наш аппарат сегодня так нуждается. Выражаясь высоким, но, полагаю, в данном случае уместным стилем, *дух «общественного служения» должен лечь в основу кодексов политической и административной этики*. А в более общем политическом плане именно **этика есть сердце демократии**.

2. *Духовные факторы – основа полноценной жизни людей и демократии*

Еще Сократ в роли персонажа платоновской «Республики» говорил, что очень важную часть человека составляет его духовное начало - thymos. Именно оно подвигает человека совершать поступки, не находящие удовлетворительного объяснения в рамках материалистических, в том числе - экономистских - представлений, а в предельных случаях - и жертвовать жизнью во имя отнюдь не материальных ценностей. Эта мысль находила то или иное преломление и в философских системах Гоббса, Канта, Гегеля, Локка, Спинозы и многих других великих философов.

Кроме того, одна из аксиом демократии гласит, что *в демократических обществах от гражданских и моральных качеств людей зависит больше, чем от правителей и политических институтов*. Например, американцы, страна, в основе политической культуры которой лежит демократия, так видят «четыре опоры плюрализма»: «свобода слова, добродетель, капитализм и ограниченное правление /что подразумевает ограниченную в своих полномочиях власть -

А.О./. Мы американцы не любим чрезмерной концентрации власти.»[9] Впрочем, последняя мысль имеет и европейские корни. Уже в начале девятнадцатого века Вильгельм фон Гумбольдт писал, что ограничение объема деятельности государства – необходимое условие для сохранения в нем здорового морального духа, а слишком пространная забота государства о гражданах наносит большой вред «энергии деятельности и моральному характеру людей»[10]. Думается, для нас моральное возрождение общества после серьезнейших долговременных моральных деформаций - не только необходимый, но, может быть, даже ключевой фактор. Процесс этот не обещает быть ни легким, ни быстрым.

Еще в 1923 году П.И.Новгородцев предвидел гигантскую сложность задачи нравственного возрождения нации после краха большевистского режима: «Русскому человеку в грядущие годы потребуются героические подвижнические усилия для того, чтобы жить и действовать в разрушенной и откинутой на несколько веков назад стране. Ему придется жить не только среди величайших моральных опустошений своей родины, но и среди ужасного развала всех ее культурных, общественных и бытовых основ... Среди этого всеобщего разрушения лишь с великим трудом будут пробиваться всходы новой жизни....Сколько новых темных чувств незаглохнувшей стихии опять появится! Сколько натворит новых бед суровая страсть порядка и покоя! Сколько тяжелых этапов пройдет и могучая потребность хозяйственного восстановления с ее неукротимыми инстинктами приобретения и накопления.[11] За 80 с лишним лет, минувшие с тех пор, как были написаны эти строки, ситуация лишь ухудшилась. Разве что процессы настолько ускорились, что века сжались до десятилетий. Поэтому не надо особо надеяться на «русское чудо» мгновенного превращения жабы в красавицу. Конечно, психологически очень понятно социальное нетерпение, желание сделать все и сразу - «здесь и теперь». Но мы уже до оскомины наелись сказок о «светлом будущем». Что же делать, если сроки человеческой жизни не совпадают с историческими периодами? «Крот истории» роет медленно. А, как известно, «времена не выбирают».

В свое время Франклин Рузвельт сказал: «Одному поколению многое дано, с другого многое спросится, а некоторые поколения встречаются с будущим». Мы встретились со своим будущим, и, в отличие от тех, кто был до нас, держали и до сих пор, хотя и в меньшей степени, держим его в собственных руках. В этом смысле нам очень повезло. И хотя последние годы показали, что мы опять не слишком готовы для решительного отказа от тех системоцентристских кандалов, которые веками висели на наших ногах, а многие прямо-таки с чувством облегчения проявляют готовность сунуть голову

[9] Imprimis. 2001. Dec. Vol. 30. No. 12.P.2.
[10] Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М. 1985. С.37.
[11] Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М. 1991. С.577.

под новое ярмо, все же пока что будущее еще открыто для разных сценариев развития. Так что жаловаться – в случае, если мы опять изберем старую колею – будет не на кого.

Карл Поппер считал глубочайшей и еще далеко не завершенной революцией в истории переход от общества закрытого, где индивид растворен в коллективности, взамен получая иллюзию защищенности, к обществу открытому, где он свободен и должен сам принимать личные решения. Такой переход неизбежно сопряжен со страхом свободы, с желанием и попытками вновь захлопнуть уже отворенную дверь. И, как показывает история, процесс действительно можно задержать. Но это приносило людям лишь новые беды. Вернуться в мнимый «утраченный рай» тоталитаризма невозможно. «Для вкусивших от древа познания рай потерян. Чем старательнее мы пытаемся вернуться к героическому веку племенного духа, тем вернее мы в действительности придем к инквизиции, секретной полиции и романтизированному гангстеризму ... Нам следует найти опору в ясном понимании того простого выбора, перед которым мы стоим. Мы можем вернуться в животное состояние. Однако если мы хотим остаться людьми, то перед нами только один путь - путь в открытое общество. Мы должны продолжать двигаться в неизвестность, неопределенность и опасность, используя имеющийся у нас разум, чтобы планировать, насколько возможно, нашу безопасность и одновременно нашу свободу.»[12]

Увы, это предостережение великого англичанина сегодня звучит актуальней, чем когда-либо раньше с начала перестройки. Возрождающаяся под камуфляжем полудемократической фразеологии система имеет мало общего с персоноцентризмом. Явный и бесстыдный приоритет «системных интересов» над личностью гражданина ни в коей мере не может быть сбалансирован никаким экономическим либерализмом, который, впрочем, как мы видим, тоже не может быть устойчивым в условиях нынешней якобы «государственнической» модели. Этим, кстати, лишний раз доказывается ущербность тезиса о якобы первичном значении экономики по отношению к духовным факторам бытия.

Вообще в России процесс «этизации политики» не просто запаздывает. Хуже того: последнее время наблюдается *ренессанс макиавеллизма*, пусть во внешне замаскированных популистской риторикой и жестами, но, по сути – в достаточно циничных и крайних формах. Одним из наиболее одиозных примеров этого представляется спекулятивное использование собственной неспособности государства уберечь граждан от террористов для лишения их под флагом «укрепления единства власти» существенной части демократических прав и свобод. Характер нашей работы не предполагает перечисления примеров, тем более что регулярно появляются все новые примеры и факты. Важней отметить, что у нашего государства появляется все

[12] Поппер К. Открытое общество и его враги. М. 1992. Т.1.С. 248.

больше черт военно-бюрократической системы управления. А это всегда происходит за счет ущемления интересов и прав людей. По существу, мы имеем дело с попыткой прикрыть насколько возможно еще недавно довольно широко распахнутую дверь открытого общества, т.е. происходит как раз тот процесс, против которого и предостерегал К.Поппер.

3.Свобода, дарованная «сверху», непрочна

История показывает, что каждый народ должен в той или иной форме «выстрадать» свою свободу. И если в древней и средневековой истории еще можно найти примеры властителей, которые, утомившись от бремени власти, передают ее наследнику, а сами удаляются от политической суеты столиц (например, подобно римскому императору Домитиану Августу, покинувшему Рим и уехавшему в провинцию, где он наслаждался выращиванием капусты), то добровольного отказа даже от части властных прерогатив в пользу народа или хотя бы «баронов» (как произошло при Иоанне Безземельном в начале 13 века в Англии) не бывало. Увы, это, как правило, обычно было связано с большим или меньшим пролитием крови. Правда, условие это если и, к сожалению, необходимое, но, тем не менее, недостаточное. Крови наш народ пролил больше многих других, а устойчивой свободы так и не обрел.

Конечно, конституционный институт, регламентирующий условия и процедуру смены власти, чрезвычайно важен. Но не менее важно и другое условие – наличие устойчивых навыков самоуправления, сознания социальной и персональной ответственности за решение вопросов обустройства своей социальной жизни и, в частности, за выбор тех или иных должностных лиц, т.е. вручение им на определенных условиях мандата на решение общих дел. А без этого свобода может быть незаметно утрачена или даже добровольно передана какой-либо автократической модели власти в ее подновленной версии, что во многом сейчас и происходит.

Но вернемся к главной теме, от которой, по нашему мнению, зависят и политика, и характер нашей жизни в целом – к нравственным основаниям политики и управления, к происходящему в мире движению в этом направлении, а также к соотношению моральных и правовых механизмов.

4. О понятии этики

Один из самых светлых людей прошедшего столетия – Альберт Швейцер – человек, пожертвовавший незаурядными талантами музыканта и философа во имя того, чтобы посвятить большую часть своей жизни оказанию медицинской и духовной помощи обитателям глухого уголка тропической Африки, писал в своей удивительной книжке «Культура и этика»: «Любые реформы государственной или общественной жизни – не панацея и имеют лишь

относительное значение. Они могут быть полезны только если мы способны также вдохнуть в наше время новый дух. Даже те сложные проблемы, которые целиком относятся к материально-экономической сфере, в конечном счете могут быть решены только путем этизации убеждений... Подлинное чувство реальности заключается в осознании той непреложной истины, что мы лишь через основанные на разуме этические идеалы можем прийти к нормальным взаимоотношениям с действительностью.»[13]

Так что же такое этика? Если не удовлетворяться формальным науковедческим определением ее как науки о морали, то можно сказать, что это – тот общественный институт, который выполняет функцию регулирования человеческого поведения с позиций его моральной оценки. А такая оценка, в свою очередь, требует определения критериев (стандартов) *добра и зла, честного и бесчестного, справедливости и ее антипода, понятий чести, совести, человеческого достоинства, морального долга.* И если наука этика занимается этим, прежде всего, в общем теоретическом (можно даже сказать, в философском) плане, то мораль это, главным образом – область человеческой практики. Иногда, впрочем, слова этика и мораль употребляют как взаимозаменяемые синонимы, в чем я не вижу особой беды (если, конечно, речь не идет о специальном научном обсуждении понятийного аппарата и пр.)

Иногда также отождествляют мораль и нравственность, что, на мой взгляд, уместно уже в меньшей степени, ибо тут вступают в силу различия в источниках и способах воздействия на поведение человека: если мораль это, прежде всего – форма поддержания общественной дисциплины посредством реального или потенциального воздействия силы общественного (в том числе, профессионального группового) мнения, обычаев, массовых привычек, оценок и т.п., сопровождаемая соответствующими моральными санкциями или угрозой их применения, то нравственность это – сфера внутреннего самоконтроля и саморегулирования, включая самоограничения и самопринуждение; иными словами, нравственность есть сфера свободного внутреннего выбора человека, основанного не на страхе моральных санкций со стороны среды, со стороны так называемых «значимых других», а на индивидуальной совести, критическом самоанализе и самооценке, область ответственной перед самим собой автономии человеческого духа. Таким образом, есть два вида моральных регуляторов – внешний и внутренний.

Кратко упомянем о двух различных этических традициях - *гедонистической* и *ригористической*. В рамках гедонистической традиции основания морали выводятся из естественной природы человека, из принципа разумного эгоизма. Траектория этой традиции идет через Демокрита, Эпикура, Гоббса, Локка, Бентама и других, более поздних утилитаристов и объективистов XIX-XX веков. Ее основная предпосылка состоит в том, что люди в конечном счете сами заинтересованы, чтобы вести себя морально.

[13] Швейцер А. Культура и этика. М. 1973. С. 66-67.

Другая – ригористическая – традиция придерживается более пессимистического взгляда на природу человека и обстоятельства социальной жизни. Согласно ей, мораль «непрактична», не имеет достаточных оснований в реальной жизни и потому «социально нецелесообразна». Поэтому основным моральным регулятором является чувство долга, ответственности перед другими и Богом за свои поступки. Иными словами, в первом варианте быть моральным выгодно, тогда как, согласно второму, мораль противоречит естественным склонностям грешного человека, но необходима для их обуздания. Отсюда в первом случае основной упор делается на мотивы поведения, во втором – на наложение на них ограничений, посредством ли заповедей, заветов или всевозможных моральных кодексов и иных ограничительных норм. (Кроме того, в истории науки этики можно встретить множество типологий так называемой нормативной этики: этика удовольствия, этика счастья, этика внутренней стойкости, этика страдания, этика скептицизма, этика аскетизма, этика самосовершенствования, этика любви, этика утилитаризма, этика долга, этика разумного эгоизма. Однако их анализ явно выходит за рамки нашей задачи.)

Современные христианские писатели-теологи трактуют эту светскую дихотомию несколько иначе, но в основе своей достаточно близко. Так, автор популярного в США университетского курса «Основы христианской этики», евангелист Роджер Крук выделяет в этике телеологический и деонтологический подходы, очерчивая основания каждого из них следующим образом: «Некоторые мыслители считают, что правильный подход в принятии этических решений начинается с определения наивысшего блага в жизни. Если это так, то нам придется искать одну вещь, ради которой мы были бы готовы пожертвовать всем остальным. В поисках этой вещи мы сможем понять, что станет определять наши менее значимые решения. Все остальное будет обладать определенной ценностью только в отношении нашего продвижения к наивысшему благу. То есть вопрос стоит так: чего мы хотим добиться в жизни? Счастья? Власти? Чьего-либо одобрения? Чувства завершенности? Чувства верности самим себе? Ответив на этот вопрос, мы можем оценить вещи в понятиях того, помогут они достичь нашей цели или помешают этому. Это **телеологический** (выделено автором) подход, который состоит в движении к предельной цели. Долг проистекает из ценности; мы должны делать то, что поможет нам достичь цели.

Другие мыслители, однако, ставят долг на первое место и говорят, что ценность проистекает из него. Слово «долг» означает обязанность, которая основана на взаимоотношениях или которая происходит из жизненной позиции того или иного человека. Долг очень близок к понятию «ответственность», подразумевающему действие, вызванное чувством преданности чему-то внешнему относительно самого человека. Человек, поступающий исходя из чувства долга, поступает так не для того, чтобы достичь цели, но по причине

внутренней посвященности. Внимание здесь сосредоточено на мотиве, а не на цели. Удовлетворение происходит от исполнения долга; добродетельная жизнь – это жизнь ответной реакции на внутреннее побуждающее чувство. В этом смысле ценность происходит из долга. Такие теории называются **деонтологическими** (выделено автором), они основаны на движении от основного обязательства человека. Можно спорить о том, является христианская этика телеологической или деонтологической дисциплиной. В любом случае, однако, этика занимается выведением норм или стандартов.»[14]

Следует отметить, что сам Дж.Крук трактует христианскую этику более конкретно, ближе к собственно христианским источникам. Приведенная цитата, помимо того, что она, на наш взгляд, представляет самостоятельную значимость, имела целью продемонстрировать принципиальное сходство секулярного и христианского подходов. Впрочем, дискуссия по данной проблематике выходит за пределы целей нашей работы – *анализа и обсуждения двух видов прикладной этики – политической и административной.*

5. Этика и политика

Итак, *политическая этика* – один из видов прикладной этики. В монографии наших ведущих специалистов по проблемам прикладной этики она определяется как «совокупность ценностей и норм, разрешений и запретов, ориентирующих и вместе с тем регулирующих действия как профессиональных политиков, так и всех тех, кто по своей воле (или против нее) вовлечен в политическую жизнь»[15]. Используем это определение как базовое. Очевидно, его можно расширить за счет конкретизации и детализации. Некоторые идут по такому пути (Мне, например, помнится одно из многочисленных определений права, занимавшее полторы страницы журнального текста.) Однако такой метод не кажется мне продуктивным. Краткость определения, интегрирование основных признаков определяемого объекта с использованием минимума слов - одно из главных его достоинств. Детали же можно и следует обсуждать отдельно. Собственно, к этому мы и приступаем.

Дополнение взгляда на политику этическим аспектом представляется критически важным. Здесь мы солидарны с А.А.Гусейновым, считающим, что «современные трактовки политики, господствующие в общественном сознании и прописанные в учебниках политологии, которые вертятся вокруг понятий власти, борьбы интересов, насилия, хотя и имеют, разумеется, отношение к политике, но не охватывают ее сути в аристотелевском понимании. Они блокируют выход к ее нравственным основаниям, говоря точнее - с самого

[14] Крук Р. Основы христианской этики. М.2004. С.18.
[15] Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. Этика политического успеха. Тюмень. 1997. С. 203.

начала помещают ее в донравственное, вненравственное, безнравственное пространство. Эти этически урезанные концепции политики нельзя путать с тем, что понимает под политикой Аристотель: «Это открытое, освещенное пространство, арена, на которую выступают индивиды, предъявляя себя друг другу… исследование человеческого общения в наиболее совершенной его форме, дающей людям полную возможность жить согласно их стремлениям».[16] Представляется достаточно очевидным, что популярные сентенции о якобы несовместимости политики и морали принципиально расходятся с фундаментальным назначением и смыслом политики как таковой, а их популярность имеет, полагаю, не бескорыстную мотивацию. На мой взгляд, именно наличие или отсутствие в политике нравственной компоненты маркирует границу между политикой в подлинном смысле и политиканством, политическим интриганством. Ведь если принять тезис, что политика и мораль несовместимы, то возникает вопрос – а чем она тогда, собственно, отличается от преступного «беспредела»? Ведь даже у воров «в законе» есть своя «этика»; само собой разумеется, что последняя – извращенная система взглядов и ценностей с точки зрения нормального человека, и об «этике» такого рода можно говорить лишь в кавычках; но тем не менее даже она существует как некая система моральных правил и ограничителей.

В политической этике (как, впрочем, и в любой другой из разновидностей прикладной этики) действуют два вида регулятивных механизмов: *внешние* – т.е. групповые нормы, задаваемые средой, а также обычаем, и *внутренние* – т.е. нравственные механизмы, действующие как бы «изнутри» человека, в более общем плане выступающие как свобода воли. Довольно часто возникающее несоответствие внешних и внутренних регуляторов служит источником серьезных, а порой и трагических моральных конфликтов.

Как по этой, так и по другим причинам «этизация» политики не является волшебной палочкой, способной превратить ее в нечто «белое и пушистое». Однако пренебрежение моральными факторами или, хуже того, их игнорирование гораздо опасней, ибо ведет к легитимации аморальности в политике. Мы уже говорили об идейной исчерпанности политического макиавеллизма. Однако это отнюдь не означает его исчезновения или даже видимого ослабления. Напротив, в некоторых странах, не исключая, увы, и нашу, можно наблюдать обратное – циничное торжество агрессивного и самоуверенного политического имморализма. За примерами аморальной политики, к сожалению, ходить далеко не надо. Но порочная практика отнюдь не свидетельствует о неадекватности нормативных идеалов.

Приведу достаточно грустный пример не из практики, а из области восприятия политического имморализма. Несколько лет назад была переведена и, судя по дополнительным тиражам и довольно роскошному оформлению издания, получила у нас большую популярность книга Р.Грина «48 законов

[16] Гусейнов А.А. Цит. Соч. С.110.

власти».[17] По сути, ее текст – это свод лишенных каких-либо нравственных ограничителей правил и технологий манипулирования людьми для достижения господства над ними в той или иной форме. Видимо, для дополнительной убедительности, а также для «приятности чтения» он расцвечен историческими примерами, анекдотами и цитатами из «великих». На первый взгляд она производит впечатление добротного учебника для циников, лицемеров и мошенников, в том числе, и далеко не в последнюю очередь, для «государевых людей». (Воздержусь от ее цитирования, дабы не создавать ей лишнюю рекламу.) Но, вчитавшись в книгу, понимаешь и другой, более глубокий смысл книги, что это – *не апология подлости, а ее разоблачение и предостережение для ее возможных жертв*. Однако у меня, увы, сложилось впечатление, что подавляющее большинство наших читателей книги восприняло ее всерьез, как руководство к практическому поведению, и извлекло из нее лишь методы манипулирования, особенно в сферах политики и администрирования.

Однако мне бы очень не хотелось, чтобы у читателя создалось впечатление о неком изначальном и потому непреодолимом имморализме в политической жизни России, якобы отличающем ее от других европейских стран. Во-первых, политическая аморальность, цинизм, причем даже в самых крайних формах, отнюдь не монополия России. История любой страны насыщена примерами кошмарных аморальных поступков политиков. Во-вторых, ценность моральной политики для нас тоже отнюдь не tabula rasa. Ограничусь одним примером. Н.М.Карамзин, описывая в своей «Истории государства Российского» известную деятельность Ивана Калиты по «собиранию Руси под рукой Москвы» и рассказывая в этой связи об одном из любимых приемов того – доносе татарам на князей других русских городов для «наведения» на них татарских войск и уничтожения таким образом чужими руками своих потенциальных конкурентов - единоверцев и соотечественников, в данном конкретном случае – поднявшегося против Орды князя Тверского Александра, т.е., по существу, прямого предшественника Дмитрия Донского, отнюдь не уходит от моральной оценки деяний этого «собирателя русских земель»: «… простим ли ему смерть Александра Тверского, хотя она и могла утвердить власть Великокняжескую? Правила нравственности и добродетели святее всех иных и служат основанием истинной Политики. Суд Истории, единственный для государей – кроме суда Небесного – не извиняет и самого счастливого злодейства: ибо от человека зависит только дело, а следствие от Бога.»[18] И это не единственная карамзинская оценка политики через призму морали. В томе, посвященном царствованию Ивана III, есть, например, такой пассаж: «Никогда выгода государственная не может оправдать злодеяния; нравственность существует не только для частных людей, но и для Государей: они должны

[17] Грин. Р. 48 законов власти. М. 2001.
[18] Карамзин Н.М. История государства Российского. Т.4. М.1992. С.142.

поступать так, чтобы правила их деяний могли быть общими законами.»[19] Последнее утверждение звучит почти как кантовский категорический императив, не правда ли? И характерно, что все это - слова отнюдь не либерала-западника (скажем, Белинского или Чичерина), а человека с твердой репутацией российского государственника! Если бы наши нынешние «государственники» хотя бы частично придерживались этого правила, мы, возможно, жили бы сегодня в другой стране!

6. Моральность в политике и демократия

Как известно, большую часть своей истории человечество прожило в условиях различных форм не демократического правления. Но последние века ситуация меняется. Если раньше правление, власть были уделом «избранников» (в разных смыслах этого слова) и окружавших их «элит», то в истории Нового времени очевидна тенденция к демократизации общественной жизни. Ее проявления многочисленны и общеизвестны: это и всеобщее избирательное право, и общественный контроль над властью, и ее децентрализация… Компьютеризация тоже вносит свой, специфический, но весьма важный вклад в этот процесс. Информационное общество – это по определению общество открытое, и распространившаяся в последние годы идеология «электронного правительства», тоже ведет к большей демократии, хотя и не столь прямым путем, как кажется некоторым его провозвестникам и пропагандистам.

Предмет нашего анализа и беспокойства – движение в сторону большей морализации политики – находится в том же ряду. Так называемые «простые люди» больше не согласны удовлетворяться ролями периодических, а зачастую – и фиктивных - участников политического процесса. Да и обществу в целом без развитой и подлинной, а не «управляемой», т.е. фальшивой демократии трудно будет справиться с теми серьезными вызовами, которые уже выдвинул и еще выдвинет XXI век. В этой связи добавим к общеизвестной фразе Черчилля о том, что «демократия – худшая форма правления, если не считать всех остальных», очень четкое по формулировке моральное обоснование необходимости демократии, данное Рейнхольдом Нибуром – наиболее влиятельным протестантским американским богословом XX века: «Человеческая способность к справедливости делает демократию возможной, но человеческая склонность к несправедливости делает демократию необходимой».[20] А чтобы вкратце напомнить основные условия демократии для современной России, используем их перечень, данный недавно депутатом нашей Думы В.Похмелкиным в его выступлении на одном международном семинаре. Он отнес к ним: 1.Преодоление психологии государственного патернализма в массовом сознании; 2.Разграничение власти и собственности;

[19] Там же. С. 147.

[20] Нибур Р. Дети света и дети тьмы. Цит по: Крук Р. Цит соч. С.50.

3.Реальное разделение властей и деконцентрация властных полномочий; 4.Качественно иная правоохранительная и судебная системы; 5.Прозрачность деятельности власти, особенно власти исполнительной.

Несколько слов о последнем из названных пунктов. Вообще *стремление к публичности политики – одна из главных причин, по которым возникла и существует демократия*. Лишь демократия может быть гарантией – и то не всегда достаточной – хотя бы относительно моральной политики, т.е. политики, руководствующейся критериями добра и зла, честности и бесчестия, совести, справедливости, долга и др. моральными категориями. Правда, история знает некоторые примеры попыток проведения моральной политики автократическими методами (Кай Юлий Цезарь, Людвиг Баварский, Александр I, список можно продолжить) как правило, исходившие от благонамеренных, т.е. желавших народу добра, монархов. Таким образом, все оказывалось в зависимости от личных качеств автократа. Однако чаще всего такие попытки в итоге оказывались мало успешными, а порой – и заканчивались трагически. Ведь, как известно, «власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно». Поэтому над любым, даже самым прекраснодушным правителем необходим эффективный общественный контроль. К тому же при автократической форме правления отсутствуют какие-либо гарантии, что власть от «хорошего» автократа перейдет к тоже «хорошему» наследнику.

7. Роль окружения автократического правителя

Чтобы, как говорится, «не ходить далеко», обратимся к примеру, пожалуй, лучшего автократа в российской истории – императора Александра II. Он самым искренним образом хотел внести решительные улучшения в социальный статус своих подданных, в сущности, посвятил этому всю свою жизнь и сделал в этом направлении значительно больше всех остальных российских царей. Не будем сейчас говорить о его трагическом конце, о бессмысленной одержимости цареубийц, о политических аспектах его деятельности. Для нашей темы важно другое – *в окружении любого автократа, даже с самыми прекрасными намерениями, все равно получают преобладание временщики, посредственности и карьеристы*, для которых близость к власти, прежде всего - средство решения личных или групповых проблем. Почему так происходит, отдельный вопрос. Но это – эмпирический факт, подтверждаемый как историей, так и современностью. Не стал исключением и Александр. Для подтверждения этого приведу несколько цитат из воспоминаний людей, находившихся в его близком окружении в течение его царствования и принадлежавших к явному меньшинству подлинно государственных деятелей, а не дельцов.

Из дневника П.А.Валуева, министра внутренних дел в период реформ, затем - члена Государственного совета, а в конце царствования Александра –

председателя Комитета министров, человека с широким кругозором и подлинно реформаторскими ориентациями. «В обиходе административных дел государь самодержавен только по имени… но при усложнившемся механизме управления важнейшие государственные вопросы ускользают и должны по необходимости ускользать от непосредственного направления государя.… Наше правление – министерская олигархия.»[21] «У нас вся энергия правительства, к сожалению, расходуется на меры строгости или на разрушение прошлого. Создавать органическое мы не горазды.» [22] «Система грубой силы и всякого рода принудительных мер проповедуется с успехом у трона.» [23] «Припоминая то, что я сегодня видел и слышал, во мне остается впечатление чего-то цинического, совершенно недостойного государственной деятельности. Государь созвал мужей Совета. Он был прав. Он предложил им вопрос на обсуждение. Но что сказали они и как обсуживали они этот вопрос? Не как советники, но как приказчики. Не перед государем и для государя, а перед барином и для барина. К коим струнам человечески-монаршего сердца обращались они? Как всегда, к слабейшим и низшим, а не к благородным и возвышенным. Что проповедовали они? Ограничения, прощения, взыскания, безмолвие и боязнь. Ни в одном слове не выразилось сознание, что они, мужи Совета, чинодержатели и звездоносцы, граждане государства, что они имеют первенство над другими, но и долг предстательства за других… Для них русский мир – фольга, русский люд – декорация, вся Россия только подножие для их призрачного величия.»[24] «Власть рассматривается не как средство, но как цель или право, или имущество.»[25] «Страшно то, что наше правительство не опирается ни на одном нравственном начале и не действует ни одною нравственною силою. Уважение к свободе совести, к личной свободе, к праву собственности нам совершенно чуждо. Мы только проповедуем нравственные темы, которые считаем для себя полезными, но нисколько не стесняемся отступать от них на деле, коль скоро признаем это сколько-нибудь выгодным. Мы забираем храмы, конфискуем, ссылаем десятки тысяч людей, позволяем бранить изменою проявление человеческого чувства, душим, вместо того, чтобы управлять, и, рядом с этим, создаем магистратуру, гласный суд и свободу или полусвободу печати. Мы – смесь Тохтамышей с герцогами Альба, Иеремией Бентамом. Мы должны внушать чувство отвращения к нам всей Европе. И мы толкуем о величии России и о православии!»[26] «Неужели в России все добропорядочные люди вымерли? Неужели остаются только

[21] Александр II. Воспоминания.Дневники. СПб. 1995. С.147.
[22] Там же. С.191.
[23] Там же. С.193.
[24] Там же. С.199.
[25] Там же. С. 207.
[26] Там же. С. 211.

близорукие и короткоумные невежды, которые воображают, что они могут по своему произволению создавать или пересоздавать стихии государства?»[27]

А вот наблюдения С.Ю.Витте, тогда еще (в 1878г.) – начинающего молодого чиновника со свежим взглядом: «Что за скопище подобострастных глупцов представляет Зимний дворец!»[28] «Общественный, умственный, художественный уровень псевдостоличной петербургской жизни, под влиянием разных сил и, прежде всего, зимнедворцовской посредственности, постоянно понижается.»[29] В сущности, то же подтверждает и военный министр Д.И.Милютин: «Такая колоссальная работа /реформа государственного устройства – А.О./ не по плечам теперешним нашим государственным деятелям, которые не в состоянии подняться выше точки зрения полицмейстера или даже городового.»[30]

И это говорится об окружении лучшего российского царя за всю историю, благодаря реформам которого страна имела наилучший в своей истории шанс перейти на персоноцентристский путь развития! Что же тогда говорить об окружении других наших венценосцев и более поздних лидеров. Б.Н.Чичерин, например, описав кадровую политику Александра III, сформулировал четкий вывод: правительство ясно показало, что оно не нуждается в порядочных людях. Витте и в меньшей степени П.А.Столыпин составляли два тех самых исключения, которые подтвердили правило обстоятельствами крушения своих политических судеб. На личных качествах ленинских наркомов и сталинских партийных «соколов» я в целях экономии места не буду здесь останавливаться, тем более что специально посвятил этому немало страниц в одной из своих книг [31].

8. Личные качества и мотивации политиков

Понятно, что далеко не каждый человек по своим личностным характеристикам пригоден для занятий политикой. *Политика – это призвание*. А призвание – в значительной мере свойство именно морального сознания. С моральной точки зрения главное качество, которое должно определять «профпригодность» политика – *чувство и сознание социальной ответственности за свои действия и слова*. Все остальное – производное. Поэтому в часто произносимой якобы аксиоме, согласно которой «цель любого политика и политической партии – стремление к власти», пропадает либо сознательно опускается главное: для чего эта власть нужна тому или иному персонажу, хотя именно здесь проходит водораздел между подлинными политиками и паразитирующими на политике дельцами. Вот как рассуждал на

[27] Там же. С.215.
[28] Там же. С.302
[29] Там же. С.307.
[30] Там же. С. 323.
[31] Оболонский А.В. Человек и власть: перекрестки российской истории. М.2002.

эту тему М.Вебер в работе под знаменательным названием «Политика как призвание и профессия: «Кто занимается политикой, тот стремится к власти: либо к власти как средству, подчиненному другим целям (идеальным или эгоистическим), либо к власти «ради нее самой», чтобы наслаждаться чувством престижа, которое она дает.» [32]И в другом месте он разворачивает ту же мысль в несколько ином аспекте: ««Инстинкт власти», как это обычно называют, действительно относится к нормальным качествам политика. Грех против святого духа его призвания начинается там, где стремление к власти становится неделовым, предметом сугубо личного самоопьянения, вместо того, чтобы служить исключительно «делу». Ибо в конечном счете в сфере политики есть лишь два рода смертных грехов: уход от существа дела и – что часто, но не всегда то же самое – безответственность. Тщеславие, то есть потребность по возможности часто самому появляться на переднем плане, сильнее всего вводит политика в искушение совершить один из этих грехов или оба сразу. Чем больше вынужден демагог считаться с «эффектом», тем больше для него именно поэтому опасность стать фигляром или не принимать всерьез ответственности за последствия своих действий и интересоваться лишь произведенным «впечатлением». Его неделовитость навязывает ему стремление к блестящей видимости власти, а его безответственность ведет к наслаждению властью как таковой, вне содержательной цели. Ибо хотя или, точнее, именно *потому, что* власть есть необходимое средство, а стремление к власти есть потому одна из движущих сил всякой политики, нет более пагубного искажения политической силы, чем бахвальство выскочки властью и тщеславное самолюбование чувством власти, всякое поклонение власти только как таковой.»[33] К сожалению, все это звучит очень актуально применительно к нашим современным политикам, поскольку для подавляющего большинства из них идеи общественного служения, призвания и политической ответственности, в лучшем случае - лишь элементы политической демагогии, а власть, если смотреть на нее с позиций моральной парадигмы, становится для них гедонистической самоцелью.

Конечно, политик совсем не должен быть альтруистом. *Здоровое честолюбие – нормальное качество для политика*. Но беда, если оно не слито органически с *гражданственными ориентациями, с* намерением влиять на общественные процессы в справедливом с его точки зрения направлении, а становится главным, если не единственным подлинным движущим мотивом его деятельности. На практике это приводит к политической беспринципности, к конъюнктурной смене флагов, лозунгов, политических партий. Печальный пример из нашей современной политической жизни – это то, как масса политиков, вроде бы ранее исповедовавших разную идеологию, из очевидно

[32] Вебер М. Избранные произведения. М. 1990. С.740.
[33] Там же. С. 691-692.

карьеристских соображений переметнулись под знамена единой квазипартии - современной версии бюрократической компартии советского образца.

Отсюда совсем не вытекает, что политик должен быть бескорыстным аскетом. Напротив, это даже может быть опасным, поскольку сдвигает мотивации в сторону фанатизма со всеми его последствиями. Но здесь, думается можно распространить на политика тонкое психологическое замечание С.Хантингтона: «Для профессионала ведущими мотивациями являются преданность своему мастерству /в широком смысле слова – А.О./ и стремление служить обществу. Зарплата не может быть первичной целью профессионала, разумеется, если он – настоящий профессионал.»[34] Так что этические нормы должны действовать вне зависимости от уровня окладов и прочих доходов. Как говорил тот же Вебер, материальное обеспечение политика есть «честный хлеб профессионала». Разумеется, этот «честный хлеб» подразумевает достаточно высокую оплату его квалифицированной и нелегкой работы, но не более того.

Есть еще одно, более практическое, обстоятельство, делающее необходимым специальное внимание к проблемам политической и административной этики. В современном обществе, в отличие от общества традиционного, возросла роль морали рациональной, предполагающей и свободу выбора, и этику индивидуальной социальной ответственности, при которой риск и бремя выбора не делегируются каким-либо формам коллективности и тем более – патерналистскому государству. Фразы типа «за вас думает фюрер» и «я освобождаю вас от химеры под названием совесть», а также их современные (увы, порой слишком «современные») вариации находятся в вопиющем противоречии с реалиями жизни и, тем более, с потребностями развития. К тому же, поскольку общество становится все более разнообразным, то соответственно возрастает и роль групповых норм, «происходит движение от универсальных норм к партикулярным, но, вместе с тем, осуществляется и процесс сегментации самого социума, когда внутри него возникают столь необходимые данным сегментам нормативно-ценностные подсистемы».

В завершение этой подтемы приведем связанные с последними суждениями так называемые «парадоксы Томпсона». Этот американский ученый, рассуждая о существовании определенных различий между правительственной и частной этикой, сформулировал три парадокса.[35] Первый: хотя этика порой кажется менее важной, чем все остальные вопросы, но, поскольку она косвенно влияет на все принимаемые решения, в конечном счете она оказывается самой важной. Второй: моральные добродетели частной жизни (например, такие как застенчивость, нежелание привлекать внимание к

[34] Цит по: Отечественные записки. 2002. 8. С. 51-52.
[35] Thompson. D. Paradoxes of Government Ethics// Public Administration Review. Washington/ 1992. Vol. 52. P. 52-60.

собственной персоне) не всегда являются добродетелями в жизни политической. Третий: негативное, с точки зрения общественной морали, впечатление от тех или иных поступков политика, даже если оно на самом деле ошибочно, тем не менее играет отрицательную роль, ибо подрывает доверие к правительству и, в более широком смысле, к демократии в целом. Поэтому политик обязан быть особенно щепетилен в своем публичном поведении. Иначе говоря, **соответствие поведения публичных политиков неким достаточно высоким стандартам – цена веры общества в демократию**. И пренебрежение этим правилом в нашем обществе стало одной из главных причин произошедшей за последнее десятилетие дискредитации демократических институтов в общественном сознании. Последствия этого мы, увы, наблюдаем.

8. Моральные самоограничения политиков и контроль над ними

Важный аспект политической этики – моральные самоограничения политиков, требования к которым должны быть более высокими, чем по отношению к остальным гражданам и уж ни в коем случае не заниженными. Политик имеет больше возможностей, нежели рядовой гражданин, и именно поэтому на него налагается больше ограничений и самоограничений. *Не все практически возможное и достижимое для политика должно быть для него морально приемлемым*. Не будем здесь рассуждать о материальных привилегиях, возможностях использования своего служебного положения для получения личной выгоды или благ, и, тем более, о рутинной житейской аморальности и т.п. Думается, с явными злоупотреблениями все и так более или менее понятно. О вопросах контроля над такого рода поступками политиков и формах наказания мы будем говорить ниже.

Здесь же хотелось бы обратить внимание на те самоограничения, которые политик налагает (часто, увы, не налагает) на выбор тех или иных действий, той или иной линии поведения в рамках своих полномочий. Иными словами, *не всегда то, что дозволяет политику закон, допустимо с моральной точки зрения,* тем более что закон зачастую предоставляет высшим должностным лицам государства очень широкие полномочия и возможность широкого выбора. Например, М.С.Горбачев, с формально юридической точки зрения мог бы гораздо шире использовать военную и полицейскую машины СССР для сопротивления распаду восточного блока и самого Советского Союза, при этом оставаясь в рамках и советских законов, и, тем более, советских политических традиций. Перспективность таких действий – вопрос отдельный и выходящий за рамки обсуждаемой дилеммы. Важно, что он *не счел для себя морально допустимым* пойти по этому пути, неизбежно повлекшему бы значительное кровопролитие, репрессии и прочие античеловечные акции из бывшего у него в распоряжении арсенала. Я считаю, что здесь, наряду с возможными

политическими расчетами, сыграл свою роль фактор морального самоограничения, благодаря чему было сохранено немало человеческих жизней и спасен престиж лично Горбачева, а заодно – и государства. И я благодарен ему за этот нравственный акт. Другой пример – Б.Н.Ельцин, которого, как говорится, «только ленивый» не оскорблял и не поливал грязью и в СМИ, и на митингах, и в Думе и т.д. Разумеется, ему это не могло нравиться. Однако он терпел все это, в том числе – и явную клевету в свой адрес, поскольку считал, что нельзя наступать на свободу слова в стране, только-только ее обретшей, хотя издержки внезапно выпущенной из цензурной клетки и ошалевшей от чувств вседозволенности и безнаказанности журналистики были достаточно велики. Чтобы почувствовать разницу, сравните это хотя бы с действиями его преемника и нынешней ситуации. И совсем свежий пример из постсоветского пространства: киргизский президент Аскар Акаев, как бы к нему ни относиться, тем не менее отдал приказ не применять против восставших военную силу и таким образом, предопределил свое падение. Можно ли представить подобные самоограничения у соседних с Киргизстаном лидеров?

Другая сторона той же проблемы - *необходимость существования многообразных форм контроля над политиками,* в первую очередь – контроля общественного, делающего их поступки и даже мотивы поступков известными для граждан, а саму власть – прозрачной. Ведь, как известно, власть по своей природе склонна к секретности, к набрасыванию на себя флера таинственности. А завеса тайны – благоприятнейшая среда и для ошибочных решений, и для прямых злоупотреблений. И именно поэтому в демократическом обществе власть в той или иной мере находится под прицелом общественных «прожекторов». Не случайно, например, в Англии очень важным является определение *политики как «публичной сферы»*, а в США после Уотергейтского скандала был принят целый ряд законов о прозрачности правительства, получивших общее наименование Sun Shine Laws (Законодательства солнечного света). На сегодняшний день законы об открытости информации, о доступе к ней граждан приняты под разными названиями в 52 государствах мира. Россия, увы, пока не входит в их число. Мы разовьем эту тему в страноведческих разделах работы.

9. Этика и право («морализация» права)

В завершение обратимся к важной проблеме соотношения морали и права, моральных и правовых механизмов, тем более что на этот счет существуют достаточно различающиеся точки зрения. Вообще вопрос о соотношении и взаимосвязи этих двух видов социальной регуляции человеческого поведения принадлежит к числу «вечнозеленых» и обсуждается достаточно давно и энергично, прежде всего – в юридической науке. А поскольку мы уже касались взглядов на эту проблематику с других, как секулярных, так и христианских

позиций, то здесь сосредоточимся на освещении позиций юристов и их оценке с нашей точки зрения.

Еще в начале 70-ых годов Я.З.Хайкин предложил достаточно четкий и даже прогрессивный по тем временам взгляд на проблему. Согласно его определениям, «мораль это - форма общественного сознания, отражающая противоречие внутри социальной общности между личными (элементными) и структурными ее интересами, разрешение которого для поддержания целостности общности как единой системы требует исторически определенного способа корреляции этих интересов.» [36] Далее он отметил, что это осуществляется посредством двух видов норм – моральных и правовых, которые в совокупности и представляют собой социальные нормы. Право же, это «исторически определенная коррелятивная форма, обеспечивающая целостность общественной системы, посредством принудительного подчинения всех личных и групповых интересов особому интересу государственной власти».[37] Разумеется, подобная конструкция несет отчетливые «родимые пятна» социалистической школы обществоведения в его советском варианте, что проявилось, прежде всего, в бескомпромиссном подчинении всего личного и даже группового государству. Но, учитывая рамки этих ограничений, она выглядит, по крайней мере, достаточно вразумительно и логично.

В дальнейшем, особенно на излете советских времен и непосредственно после них, дискуссия на эту тему значительно оживилась и обострилась, что несомненно пошло на пользу науке. В результате выкристаллизовались два подхода – позитивистско-нормативистский и либертарный. В рамках первого – так называемого «чистого учения о праве» (формулировка австрийского классика нормативистской юриспруденции Г.Кельзена) - оно отождествляется с действующим законодательством. Либертарная доктрина придерживается более широких позиций: для нее *не все, что закон, то право*, и, напротив, некие идеальные идеи не перестают быть правовыми лишь оттого, что они почему-либо не закреплены в законодательстве той или иной страны. Таким образом, в понимание права вводятся критерии его существа. В качестве таких критериев либертаристы называют формальное равенство субъектов и меру их свободы. Последнее обстоятельство очень важно. Вот как об этом писал ведущий теоретик в данной области В.С.Нерсесянц: «Наблюдаемый в истории прогрессирующий процесс освобождения людей от различных форм личной зависимости, угнетения и подавления – это одновременно и правовой прогресс, прогресс в правовых (и государственно-правовых) формах выражения, существования и защиты этой развивающейся свободы. В этом смысле можно сказать, что всемирная история представляет собой прогрессирующее движение ко все большей свободе все большего числа людей. С правовой же точки зрения этот процесс означает, что все большее число людей (представители все новых

[36] Хайкин Я.З. Структура и взаимодействие моральной и правовой систем. М. 1972. С.31.
[37] Указ. Соч. С. 110.

слоев и классов общества) признаются формально равными субъектами права»[38].

Есть, однако, определенный парадокс в том, что этот весьма прогрессивный и гуманистический по своей интенции подход в крайних формах ведет к неоправданному правовому максимализму и даже экспансионизму, при котором все другие виды норм объявляются более низкими, нежели нормы правовые. И если у Нерсесянца эта мысль выражена в умеренной форме, когда он пишет: «Мораль, религия, эстетика, и т.д, в их взаимодействии с принципом равенства (в том или ином его проявлении и значении) по существу имеют дело с правовым началом и принципом»[39] - т.е. по сути, все прочие виды норм как бы субординируются, «подчиняются» нормам правовым (что, впрочем, может быть предметом дискуссии на конкретно-историческом материале), то некоторые его последователи идут значительно дальше, вообще отрицая внеправовой смысл морали и выходя тем самым, с нашей точки зрения, за границы и логики, и общепринятой в науке диверсификации различных нормативных регуляторов, да и вообще здравого смысла. Вот как, например, обходится с одним из ключевых моральных понятий – справедливости – один из наших либертарных теоретиков государства и права: «Справедливость интерпретируется как моральный принцип, но в действительности это *юридическая* категория, выражающая сущность права… Моральная интерпретация права вносит путаницу в общественное правосознание и в теорию права, не способствует формированию юридического правопонимания.»[40] Однако представляется очевидным, что категории и справедливости, и свободы, и равенства в своей основе являются социально-философскими, т.е. *метаправовыми*. Право, при всем к нему уважении и его возможностях – лишь одна, пусть наиболее формализованная, но далеко не всегда самая действенная и распространенная форма их инкорпорирования в реальную жизнь. Моральные нормы имеют для этого свои механизмы – как внешние, так и внутренние – о чем выше уже говорилось. Что же касается «путаницы», которую это якобы вносит в теорию права, то было бы логичней отнести это к несовершенству самой теории. Да и вообще, думается, что «стройность» теории, достигаемая за счет снижения ее адекватности – сомнительная ценность даже в рамках чистой науки, не говоря уж о ее более широком предназначении – способности отражать и объяснять реальность. Поэтому представляется, что либертарная конструкция правопонимания, по крайней мере – в ее крайних формах, есть некая идеальная модель, недостаточно привязанная к социально-исторической реальности и общественной психологии. Стремление же поглотить понятие справедливости (к которому, кстати говоря, мораль отнюдь не сводится) ее важным, но лишь

[38] Нерсесянц В.С. Право – математика свободы. М. 1996. С.6.
[39] Там же. С.81.
[40] Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства. М.2003. С.38-39.

частичным юридическим аспектом выглядит очевидно неисторичным и потому неоправданным. Ситуацию, при которой мораль и право каким-то образом «сольются», в лучшем случае можно представить лишь умозрительно, в рамках какого-либо весьма оптимистичного образа «идеального будущего», не более того.

Да и далеко не все адепты правового либертаризма стоят на крайних позициях. Например, Н.В.Варламова вполне признает ограниченность сферы действия правовых механизмов: «Право и не претендует на упорядочение всех сфер и сторон жизнедеятельности человека»[41], , или: «либертарная концепция отнюдь не отрицает существования принудительных порядков, основанных на ином (моральном, религиозном и т.п.) принципе; она просто не признает их правовыми, должными с точки зрения права»[42] Но и она почему-то связывает преобладание внеправовых механизмов регуляции лишь с неразвитыми, системоцентристскими цивилизациями, а прогресс интерпретирует как экспансию правового начала: «Правовая регуляция… оказалась наиболее эффективной и сегодня она проникает во все культуры, укрепляется и постепенно вытесняет (по крайней мере, из сферы хозяйствования) иные социальные нормы.»[43]

Однако последнее утверждение не соответствует современным тенденциям динамики соотношения правовых и моральных регуляторов, как уже показывалось читателю выше, а в дальнейшем будет продемонстрировано и более подробно, на примере нескольких стран, которые при всем желании нельзя отнести к числу неразвитых или принадлежащих к системоцентрискому типу цивилизации – США, Англии, Канады. Происходит отнюдь не «вытеснение» правом других видов норм, а скорей их сближение и даже соединение, а порой – и смешение в единых документах.

Вообще в англосаксонской системе и традиции граница между правом и этикой выглядит гораздо более размытой, нежели в континентальной правовой системе. Возможно, корни этого восходят к еще к идее так называемых covenants, т.е. договоров об условиях и принципах совместной жизни, заключавшихся американскими первопоселенцами внутри каждой из общин, но при этом перед лицом и даже как бы с участием Бога. Возможно, отчасти с этим связана и тенденция утверждения этических кодексов (кодексов поведения) как нормативных документов, имеющих юридическую силу и, соответственно, подкрепленных юридическими санкциями за их нарушение.

Конечно, у педантичных юристов всегда возникает не лишенное, признаться, некоторых оснований подозрение, что здесь размывается грань между юридическим и моральным регулированием поведения людей. На наш взгляд, удачный ответ на эти сомнения дает видный американский юрист

[41] Варламова Н.В. Правопонимание\\ Правовые культуры: история, эволюция, тенденции развития. М. 2003. С.97.
[42] Там же. С.95.
[43] Там же. С.96.

Х.Берман. Он пишет: «Кодекс поведения уникален тем, что в нем сочетаются нормы права и этики. Он этимологически (т.е., по своему происхождению, по своей сути) ближе к естественному праву, нежели к позитивному».[44] О внимании, уделяемом этому вопросу, свидетельствует и принятие Организацией Объединенных Наций в конце 1996 года Международного кодекса поведения чиновников.

А вот как, например, трактуется эта проблема авторитетным современным теологом: «Есть два основных источника водительства для человека…Первый – закон, который… распадается на три категории.1.*Естественный закон* передается через разум человека и доступен всякому, кто посвящает себя внимательному созерцанию и логическому размышлению… 2.*Божественный позитивный закон* записан в священном Писании и доступен для тех, кто посвящает себя этому откровению… 3.*Человеческий позитивный закон* создан людьми и включает и гражданский, и церковный закон… Вторым направляющим источником является совесть. Тогда как закон является общим, совесть индивидуальна. Совесть – это суждение, принимаемое человеком о нравственной доброте или порочности предпринимаемого действия… Совесть должна быть информирована законом, наставлением, опытом, разумом, поклонением и внутренним голосом Духа Святого.»[45] Возможно, у данного автора есть элементы некоторого преувеличения роли религиозных норм, что естественно. Но мне представляется, что его суждения и классификация в целом более сбалансированы и отличаются меньшей абсолютизацией своего предмета, чем экспансионизм некоторых правоведов. Отметим попутно, что закон, не имеющий опоры в моральном сознании лиц, обеспечивающих его исполнение, а также «прочих» граждан, может стать и нередко становится либо весьма опасным инструментом манипуляций, либо не применяемой на практике декларацией, «словами на бумаге». И в том, и в другом случаях он входит в противоречие как с намерениями законодателей, так и с пафосом и идеологией правового либертаризма.

Не вдаваясь в дальнейшие дискуссии по этим вопросам, отмечу лишь, что практика пошла по пути поиска прагматического компромисса, который, пожертвовав методологическим пуризмом, позволил если не соединить, то хотя бы максимально сблизить моральные и правовые нормы в политической, государственной и деловой жизни. И поэтому отнюдь не случайна растущая популярность моральных кодексов в самых разных сферах деятельности, в том числе – в политике, бизнесе и на государственной службе.

Моральные кодексы обладают несколькими преимуществами по сравнению с кодексами юридическими. В чем же состоят эти преимущества? Во-первых, юридический кодекс по своей природе требует четких формулировок (составов) запрещенных действий, а также правил должного

[44] Berman HY. Law and Logos// Law Review. 1994. Fall. Vol.44. No.1.
[45] Крук Р. Цит. Соч. С.45.

поведения; специфика же названных сфер деятельности такова, что создать сколько-нибудь полный перечень запретов и предписаний невозможно. В основе же кодекса этического лежат, в первую очередь, не юридические нормы, а *принципы*, которые гораздо проще идентифицировать и соотнести с реальной практикой деятельности того или иного должностного лица. Во-вторых, специфика многих вроде бы даже очевидных своей политической некорректностью и административных проступков такова, что доказать наличие вины крайне сложно; а без этого применять правовую санкцию нельзя. В-третьих, ряд действий по самой своей природе не может регулироваться правом, а попадает под нормы групповой морали или индивидуальной нравственности, действие которых не менее эффективно, т.к. именно они - базовые детерминанты социального поведения человека. Правом же регулируется лишь небольшая часть поступков людей. Кроме того, важно, что этические кодексы и стандарты апеллируют к лучшей стороне человеческой природы, а юридические с их акцентом на санкции, на страх наказания - к худшей.

Мы в России традиционно предпочитаем максимально расширять сферу юридического регулирования, хотя недейственность многих наших законов давно стала притчей во языцех. Это, разумеется, имеет свои причины. Ведь одной из движущих сил большевизма, особенно в первый период после захвата им власти в стране, был дух воинствующего морального релятивизма, отсутствия каких-либо нравственных табу. Вспомним для примера хотя бы ленинские слова, что объединяться допустимо хоть с дьяволом, если этого дьявола можно будет обмануть. Позднее сформировался институт двухслойной идеологии, означавший сосуществование в морали двух принципиально не совпадающих слоев, один из которых – внешний – носил декларативный, а во многом - и откровенно маскировочный характер, а другой – внутренний – предназначался для узкого круга «своих», «посвященных» и отражал мораль подлинную. Например, если на уровне внешнем, риторическом провозглашалось всеобщее равенство, «единство партии и народа», то на уровне реальном все более разрасталась система номенклатурных привилегий, укоренялись семейственность, протекционизм, культивировалась кастовая психология. Демагогия относительно «самой совершенной социалистической демократии» вполне согласовывалась с практикой жестокого подавления любых ростков оппозиционности да и просто независимого мышления. Призывы типа «экономика должна быть экономной» сочетались с невиданным расточительством, к эффективности – с гигантскими масштабами псевдодеятельности бюрократической машины и т.д. и т.д. Одним из последних шагов, закрепивших иронически-скептическое отношение к провозглашаемой сверху морали, стал так называемый «Моральный кодекс строителя коммунизма» - насквозь лицемерный документ, который, хотя и содержал некоторые неплохие нравственные декларации, но никем всерьез не

воспринимался. Другая причина - обычное для переходных периодов состояние моральной аномии, ценностного «вакуума», в котором последние десятилетия пребывает значительная, обычно наиболее влиятельная с точки зрения формирования ценностей, часть нашего общества.

К тому же существует и весьма важный морально-психологический аспект проблемы: если этика апеллирует к лучшей стороне человеческой природы (для краткости назовем ее сейчас совестью), а также к нормам групповой (в данном случае политической и административной) морали, то правовые акты с их неизбежным акцентом на карательные меры апеллируют, прежде всего, к страху наказания. Иными словами, первые как бы возвышают человека, вторые – его «принижают». Это различие немаловажно, в том числе – и с точки зрения воспитания сознающих свою социальную ответственность и честных политиков и администраторов.

Но все же идея моральных кодексов (кодексов поведения) постепенно пробивает себе дорогу и у нас. Думой предыдущего созыва был в первом чтении принят этический кодекс парламентария, правда, весьма несовершенный и как бы обходящий стороной большинство действительно важных коллизионных моментов, как, например, конфликт интересов. Федеральная программа «Реформирование государственной службы (2003-2005 годы)» предусматривала «внедрение механизмов выявления и разрешения конфликта интересов на государственной службе, а также законодательного регулирования профессиональной этики государственных служащих»[46]. Практически тогда же, в августе 2002г., Президент издал указ «Общие принципы служебного поведения государственных служащих»[47]. Правда, в практическом плане здесь мало что сделано, и работа в этом направлении, к сожалению, похоже, застопорилась, хотя на уровне региональном есть примеры более активного продвижения в плане регулирования профессиональной этики политиков и чиновников, по крайней мере – на бумаге. В некоторых областях разработаны, а кое-где даже приняты этические кодексы поведения для членов законодательных собраний и местных чиновников. Словом, так или иначе, но «лед тронулся».

В этой связи представляют интерес рассуждения одного из наших ведущих современных специалистов в области прикладной этики В.И.Бакштановского о позитивных и негативных сторонах профессиональных кодексов. Правда, он рассматривает проблему более широко, то есть применительно к любым профессиональным сообществам. Но его суждения, на наш взгляд, вполне применимы и к рассматриваемой нами категории кодексов. Он пишет, в частности: «Кодексы (имеются в виду моральные кодексы – А.О.) позволяют сообществу глубже и разносторонне осознать свою профессию, ее значение, этос, миссию, связанную с ней меру ответственности как перед столь трудно

[46] Российская газета. 2002. 20 ноября.
[47] Указ 885 от 12 августа 2002г.

нарождающимся гражданским обществом в России в целом, так и перед отдельными группами и гражданами страны…Одним из условий такой трансформации как раз и является принятие этического кодекса как всего сообщества, так и отдельных его звеньев…Морализаторство вполне может создать видимость того, что разработчики профессиональных кодексов полностью учли природу моральной регуляции, тогда как на деле «учтены» лишь фантомы моральности…Самое важное заключается в том, чтобы нравственные основания, на которых только и может воздвигаться кодекс, побуждали бы не поддаваться лишь ограничивающим моральным ориентациям и находить баланс между повинностями обязательств, с одной стороны, и запретными правилами игры, с другой. А это предполагает творческий поиск в поле созидательных поступков, самонахождение и самовозложение долга, когда свобода, самораскрытие, спонтанность не противостоят социальным предназначениям и корпоративной дисциплине.»[48] Иными словами, речь идет о принятии на себя обязательства, по меньшей мере, лояльности публичному интересу и подчинения нормам права. Но при этом Бакштановский считает морализаторство в политике гораздо меньшей бедой, нежели отрицание морали. В другой своей работе он пишет: «Угроза морализаторства, на которую любят ссылаться «реалисты», очень часто служит удобным оправданием политической беспринципности, приспособленчества, одиозности вплоть до прямого аморализма.»[49] Отсюда, на наш взгляд, вытекает и неадекватность столь распространенной позиции добровольного отстранения от любого участия в политике как от якобы неизбежно «грязного», безнравственного дела, поскольку именно активность нравственных людей позволит противостоять монополизации политической «площадки» людьми безнравственными.

Словом, этические кодексы не вписываются в привычные рамки разделенной высокими междисциплинарными барьерами современной общественной науки. Поэтому здесь мы имеем дело со случаем, когда забота научных пуристов о чистоте своего предмета должна быть отставлена в сторону и уступить потребностям, настоятельно диктуемым общественной практикой. А потребность эта в данном случае состоит в том, чтобы придать моральным нормам дополнительную, правовую легитимность.

[48] Бакштановский В.А. и др. Цит соч. С. 656-657.

[49] Бакштановский В.И. как возможна политическая этика\\ Политическая этика: социокультурный контекст. Ведомости. Вып. 24. С.9.

МАССОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ[1]

Л.Д. Гудков
доктор философских наук, профессор,
директор Аналитического центра Юрия Левады (Левада-Центр)

Часть 1. Партикуляризм и вытеснения прошлого

Результаты последней волны исследований по программе «Советский человек», прошедшей в августе этого года [2003 г. - *ЛГ*], не содержали каких-либо неожиданностей. Можно говорить лишь о разворачивании, проявлении тех тенденций и закономерностей организации массового сознания (общественного мнения), которые были ранее установлены и описаны в исследованиях ВЦИОМ[2].

Усиление партикуляризма в структуре массовой идентичность. Хотя общая композиция этнонациональной идентичности россиян сохраняется в принципе той же самой, но соотношение элементов и разных планов несколько меняется под воздействием факторов деполитизации и ослабления идентификации с государственной властью, расширением серой зоны существования (негосударственной экономики, приватности и неподконтрольности власти).

Таблица 1

Что в первую очередь связывается у вас с мыслью о вашем народе?
(в % к числу опрошенных, ранжировано по 2003 году)

	1989	1994	1999	2003
Наше прошлое, наша история	26	37	**48**	**48***
Место, где я родился и вырос	38	41	35	43
Земля, территория, на которой мы живем	12	25	26	**32**
Родная природа	15	18	18	**23**
Государство, в котором я живу	27	18	19	22
Язык моего народа	22	19	17	19

[1] Впервые опубликовано: Вестник общественного мнения, 2003, №1 (67), с.28-44; №2 (68), с.35-51
[2] С 2003 г. - «Аналитический центр Юрия Левады»

Наши песни, обычаи, праздники	14	17	19	16
Душевные качества моего народа	14	16	19	15
Великие люди моего народа	8	10	14	**14**
Наша вера, религия	3	8	7	**9**
Наша военная мощь	2	5	7	**8**
Наше трудолюбие, умение хозяйствовать	5	6	10	7
Родные могилы, памятники	6	9	7	7
Знамя, герб, гимн	5	2	3	4

** жирным шрифтом здесь и ниже в таблицах выделяются значимые изменения*

Как видим, самые важные моменты этногосударственной идентификации у россиян остались теми же – история, территория, место рождения, природа, родной язык и государство. Ни один из них не содержит универсалистских определений в понимании значений “мы”: здесь нет отождествлений со всеобще признанными знаками или символами позитивных достижений, достоинства, самоуважения, обеспеченности, уверенности в будущем, благополучия (кроме “наше трудолюбие, умение хозяйствовать”, которое названо очень незначительным числом респондентов, практически не меняющимся на протяжении многих лет).

Доминируют в этнических самохарактеристиках, если не считать “прошлого”, либо локальная идентификация по месту рождения и социализации, либо – локальное, ограниченное и замкнутое, освоенное пространство существования, своя территория (“удел”, “доля”, “судьба” - архаическая основа трибалистской, племенной солидарности), то есть признаки, которые в социологии называются “аскриптивными”, достающимися индивиду с момента рождения, как пол или этническое и семейное происхождение. Несколько отличается от этого мощное чувство массового удовлетворения при мысли об обширности пространства, занимаемой страной. За этим последним привычно подразумеваются неведомые богатства, предмет “вожделения” других стран, что, соответственно, повышает в собственных глазах россиян ценность “нас” как коллективной целости. Громадность территории, представимая только в виде геополитических размерностей (взгляд на страну на карте мира), а никак не связана со структурой актуальных интересов индивидуального существования, выживания, достижения благополучия и т.п. – эти представления вне плана прагматических соображений и действий, они соотносятся лишь с воображаемым театром персон или сил высшей власти, представляющих свою страну в ряду других государств – в первую очередь враждебно настроенных к России, или дружеских, союзнических.

В сравнении с предшествующим замером 1999 года существенно, то есть больше величины статистически допустимых стандартных отклонений, увеличился удельный вес таких вариантов ответа, как “место рождения” (+8 пп.), “родная природа”, “наша земля” (+ 5-6 пп.) и незначительно уменьшился

вариант “душевные качества моего народа” (- 4 пп.). Если же брать весь период исследований (1989-2003 гг.), то картина усиления партикуляристских значений в самоидентификации приобретет выразительную яркость и контрастность.

На краях устойчивого основного массива мнений выделяются некоторые подвижки у численно небольших групп респондентов, характеризующиеся различием взглядов: уменьшилась показная идентификация с государством - с 27 до 22%; выросли на 6 пп. “великие люди моего народа” - с 8 до 14%; а также, в том же объеме - наши “вера, религия” и “военная мощь” (на 6 пп.).[3] Незначительность объемов групп, декларирующих свою приверженность подобным символическим комплексам, свидельствует о том, что речь в данном случае идет не об альтеративных вариантах и самохарактеристиках, а только о нюансировках общего набора важнейших представлений, дополнительных семантических красках, акцентируемых, как правило, более образованными и “продвинутыми” опрошенными, подчеркивающими необходимость своего, особого, отношения к банальностям общепринятых значений коллективного.

Тем самым в массовом сознании связываются самые дальние уровни представлений: непосредственно знакомый, локальный, и дальний, отвлеченный, школьно-идеологический или масскоммуникативный, что позволяет перенос на символический уровень отношений и представлений, предписываемых в полутрадиционных средах – семейно-родственных, соседских, аффективных, “гемайншафтных”, не подлежащих рационализации и рефлексии. Формы ценностной тавтологии, рождающей теплое чувство близости самому себе (“родная природа”, родина, детство), лишь закрепляют подобные связи разнородных значений. Подчеркнем: все названное представляет собой чисто партикуляристские символы коллективного множества или – в меньшей степени – указания на средства ритуальной организованности целого (праздники, песни, обычаи, могилы, памятники и т.п. знаки).[4] Здесь нет и намека на возможности новых ценностей или возникновение отношений (что-то вроде “нового человека”, “новой Европы” или хотя бы “Нового курса”, “фронтира” и т.п.).

Посмотрим, из чего состоят апелляции к истории или в чем заключается роль прошлого. Здесь точно также очень мало значимых изменений, если сопоставлять их с данными предыдущих замеров. Дефицит позитивных ценностей и достижений, свидетельств принципиальных изменений к лучшему[5], бо-

[3] Впрочем, разотождествление с государством не обязательно может означать «либерализацию» сознания и большую склонность к «демократии». Это может быть и усилением критической дистанции по отношению к *этому* государству, ностальгией по советскому порядку.

[4] Ситуация, отраженная в старом анекдоте еще брежневских времен: на вопрос иностранцу (японцу!), что ему больше всего понравилось в нашей стране, следовал ответ: все естественное, природное, органичное - просторы, реки, дети, короче, все, что не сделано вашими руками.

[5] Прежде всего имеется в виду отсутствие ощутимых перемен к лучшему в оценках материального положения дел в семье, поскольку именно изменения в этой области социальной жизни означали бы и для специалистов, и для обывателя реальную и коренную трансформацию функционирования основных социальных институтов. Рост частного благосостояния – это не увеличение подачки госбюджета на социальную сферу, а опосредованные выражение успешности реформ, их мера. Пока же эти показатели, при всех своих колебаниях, еще не

лее того – отсутствие каких-либо институциональных гарантий прогресса в сфере экономики оборачивается переносом позитивных значений коллективного целого («Россия») на фиктивное прошлое, идеализацией его по тем же самым схемам, что были разработаны и отчасти приняты массовым сознанием в советское время. Другими словами, как об этом уже не раз писалось в публикациях ВЦИОМ, прошлое наполнено и структурировано ключевыми моментами легенды великодержавной власти и ее культуры. И география, и история в массовом сознании наполнена образами государственной власти.

Таблица 2

Что в истории нашей страны вызывает у вас гордость? А что – стыд?

Раздел I.1 Гордость…	1999	2003
Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.	86	87
Ведущая роль в освоении космоса	60	59
Достижения российской науки	52	51
Великая русская литература	46	48
Моральные качества русского человека - простота, терпение, стойкость	45	44
Борьба с татаро-монгольским игом, защита Европы от нашествия с Востока	22	**35**
Великие русские путешественники	33	33
Слава русского оружия	35	33
Превращение страны после революции в одну из ведущих промышленных держав в мире	42	**32**
Подвижничество русских святых	10	**14**
Дух русской вольницы, свободолюбие	12	14
Авторитет русской интеллигенции	12	11
Передовой строй, советское бесклассовое общество	14	13
Перестройка, начало рыночных реформ	2	**8**
Ничего не вызывает	2	2

(в % к числу опрошенных, ранжировано по 2003 году)

Итак, основания для национальной гордости (табл.2) заданы победой в ВОВ и другими немногими атрибутами СССР как великой державы (прежде всего, конечно, космосом и «наукой» – гражданскими синонимами ВПК), великой литературой (состав которой, впрочем, в массовом понимании не выходит за рамки списка писателей XIX века, вошедшими в школьную программу)[6], а

восстановили уровень начала 90-х годов. Другими словами, события последних десяти лет не затрагивали реальный институциональный базис общества. Можно сказать, что так или иначе государство не намерено ничего менять в принципах социальной политики.

[6] Собственно именно на такое, максимально допустимое, ценностное снижение социальных и моральных представлений и ориентируются те, кто занят сегодня идеологическим и пропагандистским обеспечением массовой поддержки власти. Задача российских политтехнологов сводится к систематической тривиализации, определе-

также – эмблематическими достоинствами «национального характера» русских, сводящимися к комплексу позитивных оценок пассивности, подчинения, зависимости, покорности, ставшими суррогатом национальной «морали». Важное место занимает также и героика времен русской колонизации и расширения границ имперского государства – исторические рассказы о деяниях русских путешественников и первопроходцев (от Ермака или С.Дежнева до В.Беринга, Ф.Крузенштерна, П.Семенова-Тяньшанского или Н.Миклухо-Маклая) или еще более старый национальный миф о России как щите против монгольских орд и татарских набегов (родившийся в первой трети 19 века и кочующий по всем странам Восточной и Центральной Европы) и т.п.

Тем самым сочетаются два плана сознания: поданной в героическом ключе истории державной власти и расширения империи, государства, создающего и механически – принудительно – удерживающего все общественное целое (собственно это и ставится символом коллективной идентичности), с одной стороны, и совокупности партикуляристских средств и ценностей пассивного сопротивления репрессивной власти, выжимающей из населения «излишки» средств существования, вымогающей восторг и уважение.

Отметим также, снижение значимости идеологии собственно советской модернизации (почти на четверть – с 42 до 32 %), а также еще две не слишком заметные подвижки: неожиданный рост позитивных значений недавних событий – перестройки и гайдаровских реформ (впрочем, в очень маленьких группах – с 2 до 8%) и более понятное и ожидаемое усиление искусственного традиционализма, подчеркивание русской «духовности», соборности, роли русских святых (с 10 до 14%). Все они, несмотря на явное различие позиций опрашиваемых, указывают общую направленность – эрозию советских государственнических взглядов.

Перенос в прошлое позитивных значений национального, тех достижений, которые выступают в качестве символов величия державы (государственного народа), означают зияющую пустоту значений актуального и современного. Зоны позитивных самоопределений кончаются вместе с эпохой холодной войны (то есть представляют собой вытеснение множества негативных характеристик настоящего положения дел в стране, которые вышли на первый план в

нию того ценностного и смыслового минимума, которые только и допускают популизм и демагогия высшей власти, когда она утрачивает собственно политические цели. Ср. характерный пример нынешнего новояза при характеристике «русского народа»: «…в обычном понимание русского народа: Пушкин плюс Вооруженные силы». – РусUSкий журнал. Война и учеба. М., Русский институт, 2003, с.41. Если отвлечься от внешней эффектности этой хлесткой фразы, то суть сказанного сводится к подмалевке старой имперской идеологии нации. Учтем, однако, что это говорится в начале XXI-го, а не XIX века. Ср., например, то как К.Бергхан, характеризуя самодовольство немецкого бюргера, после франко-прусской войны, писал об этих временах: «Немецкий император на троне, немецкие классики в шкафу» - Berghahn K.L. Von Weimar nach Versaille: Zur Entstehung der Klassik-Legende im 19. Jahrhundert. – In: Die Klassik Legende. Frankfurt a.M., 1971. S. 72. Подробнее об этом : Б.В.Дубин, Н.А.Зоркая. Идея «классики» и ее социальные функции // Проблемы социологии литературы за рубежом. М., ИНИОН АН СССР, 1983, с.40-82.

конце 1980-х годов, когда мы только начинали свои исследования общественного мнения), а открываются периодом формирования идеологии национальной культуры, пусть даже в ее имперском варианте и версии. Напротив, сфера современного, нынешнего, содержит наиболее фрустрирующие моменты противоречивого национального самовосприятия (табл.3).

Таблица 3

А что вызывает у вас стыд в истории нашей страны?

Раздел I.2 Стыд…	1999	2003
Великий народ, а живем в бедности и вечной неустроенности	79	78
Грубость нравов, хамство, неуважение друг к другу	45	**52**
Разрушение СССР	48	**41**
Репрессии, террор, выселение народов в 20-50 годы	34	**39**
Наша косность, лень, инертность	24	**34**
Хроническое отставание от Запада	31	32
Дух рабство, наследие крепостничества, привычка к подневольному труду	17	**23**
Ограниченная, некомпетентная, корыстная власть	34	**20**
Гонения на православную церковь, преследование верующих других конфессий	21	18
Военные поражения России	16	16
Стремление навязать силой другим странам свой строй	15	**9**
Национальное высокомерие, шовинизм, антисемитизм, ксенофобия	7	5

(в % к числу опрошенных, ранжировано по 2003 году)

То, что вызывает у россиян чувство стыда и комплекс национальной неполноценности, то, что они могут лишь назвать, но не объяснить себе, что вызывает внутреннее стремление к самооправданию перед неопределенным, но значимым воображаемым «Чужим» (а именно такова конструкция «нечистой национальной совести», состав комплекса ущемленности и неполноценности) представляет собой оборотные стороны тех значений, которые служат основанием национальной гордости: торжество авторитарной государственной власти, внешне ничем не ограниченной в своих проявлениях, наводящей «порядок», внушающей страх и трепет у своих и чужих. Общественное мнение смутно ощущает взаимосвязь между административным произволом (плохо понимаемой политикой властей или ее несоответствию массовым ожиданиям) и диффузной агрессивностью в быту, в повседневной жизни, с грубостью человеческих отношений, столь же обычной как у начальства разного рода, так и у подчиненных, некультивированностью нравов и образа жизни. Бедность (в

смысле - дикость), присущая казарменной или фабрично-слободской жизни, коммунальной непритязательности быта, сегодня воспроизводится в стертой форме: в виде ограниченности запросов, позитивной ценности терпения по отношению к репрессивной среде, в которой существует человек. Связь между этими значениями не рационализирована и даже непроблематизирована в общественном мнении, хотя в чисто риторическом виде подобные формулы («рабский народ, все готов снести», «страна рабов, страна господ», «холопская страна, сверху донизу - одни рабы» и т.п.) давно, еще в девятнадцатом веке, стали ходульными выражениями, общеизвестными ярлыками национальных свойств, но всерьез не принятыми, не проработанными массовым сознанием, отторгаемыми им.

Первоначальные переживания, вызванные крахом и распадом СССР, сегодня заметно становятся слабее (-7 пп.), точно также как и патерналистская зависимость от власти, переживания по поводу ее характера, ее «испорченности», «эгоизма» и коррумпированности, и вместе с тем – невозможности освободиться от нее, перестать видеть в ней всемогущую инстанцию, ответственную за все, а потому считающуюся причиной всех нынешних бед (обличения, негативные установки по отношению к власти снизились на 14 пп., то есть почти на треть: с 34 до 20%). За эти же четыре года на 5-10 пп. выросла доля негативных оценок моральных составляющих «нашего народа» – чаще стали называться «лень, косность», «дух рабства», традиции крепостничества, грубость нравов и т.п.

Подобный критицизм людей по отношению к самим себе как «народу», лишенный какого бы то ни было потенциала активности, действия, внутренней работы (напротив, эти качества берутся как природные, безличные и асоциальные, тотально приписываемые респондентами «нам всем») представляет собой разновидность социального и культурного мазохизма (или садомазохизма) и, сегодня, благодаря многолетним наблюдениям, это видно со всей отчетливостью, оказывается совершенно непродуктивным. (Понимая под «продуктивностью» потенции интеллектуальной и моральной рационализации постсоветского общества и человека, саморефлексию человека в обществе, так как это было, например, в послевоенной Германии). Функциональное значение этого пассивного самопоношения (как и у настоящего мазохиста-невротика) заключается в обеспечении своеобразного баланса самооценок и целостности самоидентификации, обеспечиваемой сменой, игрой значимых точек зрения на коллективное целое (с которым отождествляется массовый человек). Как бы ни множились эти возможные точки зрения (самооценки в перспективе воображаемого и значимого Другого), типологически они сводятся к нескольких фокусам или перспективам идентификации: взгляд на все целое (на себя как часть целого) с «высшей» точки зрения, которая воплощает в себе позицию власти, руководства, взгляд со стороны, с точки зрения западных стран, где жизнь абсолютного большинства граждан вполне благополучна, спокойна, безопасна,

защищена традицией и законом от произвола властей (так, разумеется, в понимании российского обывателя); и, наконец, никогда не артикулируемая, но всегда реально присутствующая в социальных взаимодействиях перспектива оценок происходящего «снизу», исходя из интересов отдельного, изолированного и повседневного человека. Тем самым, всегда сохраняется возможность (но только, когда разговор идет в общем и целом, то есть имеющий отношение к предельным для массового сознания уровням общности) обвинить в своих бедах и неустроенности жизни «их» - «власти», «правительство», прежнего «президента» и т.п., сводя необъяснимые причины конфликтной ситуации к персонифицированной злой воли первых лиц в государстве.[7] (Все же, что относится к конкретной области собственных забот и интересов частного человека, представляет собой рассыпанную мозаику частных оценок и реакций, принципиально не подлежащих систематизации или упорядочению).

Более сложная, амбивалентная фигура или композиция «Запада» как элемент системы национальной идентификации в силу полноты значений недостижимых для России ценностей может иметь как позитивные значения (и тогда быть той точкой, с которой, если она соединяются со значениями частной жизни, то что отсутствует «у нас», только и возможна критическая оценка действий властей), либо негативные, когда Запад в соответствии с риторикой закрытого общества, советского времени, расценивается как угроза России, враг, стремящийся либо уничтожить ее, либо прибрать к рукам ее богатства. Вполне возможно, что в эти сказки массовый человек слабо верит (как и вообще исходящей от официальных инстанций безальтернативной информации), но охотно пользуется этими конструкциями для самооправдания и обеспечения определенного равновесия представлений о реальности, снятия травмирующих собственные самооценки обстоятельств «почему у них все хорошо, а у нас так плохо». В данном случае для нас важно лишь подчеркнуть медиаторную роль представлений о «Западе», согласующих некоторые идеологические связи между отношением к властям и представлением о национальном целом, о себе как «обществе-государстве». На уровне повседневности, частных проблем существования людей, поведения, взаимодействия со своими обычными партнерами (домашними, друзьями, начальством, товарищами по работе и проч.) представления такого рода не спускаются, ибо там они получают совершенно другую тональность оценки: появляется возможность судить о них не с позиций «всеобщего блага», а исключительно с точки зрения позитивно-

[7] Ср. массовое объяснение причин развала СССР в 1991 году или конфронтации между ВС РСФСР и президентом Ельциным в октябре 1993 г. эгоизмом и мелкими интригами высших действующих лиц (Горбачева, Ельцина, Руцкого, Хасбулатова и проч.). Такие же трудности возникают перед массовым сознанием при объяснении причин чеченской войны или ее затягивания. Если в первые недели виновником происходящего считался прежде всего Дудаев, а почти сразу же, буквально через два месяца, затем – Ельцин и российские генералы, то спустя несколько лет объяснение приобрело туманную форму «тем, кому это выгодно», «кто наживается на этой войне». Партикуляристское сознание не может выйти из круга частных, персонифицированных связей и объяснений – нет обобщенных образцов или моделей действия и его объяснения, нет других оснований для понимания социальной солидарности, взаимных интересов, учета различных сил и использования ресурсов многих людей и сторон.

потребительских характеристик, уничтожающих идеологические значения. В данном случае общество (население поданных) не выглядит как жертва оккупационной жестокой власти, и человек и власть в этом плане лишь проекции, разворот одного социального состояния и организации одного типа, одного типа человека и производного от него или коррелятивного с ним социально-государственного режима.

Единственной легитимной инстанцией, ответственной за самосохранение и благополучие целого (так называемые «интересы государства», «интересы общества», «национальные интересы»), считается высшая власть, действия которой оцениваются всегда двойственно и противоречиво, поскольку оценки власти в по-прежнему закрытом и авторитарном по стилю государственного управления обществе могут исходить только из двух разных оснований: символического представительства целого и прагматических суждений об эффективности и целесообразности соответствующих политических действий руководства. Поэтому общественное мнение стремится расщепить представление о руководстве, наделяя подчиненных исполнителей негативными качествами и мотивами, для того, чтобы сохранить за высшим уровнем полноту достоинств целого, изолировав «царя» от ответственности за состояние дел.

Совмещение в одном лице двух ценностных планов делает пирамиду власти в ее высшем звене крайне неустойчивой, что грозит носителям утратой легитимности и отказом от массовой поддержки и признания. Поэтому огромные усилия аппарата (администрации нынешнего президента) направлены на то, чтобы изолировать эти уровни представлений о власти, не дать возможности пробоя, установлению связей между соответствующими инстанциями. Сегодняшняя цензура, лишенная идеологической определенности, и ведомства государственного надзора, контроля над СМИ разного уровня не столько ищут какую-либо содержательную, конкретную крамолу в соответствующих каналах или средствах коммуникации, сколько блокируют саму возможность рационализации происходящего, обсуждения своих действий, появления нежелательных комментариев и высказывания точек зрения на происходящее. Имеет место не запрещение информации о нежелательных фактах, событиях, обстоятельствах поведения той или иной персоны, а нейтрализация соответствующего контекста, анализа, интерпретации, стерилизация целого канала или популярной газеты. То же самое можно сказать и о действиях ФСБ или прокуратуры, возбуждающих дела, чья судебная перспектива с юридической точки зрения крайне сомнительна. Но в данных условиях вполне достаточно «открыть дело», изолировав его фигурантов от среды и возможностей действия.

Другими словами, схематически «гордость» и «стыд» (как разные плоскости смысловых конфигураций национальной идентичности) представляют разные системы социальной и культурной репродукции. Они и воспроизводятся разными социальными институтами: официальный корпус значений «гордости» задан прежде всего соответствующими формальными институтами,

функциональными ведомствами, в том числе - образования и пропаганды; неофициальный («стыд») - повседневными рутинными отношениями, неформальными структурами), предполагают разные механизмы передачи, и, соответственно, играют разные функциональные роли. Их соотношение поэтому так и важно для понимания состояния общественного мнения, поскольку те или иные подвижки в диспозиции указывают на возможности или невозможность групповой дифференциации, связи их с групповыми интересами и степенью их артикуляции.

Еще один момент, заслуживающий здесь комментария, связан с взаимообратной зависимостью значений обобщенного «мы» (в негативной проекции), отставания от Запада и неожиданной актуализации памяти о массовых репрессиях, о Гулаге, крайне редко всплывающей в массовом сознании, ибо сегодня среди образованной публичной элиты нет тех сил, которые заставляют, принуждают общество думать над прошлым как причиной нынешнего неблагополучия. Особенности социально-государственной системы советского типа остались непроблематизированными и абсолютно непонятыми массовым сознанием, а стало быть - у ни массы, ни у элиты нет выбора, нет других ориентиров, с которыми они могло соотноситься в своих политических определениях. В этом плане массы и элита сливаются, хотя по знаку оценки или отношения ко всему, что связано с органами безопасности, ГУЛАГом, репрессиями, есть некоторые расхождения.

Таблица 4

Раздел I.3 Какие мысли возникают у вас, когда вы слышите о КГБ?

(июль 2000 г., декабрь 2007[8]; N=1600; в % к числу опрошенных, опрошенные могли дать несколько вариантов)

Позитивные ассоциации	2000	2007	Негативные ассоциации	2000	2007
Защита интересов государства, охраны государственных тайн	22	30	Массовые репрессии, 1937 год	22	16
Профессионалы, умные люди, дураков там не держат	12	15	Слежка за людьми, доносы, доносчики	19	15
Таинственная, секретная организация	11	16	Чистки, расстрелы в годы гражданской войны	10	10
Борьба с коррупцией в брежневские и андро-	8	9	Преследования инакомыслящих, диссиден-	9	10

[8] Я позволил себе добавить в таблицу 4 данные опросов 2007 года. Они не меняют принципиального характера распределения мнения, но указывают на некоторый рост позитивного отношения к чекистам и КГБ, отражающего интересы ведомства, обеспечивающего кадрами нынешний госаппарат. См. также «Общественное мнение. 2007» Ежегодник Левада-центра. М., 2007, с.85-91.

повские годы			тов		
Честные порядочные люди	7	5	Провокации, теракты	3	3
Другие положительные высказывания	5	3	Другие отрицательные высказывания	8	8
Другие нейтральные высказывания	2	5			
Затруднились с ответом	17	13			

Контекст, в котором упоминают респонденты отдельных лиц - Дзержинского, Ягоду, Ежова и другие руководители ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ, определить довольно трудно, хотя можно предположить, что Дзержинского вспоминают скорее в позитивном ключе и заметно чаще (удельный вес таких упоминаний вырос с 4 до 8% в 2007 году), чего нельзя сказать о двух последних фигурах, названных 1-2% и 3%, соответственно. Чуть уменьшилось за 7 лет и количество затруднившихся с ответом (с 17 до13%), что говорит об усилении внимания к этой теме в путинских СМИ.

Как видим, сравнительно небольшие и примерно равные массивы опрошенных обладают определенным мнением или отношением к органам госбезопасности (каждая из которых не превышает трети взрослого населения страны). Первая группа (позитивно оценивающих чекистские органы) является хранителем советских представлений (среди них больше людей пожилых и малообразованных, но есть небольшая и выраженная группа левой молодежи). Вторая – это люди среднего возраста и более образованные. Более трети опрошенных дают смутные и неопределенные по знаку оценки либо вообще затрудняются с ответом или не имеют каких-либо мнений на этот счет. Такая структура распределений мнений, как это следует из опыта социологических опросов во ВЦИОМе, свидетельствует об отсутствии в обществе выраженных сил и определенных позиций, следов интеллектуальной и моральной работы над прошлым. Характерно поэтому, что всякого рода указания на то, что В.Путин работал в КГБ и, стало быть, на нем должна лежать печать личной ответственности за преступления, совершенные руками этого ведомства (от которого он никогда не открещивался и не дистанцировался), никак не волнует подавляющее большинство россиян, остающихся в целом совершенно равнодушными к этим вопросам.

В еще большей степени положительное советское отношение к “органам” переносится в двадцатые годы (декабрь 1997, “Экспресс”), когда, по мнению, опрошенных, речь еще не шла о массовых репрессиях и преступлениях чекистов сталинского времени. На вопрос: “Знаете ли вы, чем занималась ВЧК?”, ответы распределились следующим образом – “Борьбой с преступностью - бандитизмом, спекуляцией, воровством” (42%); “Борьбой с противниками Советской власти, контрреволюцией и саботажем” (40%); “Политическим террором; репрессиями против инакомыслящих” (22%); “Решением проблемы бес-

призорников, бездомных детей" (13%, явные следы фильмов и книг о добром и пламенном аскете Ф.Дзержинском); это – "политическая полиция, тайная полиция советских времен" (12%); "Контрразведкой" (9% - опять таки следы рецепции советских сериалов о чекистах); "разведкой" (8%); "Восстановлением народного хозяйства после революции и гражданской войны" (5%). Суммируя "негативные" высказывания о ВЧК, мы получаем те же доли населения - 20-30%, что и в таблице 4.

Массовые репрессии, годы сталинского террора мало кто в России расценивает в качестве событий, определивших судьбу страны в XX веке. Приведем некоторые примеры подобного рода в опросах ВЦИОМ.

В ноябре 1989 г. («Новый год») на вопрос о ***самых важных событиях, определивших судьбу страны в XX веке*** (СССР, России), мы получили следующий перечень: Победа в Великой отечественной войне (1941-1945 гг.) – 69%, Октябрьская революция 1917 года – 58%, Смерть Ленина (42%), Чернобыль (41%), полет в космос первого (советского!) космонавта Ю.Гагарина – 31%, сталинские репрессии 30-50-х годов (29%), начало перестройки (26%) и т.д. Это было сочетание советских символов брежневского «застоя» и новых времен, связанных еще с надеждами на реформирование социализма и критикой сталинизма. В дальнейшем, хотя общий порядок символических событий оставался примерно тем же, значимость символов социализма, равно как и важность дискуссий о массовых репрессиях, год за годом падала, вытеснялась из общественного сознания. Через 5 лет, в 1994 г. о терроре и репрессиях, ГУЛАГе в этом контексте упоминали всего 18% опрошенных, а в 1998 г. – лишь 1-2%

1994 год («Советский человек», вторая волна). Главные события в истории нашей страны: победа в войне - 73%; Октябрьская революция 1917 г. – 49%; распад СССР – 40%; Чернобыль – 34%; полет Гагарина – 32%;. война в Афганистане – 24%; Первая мировая война – 19%; репрессии 30-х годов – 18% (в первой волне «Советского человека» этот вариант ответа в списке был назван 31% и занимал 6-й ранг по частоте упоминаний); начало перестройки – 16%; коллективизация – 8%, конфронтация ВС и Президента в октябре 1993 г. и путч ГКЧП в 1991 г. – по 7%; реформы Гайдара – 6%, падение берлинской стены, крах соцлагеря – 6%; 14. XX съезд КПСС – 5%.

Июль 1998 (N=1600): «Что бы вы назвали ***самым трагическим событием XX века***?» – Вторая мировая война – 35%, война в Чечне – 13%; Чернобыль – 9%; война в Афганистане – 5%, развал СССР и октябрьская революция – 3%, экономические проблемы России –1%, путч 1991 г. – 1%, перестройка, падение коммунизма – 1%, атомная бомбардировка Японии – 2%, гибель «Титаника» – 1%, распространение СПИДа –1% сталинские репрессии – 0.5%

Январь 1999 г. (N=1600). Главные события в истории 20-го столетия: Великая Отечественная война (36%), Октябрьская революция 1917 г. – 19%; горбачевская перестройка – 14%; первый полет Ю.Гагарина – 8%; ельцинские

реформы –7%, Чернобыль – 6%, сталинские репрессии – 2%, Первая мировая война – 2%, хрущевская оттепель –1%.

Август 2003 (N=2000, "Советский человек", четвертая волна***). Самые значительные события XX века в нашей стране:*** Великая Отечественная война (78%), полет Гагарина (50%), распада СССР (42%), Октябрь 1917 г. (40%), Чернобыльская катастрофа (35%), война в Чечне (31%), война в Афганистане (23%), перестройка (21%), репрессии 30-х годов (17%), Первая мировая война (14%), смерть Сталина (13%), избрание президентом Путина (11%), августовский кризис 1998 г. (8%)путч 1991 г. (7%), коллективизация (6%), события октября 1993 г. (4%), реформы Гайдара (4%), XX съезд КПСС (3%), создание соцлагеря в Восточной Европе (3%), падение Берлинской стены, крах соцлагеря (3%), первые многопартийные выборы в декабре 1993 г. (1%).

Внимание к проблеме террора исчезло вместе с ослаблением острой (хотя и очень поверхностной) критикой Сталина, ведущейся в первые годы перестройки в духе «социализма с человеческим лицом», и видевшей в нем пароноидального диктатора и почти единственного инициатора массового репрессий. Эта критика не вышла за рамки верхушечной борьбы разных фракций номенклатуры, использующих тему репрессий с целью дискредитации своих противников и отстранения их от власти. «Сталинизм» рассматривался преимущественно как извращение «ленинских норм социализма», а «злоупотребления властью того времени» служили в значительной степени инструментом критики наиболее консервативной части советской номенклатуры, стремления более либеральной и молодой части высшей бюрократии, возглавляемой М.Горбачевым, отодвинуть старые кадры от власти, но не менять систему по существу. Далее эта линия была продолжена Ельциным, который сам лично был настроен, видимо, определенно антикоммунистически, но сам склад его мышления, сознание и опыт советского функционера вынудили его искать опору среди тех, кто собственно и представлял собой институциональные структуры террора – политической полиции, армии и проч. Образованная же часть общества, бюрократия, гуманитарная элита, никак не была заинтересована в разработке этой проблематики, ибо весь тип ее мышления, этос бюрократического служения были связаны с защитой власти, пропагандой, легитимацией коммунистического режима. Поэтому нелепым было ожидать, что эта среда в целом способна на коренной пересмотр прошлого или углубленное изучение природы советской системы. Считанные единицы социальных историков и социологов продолжали вести изучение данной тематики. Нельзя сказать, чтобы в России совсем не было исследований на эти темы. Их мало, но они есть, и симптоматично, что проводятся они большей частью вне рамок государственных академических институтов, преимущественно общественными организациями (например, «Мемориалом») или отдельными исследователями при поддержке западных фондов. Во всяком случае, это капля в море в сравнении с тем, что делалось в Германии.

Фактически критика прошлого и анализ феномена ГУЛАГа закончились после провалившейся попытки «суда над КПСС», который мыслился сторонниками Ельцина чем-то вроде нового «Нюрнбергского трибунала», но обернулся жалким конфузом обвинителей, оказавшихся в принципе не готовыми связывать массовые репрессии и террор с конститутивными особенностями советского общества как общества тоталитарного. Не было заявлено ни достаточно ясной моральной, ни интеллектуальной позиции, с которой можно было бы судить о прошлом. Именно поэтому вскоре после 1993 г. (после резкой конфронтации Ельцина и сторонников сохранения советской системы, «расстрела Белого дома») в обществе, даже среди политически ангажированной его части, быстро распространились настроения «хватит, надоело слушать о сталинизме», а попытки продолжать дискуссии об ответственности коммунистов и номенклатуры за преступления прежнего времени были объявлены «новыми чистками» и «охотой на ведьм». На этом дело и закончилось.

Нельзя сказать, чтобы люди ничего не знали о репрессиях или не имели определенного к ним отношения. Но чтобы оно могло быть высказано, необходимы сильные раздражители, способные вывести эти представления из-под мощного пласта инертных страхов и запретов. Попытки некоторых агрессивных русских националистов, в которых превратились прежние коммунисты, представить репрессии как выдумку или ложь, распространяемую демократами и махровыми антисоветчиками, вызывает явное массовое неприятие, если судить по нашим исследованиям. Такие взгляды были поддержаны явным меньшинством: число «истинных сталинцев», отрицающих саму проблему («сталинские репрессии – это миф, который раздут некоторыми средствами массовой информации») составило лишь 8% (июль 2000, N=1600), несколько больше опрошенных акцентировали то, что «репрессии касались, в основном, действительных врагов народа» (10%). Примерно столько же заявляли (в духе ранней хрущевской критики сталинских «перегибов»), что «репрессии были связаны с чистками в партии» и «коснулись в основном политических верхов» (14%). Однако подавляющее большинство опрошенных утверждало, что 30-е годы «были годами массового террора против всего народа нашей страны» (58%).

Некоторые представления о том, что думают люди о масштабах жертв этих репрессий, мы получили еще в марте 1991 году. (N=2110). На вопрос: «Как вы думаете, сколько примерно людей было репрессировано в 1920-50-х годы в СССР?” – самая большая группа ответила “не знаю” (34%); “миллионы” ответили еще 21% респондентов и примерно столько (18%) же полагали - “десятки миллионов”. Но вместе с тем значительное число существенно занижало количество пострадавших в ГУЛАГе: называли цифры “десятки и сотни тысяч” – 19% , на порядок меньше (“тысячи людей”) - 6% и еще 2% полагали: немногие “сотни людей”. Что “не было незаконных репрессий”, утверждал явно маргинальный 1% опрошенных. Примерно такое же число людей, занижающих масштабы проблемы, было зафиксировано и пятью годами позже,

в июле 1996 г. (N=2404). На вопрос: ”В какой мере вы бы согласились с утверждением: «М*асштабы массовых репрессий во времена Сталина сильно преувеличены?*» - «полностью» или «в основном» были согласны 29% опрошенных, но возражали в той или иной степени 43% .

Таблица 5

С какими из следующих мнений по поводу сталинских репрессий Вы бы скорее согласились ?

	2000	2007 [9]
Это были годы массового террора против всего народа нашей страны	58	53
Репрессии были связаны с «чистками» в партии и касались в основном политических «верхов»	14	18
Репрессии касались в основном действительных «врагов народа»	10	8
«сталинские репрессии» - это миф, который раздут некоторыми средствами массовой информации	8	5
Затруднились ответить	11	16

N=1600

Есть несколько объяснений этой потери памяти по отношению к ГУЛАГу и событиям того времени (массовым репрессиям, принудительной коллективизации, плена, заключениям в лагеря из-за опоздания на работу или подобным мелким административным правонарушениям). Травмирующие события вытесняются из коллективной памяти, если они не получают соответствующей коллективной оценки и не вписываются в структуру массовой, можно сказать – национальной, идентичности. С ними происходит примерно то же, что и с памятью о стихийных катастрофах и бедствиях – следы их исчезают уже в следующем поколении (если, конечно, они не подвергаются религиозно-этическому осмыслению в качестве меры наказания или средства испытания).

Массовое отношение к сталинским репрессиям в России сочетает в себе черты восприятия их как стихийного бедствия и как *привычного* произвола па-

[9] Данные опроса 2007 года добавлены в текст настоящей статьи; напомню, что она написана в конце 2002 года. Несмотря на незначительные изменения в распределении данных, объясняемых, по-видимому, не только более «теплым» отношением к органам со стороны действующей власти, но и появлением молодых респондентов, мало что знающих о прошлом страны, о чем говорит увеличение в 1.5 раза затруднившихся с ответом, в целом отношении к репрессиям как политическим преступлениям сохраняется в общественном мнении. На вопрос: «С какими из следующих мнений по поводу репрессий 1937-1938 годов Вы бы скорее согласились?» (август 2007, N=1600), абсолютное большинство (72%) ответило - «это было политическое преступление, и ему не может быть оправдания», настаивающих на том, что репрессии исторически оправданы и объясняются «политическая необходимость» или целесообразностью действий руководства в то время, оказывается всего 9%, Примечательно, что «затруднившихся ответить» гораздо больше – 19%.

терналистской власти по отношению к зависимому от нее и безропотному населению (именно из-за его «привычности» он оказывался трудно объяснимым для абсолютного большинства населения). В отличие от нацистской Германии, где объектом репрессий оказывались группы с четко определенными этническими или социальными признаками, в СССР жертвой террора могли быть любые группы и категории населения – от крестьян до высших чинов партийно-государственной номенклатуры (у последней вероятность быть «стертой в лагерную пыль», как выражался Лаврентий Берия, была даже значительно выше, если учитывать количество жертв террора в пропорции к численности разных групп населения).

Конечно, масштабы произвола в период Большого террора или послевоенных репрессий конца 1940-х - начала1950-х годов выходили за рамки «обычного» советского уровня государственного насилия, но степень этого обострения никак не влияла на способность населения к пониманию причин возникновения террора и логики репрессий. Массовому сознанию они представлялись столь же иррациональными, что и природные катаклизмы. Преследования, аресты, заключения обретали свою государственно-безличную осмысленность, ведомственную рациональность, плановость, закономерность лишь на уровне высшего и среднего политического руководства; для каждого же отдельного человека или его семьи их массовость была скорее обстоятельством, усиливающим фатальность террора, его непредсказуемость. Невозможность говорить о репрессиях из-за страха оказаться среди жертв делала невозможным генерализацию фактов происходящего. Нет языка, категорий мышления (правового, морального, религиозного или еще какого-то), которые позволили бы выразить и осмыслить опыт происшедшего в советское время. (Сама бюрократически-канцелярская стертость таких понятий, вроде «трагедия народа», «жертвы незаконных репрессий» и т.п., свидетельствует о неопределенности или безличности субъекта высказывания или оценивания, делающая внутренне фальшивым сам тон обсуждения подобных вопросов). Но почему же даже после краха режима, после первых лет гласности и перестроечной критики сталинизма отношение к этим темам осталось почти таким же, что и раньше? Почему общественное мнение России предпочло запечатать эти события банальной сентенцией - «такое уж время было»), отказавшись от их моральной, политической или даже человеческой оценки?

В России не было раньше и не возникло теперь сил или институций, которые могли бы, вопреки корпоративному сопротивлению ведомств, ответственных за террор и репрессии (а именно: коммунистическая партия, суд, политическая полиция – КГБ-ФСБ, армия и другие), стимулировать и реализовать практику массовых дискуссий, выставок документов и материалов, презентаций фактов прошлого, способных дать людям средства осмысления и преодоления прошлого, либо даже навязать им свою нравственную точку зрения. Основные институты в постсоветском обществе сохранились с советских вре-

мен, отчего продолжется воспроизводство старых стереотипов, идеологических представлений об истории, тех же идеологем «врага», без которых невозможны конструкции постсоветской национальной идентичности. Армия, суд, правоохранительные органы остались теми же самыми, их главные задачи по-прежнему заключены в «защите государственных интересов», то есть, по сути, - корпоративных интересов бюрократии. В значительной степени этому отвечает и нынешняя идеология госконтроля над системой среднего и высшего образования.

Новой элиты, владеющей современными интеллектуальными представлениями, знаниями, ценностями, ресурсами, не возникло, а стало быть не появилось и новых актуальных интересов в проведении систематической работы по осмыслению прошлого. Препятствием этому является инерция страха. Прекращение массового террора (после смерти Сталина) не означало полного отказа властей от практики репрессий - им был придан характер полицейской профилактики, отдельных акций, предпринимаемых органами госбезопасности против диссидентов или особых групп населения. Почти целое поколение - уже после отставки Хрущева, при Брежневе - не могло не то, что говорить, но даже думать о том, что случилось с их родителями или родственниками, оказавшимися в концлагере по самым разным причинам (в том числе – и после немецкого плена во время войны). Система внутренних репрессий работала таким образом, что не только сам пострадавший, заключенный, но и все члены его семьи, даже если сами они не оказывались под судом или в ссылке, были поражены в гражданских правах. Любое рутинное социальное действие, например, смена места работы или учеба в университете, не обязательно связанное с повышением статуса или социальным продвижением, выездом за границу и т.п., предполагали предоставление властям сведений о родственниках. (См. соответствующие графы в анкетах, заполняемых в каждом подобном случае: «Были ли вы или ваши родственники осуждены», «находились вы или ваши родственники под следствием, в плену, в оккупации», «исключались ли из партии» и т.п.). Естественно, что у людей в течение десятилетий выработались защитные механизмы - навыки молчания, табу, запретных тем, о которых не говорили с детьми или между собой, от которых веяло ужасом. Во временном промежутке с 1950 по 1985 годы выросло поколение, большая часть которого не знало своей семейной истории – о ней никогда не говорили или говорили чрезвычайно выборочно. А если не говорили, эта история вытеснялась и забывалась.

Даже в первые годы перестройки, когда темы репрессий начали обсуждаться в печати, на вопрос в одном из ранних исследований ВЦИОМа 1989 г.: «Говорили ли Вы с вашими родителями о ранее закрытых темах, таких вещах, как, например, репрессии, тюрьмы, ссылки?», - лишь 28% опрошенных решились сказать «да, говорили» (при том, что читали об этом в литературе уже 55%, а еще 8% сами имели в прошлом подобный опыт). Страх носил абсолют-

но нерефлексивный характер, он просто определял характер всеобщего повиновения и коллективного заложничества (каждого отдельного человека по отношению к своей семье, к коллегам по работе и т.п.), не позволяя предпринимать какие-либо действия, выходящие за рамки общепринятого и допустимого. Возникал негласный консенсус принуждения, публичного поведения, двоемыслия в оруэлловском смысле.

Очень важным обстоятельством следует считать и конфликт ценностных представлений внутри самого массового сознания, конфликт, парализующий рефлексию и рационализацию опыта террора и репрессий. Я имею в виду крайне важные консервативные убеждения и массовые взгляды, которые определяют солидарность маленького человека с великой державой, обеспечивают ценности военно-мобилизационного закрытого общества. Их воспроизводство, обеспечивающее легитимацию и поддержку авторитарной власти в России, блокирует возможности усвоения либеральных и прозападных представлений о правах человека, о ценности и автономности индивида, о необходимости деэтатизации и ограничения всевластия государства и т.п.

В этом смысле в России нет тех условий внешнего институционального принуждения к признанию ответственности государства, в том числе и юридической, за прошлые преступления, как это было, например, в послевоенной Германии. И там было огромное внутреннее сопротивление населения против публичного предъявления преступлений нацистского режима. И там была долгая фаза «молчания». Но там была военная оккупационная администрация союзников, проводившая долгосрочную политику денацификации.

Общественное мнение не верит в возможность в ближайшие годы повторения массовых репрессий подобно сталинским чисткам и, но страх перед ними остался. В январе-феврале 1989 г. не исключали в близком будущем чисток и репрессий 5% опрошенных (N=1128). декабре 1991 году, после нескольких месяцев острейшего политического кризиса ГКЧП, запрета КПСС и т.п «вполне вероятным» возврат к репрессиям считали уже 12% (53% - маловероятным; N=5037), но позже этот показатель снижается: в 1996 г. – опять 5%. На протяжении же последних пяти лет число допускающих такое развитие событий не превышало 1%.

И тем не менее от четверти до трети россиян испытывают стойкий постоянный страх перед мыслью о возможности репрессий.[10]

Он не актуализирован, не имеет психологического выражения, скорее речь идет о фоновой угрозе или, точнее, о системе координат восприятия реальности. Это страх входит в само понятие государства и власти и от него нельзя освободиться, пока существует сама система подобного типа. На вопрос, заданный в 1996 г. (N=1600), чем обеспечивался порядок в стране при советской вла-

[10] С определенной точки зрения не важно, чем вызывается этот страх или, точнее, как он психологически объясняется, как рационализируется диффузное состояние массовой тревожности – связывается ли оно с угрозой чеченского терроризма или опасностью мировой войны - см.: Мониторинг общественного мнения, 2003, №4, с. 65.

сти, ответы распределились так: самая большая группа ответов была - «вера людей в общее светлое будущее, примирявшая с бедами и трудностями» (38%), «сознательное отношение людей к своей работе как общенародному делу» (34%), затем «страх людей перед властью» (30%), «гарантированность большинству людей примерно одинакового минимального достатка» (26%), «советские законы, лишавшие людей прав» (18%), «репрессии против любого открытого проявления недовольства властями» (17%), «запрет на инакомыслие, единая и обязательная для всех идеология» (17%), «привычка людей довольствоваться тем, что дозволено государством» (17%) и т.п.

Прошлое сегодня в публичной сфере или в массовом сознании предстает лишь в очень аморфной, но по прежнему государственно-бюрократической версии, льстящей закомплексованному сознанию бедных. Дело не в прямой цензуре, хотя об этом вполне уже можно говорить, учитывая изменения в составе властвующей элиты и высшей бюрократии, усиление состава исполнительной власти кадрами чекистов и военных, носителей и хранителей духа советских тоталитарного режима. Дело в ориентации на них ведущих СМИ и лидеров общественного мнения, вытесняющих из публичного пространства всю неприятную для власти тематику, а значит загоняющих «теневое прошлое» в зону нерационализированного, неартикулированного, аморфного и отрывочного, ситуативного устного бытования.

Одной из самых распространенных тактик власти (способов действия руководства), используемых для нейтрализации критики в свой адрес, канализации массового недовольства, является поддержание режима чрезвычайных обстоятельств, обеспечиваемых идеологемой врага, угрозой войны, нападения или ослабления национальной безопасности, терроризма или «утраты территориальной целостности» и т.п. Апелляция к подобным аргументам должна обеспечить правящей элите (включая и более низкие, региональные и ведомственные уровни) монопольное представительство «страны», интересов всего государственного или социального целого. Страх (не конкретный, а фоновый, инерционный, нерационализируемая, не аффективная тревожность) оказывается в посттоталитарном обществе самым эффективным средством найти повиновение соответствующим действиям или, как минимум, подавить ропот, сомнения или сопротивление, поскольку отказ от необходимости перед опасностью сплотиться, объединиться, отказаться от своих «маленьких», частных, потребительских, мещанских, меркантильных, эгоистических и т.п. и т.д. желаний, интересов и потребностей, автоматически превращает оппонента настоящей власти в пособника врага или предателя. (Именно так было с родственниками заложников в «Норд-Осте» или журналистами, отклонявшимися в подаче своих материалов в начале второй чеченской войны от официальной позиции). Неважно, какой это будет враг - внешний агрессор или террористы, захватившие

«Норд-Ост» [11], ученые-«шпионы», исламисты, НАТО или «олигархи», (рессентиментный популистский фантом, ставший столь же значимым ресурсом массовой поддержки, поскольку позволяет канализировать социальные напряжения и натравливать подчиненные властям суд и органы охраны правопорядка на неугодных промышленников и финансовых магнатов). Риторика властей, не допускающих какого бы то ни было обсуждения и оценки действий руководства, кроме полного одобрения и поддержки, не оставляет места для дискуссии. Кого назначать врагом (а кого национальным гением или святым) – привилегия высшей власти, это ее ресурс легитимности, которым она пользуется по мере необходимости. В любом случае использование этих ресурсов для активизации массовой поддержки означает сохранение архаических способов самоидентификации и солидарных связей и их перенос на коллективное целое. Тем самым воспроизводится массовидный, слабоструктурированный и деморализованный социум, в котором блокированы или подавлены любые ресурсы для самоорганизации, формирования альтернативных элит, развития институтов гражданского общества.

Сам факт усиления партикуляризма в самоопределениях, с социологической точки зрения, более важная вещь, чем “содержание” партикуляристских реакций респондентов. Проявление этой симптоматики свидетельствует об отсутствии (или крайней слабости) новых универсалистских институтов, которые, предположительно, должны были возникнуть в ходе социальных и политических трансформаций российского общества после краха коммунизма (если судить по первым декларация лидеров, сменивших старый состав коммунистической номенклатуры). То, что их нет, может означать две разные вещи:

1. Усиление этнической и групповой солидарности в ситуации социального и культурного кризиса. Подобная реакция реинтеграции лишь использует в качестве своего ресурса архаический (резервный) пласт культурных значений в качестве суррогатной массовой идеологии, имеющей в значительной степени расовый, этнократический и неомифологический характер. Само по себе это явление давно известно и хорошо описано в качестве сопутствующих феноменов модернизации; в принципе оно может иметь фазовый или социально-локальный, средовой характер, не обязательно перерастая в явления тотальной контр-модернизации.
2. Деградацию или несостоятельность уже возникших, собственно “модерных” механизмов и институтов и возвращение к предшествующим уровням культуры и социальным институтам, демодернизацию. В этом случае речь идет не об идеологиях, а об институциональных изменениях, инволюции. Но и она не обязательно, впрочем, должна

[11] Обоснование отказа московского городского суда в удовлетворении исков родственников потерпевших от действий властей во время освобождения заложников на «Норд-Осте» сводится именно к этой системе рассуждения и аргументации.

быть тотальной, вполне допустимо говорить об отдельных, частных и функциональных регрессиях к социальной примитивности, вызванной отсутствием позитивных альтернатив и элитных групп, предлагающих массе более сложные и "прогрессивные" модели и цели социальной политики. Иными словами, в одном случае мы имеем дело с культурной модой, инновацией, стилистической игрой в поиски этнонационального прошлого, в другом случае – сбросом универсалистской "модерности", редукцией сложности к предшествующим фазам социально-культурной конституции, вызванной несостоятельностью властвующих элит, институциональной косностью общества, невозможностью для ведущих групп принять варианты модернизационных сценариев политического и экономического развития, поскольку они оказываются в противоречии с их интересами или возможностями.

В современной России мы, скорее всего, сталкиваемся с обоими, смешанными вариантами, но их соотношение в разных группах будет различным. Совершенно очевидно, что в российской ситуации часть околополитической элиты цинически ("эстетически" или "постмодернистски") может пробовать играть в чужие идеологии или версии начальственных взглядов – в "неомарксизм", левизну, "национал-большевизм", допустимость "господина Гексагена" или всерьез декларировать патриотическое "государственничество"; внутренне, конечно, этим оно будет отличаться от соответствующих тупых рассуждений региональной бюрократии, но в отношении к массе и по своим социально-политическим последствиям различия здесь отсутствуют. Другое дело – явные усилия околовластных группировок по укреплению тоталитарных институтов, не возвращение к прежней системе институтов, а адаптация отдельных структур к новым условиям, попытки использовать новые организационные формы для старых функций. Таковы, например, усилия некоторых групп чекистов проникнуть в новые финансовые образования, контролировать их деятельность, использовать их ресурсы для укрепления "вертикали власти", создания системы "управляемой демократии". Здесь нет никакой или почти никакой идеологии, а интересы "органов" и других аналогичных ведомств вполне очевидны. (Последствия, правда, обеих тенденций примерно одинаковы: посерение сообщества, утрата оригинальности и новизны, повторение самых массовых и стертых представлений.).

Описываемые изменения конфигураций этнонациональной идентичности россиян, прошедшие со времени первого замера «Советский простой человек», не могли не сказаться и на автохарактеристиках русских [12]. Рассмотрим подробнее эти подвижки, используя распределения ответов на вопрос: « *Какие из*

[12] Простой советский человек: опыт социального портрета на рубеже 90-х. М., Мировой океан, 1993, главы «Этнические рамки существования» и «Русский человек и Запад: представление о русских у жителей ФРГ», с.97-151.

перечисленных ниже качеств чаще всего можно встретить у русских (англичан, евреев, литовцев, азербайджанцев, узбеков…)?». Список содержал 27 определений, из которых опрошенные выбирали соответствующие характеристики для «типичных представителей» того или иного народа. Анализируя структуру этнонациональных комплексов представлений, в прошлый раз я писал о том, что прослеживается взаимосвязь между характеристиками «модерности» и «чужости», причем их различные сочетания могут принимать либо форму признания законности «модерности», но лишь у «дальних чужих», и отказ в признании законности претензий на модерность у своих (которое в этом случае расценивается как неоправданные притензи на «доминирование», на авторитет). Самое негативное отношение вызывает сочетание «традиционности» и «доминирования», которое русскими воспринимается как агрессивное поведение (таковы комплексы представлений об азербайджанцах, см.ниже табл.4 и 5, или о чеченцах, зафиксированных еще до первой чеченской войны в исследовании «Русские в республиках» и в других случаях). Себя русские описывали как «своих», «зависимых» и не «модерных».

Замер этого года дал следующее распределение оценочных признаков у людей из разных этнических общностей (табл.6).

Таблица 6

Типичные характеристики людей разных этнических общностей

(2003 г.; приводятся только те определения, которые названы не менее чем пятой частью опрошенных).

Русские	%	Англичане	%	Евреи	%	Азербайджанцы	%
Открытые, простые	75	Культурные, воспитанные	63	Лицемерные, хитрые	51	Почтительные со старшими	54
Гостеприимные	68	Рациональные	48	скупые	41	жестокие	41
Терпеливые	62	С чувством собственного достоинства	44	религиозные	38	религиозные	35
Готовые придти на помощь	57	Скрытные	27	Рациональные	38	Гостеприимные	30
Миролюбивые	49	Энергичные	26	Скрытные	30	Заносчивые	30
Ленивые	41	Заносчивые	24	Энергичные	27	Энергичные	28
Надежные, верные	38	Свободолюбивые, независимые	23	Трудолюбивые	27	Лицемерные, хитрые	28

Непрактич-Ные	34	Властолю-бивые	20	Культурные, воспитанные	25	Свободо-любивые, независимые	24
Трудолюби-вые	30	Трудолю-бивые	19	Властолюби-вые	23	Скрытные	20
Свободолю-бивые, неза-висимые	26	Религиозные	17	Почтитель-ные со старшими	21	Завистливые	19

В целом порядок и частота отдельных называемых характеристик изменилась очень незначительно, они близки к результатам 1994 и 1999 гг. Но для того, чтобы иметь возможность сопоставлять колебания контуров и конфигураций этнических стереотипов, признаки, как и в предыдущий раз, пришлось агрегировать по трем осям: «активность, модерность» – «пассивность, традиционность»; «властность, доминирование» - «зависимость, подчинение»; «близость (свои)» – «дистанцированность (чужие)». В таком трансформированном виде динамика этнических характеристик выглядела следующим образом:

Таблица 7

Динамика этнических установок, 1989-2003 гг.[13]
(суммы агрегированных ответов опрошенных)

	Годы	Модер-ные, ак-тивные	Тради-ци-он-ные, инерт-ные	Власт-ные, до-мини-рующие	Зависи-мые, подчи-нен-ные	Свои	чу-жие
Англичане	1989	185	39	57	16	25	33
	1994	169	43	76	35	26	35
	1999	169	35	87	16	26	**51**
	2003	177	40	**120**	21	20	**49**
Русские	1989	65	97	30	109	187	17
	1994	**100**	105	**53**	118	**220**	25

[13] Гудков Л. Динамика этнических стереотипов (сравнение замеров 1989 и 1994 гг.). // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения, 1995, N 2, с.23-27

	1999	90	90	38	115	212	17
	2003	**97**	**121**	44	**130**	**232**	30
Евреи	1989	117	40	38	23	18	99
	1994	103	56	46	30	19	114
	1999	120	54	**69**	23	17	**150**
	2003	**134**	**68**	**61**	27	16	**132**
Азербайджанцы*	2003	88	**113**	**112**	16	42	71

* Вопрос о типичных чертах «азербайджанцев» задавался только в 2003 году.

Наиболее существенные изменения в образе «англичан» (олицетворяющего спокойный тип «западного» человека; англичане взяты как пример только для того, чтобы не привносить в понимание «Запада» предельных значений, которые могли бы возникнуть, если бы речь шла, например, об «американцах» или вносить дополнительных обертонов, связанных с войной, если бы речь шла о «немцах») отмечаются по оси «доминирование, властность» (двукратный рост признаков с 1989 года) и дистанцированности «свои-чужие» (рост в 1.5 раза). «Модерность», активность, самодостаточность как отличительные свойства настоящего «западного», деятельного и независимого человека практически не изменились.

Стереотипные свойства «евреев» (мифологический образ которых включал представления о них как носителях чужой культуры «модерности» в среде русских) стали более выраженными, то есть усилились и те, и другие составляющие (и значения активности, деятельности, так и отчужденности, дистанцированности), но одновременно отмечается и рост второстепенных амбивалентных признаков «властности» и «зависимости» (и те, и другие примерно в 1.5 раза).

В описаниях «русских» ядро определений включает прежде всего значения неформальной солидарности (близости, «свойскости») и «зависимости», подчиненности, и именно этот комплекс семантических признаков показывает дальнейший рост (на 24% и 20%). Но вместе с тем заметно усилились и вторичные характеристики, причем более интенсивно выражены прямо противоположные черты: как «инертности, традиционности» (рост на 25%), так и «активности и модерности» (в 1,5 раза, хотя общий индекс и не достиг предельных значений 1994 г., что говорит о неустойчивости самих этих характеристик, их обусловленности какими-то другими факторами). Последние два индекса зна-

чений, если и не сравнялись между собой по значимости, то во всяком случае существенно сблизились.

Таким образом, подытоживая характер изменений в этнических стереотипах, мы можем сказать, что, несмотря на гораздо более интенсивное в целом выражение типичных свойств «русских», самые значимые подвижки в их описаниях сводятся к акцентированию тех качеств, которые содержат признаки «гемайншафтности», лояльности к своим, партикуляристскую солидарность внутри неформальных сетей отношений и малых групп. Акцентирование «русскости» сводится к подчеркиванию прежде всего партикуляристских значений близости со своими, лояльности к своим, а не значений производительности, качества труда и его оценки, как это имеет место, например, у немцев в их самоописаниях [14].

Таблица 8

Разница суммарных характеристик между замерами 1989 и 2003 гг.

	Англичане	Русские	Евреи
Модерность	-8	+32	+17
традиционность	+1	+24	**+28**
Доминирование	**+63**	+14	+23
Зависимость	+5	+11	+4
Близость (свои)	-5	**+45**	-2
Дистанцированность (чужие)	+16	+13	**+33**

Поскольку разные свойства отмечаются относительно чаще респондентами, принадлежащим к разным социально-демографическим группам, то можно сказать, что имеет место действие существенно разных идентификационных механизмов: усиление представлений себя в качестве «модерных» у русских может происходить только путем снижение значимости образа «запада», добавления «англичанам» признаков «традиционности» и одновременно – отчуждения от них, в меньшей степени – через негативную оценку этнонациональной инертности и пассивности русских. Но рост внутриэтнической солидарности у русских же идет главным образом за счет сочетания аффективных связей внутри неформальных групп и отказа от ориентации на достижение, успех, и т.п. То же самое воспроизводится и в отношении к евреям: те опрошенные, кто скорее позитивно или, по меньшей мере, нейтрально относятся к ним, чаще склонны выделять черты современности и активности, цивилизованности и т.п., без выраженной негативной дистанции к ним и без подозрений в стремлении к доминированию, отчасти, даже, настаивая на приверженности евреев к традици-

[14] См.: Советский простой человек, М., 1993, с.159-166

онной религии и обычаям предков; напротив, респонденты с латентными антисемитскими установками сочетают в описаниях евреев признаки чужой культуры, достижительности и рационализма, отчужденности от русских, их подозревают во властолюбии и т.д.

Усиление признаков партикуляризма в самоопределениях непосредственно связано с отчуждением от других, изоляционизмом, ослаблением интереса к чужому, ростом подозрительности и враждебности ко всем, кто не «наши». Острее всего это проявляется в ксенофобии, расизме, в агрессии по отношению к приезжим, в особенности к приезжим из республик Кавказа.[15] Усиление этнофобии, тупое остервение ущемленных людей, вызванное моральной и интеллектуальной депрессией, оборачивается (по принципу сохранения и передачи давления во все стороны в жидких средах) заметным ростом поиска защиты, развитием комплекса ущемленности, интересом к лозунгам русского нацизма (табл.9 и 10), достигающим пика именно тогда, когда все более ясным становится сознание, что новый режим власти, пусть и поддержанный большинством россиян, мало что может сделать, что российские войска увязли в чеченской войне, что все осталось так, как было.

Таблица 9.

Представляют ли угрозу безопасности и порядку в России проживающие в ней люди других национальностей?

(в % к числу опрошенных)

	1996	2000
Да, представляют (сумма ответов «большую угрозу» + «определенную угрозу»	33	**56**
Нет, не представляют (сумма ответов «небольшая угроза»+»никакой угрозы»	**63**	43
Отношение угроза/отсутствие угрозы	0.52	1.3

Январь 1996, N=2400; апрель 2000, N=1600

Таблица 10

Должны ли русские пользоваться преимуществами при назначении на ответственные должности?

(*в % к числу опрошенных)*

	1999	2003
Число опрошенных	*N= 1600*	*N= 2000*
Да	31	**59**
Нет	**48**	23
затруднились ответить	21	18

[15] См. статью в этом сборнике «Россия для русских»: ксенофобия и антимигрантские настроения в России», с.

Комплексы национальной ущемленности и неполноценности, выражаются не только в усилении партикуляристских компонентов в структуре массовой идентичности, подавлении потенций рационализации собственного травматического прошлого, но и в прямом росте этнократических установок (см. табл.10), распространении диффузного расизма, пока еще только ищущего себе идеологического оформления и обоснования. В этом плане усиление партикуляристских ориентаций может означать также и нейтрализацию интеллектуальных возможностей критики шовинизма, состояние массового отупения. Тем более, что основания для «гордости» у русских заданы рутинным функционированием не меняющихся со времени краха советской власти формальных институтов социализации – школы, армии, и, соответственно, массовых ориентаций на власть.

Часть 2. Армия в постсоветской России

Партикуляризм и фактор «врага». Поскольку значимых позитивных достижений у нынешней власти в России, претендующей на то, чтобы представлять собой национальные интересы всего целого, в настоящем нет[16], то определяющим моментом в характере ее самолегитимации является мотив «угроза врага», остаточный рефлекс милитаристского, мобилизационного и закрытого тоталитарного общества. Подчеркнем, что функциональный императив «государственной безопасности» стал усиливаться и проявляться в ситуации, когда внешняя обстановка в мире для страны была на редкость благополучной и мирной. На протяжении всего последнего десятилетия практически все бывшие «потенциальные военные противники» (США, НАТО и т.п.), раз за разом заявляли об изменении отношения к «новой, демократической России» и об отказе от конфронтации с ней, выступали с различного рода программами помощи (особенно в самые критические годы - 1992-1993), гуманитарной, финансовой или технологической (связанной, например, с утилизацией особенно опасного оружия). Государственные лидеры этих стран делали соответствующие предложения сотрудничества, партнерства по весьма широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, выражали стремление к развитию разнообразных связей, в том числе - и военно-дипломатических и проч. Ответом российской номенклатуры на эти западные инициативы[17] было обострение антизападничества, антинатовской истерии (т.наз. «угроза продвижения НАТО на

[16] Даже в деятельности президента с его предельно высоким уровнем поддержки и одобрения, общественное мнение находит больше неудач, чем успехов; исключением здесь является сфера международных отношений, где защита авторитета России, ее национального престижа расценивается массовым сознанием как безусловное достижение В.Путина.

[17] После отставки А.Козырева с поста министра иностранных дел и замены его старым «разведчиком», сторонником сохранения прежних отношений с диктаторскими режимами и террористическими группировками на Ближнем Востоке, академиком Е.Примаковым, а затем безликим, «техническим» И.Ивановым.

Восток» в 1995-1996 гг.), вызванной планами вступления восточноевропейских стран и бывших прибалтийских республик в НАТО и ЕС). Предназначенная, главным образом, «для внутреннего пользования» (для реальной политики конфронтации с Западом сил уже не было), эта великодержавная риторика реанимировала для массового употребления не столь уж давние, но забытые после холодной войны антиамериканские декларации, обычные для советской военной политики.

Фактически такое положение дел не изменилось даже после 11 сентября 2001 г. и поворота официального внешнеполитического курса нового президента В.Путина на сближение с США, объявлении о «сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом». Если первый из пиков массового антиамериканизма пришелся на весну 1999 г., то второй – на весну 2003 г., на момент разгрома американскими и британскими войсками режима Садама Хусейна в Ираке. Массовые реакции на возвращение конфронтационной картины реальности следовали с сильным запаздыванием, временами даже оказываясь в кажущемся диссонансе с уже изменившимся конъюнктурой и взглядами высшего начальства. Инертное массовое сознание никогда особенно не верило официальным декларациям о новом, открытом и доверительном, характере российско-американских взаимоотношений и сохраняло рутинную настороженность или даже подавляемую неприязнь к США и Западу в целом.

В этом плане приход к руководству В.Путина можно считать лишь продолжением развития тех тенденций внутри номенклатуры, которые складывались и до него и помимо него. Начало новой войны в Чечне, кампании против независимых СМИ и «олигархов», тихий конституционно-государственный переворот (изменение функций парламента, регионально-административная реформа и проч.) следует считать лишь знаками этих процессов, смысл которых публика улавливает с трудом.

Смена режима политической власти в России осенью 1999 года сопровождалась насаждением и акселерацией комплекса врага, обеспечивавшего мобилизацию и поддержку руководства страны. Благодаря некоторым жестам (включая обращение к языку чекистов и блатных), В.Путин приобрел черты надпартийного, общенационального лидера, обещавшего избавить страну от угрозы террора, от коррупции, от опасности провала страны в новый экономический кризис (прежние, в особенности кризис 1998 г., были вызваны, по мнению населения, не столько собственно хозяйственно-производственными трудностями, сколько интересами спекулянтов, олигархов, высших чиновников в правительстве, связанных с западными промышленно-финансовыми группами). «Угроза войны» или нападения исламских боевиков и террористов на Россию стали собирательным обозначением для массового оправдания целого ряда политических мероприятий и действий, систематически меняющих характер политического режима в стране, превращения его в военно-полицейское государство.

Различные идеологемы врага играли важнейшую роль в формировании тоталитарного режима и сохраняли свою функциональную значимость на всем протяжении существования советской власти.[18] Первые опросы ВЦИОМ, проведенные в конце 1980-х годов, показали, что ситуация развала старой системы, сопровождается заметным ослаблением образа «врага», обеспечивающего поддержкой те институты, которые играли ключевую роль в воспроизводстве режима. Однако последующие замеры, наоборот, говорили о том, что по мере стабилизации положения дел в России этот фактор восстанавливает всю свою значимость и силу.

Таблица 1

Раздел I.4 Есть ли у России враги?

(в % к числу опрошенных, 1989 N=1100; 1999 и 2003 г. - N=1600)

	1989*	1999	2003
Да	13	**65**	**77**
Нет	**47**	13	9
Затруднились с ответом	40	22	14

в 1989 г. в формулировке – у «нашей страны».

Таблица 2

Существует ли угроза военного нападения на нашу страну со стороны какого-нибудь государства?

	Да	Нет	Затруднились с ответом
1990	13	50	37
1996	37	47	16
2000	**48**	45	7
2002	**42**	42	16
2003	**47**	45	8

В % к числу опрошенных, 1990 г. N=1500, 1996-2003 гг. N=1600, представлены суммы ответов «безусловно, да»+ «вполне возможно» и «маловероятно»+ «совершенно исключено»

Таблица 3

Раздел I.5 Кого бы Вы назвали врагами России?

(в % к числу опрошенных, N=1600)

	апрель 1999	Август 2003
Чеченские боевики	-	53
Международные террористы	-	47
США	19	24

[18] См. подробнее: Гудков Л. Идеологема врага. / Образ врага. Россия / Russia. М., ОГИ, 2005, с. 7-79.

Финансово-промышленные круги Запада	24	18
НАТО	17	14
Олигархи, банкиры	15	16
Демократы	13	2
Исламские экстремисты	8	-
Коммунисты	8	3
Политические лидеры бывших союзных республик	7	3
Национал-патриоты	6	4
Сионисты	6	-
Русофобы	2	2
Затруднились с ответом	26	2
Нет ответа	14	23

Ранжировано по 2003 г.

Главный фактор негативной консолидации – «чеченские боевики» и «международные террористы» - потянули за собой повышение значимости традиционного «противника», США, играющего самую важную роль в конструкции национального самосознания россиян. Не столь определенный «Запад» (финансово-промышленные круги Запада) передал часть своих отрицательных значений более конкретному и понятному образу высокомерной Америки. Усиление фактора «врага» заметно повышает значимость силовых институтов в российском обществе, почти равным образом и армии, и МВД или КГБ (ФСБ). Для внешнего наблюдателя здесь таится парадокс: слабость и разложение, низкая боевая эффективность современной российской армии, ставшие очевидными в ходе обеих чеченских кампаний и подтвержденные сообщениями прессы о регулярных катастрофах и отказах военной техники, никак не влияют на ее политическую роль и значение в обществе, доверие к ней населения. Обычные объяснения (имперское прошлое и авторитарные традиции России, претензии ее руководства на статус великой державы) вполне справедливы, но чересчур общи и не позволяют понять конкретные механизмы консервации.

Можно предположить, что этот парадокс возникает из-за ложного уподобления армии советского типа и вооруженных сил в западных, демократических обществах.

Армия в тоталитарном обществе. Социальные функции армии в советском обществе никогда не ограничивались задачами обороны от внешней агрессии.[19] Если бы это было так, нынешняя армия России как социальная орга-

[19] Последние не были даже приоритетными, если исходить из фактического соотношения сил и материальных затрат при реализации войсками соответствующих задач, а не официальной патриотической риторики. Убедительнее всего об этом свидетельствует катастрофический опыт первых месяцев войны 1941 года, хотя к тем же выводам можно придти, разбирая характер финской кампании 1939-40 годов или ход афганской войны или явную неудачу военных в нынешней чеченской войне. Гораздо более важным в этом плане (социально-политических функций ВС) был, например, геополитический ракетно-ядерный шантаж, создавший СССР статус супердержавы и позволявший ему играть совершенно особую, устрашающую роль в мире. О слабости военно-тактической подготовки советских специалистов и военной техники говорит ошеломляющие два разгрома армий

низация давно бы развалилась. Но именно благодаря сохранению других своих функций, не имеющих прямого отношения к обороне и защите национальной безопасности, она продолжает существовать с советского времени в почти неизменном виде. Армия в широком смысле слова (командование различных силовых ведомств и военизированных образований, и прежде всего, конечно, - генералитет, министерство обороны) остается не только важнейшим ресурсом власти, поддержки определенного политического курса, но и источником управленческих кадров как высшего звена, окружения общенациональных лидеров, так и руководства среднего уровня управления - регионального, отраслевого, депутатского корпуса разного уровня. Именно благодаря этому армия в целом выступает как чрезвычайно важный механизм социального контроля по отношению к высшему политическому руководству страны. Возможность влиять на подбор и селекцию кадров (в силу сохранения армией функций репрезентации базовых ценностей тоталитарного общества), а не просто применение армии в качестве чисто силового аргумента, предопределяет ее роль во внутриполитической конкуренции разных политических клик и группировок. Более общее социологическое понимании армии как социального института подчеркивает его роль быть одним из самых консервативных социальных образований в российском обществе (даже церковь в этом плане гораздо менее влиятельна). Армия как целое обеспечивает условия для репродукции тех ценностей и норм, которые служат элементами, символическими образцами идентификации для массового сознания.

Придание особой роли армии в обществе, или культ армии в СССР стал складываться в самом начале 1930-х годов, хотя опять-таки именно в это время вероятность интервенции против СССР была особенно малой.[20] Создание мощной армии было одной из составляющих сталинской политики укрепления режима[21]. За окончательным подавлением оппозиции в стране (после отстранения от власти и высылки Л.Троцкого) должно было следовать устранение любой внешней угрозы режиму. После острого кризиса 1927 года, когда советское руководство полагало, что страна находится на грани войны, было принято решение о необходимости форсированной военно-промышленной модернизации. Условием ее реализации стала не только принудительная коллективизация в

коалиции арабских стран, снабженных советским вооружением и обученных советскими инструкторами, нанесенных ВС Израиля в 1967 и 1973 гг. На несостоятельность или, мягче, - на неадекватность военно-теоретических, доктринальных представлений российских генералов указывает полный конфуз сценарных прогнозов, предлагаемых российским военным командованием относительно хода американо-иракской войны весной этого года (кстати, громадная армия Хусейна была точно также вооружена советской техникой и готовилась точно также специалистами из МО РФ).

[20] Характерно, что такая ситуация повторяется каждый раз, когда начинается трансформация режима или возникает угроза его эрозии: Так было в конце 1940-х – начале 1950-х годов, возможно, что это повторяется и сегодня.

[21] См.: Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-1950-е годы: темпы экономического роста, структура, организация производства и управление. М., 1996.

сельском хозяйстве (как источник финансирования ВПК), но и развертывания всего огромного репрессивно-карательного аппарата политической полиции, системы тотального социального контроля и пропаганды. Подготовка общества к войне явилась одним из триггеров и условием социальной консолидации. Поэтому одной из важнейших составляющих расширяющегося террора 30-х годов стали репрессии против высшего и среднего звена армии, вытекающие из внутреннего логики утверждающегося тоталитарного режима (как бы иррационально и преступно это не выглядело в глазах последующих поколений, знающих о приближающейся войне).

Идеологическим оправданием усиления репрессивного режима служил тезис о неизбежности скорой мировой войны, не просто воспринятый массовым сознанием, а ставший с течением времени одним из опорных моментов национальной идентификации и сохранившийся до сегодняшнего дня[22]. «Советские оценки были абстрагированы от драматических потрясений в западном мире в начале 30-х годов. Великая Депрессия, заметно ограничившая военно-экономические возможности европейских стран, никак не повлияла на советское военно-мобилизационное планирование (и, напротив, служила пропагандистским обоснованием тезиса о нарастании угрозы нападения на СССР)».<…> «Неспособность Кремля в 1941 г. отделить реальную, смертельную опасность от воображаемой, внешние обстоятельства от собственных расчетов коренилась в отмеченных выше чертах военно-политического мышления и характерном для него подходе к оценке внешней угрозы. Другой характерной чертой анализа вероятных противников являлось систематическое и всестороннее преувеличение их сил, далеко выходящее за пределы естественной склонности военных аналитиков учесть все неблагоприятные факторы и риски»[23]. (Для нас здесь важна прежде всего одна особенность этого мышления советского руководства, подчеркиваемая историком, предопределяющая свойства «самоисполняющегося пророчества»: влияние представлений вождей о реальности на характер организации власти в тоталитарном обществе и, соответственно, социальную структуру общества, частичное принятие этих идей массой в качестве легитимационных оснований общественного порядка. Для понимания механизмов развертывания негативной идентичности и соответствующей организации общества необходимо принимать во внимание, что эти процессы обусловлены *внутренними* причинами конституции власти, а не заданы извне.) <…> «На внутреннее устройство западных государств переносились принципы поведения и образ действий, составившие стержень «партий нового типа» и ставшие основой государственной политики ленинско-сталинского руководства, которое совершало «отступление» от «военного коммунизма», затем накапливало силы для но-

[22] В июне 2001 г. 47% опрошенных россиян считали, что в конце 1930-х годов война была неизбежной, 35% полагали, что ее можно было предотвратить. Здесь, как и в других случаях ниже, когда указываются данные массовых регулярных опросов ВЦИОМ по общероссийским репрезентативным выборкам, N=1600 человек).

[23] Кен О.Н. Мобилизационное планирование и политические решения. Конец 1920 - середина 1930-х гг. СПб, Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2002, с. 326-327.

вого натиска на капиталистические элементы и наконец переходило в «наступление по всему фронту». <….> «Дихотомия «способность-намерение» (или «ресурсы-политика») исчезала. …Понятийный аппарат советских вождей фактически исключал постановку вопроса о действительных целях правящих политических групп, различия между ними воспринимались как градации в степени враждебности СССР и коммунизму, а политическая враждебность … отождествлялась с подготовкой войны против Советского Союза».[24]

Дело не в том, была ли так уж фатально неотвратима новая, вторая мировая война. Речь о том, что общественная система, конституированная вокруг армии и репрессивных институтов, легитимированная поисками «врагов» внутри страны и параноидальными идеями предстоящего военного столкновения как исторически предопределенного следствия конфронтации «социализма» и «капитализма», рано или поздно оказывается втянутой в большие войны, поскольку формируются группы, социально заинтересованные в «разгроме врага на чужой территории», как выражалась довоенная сталинская пропаганда.[25] Такая армия меньше всего могла отвечать критериям достаточной обороны.

Для руководства армия выступала одной из крайне немногих образцовых моделей социальных отношений в советском обществе, ясно и определенно демонстрирующей основные принципы организации социума (хотя собственное участие военных в принятие политических решений, было весьма ограниченным и вторичным). Контроль над армией (наряду с двумя другими важнейшими инструментами тоталитарной власти – репрессивными органами, политической полицией, и кадровыми назначениями, обеспечивающими организацию и массовое управление всеми без исключения областями социальной жизни) был для высшего политического руководства важнейшим силовым аргументом во внутриполитической борьбе номенклатуры. Особое значение это обстоятельство, как и участие структур госбезопасности, имело в критические моменты смены власти. Достаточно вспомнить смещение Л.Берия вскоре после смерти Сталина и утверждение группировки Н.Хрущева, затем снятие его со всех руководящих постов в результате верхушечного заговора в 1964 г., подготовленного руководством КГБ, во время М.Горбачева – ситуацию в 1989-1991 гг. (попытки силового подавления национальных движений в Тбилиси, Баку, Вильнюсе и Риге); и, наконец, сам путч ГКЧП, инициированный В.Крючковым и армейским командованием, при Б.Ельцине – конфронтацию 1993 года, при Путине – события летом и осенью 1999 г. на Северном Кавказе.

---

[24] Там же. Кен О.Н. Мобилизационное планирование и политические решения. Конец 1920 - середина 1930-х гг. СПб, Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2002, с. 329-330.

[25] Важно подчеркнуть, что в середине 1930-х годов начинается смена поколений: в жизнь готово вступить поколение собственно «советских людей», сформированных уже новыми, послереволюционными институтами; постепенно уходят или теряют влияние люди, прошедшие через две войны – мировую и гражданскую. Коммунистические власти в России, как и в других тоталитарных странах, делают ставку на молодежь, на людей, родившихся в годы большевистской революции и гражданской войны, сверстников режима, не имеющих других образцов для коллективной социализации, кроме советских.

Для населения же армия с самого рождения советского режима была инструментом карательной политики. В этом качестве она, и прежде всего «внутренние войска» - НКВД-МВД-КГБ-ФСБ, использовалась против самых разных социальных групп (бунтующих промышленных рабочих, мятежных крестьян, заключенных Гулага), против целых провинций с преимущественно нерусским этническим населением (казахов, украинцев, прибалтов, этносов Кавказа и Средней Азии), не говоря уже о так называемых «репрессированных народах» – чеченцах, ингушах, крымских татарах, калмыках, карачаевцах, корейцах и других. Не менее значимым обстоятельством было использование армии для репрессий против населения других стран социалистического лагеря (Берлин, июнь 1953 года; Венгрия 1956 г., Чехословакия 1968 г., Афганистан 1979 –1989 гг., планы военного вмешательства в события в Польше в 1980 г.). Не следует полагать, что использование армии против гражданского населения было характерно только для периодов формирования тоталитарного режима (1920-40-е годы). Оно носило более или менее постоянный характер (начиная еще с досоветского времени, продолжалось на всем протяжении тоталитарного государства и после него, вплоть до нынешней Чечни). Любое обострение политической ситуации в том или ином регионе СССР (например, в 1957 г. на Кавказе, в Абхазии, в 1985 г. – в Казахстане, в 1988-1991 г. – в Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, в Азербайджане и Армении, в Молдавии, Литве, Латвии и других местах) немедленно вызывало обращение к армии.

Но если бы дело ограничивалось только репрессиями, система не могла бы функционировать так долго. Армия оказывалась важнейшим институтом социализации и идеологической обработки, каналом социальной мобильности для огромных и бесправных в гражданском плане масс. Прежде всего, это относилось к сельским жителям, составлявшим большинство населения страны, лишенным паспортов, а потому не имевшим – кроме ухода в армию - других легальных оснований выбраться из состояния крепостной зависимости от колхозов. Для аграрного населения, тем более – деревни, разоренной коллективизацией, едва пережившей голод 1930-х и 40-х годов, военная служба представлялась занятием весьма привлекательным, а военная карьера - чрезвычайно престижной. Молодежи провинциальных городов и городских низов армия открывала возможность получить начальное общее и профессиональное образование, повысить социальный статус. Так было, по крайней мере, до конца 1970-х годов. Сочетание тотальной угрозы репрессий для всего населения и частных, индивидуальных возможностей карьеры и социальной мобильности для избранных, отличающихся особой лояльностью к властям разного уровня, создавало весьма эффективную систему интеграции общества.[26]

[26] Характерно, что довольно значительная часть высшего офицерского корпуса состояла из представителей именно «репрессированных народов» и дискриминируемых нерусских этносов (назову лишь самые известные имена в этом ряду: Дж.Дудаев, А.Масхадов, В.Семенов, Р.Аушев, Л.Рохлин). Но и А.Лебедь в своей автобиографии вспоминал о расстреле рабочей демонстрации в Новочеркасске в 1962 г. Подобные примеры можно приводить во множестве.

Социализационная значимость армии как института определялась совпадением двух моментов. Во-первых, армия играла роль исходного модернизационного института для огромного континента преимущественно сельского населения, по существу еще не вышедшего из рамок традиционного образа жизни; это касалось не только России, но и других регионов, присоединенных к империи. Во-вторых, армия была не просто каналом массовизации, институтом, формирующим массовое общество, но массовизации специфической – *тоталитарной*. Перенос армейских форм организации жизни на «гражданские» отношения и институты и внешне и внутренне подразумевал возможность, и даже необходимость подобных соответствий. Остановимся на этом несколько подробнее.

Советская власть складывалась в ситуации военного поражения в первой мировой войне, в условиях краха государства, не выдержавшего слишком сильных напряжений между крайне архаичной патримониальной бюрократией и быстро развивающейся капиталистической экономикой. Несостоятельность основных социальных и государственных образований старого режима, особенно из-за утрировавшей эту неэффективность коммунистической пропаганды, надолго дискредитировала в России любые институты, обеспечивавшие нормальное функционирование общества и экономики. Советский режим, сформировавшийся в 1920-х - первой половине 1930-х гг., не просто сохранил основные черты военного положения времен Первой мировой войны, присущие промышленным войнам такого масштаба - плановую экономику, подчиненную военным целям, упрощенное, по преимуществу репрессивное судопроизводство, иерархический безальтернативный властный порядок, отсутствие представительских органов власти, цензуру, принудительную занятость. Он многократно усилил эти свойства военно-мобилизационного общества, сделав саму готовность к мобилизации одним из легитимационных принципов власти. Тем самым вся организация социальной системы оказалась выстроенной «сверху вниз» как жесткое иерархическое соподчинение разных уровней контроля и массового управления.

Армия и фабрика в советское время представляли собой лишь две разновидности социальных институтов, выступавшие в качестве образцовых для понимания характера всего общественного целого.[27] Армия и фабрика различались в данном случае не принципами организации, а целями функционирования. Грань между ними в определенные времена - примерно с середины 1930-х по середину 1950-х гг. и даже позже - была очень условной. Свободы выбора сферы занятости в стране не существовало с 1940 г., а сами принципы органи-

[27] Ср.: выступление К.Ворошилова на ежегодном пленуме РВСС в октябре 1931 г. «…Красная Армия есть составная и притом наиболее организованная часть нашего государства…». - Цит. По: Кен О.Н. Мобилизационное планирование и политические решения. Конец 1920-середина 1930-х гг. СПБ, Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2002, с.196. См. также: Дубин Б. Модельные институты и символический порядок: элементарные формы социальности в современном российском обществе// Мониторинг общественного мнения, 2002, №1, с.14-19.

зации отношений на большинстве предприятий (так называемых «режимных») не слишком отличались по командно-иерархическому устройству от закрытых корпораций военного типа.

Императивы всеобщей мобилизации становились принципами организации повседневной жизни. Они определяли возможности и ограничения приема на работу, типы карьеры, условия обучения в высших учебных заведениях, параметры социальной мобильности (свободу перемещения и кадрового назначения), характер прав собственности, рамки дозволенного индивидуального поведения, типы лояльности как к вышестоящему «начальству», так и к сетям неформальных или локальных отношений «своих», обеспечивающих условиях выживания, - семье, дружеским связям, отношениям на работе (всему, что позволяло хоть как-то ограничить репрессивное давление «сверху»).

Иначе говоря, представлениям о «кольце врагов», в котором находится страна, соответствовали представления о «порядке в стране», жестком, репрессивном режиме организации жизни, бытовом корреляте «оборонного сознания». Оба этих фактора – и мобилизационные императивы «угрозы извне», и массовое восприятие власти как источника покровительства, социальной защиты, распределения благ, хранителя справедливости и равенства – взаимосвязаны и поддерживают друг друга.

Мобилизационные структуры не просто проникали вглубь гражданской жизни, они пронизывали и подчиняя себе ее важнейшие сферы. О военно-промышленном характере советской экономики и приоритетах ВПК написаны сотни книг.[28] Известно, что любое гражданское производство имело свои мобилизационные планы, в соответствии с которыми в случае войны предприятия немедленно переходили на выпуск военной продукции (очень часто именно эти обстоятельства препятствовали оптимизации или модернизации производственных технологий и ассортимента продукции). Но, если даже не касаться собственно экономики, то все равно приходится говорить о тотальном влиянии военных на общество. Прежде всего – всеобщность воинской повинности: почти все мужчины должны были пройти двух-трех летнюю срочную службу.[29]

Формирование элиты (селекция и подготовка кадров в вузах) требовало, среди прочего, принятия «причастия буйвола», как говорил Г.Белль. В вузах вводились обязательные для посещения военные кафедры, обеспечивающие соответствующие военно-технические или военно-политические специальности, занимающие от 5% до 10% времени обучения (в зависимости от пола учащегося и от профиля вуза). И это не считая собственно военных вузов и универ-

[28] В.Заславский называет СССР «военно-индустриальным обществом», а модернизацию в СССР «милитаристской модернизацией». См.: Zaslavsky V. The Soviet System and the Soviet Union: Causes of Collapse//After the Empire/Ed. by K.Barkey, M.von Hagen. Boulder: Westview Press, 1997.

[29] Если до 1960-х – середины 1970-х гг. через службу в армии проходило от 45 до 60% мужчин соответствующих возрастов, то сегодня удается забрать не более 10% молодежи призывного возраста. Военные же сборы практически умерли – для них нет денег в казне.

ситетов, составлявших в среднем 15-18% от общего числа вузов в стране. Люди с высшим образованием, соответственно, получившие звания офицеров запаса, раз в несколько лет отправлялись на «сборы» (месячные или двухмесячные курсы или программы военной переподготовки и повышения квалификации). Общеобязательными были также курсы и занятия по гражданской обороне.

Принципиальны здесь социальная принудительность, психологическая дрессура; присутствие интересов армии в любой сфере жизни (причем армии как института, сохраняющего черты и «тотального» и «национального», а тем самым консервирующего в своих или подобных им организационных формах семантику ранних фаз национального формирования, консолидации социального целого).

Парамилитарные аналоги имели очень широкое распространение. С одной стороны, они охватывали такие явления, как использование армии вроде бы в сугубо мирных целях (трудовая армия, строительные или железнодорожные войска, применение солдат на любых работах, имеющих общегосударственное значение – от рутинной «помощи селу» в виде участия войск и армейской техники на сезонной уборке урожая до ликвидации последствий в чрезвычайных ситуациях). С другой, напротив, гражданское население подчинялось армейским требованиям и формам. Такова периодическая неоплачиваемая работа, связанная с уборкой урожая, походы на овощные базы, уборку территории и другие обязательные для гражданского населения работы (райкомовские принудительные разнарядки по заводам и учреждениям включали научные и учебные институты, исключений практически не было). Такова милитаризация досуга детей и молодежи в летних детских лагерях, построенных по принципу сборов армейского запаса, студенческие «стройотряды». Таково использование военизированных ритуалов и формы одежды для школьников и т.п.[30]

Автаркия военного ведомства, неподконтрольность, неподотчетность, неподсудность армии и подобных ей служб, приоритет интересов военно-промышленного производства означали с точки зрения социологии культуры наличие разных по смыслу, непересекающихся сфер, систем права и судопроизводства. Области или фазы собственно военного и гражданского существования для основной массы активного населения не представляли собой абсолютно разнородных сфер жизни, а образовывали, скорее, чередующиеся социальные пространства со своими нормами поведения, ценностями, ритуалами. Отсутствие автономности, непредсказуемость мобилизационных кампаний оборачивались невозможностью упорядоченности и рационализации жизни, порождали у людей чувство беспомощности, полной зависимости отдельного чело-

[30] Равно как и работников прокуратуры, дипломатов, железнодорожников и др. Сталин собирался ввести подобную униформу и для ученых, прежде всего – работников Академии наук, для членов творческих союзов, писателей, композиторов и проч., но не успел. Китайские или северокорейские синие кители именно потому сейчас воспринимаются в России комически, что всего несколько десятилетий назад это было абсолютно серьезным правилом массового поведения в СССР, показателем лояльности, социального статуса и проч.

века от начальства, иррационализма власти, - всего того, что Дж. Оруэлл называл «двоемыслием» как принципом тоталитарной организации жизни. (Собственно, это и есть воспроизводство партикуляризма нового, нетрадиционалистского типа).

Для компартии, с начала ее утверждения у власти, армия была идеальной моделью управляемой массы, ее образцом, предназначенным для употребления в самом разном отношении. Значимым моментом такой организации является неразличимость или слитность оснований управления: солидарность и патетичность соединяется с жесткой принудительностью, деперсонализацией подчиненных, безапелляционностью командования и безальтернативностью подчинения. Формальная, жесткая, репрессивно-ирерархическая организованность массы устраняла (замещала, делала избыточными) вопросы о легитимационных основаниях командования и самой власти. Поскольку процессы массовизации традиционного социума происходили в период военного положения, революционного произвола, насилия, слома старых оснований социального порядка и сословного авторитета, то *организованный произвол* приобретал сам по себе черты *квази-легитимности*, лишь укреплявшейся с течением времени.[31] (Организованная колонна обретает некоторые свойства формально-рациональной структуры, независимо от целей движения).

Армия в глазах коммунистических вождей представляла собой модель оптимального общественного устройства, причем модель организации - универсального применения, простой и всем понятный образец целевого массового управления, основанного на жесткой иерархии, централизованном репрессивном контроле, монополии средств принуждения, слабой функциональной дифференциации, дисциплине, на подавлении индивидуальной автономии и свобод, отсутствии информационного разнообразия. Но такие характеристики массы давали возможность «рационально» планировать запросы армии и общества, определять характер их обеспечения вне зависимости от целей использования.

Поэтому армия как государственная организация насилия воплощала в себе основные ценности советского общества и связанные с ними механизмы коллективной идентичности. Если современные западные общества формировались в процессах институционализации таких ценностей, как индивидуальная автономия (частная собственность, неприкосновенность прав человека), гетерогенность убеждений и верований, свобода, толерантность, и, соответственно, конституционного утверждения социальных механизмов, необходимых для репрезентации и защиты подобных значений и образцов действия (в виде рынка, парламента, многопартийности, независимого суда), то советское общество,

[31] Разумеется, для социальной элиты, формирующейся вокруг новой советской власти, значимы были и другие, уже идеологические моменты – «строительство нового общества» и т.п., но для массы малограмотного населения действующим был лишь сам принцип силового принуждения и организованности насилия, длительность которого сама по себе приобретала черты привычной упорядоченности и «законности». Полнота безальтернативной власти у руководства страны, не имеющая никаких других обоснований, кроме самой власти, сохранилась как принцип авторитета и законности и сегодня. Для массового сознания сегодня нет других источников легитимности.

при всем его видимом идеологическом миссионерстве и революционаристском экспансионизме, изначально строилось как глубоко консервативное, охранительное, не допускающее ценностного разнообразия и имманентных инноваций, идущих от частного и автономного субъекта. Охранению подлежал прежде всего сам «ген тоталитарной социальности» - принцип вертикальной конституции общества как системы многоуровнего социального контроля, власти, определяющей сферы необходимого, возможного и допустимого социального поведения. Именно поэтому советская система не имела социальных механизмов формальной смены руководства, открытых дискуссий о выборе направления развития или о каких-то других политических программах. Их отсутствие было не дефектом системы, а ее принципиальной особенностью.

Милитаризм оказывался не столько «техническим» обоснованием решения идеологических или политических задач, экспансии господства на любые доступные для расширения сферы влияния, будь то страны Восточной Европы или третьего мира (на языке партийной номенклатуры - «борьба за мир, безопасность и демократию»), сколько идеальной конструкцией советского социума, к которой постоянно апеллировали партийно-хозяйственные руководители и агитаторы. Позднее, уже на стадии брежневского «развитого социализма» и начала разложения советской системы, милитаризм стал принципом массовой культурной идентификации. Опять-таки, дело не в том, была ли экспансионистская программа («строительство социалистического общества в других странах») успешной или нет: успех мог подтверждать легитимный характер режима, как это было после войны, но неудача подрывала его далеко не всегда.[32]

Речь вообще идет не о прагматических оценках и поддержке соответствующей политики (в советское время или в постсоветской России политика была сферой, принципиально защищенной от любых форм ответственности), а о самой конституции общества.

В данной системе представлений военный успех ассоциировался, в первую очередь, с ценностью «великой державы» и мог интерпретироваться только как значимый компонент символического целого, органического социального порядка, на котором основывалась русская государственность. Совершенно не обязательно при этом, чтобы это был реальный, фактический успех. Функционально значимой оказывалась сама культивируемая идеологическая ценность победы, становящаяся кристаллизатором огромного множества значений и риторических фигур национального самосознания.

Эти ценности, включая воинские идеалы и добродетели, - героизм, верность, готовность к самопожертвованию, повиновение, стойкость, мужество - составляют важнейший фон семантики советской власти. Источник соответствующих определений - именно власть, располагающая монополией на распределение их в обществе, официально квалифицирующий тех или иных под-

[32] Sapper M. Die Auswirkungen des Afghanistan-Krieges auf die Sowjetgesellschaft. Eine Studie zum Legitimitätsverlust des Militärischen in der Perestrojka. Műnster; Hamburg, Lit, 1994, особенно - S.289-357.

данных как достойных этих ценностных характеристик. Антизападничество (антимодернизм) и идеология “особого пути” образовывали единый комплекс, включавший несколько компонентов: милитаристско-полицейский режим, особое значение властной вертикали в конституции общества; горизонталь массовой солидарности, социальной однородности, управляемости с точки зрения власти или, в категориях русских славянофилов - органического, ”соборного” национального единства власти и народа, проникнутого чувствами всеобщей “православной” любви и избранности. В советское время этот комплекс был дополнен идеологемами особых, чрезвычайных состояний, в которых отменяются обычные повседневные механизмы регуляции и “частные”, “нормальные” интересы (с точки зрения слабых и культурно не обеспеченных структур гражданского общества). Монопольное сосредоточение этих символических функций только у власти нейтрализует или парализует потенциал собственно гражданской активности и солидарности, возможности социальной дифференциации, значений представительских институтов.[33]

Поэтому армия и полиция становятся центральными, представительскими институтами, символически обозначающими основные ценности всего «коллективного целого», приоритет общих интересов над частными, важность сохранения целого. Этим советское (и отчасти постсоветское общество) отличается от модерных обществ Запада, где в качестве базовых выступают другие публичные институты (экономические, политические, наука, искусство, спорт и т.п.), интегрирующие целое посредством системы символических коммуникаций и обменов.

В советское время было бессмысленным спрашивать, сколько стоит конкретный танк или баллистическая ракета, поскольку не существовало механизмов опосредования, которые устанавливали бы примерные соотношения общественных затрат и цену спроса. Пропорции не могли устанавливаться применительно к человеческим запросам и потребностям: ресурсами распоряжались, исходя из соотношения влияний соответствующих групп в составе номенклатуры и высшего руководства, отраслевых лоббистов в ЦК КПСС. Уровень потребления и стандарты повседневной жизни выводились «плановым образом» «по остаточному принципу», то есть, как минимально необходимые издержки, необходимые для воспроизводства структуры господства и сохранения приоритетов ВПК.[34] Система ценностей и приоритетов выстраивалась «сверху вниз», безальтернативно, как данность, не подлежащая обсуждению. И такое положение вещей населением (обществом) волей или неволей принималось.

---

[33] Не с этими ли резидуальными представлениями связаны массовое признание, благодарность и популярность министра МЧС С.Шойгу?

[34] Хотя в позднее советское время экономисты и пытались рассчитать удельный вес военно-промышленного производства в СССР, определив, например, что стоимость программы «Буран» (беспилотного космического корабля многоразового использования, советского варианта «Шаттла») примерно эквивалентна десятилетней программе жилищного строительства в СССР, но это никто не принимал в расчет. Сама мысль о том, что можно или следовало бы спросить население, согласно ли оно жертвовать условиями своей жизни ради достижений в космической гонке с американцами или нет, представляется нелепой.

Задача самосохранения номенклатуры - основной корпоративный мотив действий высшего руководства СССР - предполагала не просто перевод любых событий внешнего или внутреннего мира на язык противостояния «своих» и «чужих», врагов и союзников, а порождала способ организации реальности по принципу неустранимой конфронтационности, вменения мотивов враждебности к советскому у всего, что не «наше». Так, именно сразу после победного конца войны и колоссальных потерь, человеческих и экономических, был начат совершенно новый этап военно-политического развития – «гонка вооружений», холодная война, заморозившая убогий уровень жизни населения, продолжение или даже усиление репрессий еще на как минимум на десять лет.[35]

Институты массового насилия, обеспечивающие конституирование и организацию советского общества в период его формирования и утверждения, были первыми по времени появления и наиболее важными (самодостаточными) на всем протяжении существования СССР, хотя идеологически – в массовой пропаганде, в риторике строительства «нового общества» и создании «нового человека» – эти институты всегда трактовались как инструментальные, вынужденные, а потому – как бы временные. Сегодня, спустя 15 лет после начала перестройки, все более отчетливо проявляется их фундаментальная роль в воспроизводстве всего общественного целого, их смыслополагающая, интегративная, символическая, а не просто исполнительская функция (защиты власти в широком плане, включающая и селективные репрессии против отдельных групп населения или конкурентов в составе самой номенклатурной верхушки до обороны против внешней агрессии). С усилением разложения мобилизационно-репрессивного режима советского типа реальные, а не декларативные функции этих структур приобретают все более обнаженный характер, становятся все более заметными на фоне ослабления инструментальной эффективности их, массовой дискредитации их, росте негативного к ним отношения.

Институциональный костяк посттоталитарного социума, удерживающий организованность всего целого после развала других важнейших институтов, казавшихся центральными и опорными для советского времени (партии, сращенной с государственными аппаратом, плановой государственной экономикой, институтами пропаганды) сохранился после краха других институциональных структур только потому, что основные усилия аппарата были направлены на блокировку процессов социальной и функциональной дифференциации, подавление возможностей возникновения автономных от власти социальных образований, т.е. прежде всего - на удержание самого «вертикально-иерархического» принципа конституции общества, социального порядка, выстроенного как система однонаправленного, «сверху-вниз», довольно примитивного контроля.

[35] См.: Быстрова И.В. Военно-экономическая политика СССР: от «демилитаризации» к гонке вооружений. / Сталинское десятилетие холодной войны. Факты и гипотезы. М., Наука, 1999, с.171-187.

Практика подобного управления (по схеме, интуитивно найденной в последние десять лет) предполагает сочетание двух условий: состояния массовой апатии и астении (как результат продолжавшегося десятилетиями воздействия мобилизационных компаний и институтов) и периодических кризисов, дающих импульсы краткосрочной негативной мобилизации (угрозы «врага», опасности терроризма, стихийных или техногенных бедствий, угрозы развала систем массового жизнеобеспечения), напоминающих о важнейших ценностях и составляющих прежнего социального порядка, но не восстанавливающих его в полном виде. Эффекта подчинения, демонстративной, хотя и вялой, принудительной поддержки, в принципе, можно достичь, совершенно не обязательно сохраняя постоянным режим чрезвычайщины, тотальной мобилизации, широких репрессий, истерической взвинченности и готовности к разоблачению внутренних врагов или к отпору внешних, как это было в 30-50-х годах. Для этого вполне достаточным оказывается сохранение режима заложничества (отложенного наказания «для всех», всеобщего призыва, избирательного правоприменения, угрозы терактов) (или убедительного впечатления подобной безальтернативности, безвыходности, возможности действовать как-то иначе, чем до сих пор).

Этого сравнительно «спокойного», редуцированного эквивалента прежнего массового террора вполне достаточно, чтобы парализовать потенциал автономности каких-либо групп и, соответственно, возможности появления иных оснований для солидарности и реструктуризации всего социального целого. Собственно к этому сводится сущность нынешней политики «управляемой демократии», демонстративного устранения по возможности любых «субъектов», независимых от номенклатуры разного уровня, производимого под любым предлогом, чаще даже как бы не имеющих вида прямого административного давления и произвола, т.е. проводимой через суд, решающего не политические вопросы, а «споры хозяйствующих субъектов», или прокуратуру, возбуждающие в порядке надзора дела о тех или иных нарушениях закона и финансовых злоупотреблениях.

Антиподом тоталитаризму в этом случае будет не «общество с представительской демократией и рыночной экономикой, неотчуждаемыми правами и свободами», а желеобразный социум, удерживаемый в этом состоянии небольшим числом институциональных структур понижающей или негативной адаптации, обеспечивающий «усерение» общественной жизни, разгрузку от актуальности, де-проблематизацию публичной сферы. Отдельные социальные или культурные анклавы или гетерогенные включения не меняют характер целого, если они не представлены на публичной сцене. Важно лишь, чтобы воспроизводился хотя бы в минимальном объеме управляющий контур старого типа, представленный правящим кабинетом, подчиняющимся по-прежнему императивам соответствующих ведомств.

К таким выводам подводят уже довольно значительное число исследований, проведенных во ВЦИОМе за последние годы и описывающих характерные состояния нынешнего массового сознания и тенденции институциональных изменений. Я бы отнес сюда и «деградацию» демократических выборов разного уровня, политическую и законодательную стерилизацию парламента, роль ТВ, развитие астенического синдрома в начале второй чеченской войны, усиление «идеологемы врага» и рост неотрадиционализма, аполитичность и инфантильность молодежи, но также и общее повышение удовлетворенности при отсутствии роста материального уровня жизни населения и какого бы то ни было оптимизма, крайне слабом выражении протеста и многое другое.

Распад «закрытого» общества, не выдерживающего внутреннего давления хронической мобилизации, сопровождается явлениями социальной аномии, превращением институционально культивируемой и направляемой агрессивности в диффузную бытовую злобность, повседневную брутальность и массовую ксенофобию. О характере этого теперь эрозированного, но ранее воспитываемого и организованного насилия можно косвенно судить по общему числу заключенных на единицу населения (даже с учетом ведомственного занижения регистраций деликтов) или самоубийств. По тем и другим параметрам Россия, если не лидирует, то разделяет 1-2 места с другими странами.

Внутренние механизмы консервации роли военных. Несмотря на видимые перемены, произошедшие в России за последние 12 лет, ключевые институты советского государства, которые относятся к воспроизводству власти и структур репрессивного контроля, - армия, органы государственной безопасности, судебная система, полиция - остались практически неизменными. Перемены, вызванные распадом союзных структур управления, заключались в имитации сокращения численности армии по сравнению с доперестроечным временем и, соответственно, объемов ее финансирования.[36] Но все это не коснулось статуса армии и правоохранительных органов.

Планы демократов, пытавшихся радикально изменить характер и положение силовых структур в обществе, снять табу со всего, что относится к армии и

[36] Однако по мнению одного из наиболее серьезных военных аналитиков в России, это сокращение носит чисто фиктивный характер: «Сегодня в Минобороны с учетом так называемых вольнонаемных, многие из которых – бывшие военные, вновь зачисленные после увольнения, на службе около двух миллионов человек. Это конечно, несколько меньше, чем было в советском МО. Но надо учесть, что в советское время в «силовом блоке» было меньше военизированных ведомств. В 90-е годы из МО вычленили войска гражданской обороны (МЧС), железнодорожные войска и спецстрой. Причем, если исходно в российских войсках ГО было 30 тысяч, то сегодня в МЧС – несколько сотен тысяч … МВД с распадом СССР только росло…Сегодня там служат с учетом неаттестованных сотрудников 2 млн. человек. Из КГБ СССР вылупились: ФСБ с погранвойсками, ФСО с президентской службой безопасности. И тоже все эти годы численность сотрудников только росла, особенно в службе охраны. Еще в силовой блок входят прокуратура, таможенный комитет, новое федеральное ведомство по наркотикам (все в погонах) и МИД. Всего в этом блоке – более пяти мил сотрудников. По мнению военных – штатных сотрудников думского комитета по обороне, сегодня реальная милитаризация и бремя расходов на содержание силового блока на среднестатистическую душу российского населения существенно выше, чем в советские времена, поскольку мы унаследовали только половину советского населения и экономического потенциала, а «силовой блок» – практически весь». – Фельгенгауер П. Путин закончил военную реформу в России// Новая газета, 2003 г., 4 августа.

службам госбезопасности, реализовать не удалось. Критика положения дел в армии свелась, главным образом, к обличению коррупции среди высших армейских чинов, масштабов и причин распространения насилия («дедовщины»), массового дезертирства, низкого уровня материального обеспечения военнослужащих, отсутствия у них правовой защиты, но не затронула самой сути изжившей себя социальной организации вооруженных сил. За годы, прошедшие после краха советской системы, ни в парламенте, ни в прессе практически не было дискуссий о военной доктрине (и соответственно понимания целей и задач армии в посткоммунистическом мире), а потому всерьез не затрагивались вопросы прозрачности и размера военного бюджета, механизмов депутатского контроля над ним. Другими словами, не произошло концептуального переосмысления задач армии и роли вооруженных сил в изменившемся мире. Иначе и быть не могло, поскольку проблема реформирования и определения целей военной политики была отдана самому военному руководству, а оно меньше всего было заинтересовано в кардинальных переменах или способно на них.

Верхушечный характер борьбы за власть при сохранении известной отчужденности от политики самого населения и крайней неразвитости структур гражданского общества, доминировании в советской политической культуре государственно-патерналистских установок населения объясняет относительно мирный характер распада государственно-политической системы. (За словом «мирный» скрывается ложное представление о том, что «массовые социальные движения», «глубинные трансформационные процессы» были насколько мощными, что ни военные, ни КГБ не решились на открытые и активные репрессии. Сегодня понятно, что это не более, чем иллюзии поверхностных демократов и либералов»). Но уже закрепление произошедшего передела власти и тем более - консервация установившегося порядка сразу же потребовали демонстративного использования военной силы, усиления роли армии и спецслужб в качестве инструмента реставрации контроля центральной власти над происходящим, укрепления ослабевшей «вертикали» социального порядка.

Подавление «парламентского» протеста после длительного противостояния Верховного Совета РСФСР и Президента России летом и осенью 1993 года уже шло при непосредственном участии армии. Результатом стал, соответственно, рост влияния генералитета и спецслужб, преемников КГБ СССР как в непосредственном окружении Б.Ельцина, так и в других социальных институтах, имеющих прямое отношение к политическим решениям - в правительстве, парламенте, вновь образованном при президенте Совете безопасности и др.. Это, в свою очередь, повлекло за собой ослабление, а затем и прямое оттеснение более либеральных и прозападно настроенных «младореформаторов» от руководства ключевыми секторами социальной и экономической политики. Чем меньшую социально-политическую роль играл российский парламент, утративший после принятия новой конституции ряд важнейших контрольно-законо-

дательных функций, тем большее влияние на политику получали высшие военные чины. Президент Ельцин все чаще рассматривал последних как прямую опору своей личной власти, гарантию ее стабильности.

Прямыми следствиями этих изменений уже в конце 1994 года стали первая чеченская война и смена внешнеполитических ориентиров. В политическом дискурсе появились принципиально иные обороты. Декларации о необходимости интеграции с западным миром (в более популистском, а потому и более влиятельном варианте они именовались предательством национальных интересов России «демократами», «сдачей» страны западному капиталу) сменилась риторикой умеренного противостояния, а затем и прямой антизападной истерией, требованиями поставить барьер против расширения НАТО на восток. Эксплуатация разного рода фобий, от «защиты национальных интересов России» до утверждений прямой угрозы ее безопасности, экспансии западных стран, обвинений в стремлении «колонизовать Россию», информационная подача политики реформ в стране как реализации давнего заговора западных кругов против «Великой России» оказалась очень продуктивной, поскольку в массовом сознании острый экономический кризис и падение жизненного уровня с самого начала связывались именно с рыночными и демократическими переменами. Усиливалась политика изоляционизма, росли антилиберальные настроения в стране, оживлялась ностальгия по советскому прошлому. Чем слабее в физическом и политическом плане оказывался Б.Ельцин, тем значимее была роль военных, точнее - «силовиков», включая и чрезвычайно разросшуюся президентскую охрану, возглавлявшуюся А.Коржаковым, который стал активно вмешиваться в экономическую и политическую жизнь.

Возник замкнутый круг. Начатые и нереализованные реформы таили в себе опасность социальной нестабильности, огромный потенциал социального напряжения, кризиса власти, снять угрозу которого, по мнению верхушки руководства, можно было только укреплением силовых структур МВД, армии, ФСБ и, соответственно, отстранением тех кадров, которые могли относительно последовательно и благополучно завершить реформы и добиться позитивных результатов - подъема экономики, повышения материального уровня жизни населения. Именно в эти годы (1994-1997 гг.) МВД предоставляются огромные материально-финансовые средства, идет увеличение численности и реорганизация вооруженных подразделений внутренних войск (новое оснащение войсковых частей МВД), реанимируются и отчасти реабилитируются структуры госбезопасности.

Армия в постсоветской России: функция консервации системы Начавшаяся чеченская война стала первой и самой значимой попыткой, предпринятой «силовым блоком», сохранить распадающуюся структуру мобилизационного и репрессивного государства, обеспечив ему массовую поддержку рос-

сийского общества.[37] За восемь в общей сложности лет войны российские генералы приобрели небывалое политическое влияние. Только в условиях хронической слабости центральной власти силовые (военные) решения и акции принуждения могут представляться и политическому руководству, и обществу в целом как самые простые и наиболее эффективные в ситуациях, требующих терпения, рациональности, такта, исторического понимания, культуры и компетентности. Даже свое поражение российские военные сумели обернуть преимуществом, обвинив политиков в предательстве, в том, что те «держали их за руки», не давая им материальных средств и ограничивая свободу их действий в окончательном уничтожении отрядов чеченского сопротивления.[38]

В этом контексте появление на вершине власти В.Путина, бывшего ранее руководителем ФСБ, кажется вполне закономерным. Для понимания механизмов консолидации российского общества совершенно неважно, были ли вторжение чеченских вооруженных отрядов Ш.Басаева в Дагестан и взрывы жилых многоэтажных домов в российских городах инициированы ФСБ для дестабилизации положения в стране, создания атмосферы страха и неуверенности, без которых невозможен приход авторитарного по стилю лидера - «спасителя отечества», или же эти структуры в целом не причастны к этим актам. [39] Сам по себе стремительный выход на первый план в России такой фигуры, как Путин, фигуры, ранее практически никому не известной, не имевшей и не имеющей собственной политической программы, так что любые политические силы и группировки могут увидеть а нем что-то свое, близкое им по настроениям, означал лишь, что Путин - «выдвиженец», креатура мощных, обладающих реальной властью группировок в структурах государственного управления и зависимых от государства секторах экономики.

Вторая чеченская война стала политическим реваншем военных и спецслужб после нескольких лет ограничения их влияния и власти реформистски настроенным крылом номенклатуры (правительством Е.Гайдара). Сегодня влияние военных на политическую жизнь идет по нескольким каналам. Высший уровень политического руководства – ближний круг президента - представлен почти исключительно выходцами из КГБ, руководством армии и от-

[37] Еще раз подчеркну, что этот сценарий событий последовал только после того, как неудачей закончились две предыдущие попытки переворота и реставрации прежней системы – ГКЧП и конфронтация Ельцина с ВС РСФСР в октябре 1993 г., обернувшаяся вооруженным мятежом, подавленным Ельциным с помощью верных ему элитных частей армии и спецназа.

[38] В реальности это «окончательное решение» могло быть только одним – получением военными санкции высшего руководства на тотальный геноцид чеченского этноса, «превращением территории Чечни в пустыню Гоби», как к этому призывал генерал А.Руцкой.

[39] Как бы ФСБ не открещивалась время от времени от возникающих подозрений в том, что она причастна к этим рейдам чеченских сепаратистов или даже что она спровоцировала их, дабы путем искусственного обострения ситуации в стране, получить возможность введения особого чрезвычайного режима, тот факт, что именно В.Путин был руководителем ФСБ в это время, а значит обладал соответствующей информацией, средствами контроля над ситуацией в регионе и в стране в целом, позволяет лучше понять те механизмы, которыми воспользовались группировки, приведшие его к власти по известному еще с 1934 года (убийство Кирова) сценарию.

ставными генералами[40]. Менее заметны процессы проникновения военных и бывших сотрудников спецслужб в финансово-экономические структуры крупных корпораций или принуждение к сотрудничеству с ними руководства крупнейших предпринимателей, финансирующих партию власти и предвыборные кампании на местах. [41]

Усиление спецслужб и военных не остается без внимания в российском в обществе, однако оно не вызывает должных негативных реакций, а тем более сопротивления. Напротив, оно резонирует массовому разочарованию в характере и результатах реформ в обществе и экономике, дискредитации государственной власти в целом, ностальгии по советскому прошлому и представлениям об армии как воплощении национальных символов и ценностей.[42] (Именно поэтому армия находится в положительной зоне «доверия» к общественным институтам, сразу после президента и церкви, хотя баланс массового доверия очень невысок: разница между доверием и недоверием составляла на протяжении 2003 года всего 4-6 пп., у президента - 52-53 пп, у церкви – 24 и 31 пп.). В этом контексте связь Путина с госбезопасностью и армией выглядит в глазах значительной части российского общества скорее достоинством, нежели позорящим пятном на репутации.[43] Об этом свидетельствует повышение доли тех респондентов (в 1.6 раза), указывающих на президента как представителя интересов спецслужб и силовиков.

Таблица 4

Какие социальные силы или интересы каких групп представляет президент Путин?[44]

	Февраль 2000	Март 2001	Март 2002	Март 2003
«Силовиков», спецслужб, армии, МВД	28	36	33	44
«Олигархов», банкиров, крупных предпринимателей	18	18	25	29

[40] Подробнее см.: Макаркин А.В. «Питерская» команда Владимира Путина // Москва – Петербург. Российские столицы в исторической перспективе. М.: 2003, с.130-149.

[41] В этом плане особенно интересен последний и самый острый конфликт силовиков с крупнейшей российской компании «Юкос». Речь идет о попытках одного из кланов «питерских чекистов», пришедших вместе с Путиным и составляющим влиятельное крыло в его администрации, произвести передел собственности, отодвинуть на задний план партию нынешних центристов (во главе с руководителем администрации президента и блоком губернаторов и других региональных лидеров) и тем самым обеспечить себе твердые позиции во власти и экономике после 2008 года.

[42] Но прямое правление армии, установление в стране военного положения, диктатуры военных обществом воспринимается крайне негативно: против передачи всей полноты власти военным высказываются 85% опрошенных. см.: Общественное мнение –2002.Ежегодник ВЦИОМ. М.,2002, с.119.

[43] Косвенно об этом же свидетельствует и поддержка значительной частью населения идеи восстановления памятника Дзержинскому у здания КГБ в Москве на Лубянской площади, демонтированного в августе 1991 г. во время путча КГЧП. Соотношение сторонников восстановления и их противников составляет в этом случае 3:1.

[44] Последующие распределения ответов опрошенных на этот вопрос (2004-2007 гг.) см. в «Общественное мнение. 2007» Ежегодник Левада-центра. М., 2007, с. 69.

«Семьи», ближайшего окружения Б.Ельцина	22	22	21	28
«Среднего класса»	18	23	23	27
«Простых людей», служащих, рабочих, крестьян	25	18	17	21
Государственной бюрократии, чиновничества	13	19	23	21
Директорского корпуса, руководителей крупных предприятий	10	16	18	17
Культурной и научной элиты	6	9	7	11
Всех без исключения	8	11	10	9

В % к числу опрошенных в соответствующем опросе, N=1600

Такие установки массового сознания могут означать лишь одно: высокий статус армии и спецслужб – это индикатор отсутствия изменений или, другими словами, сохранения бесконтрольного положения власти.

Воспроизводство «оборонного сознания»: Россия и НАТО. Массовая настороженность и негативизм в отношении НАТО как военной организации западных стран, где командуют США, остается весьма заметным фактором политической консолидации. 40% опрошенных полагает, что политика расширения НАТО на восток угрожает безопасности России (14% респондентов полагают, что, напротив, она укрепляет ее безопасность и, еще 25% считают, что она «не оказывает существенного влияния» на состояние России). Именно потому, что никаких реальных оснований для опасений в отношении НАТО нет и командование НАТО, западные лидеры высказываются на этот счет совершенно определенно, подобные страхи россиян следует рассматривать как перверсию их собственной многолетней институциональной агрессивности. Однако сама эта агрессивность (остаточный милитаризм) находится в состоянии «полураспада». Чем конкретнее звучит формулировка социологического вопроса, чем дальше она отходит от традиционных клише советской пропаганды, тем более спокойны реакции российских респондентов. Например, в отличие от вышеприведенной формулировки вопроса («политика расширения НАТО на восток»), вопрос: «Представляет ли НАТО сейчас угрозу для России?», ответы распределились иным образом: «да» сказали лишь 32% опрошенных, «нет» - уже 49%. Другими словами, преобладает сдержанное, дистанцированное, настороженное, но отнюдь не агрессивное отношение к НАТО.[45]

Причина устойчивости антизападнического мобилизационного синдрома заключается в том, что, несмотря на разложение армии и милитаристского

[45] Вступление России в НАТО готовы поддержать 35%, против вступления - 47% опрошенных (март 2003 г., N=1600). (Ср. с приводившимися выше ретроспективными оценками «неизбежности» второй мировой войны).

комплекса, замены им нет. Сохранение старой институциональной системы препятствует возникновению других представлений об армии и ее отношениях с обществом, блокирует возможности рецепции других институциональных моделей, парализует даже саму идею другой концепции вооруженных сил, как показывает судьба всех разговоров о военной реформе. Интересы раздутого генеральского корпуса, нуждающегося в соответствующих частях и должностях, боящегося любых изменений, а потому всеми силами держащегося за консервативную, по существу - все еще советскую военную доктрину, провоцирующего войны и кризисное состояние в стране, чтобы сохранить финансирование и кадровую структуру армии, являются сегодня одной из главных причин внутреннего политического паралича, отсутствия значительных изменений, неудачи модернизации России уже в посткоммунистическое время.

Но было бы неправильным думать, что только генералитет, офицерский корпус или предприятия, входящие в систему ВПК, заинтересованы в поддержании нынешней модели отношений армии и общества. О том же свидетельствует готовность большинства россиян одобрить увеличение военных расходов, несмотря на плачевное состояние госбюджета. Как полагают опрошенные, плоха не сама модель армии, а нынешние условия ее реализации. Поэтому 55-60% опрошенных в 2000-2001 гг. считали, что армия сможет их защитить в случае реальной военной угрозы со стороны других государств.

Общественное мнение об армии и ее реформе. До определенного времени опросы показывали очень высокий уровень поддержки идеи реформирования армии и перевода ее на контрактную основу («за» профессиональную армию в 2001 г. выступали 84% россиян). В качестве первого этапа реальной военной реформы обществом высоко поддерживалась идея введения альтернативной гражданской службы. Но принятие генеральского варианта закона об альтернативной службе, не просто удлинявшего вдвое сроки прохождения этой службы, но ставящего «отказчика» в заведомо более тяжелые условия фактического отбывания «наказания» от уклонения от службы в армии, к тому же требующего от "альтернативщика" пребывания в казармах, а не на социально-гуманитарных работах, привело, как и рассчитывал на генштаб, к тому, что население вынуждено было отвернуться от альтернативной службы.

Новая «концепция» реформы армии, предложенная военным командованием, фактически представляла собой отказ от каких-либо принципиальных изменений (суть сводилась к увеличению к 2007 г. удельного веса «контрактников» до 15% и сокращению общей численности армии). Общественное мнение на это отреагировало довольно ясно: лишь треть (34%) опрошенных полагали, что это взвешенное и реалистическое решение руководства страны, гораздо большее число россиян (42%) считают эту концепцию половинчатым и оппортунистическим шагом, настаивая на том, что нужно всю армию переводить на договорные отношения; и лишь 15% уверены, что это ошибка, что нужно оставить все как было, то есть что армия должна формироваться по призыву. Само

по себе это ужесточение репрессивного режима не устраняет понимания населением процесса деморализации армии, роста дезертирства, служебных преступлений и нарушений дисциплины.

В январе 2002 г. 54% опрошенных согласились с тем, что «России следует в ближайшее время увеличить расходы на оборону, может быть даже в ущерб другим статьям бюджета», 31% - были против и 15% - затруднились ответить на этот вопрос (N=1600 человек). Через год, в феврале 2003 года мнения о том, что нужно сделать для того, чтобы улучшить ситуацию в армии, распределились таким образом: 39% полагали, что нужно оставить нынешнюю численность армии и увеличить затраты из бюджета на ее содержание; 24% - сократить численность армии, но затраты на ее содержание увеличить; остальные полагали оптимальным решением либо сокращение численности ВС (при том же бюджетном финансировании – 17%), либо сокращение и численности, и финансирования (9%).

Как полагают опрошенные, плоха не сама модель армии, а нынешние условия ее реализации. Среди различных больных вопросов армии большая часть (43%) назвала социальные проблемы: низкие зарплаты, отсутствие жилья для офицеров, плохие бытовые условия и питание солдат, 20% – низкий уровень боеготовности, лишь 35% - бессмысленность и опасность самой службы в армии для нынешних солдат-призывников (подневольность службы, война в Чечне, неуставные отношения, призыв в армию студентов).

Неудача военной реформы означает отсутствие у новой, «демократической» России собственной военной доктрины. Любые попытки пересмотра роли военных будут наталкиваться на яростное и агрессивное сопротивление. Генералитет всякий раз будет предлагать лишь перелицованные варианты советской концепции вооруженных сил, оставшейся от холодной войны. Другими словами, за реформой армии стоит не только проблема трансформации и модернизации вооруженных сил, но и судьба всего тоталитарного порядка, сохранения структур мобилизационно-репрессивного общества. Отсутствие принципиальных политических решений означает, что будет продолжаться связь армии с властными структурами, контроль высшим командованием и министерством обороны над политическим руководством страны, то неизбежно будет усиливать процессы разложения армии, не имеющей реальных, собственно военных функций и задач, утрату ею морального воинского духа и дисциплины. Именно это ярко демонстрирует ситуация в Чечне, превратившая регулярные части в банды мародеров, вымогателей и насильников.[46]

[46] Вся история с полковником Ю.Будановым, командиром танковой элитной части, Героем России, изнасиловавшим и убившем чеченскую девушку в селе, где располагался его полк, воспринимается и официальным обвинением, и общественным мнением в России именно как типовой случай. Но именно поэтому реакции на это и военных, и самого общества, всячески пытающихся оправдать его, невзирая на очевидность факта преступления и признание самого обвиняемого, показывает, насколько сильно сопротивление в обществе любым попыткам рационализировать роль армии и изменить ее.

Российская армия как военная машина в настоящее время представляет собой распадающееся[47], деморализованное и дезориентированное целое, остатки прежде мощной, привилегированной и замкнутой корпорации, сплоченной сознанием своей исключительности, необходимости и авторитетности в обществе, подкрепленной социальными и материальными благами, интегрированной ясным образом «врага» и образцовостью своей организации. Обремененная пережитками идеологии «великой державы», имперскими традициями, сегодняшняя армия не в состоянии преодолеть институциональную инерцию времен «холодной войны». Огромное количество устаревшего вооружения, предназначенного для военных действий по схемам, основанным главным образом на опыте Второй мировой войны, стратегическое ракетно-ядерное оружие, бывшее главным аргументом в противостоянии западного и коммунистического мира, но теперь совершенно ненужное, военно-морские флоты, ставшие абсолютно недееспособными в нынешних условиях, дальняя авиация и т.п., оказывают чрезвычайно угнетающее воздействие на современное развитии России.[48]

Армия как образец закрытой, архаической социальной организации (бюрократии массового монополизированного насилия) может решать только оперативные, текущие задачи. В стратегическом плане она всегда проигрывает и консервирует систему социальных отношений. Российско-советская армия не смогла перейти порог информационных технологий, ибо потеряла приоритеты самой социальной системы. (Лучше всего об этом свидетельствует отталкивание от нее молодежи и сохранение ее привлекательности для пожилых: все опросы показывают явное нежелание молодежи служить в армии[49]). Но именно поэтому оказывается нереалистической и периодически всплывающая в катастрофических видениях журналистов перспектива военного переворота или

[47] Только за одну неделю, как сообщала пресса в конце июля-начале августа 2003 г., произошло несколько ЧП в армии – солдат срочной службы расстрелял двух офицеров, в нескольких регионах горели склады боеприпасов, в Хабаровском крае с территории военной базы «укатился и сошел с рельс» состав с боеприпасами, под Москвой горели танковые ангары элитной Кантемировской дивизии, разбился военный самолет и т.п. Общественное мнение об этих событиях высказывается вполне определенно. 42% считают, что это результат халатного отношения к хранению военного имущества; 31% - попытки скрыть хищения военного имущества со складов; 16% - видят в этом следствие старения боеприпасов и отсутствия соответствующей их замены и лишь 5% - трагическую случайность. О ситуации в российской армии см. недавний доклад международной организации «Human Rights Watch» - «Больная армия. Проблемы питания и охраны здоровья в российских вооруженных силах» на сайте организации: “Human Rights Watch //Defending Human Rights Worldwide\Россия.htm” от 27/11/2003, с.1-33.

[48] Ярким примером всего этого может служить российский Черноморский военно-морской флот, оказавшийся несколько лет назад предметом ожесточенных словесных столкновений с Украиной, претендовавшей на значительную часть его кораблей береговых сооружений: ни у той, ни у другой страны нет средств для содержания этой массы ржавеющего смертоносного хлама. По точному выражению, этот флот, не выходящий из портов своей дислокации, как «чемодан без ручки» – и тащить тяжело, и бросить жалко. Наилучшим выходом, конечно, было бы утопить его в безжизненных сероводородных глубинах Черного моря, сэкономив тем самым массу денег и людских сил, ибо даже на утилизацию старых кораблей у страны уже нет средств, но положение « великой державы» обязывает к подобным расходам. Noblesse oblige.

[49] См.: Общественное мнение –2002.Ежегодник ВЦИОМ. М.,2002, раздел «Армия и общество». с.119-125; Общественное мнение. 2007.Ежегодник Левада-центра. М.,2007, раздел «Армия», с.87-89

установления военной диктатуры по образцу латиноамериканской хунты генералов или режима африканских ефрейторов. Попытка уподобить положение и функции российских военных роли и статусу военных в третьем мире едва ли продуктивна. Подобные аналогии не учитывают фазы или особенности модернизации в России.

В историческом и социальном плане это означает, что модернизация по военно-промышленному сценарию, на первый взгляд, обеспечивая резкий рывок вперед в развитии страны, достижение ею военно-стратегического равенства сил с ведущими державами, в длительной перспективе оборачивается полным ее поражением, убогой примитивизацией общественных структур, стойкой человеческой деградацией, истощением морального и интеллектуального потенциала страны.

Изменить это положение сегодня нельзя, как невозможно закончить и чеченскую войну. Признание бессмысленности, бесцельности нынешней российской армии (или даже хотя бы нынешней формы ее организации) означало бы крах легитимности всей социально-государственной системы. Поэтому единственным внешнеполитическим оправданием ее сохранения следует считать вполне цинический по своему характеру расчет российских политиков на инерцию страха перед дряхлеющей ядерной супердержавой у руководства или населения других стран (и в этом плане – на остатки национального самоуважения у российских граждан). Других оснований для того, чтобы считаться с Россией, сегодня уже не существует.[50] Этот момент чрезвычайно болезнен для униженного и закомплексованного самосознания российского общества, тяжело и долго переживавшего крах империи. И если у Северной Кореи попытки ядерного шантажа принимают карикатурно-страшные формы, то по отношению к России мир пока еще сохраняет известные прагматически оправданные опасения и давнее уважение перед ее силой.

Опубликовано: Вестник общественного мнения, 2003, №1 (67), с.28-44; №2 (68), с.35-51

[50] По данным массовых опросов ВЦИОМ, 68% опрошенных считают, что Россия к настоящему времени утратила свой статус великой державы (май 2002 г.). «Вернуть статус супердержавы, какой был СССР» считали первостепенной задачей руководства РФ лишь 31% (июнь 2001 г.). Тем не менее, подавляющее большинство опрошенных считало необходимым заставить другие страны уважать Россию (этот аспект политики Путина население расценивает очень высоко, считая его главным позитивным достижением за время его президентства). Около половины россиян (46%, опрос 2001 г., N=1600) полагали, что мир не будет уважать нашу страну, если, достигнув высокого уровня благосостояния граждан, она перестанет быть могучей военной державой, чуть больше, 51%, были с ними не согласны.

ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПОЛИТИКА ПОСТОВЕТСКОЙ ПАМЯТИ[1]

В.А. Шнирельман
доктор исторических наук, профессор,
главный научный сотрудник
Института антропологии и этнографии РАН

Сегодня стало очевидно, что следует четко осознавать различия между реальностью и образом реальности и понимать при этом, что иной раз образ реальности способен формировать саму реальность. То, во что верят люди, становится реальностью по своим последствиям, - такого постулата социологи придерживаются уже давно. Иными словами, поведение людей во многом определяется тем, как они представляют себе реальность, и, в частности, с какой именно группой себя ассоциируют. Этим и определяется важность идентичности.

Поэтому, как бы ни относились ученые к нации, этничности и расе (а ученые все больше понимают их как конструкции, облик и роль которых определяется самими людьми), общественности эти категории представляются во многих контекстах важными, и к ним по мере надобности апеллируют политики, культурные деятели, а иной раз и религиозные лидеры. Ведь, как показывает опыт, все эти категории легко политизируются и служат действенными рычагами политической мобилизации. Однако это происходит только в том случае, если члены таких групп ощущают свое единство и готовы на деле проявить солидарность. А это в свою очередь требует от них выраженного самосознания, т. е. четкого осознания своей принадлежности к одной из названных выше групп. Иными словами, такое самосознание должно опираться на миф о единстве – соответственно, национальном, классовом, этническом, региональном или расовом. Такой миф был типичен для эпохи модерна, когда для его конструирования использовались самые разнообразные

[1] Статья представляет собой расширенную версию доклада «Идентичность, культура и история», прочитанного на Межрегиональном научно-практическом семинаре «История края как поле конструирования региональной идентичности», организованном Волгоградским гос. университетом 11 апреля 2008. В предварительном виде статья публиковалась как «Идентичность, культура и история: провинциальный ракурс» (Вестник Института Кеннана в России, 2008. Вып. 13. С. 64-78).

научные технологии. И сегодня он продолжает соблазнять некоторых политтехнологов, стремящихся манипулировать массовым сознанием. Вместе с тем, у такого мифа имеются ограничения, и он срабатывает отнюдь не автоматически. В свое время Эрнест Геллнер хорошо показал как слабую обоснованность такого мифа, так и одновременно его социально-психологическую силу[2].

Похоже, что наиболее благодатная среда для такого мифа складывается в таком обществе, где велика пропасть между элитой и остальной массой населения, где у элиты имеется монополия на информацию, где действия власти не являются прозрачными, а массы лишены доступа к реальным рычагам влияния на политическую жизнь. Именно в таком обществе созданный элитой миф способен через находящиеся в ее руках институты (СМИ, школа, церковь, культурно-просветительские учреждения и пр.) оказывать существенное воздействие на массы населения. Следовательно, наиболее подвержены мифу общества авторитарного типа. Это вовсе не означает, что демократические общества обладают иммунитетом в отношении мифотворчества. Однако при наличии сложной социальной структуры, плюрализма и социальной мобильности такие общества, безусловно, избегают опасности оказаться под влиянием тотального мифа. В них, во-первых, наблюдается конкуренция самых разных мифов, а во-вторых, плюрализм развивает способность к критическому мышлению, способствующую преодолению зависимости от «жизни в мифе».

Поэтому сегодня нам недостаточно изучать особенности политического мифа. Важно анализировать, какой именно миф и какими средствами навязывается обществу властями и влиятельными элитами. Необходимо знать также, как этот миф усваивается обществом и отдельными его группами, как они его воспринимают, что их привлекает, а что отталкивает или оставляет равнодушными, и, наконец, если они его отвергают, то какой именно контрмиф кажется им более убедительным.

Одной из важнейших опор мифа о социальном единстве является образ прошлого, сплачивающий людей общими эмоциональными воспоминаниями. Важно, что такой образ создается не только профессиональными историками. Огромную роль в его формировании играет социальная память, в рамках которой в первую очередь и выстраивается иерархия исторических ценностей и происходит отбор исторических фактов и событий по их общественной значимости. Важная особенность социальной памяти состоит в том, что она не является гомогенной и у разных социальных и региональных групп имеет свои отличия. Это выражается и в том, какие именно факты прошлого кажутся им наиболее значимыми, и в том, как по-разному они могут интерпретировать одни и те же факты, соответственно придавая им разное значение.

[2] Gellner E. Nations and Nationalism. Ithaca, N. Y., 1983.

К сфере социальной памяти, помимо устной истории, относятся памятные даты и праздники, памятники и мемориалы, ритуалы, топонимика, музеи, народная культура и историческая символика. Кроме того, память о прошлом поддерживается журналистами, а также находит место в художественных произведениях, живописных полотнах, театре и кино. В сфере искусства также производится как отбор исторических фактов и событий, так и их переосмысление. И именно в контексте социальной памяти отдельные исторические факты или события становятся знаковыми и обретают статус ключевых, имеющих основополагающее значение для данного социума.

Разумеется, и здесь дело не обходится без политических акторов. Ведь учреждение общенациональных праздников, отбор национальных героев и великих людей и чествование их юбилеев, установление одних памятников и разрушение других, изменение топонимики, введение в государственную символику исторических сюжетов и реликвий, - все это происходит при активном участии властей. Мало того, нередко именно власти выделяют из государственного бюджета деньги на проведение тех или иных мероприятий, связанных с исторической памятью (празднование памятных дат, установление памятников, изменение топонимики, создание телевизионных сериалов и пр.). Иной раз именно они поддерживают одни направления исследований и игнорируют или даже тормозят развитие других. И это, разумеется, оказывает влияние на профессиональных историков. Поэтому историческое знание вовсе не отделено непроходимой стеной от политического процесса, тем более, что, как писал Мишель Фуко, нередко именно власть определяет, что является «знанием» и что им не является.

В советском случае именно власть при опоре на научных экспертов определяла, какие группы достойны считаться «этническими», а какие нет, какие из них могут получить тот или иной политический статус (автономии), а какие этого не заслуживают. В итоге произошла политизация этничности, и после ее закрепления паспортной системой она потеряла свою подвижность, получила несвойственную ей жесткость и оказалась законсервированной. Мало того, введенный в 1938 г. строгий порядок приписывания этнической принадлежности по родителям, независимо от языковых и культурных параметров, десятилетиями навязывал людям представление, во-первых, об этническом родстве как «родстве по крови», а во-вторых, о неком устойчивом «народном духе», который якобы сохранялся у людей независимо от языковых и культурных изменений и проявлялся в «поведенческих стереотипах». И это подготовило почву для распространения мифа об этносе как «биологической общности», который в постсоветское время получил неожиданную популярность и открыл дорогу расизму.

Следует учитывать и тот факт, что во второй половине 1930-х – 1940-х гг. произошли важные изменения в социальной структуре советского общества, потребовавшие нового взгляда на социальную реальность. Теперь с

антагонистическими классами было покончено и классовое мировоззрение в значительной мере потеряло свою актуальность. Оно сохранило свою роль во внешней политике, тогда как внутриполитическая ситуация стала все больше определяться национальным фактором. Но, как мы знаем, в советские годы он понимался двояко: с одной стороны, как единство всего советского народа, для которого со временем все чаще стал использоваться термин «советская нация», но с другой стороны, как сложное созвездие советских этнонаций, развитие которых определялось «советской национальной политикой»[3]. В любом случае произошла смена парадигм, и классовое видение реальности сменилось этнонациональным. Иными словами, там, где раньше речь шла о классовых антагонизмах, теперь появилась тенденция подчеркивать культурную специфику и говорить об «особом историческом пути». Правда, коммунистическая идеология пыталась удерживать эту тенденцию в определенных рамках, но с каждым годом это становилось все сложнее и сложнее. Ведь новые поколения уже не имели опыта классовой борьбы, и «класс» звучал для них пустой абстракцией. Зато вокруг себя они видели отдельные «этносы», различающиеся по своему социально-политическому положению, что и составляло для них социальную реальность.

В этом созвездии этносов русские занимали особое место. Именно они были носителями общесоветской культуры, формировавшейся на русской основе, но, во-первых, быстро модернизировавшейся и терявшей свои традиционные атрибуты, а во-вторых, свободно впитывавшей приходящие извне импульсы. Русские не ощущали себя «особым этносом», и их «этническая солидарность» была ослаблена. Все это вызывало тревогу и горькие чувства у русских националистов, рассматривавших это как якобы специфически русское качество и сурово его критиковавших. Однако ничего особенного в этом не было, ибо все это свойственно любому доминирующему большинству, которое, во-первых, обладает инклюзивной идентичностью, что и позволяет без большого труда включать в свой состав «чужаков» и «иноплеменников», а во-вторых, чувствует себя в безопасности, видя ее гарантом государство, которое оно не без основания считает своим. В такой ситуации находятся белые американцы в США, англичане в Великобритании, французы во Франции, ханьцы в Китае, поляки в Польше и т. д. Это порождает особое отношение к «этническому». Его доминирующее большинство связывает обычно с чужими экзотическими культурами и несклонно применять к себе. Ведь свое считается «нормальным» и универсализируется. Зато понятие «культура» увязывается с «этническими культурами». В результате в контекстах оживленных культурных контактов доминирующее большинство порой оказывается в неуютном положении, чувствуя себя людьми «без культуры». В частности, иной раз представители меньшинств с готовностью

[3] Этот подход унаследован и постсоветской Россией. См.: Соколовский С. В. Образы Других в российских науке, политике и праве. М.: Путь, 2001. С. 137.

демонстрируют свой «культурный капитал» как некое качество, выгодно отличающее их от доминирующего большинства.

Разумеется, все это не оставляет равнодушными русских националистов, и они по-своему пытаются осмыслить русскую идентичность. Вот лишь некоторые из тех параметров, в которых они усматривают суть «русскости» (примеры взяты из национал-патриотической прессы 1990-х гг.). Русскость может, по их мнению, связываться, во-первых, с «кровью» и даже с «расой» (т. е. с биологией и «русским генотипом»), во-вторых, с культурой и самосознанием, в-третьих, с хорошим владением русским языком, в-четвертых, с религией (православием, старообрядчеством или даже язычеством), в-пятых, с особым образом жизни, в-шестых, с психологией (стремление к «правде и воле»), в-седьмых, с политическими установками (державность и соборность, а также тяготение к имперскому устройству), в-восьмых, с особым историческим путем, в-девятых, с особой «русской цивилизацией», вбирающей в себя все или многие из названных компонентов. Некоторые русские националисты противопоставляют эти атрибуты друг другу; другие ценят некоторые из них, но отвергают другие. Кроме того, одни отождествляют русских с отдельным этносом или даже «расой», другие видят в них религиозную общность, третьи, связывают их, прежде всего, с политическим единством, четвертые понимают их не иначе как особую цивилизацию.

Между тем, у всего этого имеется и региональный ракурс, дополняющий эту палитру новыми красками. Речь идет о том, как видится «русскость» или отдельные ее компоненты региональными интеллектуалами, включая политиков и носителей местной власти. В 1990-х гг. приход демократии в Россию и децентрализация власти и капитала породили достаточно неожиданное явление, показавшее, что русским оказывается недостаточным иметь общерусскую идентичность, а в ряде случаев они вообще готовы от нее отказаться. В разных регионах и областях они ведут поиск своих особых местных идентичностей, и это выражается в своеобразных версиях древней или средневековой истории, которые там вырабатываются. Как и следовало ожидать, многие из этих конструкций пропитаны этницизмом, заставляющим видеть историю в этнических тонах. Но в разных регионах это проявляется по-разному, и акцент делается то на этничность, то на язык, то на метафоры «родины» или «прародины», то на культуру, то на территориальное единство, то на некую глобальную миссию. В этом плане можно говорить о следующих моделях:

1. *Этнизация известных локальных культурных вариантов или изобретение новых*. Речь идет о попытках ряда групп объявить себя особыми этносами. Например, казаки Юга России, имевшие когда-то особый сословный статус, в течение последних 15-20 лет неоднократно заявляли о себе как об отдельном этносе. Корни этого подхода можно обнаружить у некоторых дореволюционных казачьих историков и в эмигрантской казачьей

историографии, где делались попытки оторвать историю формирования казачества от русской истории, что давало, как казалось таким авторам, право на учреждение суверенной казацкой республики. Другим примером служат поморы, отличавшиеся от остальной массы русского населения своим особым хозяйственным укладом (морское рыболовство) и образом жизни, а также приверженностью к старообрядчеству. Наконец, уже совсем недавно о себе как особой этнической группе возвестили «кацкари», живущие в долине р. Кадка на западе Ярославской области. Там в конце 1990-х гг. в селе Мартыново создали Музей кацкарей и с 1992 г. издают газету «Кацкая летопись», где история «кацкого народа» начинается с эпохи монгольского нашествия. В школах Ярославского края был даже введен предмет «Кацковедение». При этом, стремясь дистанцироваться от русских, казаки иной раз говорят о своих тюркских корнях, поморы указывают на финно-угорский субстрат, а кацкари ведут себя от смешения летописной мери со славянами.

2. *Имперские мифы: русификация древних иноязычных и инокультурных общностей и «обрусение» культурного ландшафта окраин*. Такие мифы выступают в нескольких разных вариантах.

А) *Миф о «примордиальных предках», т. е. отождествление предков с носителями материнского праязыка*. В наиболее радикальной форме такое видение истории ведет к изобретению длительной докиевской истории «славян-русичей», которые якобы еще в первобытности широко расселялись от Западной Европы до Китая. Такая версия древнего прошлого вот уже 15-20 лет активно пропагандируется радикальными русскими националистами. Под «отдаленной историей» здесь понимается все древнейшее индоевропейское прошлое, которое объявляется «арийским» и приписывается «славяно-русам». С этой точки зрения, Евразия едва ли не изначально принадлежала «русам-ариям», и, тем самым, завоевание Сибири, Кавказа и Средней Азии рассматривается как их возвращение на свои древние земли. Мало того, фантазия таких патриотически настроенных авторов заставляет их изобретать никогда не существовавшие государства типа Рассении и Русколани. Эти авторы прекрасно понимают, что современному образованному читателю требуются фактические подтверждения. Тогда на помощь приходит «народная археология». И московский философ В. Н. Демин с легкостью «открывает» на Кольском полуострове «Гиперборейскую цивилизацию», а журналист А. Асов «обнаруживает» в предгорьях Эльбруса «древнюю столицу славян», «город Кияра». Свои «находки» они активно пропагандировали в популярных книгах и охотно делились ими с журналистами[4].

[4] Демин В. Н. Тайны русского народа. М.: Вече, 1997; он же. Загадки Урала и Сибири. От библейских времен до Екатерины Великой. М.: Вече, 2000; он же. Гиперборея. Исторические корни русского народа. М.: Гранд, 2001; Асов А. И. Мифы и легенды древних славян. М.: Наука и религия, 1998; он же. Атланты, арии, славяне. История и вера. М.: Алетейа, 1999; он же. Славянские руны и «Боянов гимн». М.: Вече, 2000; он же. Священные прародины славян. М.: Вече, 2002; он же. Русколань: Древняя Русь. М.: Вече, 2004; Писаренко Д. Загадки древних цивилизаций. Полярная Атлантида // Аргументы и факты, 2006, № 46-49, 51-52 и 2007, № 5, 7-8, 10, 12. Об этом см.: Шнирельман В. А. Интеллектуальные лабиринты. Очерки идеологий в современной России. М.:

В этой деятельности участвуют не только дилетанты. Фактически начало поискам, так называемой, «славяно-арийской цивилизации» положили исследования профессиональных археологов из Челябинска, обнаруживших новую категорию памятников среднего бронзового века в лесостепной зоне Южного Урала. Не ограничившись открытием городища Аркаим, они разрекламировали его как едва ли не древнейший город на Земле, центр «арийской цивилизации», якобы одарившей Евразию «высокой культурой»[5]. Как признавала местная журналистка, на Урале вокруг Аркаима не смолкает «мифологический бум», «Страна Городов ушла в молву» и, вопреки всем стараниям ученых, порожденный Аркаимом интерес к древностям устремлен вовсе не к работе археологов, а «к духовной насыщенности, к месту Урала на Земле»[6].

На этот миф работает целая серия статей председателя Челябинского областного общества уральского краеведения А. П. Моисеева, еженедельно в течение нескольких месяцев публиковавшихся в газете «Челябинский рабочий» летом и осенью 1994 г. Их автор называл индоевропейцев и ариев «нашими далекими предками» и противопоставлял их древним тюркам и финно-уграм, которые к категории «наших предков» не относились[7]. В 1990-х годах такой «арийский миф» использовался, в частности, для отстаивания гражданских прав русского населения в Крыму, в Донбассе и в Северном Казахстане. Обнаруживая у местных русских «древние корни» на этих землях, он делал их «коренным населением»[8].

Для большинства такого рода популярных построений характерна манипуляция с известными археологическими и лингвистическими фактами и гипотезами, в результате чего «славяне-русичи» полностью отождествляются с ранними индоевропейцами или достаточно рано обособившейся их частью. На этой основе оживляется идея о великих арийцах-завоевателях, к которой прибегали в свое время нацисты для оправдания своего нападения на СССР. Но в устах современных русских радикалов арийцы связываются уже не с германцами, а со славянами. В то же время завоевание относится к столь отдаленным временам, что оно представляется «расселением» и не мешает

Academia, 2004. С. 207-214; Shnirelman V. A. Russian response: archaeology, Russian nationalism and Arctic homeland // Kohl Ph. L., Kozelsky M., and Ben-Yehuda N. (eds.). Selective remembrance: archaeology in the construction, commemoration, and consecration of national pasts. Chicago: Chicago University Press, 2007. P. 52-56.

[5] Шнирельман В. А. Страсти по Аркаиму: арийская идея и национализм // М. Б. Олкотт, И. Семенов (ред.). Язык и этнический конфликт. М.: Центр Карнеги, 2001. С. 58-85.

[6] Никулина М. «Про старинное житье и про тайную силу» // Урал, 2000, № 6. С. 178-179.

[7] См., напр.: Моисеев А. П. Древности // Челябинский рабочий, 17 и 24 июня, 5 августа 1994, и др.

[8] См., напр., Карпов А. Иудины поцелуи сепаратистов // Русский вестник, 1996, № 6-8; Абакумов А. В. Евразийские арии и Русь // Русская мысль, 1995, № 1-6; он же. Славяне в Казахстане: возвращение на Родину? // Экономическая газета, 1997, № 16; он же. Русские и татары в Крыму // Наследие предков, 2000, № 2. В Донбассе с той же целью в 1993 г. публиковались материалы об индоевропейских древностях в степях Северного Причерноморья. См.: Посредников В., Кравец Д., Косиков В. Древность Донбасса // Донецкий кряж, 1993, № 13, 18, 22, 27, 34. О других аргументах см.: Wilson A. The Donbas between Ukraine and Russia: the use of history in political disputes // Journal of contemporary history, 1995, vol. 30, no. 2. P. 276-283.

«славянам-русичам» выглядеть автохтонами едва ли не на всей территории России и даже отчасти за ее пределами[9].

Такая версия далекого прошлого активно популяризируется массовой литературой и в последние 10-15 лет начинает проникать в региональные очерки по истории края. Сегодня ни один местный учебник по истории Урала не обходится без обращения к Аркаиму, который связывается и с «древнейшей протоцивилизацией», и с «древними ариями», и даже называется «Уральской Троей»[10]. А в местной популярной книге для юношества Урал, кроме того, изображается и родиной зороастризма, где якобы складывались тексты «Авесты» и «Ригведы»[11]. В таких книгах арии иной раз выглядят победоносными завоевателями и культуртрегерами, совершавшими далекие миграции, громившими великие цивилизации и разносившими свои культурные достижения по всей Евразии «от Ближнего Востока до Сибири и Индии»[12].

Правда, в учебной литературе «арии» не связываются с «русичами», однако особенностями своего изложения темы она готовит школьников к позитивному восприятию рассматриваемого здесь мифа. Этот миф отстаивается достаточно влиятельным течением русских националистов, пытающихся тем самым доказать, что евразийские просторы изначально принадлежали русским. Иными словами, расширение границ Российского государства в XVI–XX вв. рисуется ими не как завоевание, а как возвращение на свои исконные древние земли. И это напоминает советскую манипуляцию с историографией, когда в 1940-1950-х гг. «колониальное завоевание» превратилось в «присоединение» и «добровольное вхождение».

Сегодня, благодаря «фольк-хистори» и русским неоязычникам, «арийский миф» получает все большую популярность. Теперь даже некоторые

[9] Это, разумеется, приводит рассматриваемую версию к столкновению с пантюркистским взглядом на древнюю историю, где те же самые культуртрегеры и цивилизаторы оказываются древними тюрками. Мне уже приходилось писать о том, как Аркаим «присваивается» тюркскими авторами (см.: Шнирельман В. А. Страсти по Аркаиму…). Недавно книга такого рода вышла в Казахстане. Любопытно, что она была представлена «научным изданием», хотя ни одно научное учреждение Казахстана не осмелилось дать ей свой гриф. Не было у нее и научных рецензентов, но зато издание было профинансировано некоторыми казахскими бизнесменами. Кроме того, книгу сопровождали рекомендации ряда сотрудников Евразийского национального университета, свидетельствующие о том, что изложенные в ней взгляды пользуются популярностью у части казахской научной элиты. Правда, археологов среди таких энтузиастов, похоже, нет. См.: Нарымбаева А. К. Аркаим – очаг мировой цивилизации, созданный прототюрками. Алматы: б.и., 2007.

[10] Личман Б. В. (ред.). История Урала с древнейших времен до конца XIX в. Екатеринбург: СВ-96, 1998. Кн. 1. С. 45-48, 52-54; Миненко Н. А. и др. (ред.). Очерки истории Урала. Екатеринбург: б. и., 1996. Вып. 2. С. 34-52. Лишь в одном учебном пособии, написанном профессиональным археологом и построенном на археологических материалах, данные о древней истории изложены предельно корректно без обращений к ариям и Зороастру. См.: Виноградов Н. Б. Страницы древней истории Южного Урала. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1997. С. 60-72.

[11] Шишов К. А. Урал в судьбе России. Челябинск: Изд-во Автограф, 1996. С. 12-14. Специалисты связывают происхождение гимнов Ригведы с регионом, охватывающим Афганистан, северный и центральный Пакистан и Северную Индию.

[12] Григорьев С. А. Дорогами арийских колесниц // Миненко Н. А. и др. (ред.). Очерки истории Урала. Екатеринбург: б. и., 1996. Вып. 2. С. 34-43. Выдержки из этой работы воспроизводятся и в более солидном учебнике по истории Урала. См.: Личман Б. В. (ред.). История Урала… Кн. 1. С. 52-54.

продавщицы женской одежды убеждены в том, что славяне – это «чистопородные арийцы»[13]. Мало того, сегодня арийский миф служит стержнем идеологии скинхедов, пытающихся очищать Россию от «инородцев»[14].

Б) *Миф о «прародине»*, где «прародина» отождествляется со своим регионом, получающим, тем самым, престижный статус «материнской территории», способный подкрепить определенные политические претензии. Так, миф о предках-арийцах, расселявшихся из сердца Евразии и основывавших древнейшие цивилизации Старого Света, подхватывают некоторые местные политики и бизнесмены. В середине 1990-х годов в Екатеринбурге вышла книга, авторы которой изображали Южный Урал центром мира на том основании, что там якобы сложилась индоиранская (арийская) общность, которая и разнесла цивилизацию по всему Старому Свету[15]. Характерно, что среди авторов этой книги был депутат городской Думы, один из авторов проекта Уральской республики (1993 г.). Аналогичные идеи отмечались и в Челябинске, где тогда же вызревал замысел Южноуральской республики. Там, как уже отмечалось, особое место в формировании местного патриотизма сыграли открытые археологами уникальные памятники начала II тысячелетия до н. э. («страна городов»), которые связываются учеными с индоиранцами[16]. В Вологде пропагандируется идея о том, что прародина арийцев располагалась на Русском Севере[17].

В) *Присвоение чужого культурного наследия*. Например, челябинские законодатели искусственно вычеркивают «инородцев» из далекого прошлого своей области. В учебном пособии, выпущенном под грифом Законодательного Собрания и Администрации Челябинской области и предназначенном для депутатов, государственных чиновников и преподавания в вузах, история Волго-Уралья начинается с упоминания «двух могущественных для того времени царств – Хазара и Булгара», образованных будто бы «славянскими племенами». О ранних тюрках и их истории в Приуралье челябинским читателям не сообщается. Они узнают о «мусульманах-башкирах» только в разделе, посвященном XVII веку, в связи с попытками насильственной христианизации башкир и их ответными восстаниями. О том, что башкиры

[13] См., напр., Егерева Е. Русская жизнь // Большой город, 9-22 апреля 2008, № 6. С. 13.
[14] Шнирельман В. А. «Чистильщики московских улиц»: скинхеды, СМИ и общественное мнение. М.: Academia, 2007.
[15] Баков А. А., Дубичев В. Р. Цивилизации Средиземья. Екатеринбург: Уральский рабочий, 1995.
[16] Шнирельман В. А. Страсти по Аркаиму: арийская идея и национализм // М. Б. Олкотт, И. Семенов (ред.). Язык и этнический конфликт. М.: Гендальф, 2001. С. 58-85.
[17] Жарникова С. В. Золотая нить. Вологда: Областной научно-методический центр культуры и повышения квалификации, 2003. Жарникова – этнограф по профессии, но ее «арийские идеи» не нашли отклика в профессиональной среде. Зато ими, похоже, заинтересовался успешный вологодский бизнесмен. См.: Суров М. В. Вологодчина: невостребованная древность. Вологда: б. и., 2001. С. 146. О нем см.: Емельяненко В. Кого не любит первая гильдия // Московские новости, 30 января – 6 февраля 1994 (№ 5). С. 11.

являются коренным населением Южного Урала, авторы учебного пособия хранят молчание[18].

Г) *Искусственное расширение границ исторической территории*. На Ставрополье спешат обнаружить следы пребывания славян на Северном Кавказе в эпоху раннего средневековья и в доказательство древности и укорененности там русской государственности расширяют границы Тмутараканского княжества XI в. от Тамани до р. Большого Егорлыка, что на северо-востоке Ставропольского края[19]. Тем самым, в состав этого княжества включается львиная доля Краснодарского края[20]. И эта версия даже попадает в региональный школьный учебник, где, кроме того, основание княжества приписывается легендарному князю Бравлину, проникновение «славяно-русов» в Крым и Северное Причерноморье относится к IV-VII в., а якобы их потомки, «приазовские славяне» рисуются создателями никогда не существовавшего «древнеказачьего государства Казакии» XI-XII вв.[21]

Между тем, детально изучивший вопрос о границах Тмутараканского княжества известный советский археолог А. Л. Монгайт высказывался об этом много осторожнее и делал вывод о том, что «нет доказательств наличия славянского населения на Северном Кавказе в средние века»[22]. Вопрос о границах Тмутараканского княжества остается открытым, и многие современные историки ограничивают его территорию Таманским полуостровом и некоторыми близлежащими районами. Лишь на короткое время в XI в. оно подчинило себе некоторые адыгские племена западной четверти Краснодарского края[23].

Д) *Миф о происхождении государства* изображает регион священной землей, где надо искать истоки русской государственности. В связи с напряженной обстановкой вокруг Калининградской области в этом отношении заслуживает внимание гипотеза о заселении Юго-восточной Прибалтики в

---

[18] Выдрин И. В., Кокотов А. Н., Саломаткин А. С. Челябинская область – субъект Российской Федерации. Челябинск, 1997. С. 7-10.

[19] Найденко А. В. К вопросу о начале русской истории на Северном Кавказе // Афанасьев Г. Е. (ред.). Актуальные проблемы археологии Северного Кавказа. М.: ИА РАН, 1996. С. 117-119; он же. Центральное Предкавказье в эпоху средневековья // Черногоров А. Л. (ред.). Наш край Ставрополье. Ставрополь: Шат-гора, 1999. С. 48, 60-62. Все эти построения были опубликованы в престижном популярном издании о Ставрополье, вышедшем под патронажем губернатора Ставропольского края А. Л. Черногорова.

[20] Действительно, в Краснодарском крае делаются попытки вести свою историю от Тмутараканского княжества, если не вообще от Боспорского царства. См.: Ротов В. С., Придиус П. Е. Кубань: один год с Батькой Кондратом и его дружиной. Краснодар: Советская Кубань, 1998. С. 12.

[21] Судавцов Н. Д. (ред.). История Ставропольского края от древнейших времен до 1917 года. Ставрополь: СКИПКРО, 1996. С. 52-58. Все это вышло из-под пера местного археолога А. В. Найденко.

[22] Монгайт А. Л. О границах Тмутараканского княжества в XI в. // Шунков В. И. (ред.). Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран. М.: Изд=во Восточной литературы, 1963. С. 54-61.

[23] Кузнецов В. А., Медынцева А. А. Славяно-русская надпись XI в. из с. Преградного на Северном Кавказе // КСИА, 1975, вып. 144. С. 11-17; Гадло А. В. Тмутараканские этюды, часть 4 // Вестник Ленинградского университета. Сер. 2. История, языкознание, литературоведение. 1990. Вып. 4. С. 7-10; Кваша В. П. (ред.) История Кубани. М.: Дрофа, 1997. С. 10, карта; Чхаидзе В. Н. Тмутаракань (80-е гг. X в. – 90-е гг. XI в.). Очерки историографии // Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа, Армавир, 2006. Вып. 6. С. 145-146.

раннем средневековье западными славянами, к которым якобы и принадлежал Рюрик с его воинством. Она уже активно используется некоторыми русскими националистами[24] и поддерживается рядом известных российских историков, считающих вопрос об этнической принадлежности варягов очень важным[25]. Так, идея о славянстве Рюрика дает основания Калининградской области представить себя родиной русской государственности.

Между тем, археологам удалось углубить дату возникновения Старой Ладоги, которая, как оказалось, была заселена еще до прихода варягов. В последние десятилетия ученые исследовали доваряжский слой, связанный с обитанием там различных славянских племен. С помощью дендрохронологии для древнейшего поселения Старой Ладоги была получена дата 753 г. И в 2003 г. город торжественно отметил свое 1250-летие и, вслед за его неутомимым исследователем А. Н. Кирпичниковым, был назван «первой столицей Руси». В связи с этим журналисты подчеркивали, что Старая Ладога была подлинно интернациональным городом, и «народы сообща строили Русь»[26]. Следовательно, миф о происхождении государственности вовсе не обязательно должен иметь этноцентристский характер.

Между тем, новгородское пособие по истории отличается в этом отношении двойственностью. С одной стороны, там говорится о гетерогенности населения новгородской территории в раннем средневековье – там жили «не только славяне, но народы Балтии, Карелии, Скандинавии». Также показывается бесперспективность споров об этническом происхождении

[24] Терентьев А. Мы живем не на чужой земле // Русский вестник, 29 ноября 1991 (№ 28-29). С.9; Демин В. М. От ариев к русичам: концептуальный очерк языческой истории до Рюрика, которая у нас никогда не преподавалась. Омск, 1998. С. 81.

[25] Кузьмин А. Г. Кто в Прибалтике «коренной»? М.: Писательское акционерное общество, 1993; он же. Два вида русов в Юго-восточной Прибалтике // Сборник Русского исторического общества, 2003, № 8 (156). С. 192-213; Сахаров А. Н. Рюрик и судьбы российской государственности // Российская газета, 27 сентября 2002. С. 8; он же. Рюрик, варяги и судьбы российской государственности // Сборник Русского исторического общества, 2003, № 8 (156). С. 9-17; он же. «Варяги были славянами» // Сельская новь, 2004, № 7. С. 38-39; он же. «Норманнская теория – абсурдное дело!» // Известия, 17 июля 2004. С. 2; Фомин В. В. Открытый разговор о варяжской Руси // Отечественная история, 2004, № 1. С. 206-210; он же. Варяги и варяжская Русь: к итогам дискуссии по варяжскому вопросу. М.: Русская панорама, 2005. Об этом см.: Шнирельман В. А. Мифы диаспоры // Диаспоры, 1999, № 2-3. С. 8-9. Утверждения о том, что будто бы калининградская земля принадлежала древним славянам, остаются необоснованными, и вплоть до начала 1990-х гг. местный учебник по краеведению связывал ее с пруссами. И археологи демонстрировали, что в раннем средневековье там обитали балтоязычные пруссы. См.: Гуревич Ф. Д. Из истории Юго-восточной Прибалтики в I тыс. н. э. // Материалы и исследования по археологии СССР, № 76. М.-Л.: АН СССР, 1960. С. 328-451; Кулаков В. И. Древности пруссов VI–XIII вв. М.: Наука, 1990; Бирковский В. Г., Исупов В. С., Фарутин И. А. История нашего края. Калининград: Калининградское кн. изд-во, 1990. С. 7. См. также: Муромцева Л. П. Восточная Пруссия и Россия // Преподавание истории в школе, 2002, № 10. С. 17. Рассматривая этот дискурс, следует, конечно, учитывать, что в современной ФРГ имеются реваншисты, мечтающие о возвращении Восточной Пруссии. См.: Шпаков Ю. «Калининградская» лекция неонациста Редера // Московские новости, 14-21 декабря 1997. С. 8. Претензии на нее предъявляли и некоторые литовские политики. См.: Афанасьева Г. Ландсбергис делит Калининградскую область // Московские новости, 20-27 августа 1995. С. 8.

[26] Чернов А. Загадки озерных людей. У России была другая история // Огонек, 1999, № 9. С. 29-31; он же. Открытие России состоялось // Новая газета, 15-21 марта 1999. С. 19; Костюковский В. Старая Ладога: у истока русской истории // Новые Известия, 4 сентября 1999. С. 6; он же. Вспомним о древней столице Руси // Новые Известия, 26 июня 2001. С. 5; Антипов М. «Вестник государства российского» // Невское время, 4 июля 2006. С. 6; Макаров А., Сусаров А. Как стареют российские города // Новые Известия, 13 января 2006. С. 7.

Рюрика и даже подчеркивается, что версию о его славянском происхождении поддерживают те, кому обидно, что древнерусское государство создали «чужаки». Но с другой стороны, на тех же самых страницах «наши предки» изображаются славянами, а их дохристианские верования оказываются славянским язычеством[27].

Ж). *Идея имперской миссии и культуртрегерства*. Важным способом интеграции окраин в единое поле российской государственности служат юбилеи городов, основывавшихся русскими на землях, присоединявшихся к Российской империи. Этим подчеркивается неравенство культур и цивилизаторская миссия пришельцев-колонизаторов. Например, власти ряда городов Северного Кавказа (Сочи, Туапсе, Нальчик и др.) провели в конце 1980-х гг. юбилейную кампанию в честь их основания в первой половине XIX в. как русских крепостей. Однако сегодня идея колониального владычества непопулярна, и эта кампания вызвала негодование адыгов. Местные ученые достаточно убедительно доказывали, что русские крепости были основаны на месте предшествовавших адыгских поселений[28]. Тем самым, демонстрировался колониальный характер такого рода чествований. Между тем, такое удревнение местных городов и попытки оторвать их от русской градостроительной деятельности вызывают возмущение у ряда русских историков[29].

Новый скандал вспыхнул недавно, когда намечалось празднование 150-летия Майкопа как старой русской крепости. Против этого выступили представители Съезда Черкесского народа, ссылавшиеся на некие археологические данные, говорящие якобы о том, что древнейшее городище возникло на р. Белой еще в бронзовом веке. Независимо от исхода этого конфликта, кубанский аул Тахтамукай отпраздновал свое 2500-летие, наглядно показав стремление адыгов одержать победу в символической битве за исторический приоритет[30].

3. *Идея самобытного исторического культурного очага*, которая воплощается в попытках наделить свои регионы особым местом в истории России, в становлении ее государственности и культуры. Это встречается в центральных регионах и на севере России, где русские не ощущают никакой угрозы со стороны «чужаков». Там политиков интересуют иные проблемы. Во-

[27] Сеченикова Л. Ф., Коложвари И. А. Великий Новгород и я. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 1998. С. 10-11, 15.

[28] Ачмиз К. Г. К вопросу о дате основания некоторых городов Северо-западного Кавказа // Мекулов Д. Х. (ред.). Черкесия в XIX веке (материалы 1 Кошехабльского форума «История - достояние народа»). Майкоп: Адыгейский НИИ Эк., Яз., Лит. и Ист., 1991. С. 144-156; Думанов Х. М. Нальчику - 246 лет // Адыги. Культурно-исторический журнал, 1991, № 2. С. 150-153.

[29] Великая Н. Н., Пылков О. С. О попытках передатировок и изменения названий некоторых городов Северного Кавказа // Виноградов В. Б., Ктиторова С. Н. (ред.). Вопросы южнороссийской истории. Вып. 11. М.-Армавир, 2006. С. 41-45.

[30] Баканов К., Перов С. Прощупывают почву // Новые Известия, 15 сентября 2006. С. 3. Речь шла о реальной древней плитке, которая однако была неверно датирована, а нанесенная на ней надпись на неизвестном языке получила сомнительную трактовку в работах ленинградского филолога Г. Ф. Турчанинова. Об этом см.: Шнирельман В. А. Войны памяти. М.: Академкнига, 2003. С. 350-352.

первых, там, видимо, памятуя о сконструированном Сталиным «курско-орловском диалекте», курские интеллектуалы представляют свою землю «неотъемлемой, корневой и центральной областью русского этноса» и доказывают, что несут поэтому «особую ответственность за судьбу страны, государства, языка, культуры, традиций»[31].

Во-вторых, регион может представляться рефугиумом, или центром сохранения традиционных культурных ценностей. Как известно, в Архангельской области счастливо сохранились весьма архаичные элементы русской культуры и образцы фольклора. На этом основании там в постсоветское время выковывалась идея о Русском Севере как прообразе и символе всей России, «Земле Обетованной», о его особом предназначении в духовном преображении современной России; путем к этому провозглашается областничество, понимаемое как административное устройство русских земель допетровской эпохи[32].

В-третьих, идея рефугиума может сочетаться с метафорой «прародины». Например, в Архангельской и Мурманской областях стараниями вышеупомянутого философа В. Н. Демина[33] становится популярной идея о происхождении мировой цивилизации едва ли не с Кольского полуострова, где обитали якобы далекие предки русских – «гипербореи», или арии[34]. Миф о «предках-арийцах» привлек внимание и некоторых пропагандистов «русской цивилизации», приписавших ей «гиперборейские арийские корни»[35].

4. *Идея политической специфики* связывает самобытность не столько с культурными особенностями, сколько с особым политическим устройством. Такая версия истории характерна для Великого Новгорода, который представляет себя древним центром демократической формы правления, что сближает его с городами Западной Европы и выделяет на общем фоне Древней Руси. В учебном пособии особое место уделяется новгородскому вече как носителю самоуправления и главному символу Новгорода. Наряду с этим немало говорится и о берестяных грамотах, рисующих древних новгородцев образованными людьми, что также выгодно отличало их от остального населения Руси. Наконец, обращает на себя внимание тот факт, что львиная доля пособия (80% всего объема), предназначенного для учащихся 5-9 классов, посвящена демократическому периоду в жизни Новгорода, т. е. до 1570 г.,

[31] Королев Б. Н. (ред.) История и современность Курского края. Региональное учебное пособие. Курск: ГУИПП «Курск», 1998. С. 5.

[32] Теребихин Н. М. Сакральная география Русского Севера. Религиозно-мифологическое пространство севернорусской культуры. Архангельск, 1993.

[33] Демин В. Н. Тайны…; он же. Загадки Русского Севера. М.: Вече, 1999; он же. Гиперборея. Исторические корни русского народа. М.: Вече, 2000.

[34] Кузнецова С. По следам Гипербореи // Полярная правда, 21 августа 1997. С. 1; Большакова Н. Зов Святоозера // Свет, 1998, № 2. С. 12-16. «Открытия» Демина были отмечены даже телевизионным каналом ОРТ 22 ноября 2002 г., и им была посвящена серия статей в еженедельнике «Аргументы и факты» в ноябре 2006 – марте 2007 гг.

[35] Можайскова И. В. Духовный образ русской цивилизации и судьба России. М.: Изд-во Студия «Вече», 2001. Часть 1. С. 464-485.

когда новгородская республика пала[36]. Иными словами, новгородская республика показана не только единственным оплотом демократии в истории Руси, но и примером для будущей демократической России, хотя об этом в открытую и не говорится.

5. *Идея героики, делающая акцент на местных исторических деятелях, оказавших влияние на ход российской истории*. С этой точки зрения, весьма показательным выглядит пример Костромской области, где, по инициативе ее тогдашнего губернатора В. А. Шершунова в 2001 г. была принята программа исследования памятных мест, связанных с именем Ивана Сусанина. Программа была успешно реализована, и местным археологам удалось обнаружить «захоронение самого Ивана Сусанина». Это произошло в нужное время, когда в России обсуждалось введение нового праздника, «Дня народного единства», и властям требовались веские аргументы в пользу значимости избранного для него исторического события[37]. И хотя, по мнению непредвзятых специалистов, «с точки зрения археологии, об обнаружении останков Ивана Сусанина в Исуповском могильнике говорить пока не приходится», власти Костромской области уже ставили вопрос и о канонизации останков, и об их торжественном захоронении в каком-либо престижном месте. Впрочем, при всей его значимости подвиг Ивана Сусанина рассматривался лишь как момент в славной истории области, и власти выдвигали гораздо более величественную задачу для археологов: «удревнить костромскую историю как минимум на 13000-14000 лет», а заодно удревнить и историю города Костромы[38].

6. *Геополитический миф*. Иногда претензии на свою особость ищут основания не столько в культурной специфике, сколько в бесценном вкладе данного региона в развитие человеческой цивилизации. В частности, в последнее время на Урале расцветает миф, основанный на богатых местными символами сказах, созданных когда-то П. П. Бажовым. Миф представляет Урал как «землю отмеченную, занимающую особое место на планете». Из него следует, что не люди облагородили и одухотворили территорию обитания своей деятельностью и своими духовными представлениями, а сама местная земля в силу своих сверхъестественных качеств наделила людей особыми талантами. Исторический дискурс присутствует и здесь, но он уже несамостоятелен, а является заложником геологии. Якобы именно геология сделала Урал «прародиной древних народов», наделила их «избранностью» и придала им «особую миссию». В этом контексте Аркаим и «страна городов» рисуются внешним выражением действия тайных оккультных сил, содержащихся в уральской земле[39].

---

[36] Сеченикова Л. Ф., Коложвари И. А. Великий Новгород и я. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 1998. При этом существенную роль в репрезентации жизни древнего Новгорода играют археологические находки.

[37] Малахов А. Сусанина опознали // Российская газета, 30 марта 2005 (http://www.rg.ru/2005/03/30/susanin.html). Любопытно, что в марте 2005 г. президент Путин приезжал в Кострому.

[38] Беляев Л., Бужилова А., Петров А. Патриотический скелет в народном шкафу // Родина, 2007, № 8. С. 58-63.

[39] Никулина М. «Про старинное житье и про тайную силу» // Урал, 2000, № 6. С. 165-179.

Эта тема получает развитие и в Омской области, где, по учению индийского гуру Бабаджи, якобы располагалось главное святилище всего человечества, Храм Ханумана, воздвигнутое ариями, которые именно оттуда разнесли священные ведические знания по всему свету. По этому учению, лишь восстановление святилища способно спасти мир от вырождения и грядущей катастрофы. Этот миф также делает упор на оккультных свойствах местности и наделяет ее особой миссией, имеющей всемирно-историческое значение. Однако исполнить такую миссию способен не каждый. Священная история этнизируется, и легендарный Рама, битва которого с демонами переносится в Западную Сибирь, оказывается «светловолосым славянином». По этой логике и «арии» отождествляются со «славянами». Место, о котором говорится в мифе, было локализовано последователями неоиндуистского учения в долине р. Тара, необычайно богатой археологическими памятниками. С 1992 г. там обосновалась религиозная община, и ежегодно проводятся ведические обряды. Так местная деревня Окунево стала предметом паломничества любителей эзотерики и восточных культов не только из Омска, но даже из Москвы и из-за рубежа. Приверженцы упомянутого учения верят в то, что сейчас заканчивается страшная эпоха *калиюга*, близится катастрофа, которая погубит Англию и США. Но Россия должна спастись, и ее расцвет начнется в Сибири, причем окуневский центр послужит чем-то вроде ковчега, в котором когда-то спасся легендарный Ной. Иными словами, именно Западной Сибири предназначено стать центром возрождающейся цивилизации, а Окуневу отводится место важнейшего «энергоцентра», куда из космоса поступает спасительная энергия[40]. Остается добавить, что своей широкой популярностью все эти фантазии обязаны уроженцу долины р. Тары, журналисту М. Речкину, сумевшему заинтересовать ими влиятельных людей области. В результате в долине р. Тары был построен бальнеологический и туристический комплекс, а губернатор Омской области Леонид Полежаев подписал указ о признании Окунева и его окрестностей историко-культурной рекреационной зоной.

В свою очередь Пермь также претендует на звание «центра мира», и символическими способами пытается отвоевать для себя место как в центре глобального пространства, так и в начале исторического времени. Здесь это обосновывается не только геологическим богатством Урала, но и геологической хронологией, позволяющей вынести Пермь далеко за пределы человеческой истории и связать с «пермским периодом» (т. е. 250 млн лет назад). Конкурируя с Окуневым, Пермь также представляется местом концентрации энергий, исходящих как из недр Земли, так и из космоса. И это якобы также придает ей некую цивилизационную миссию и делает ее

[40] Речкин М. Окуневский ковчег // Свет, 1996, № 5. С. 49-50; он же. Окуневский ковчег - 2 // Свет, 1996, № 9. С. 62-63; он же. Прогнозы с планеты Сатр // Свет, 1998, № 1. С. 50-51; он же. Сибирский Китеж-град // Наука и религия, 1998, № 9. С. 20-23, № 10. С. 12-15; Мач В. Точка радости // Итоги, 27 февраля 2006. С. 84-87. В апологетическом ключе сюжет об Окунево и связанной с ним мистике звучал в передаче «Территория призраков», показанной по каналу ДТВ 28 июня 2008 г.

«спасительным ковчегом», призванным отвести от человечества приближающуюся катастрофу. Одновременно Пермь рисуется не только центром мира, но и границей между мирами: в одних версиях она выглядит «вратами в Европу», в других – «вратами в Сибирь». Эта граница имеет и иное символическое преломление – как духовная граница (между христианством и язычеством) и историческая граница (между Московской Русью и Российской империей). И это пограничное состояние задает тревожный тон образам Перми, культивирующимся пермскими интеллектуалами в течение последних тридцати лет[41].

Идеи центра и границы популярны и в Екатеринбурге. Представляя себя серьезным конкурентом Москвы и оттеняя свою высокую экономическую и культурную значимость, Екатеринбург еще пятнадцать лет назад стал внимательно присматриваться к евразийской идее. А в начале XXI в. он начал примерять к себе одежки «столицы Евразии» и культивировать местную версию евразийской идеи. Этим он стремится позиционировать себя мостом, связывающим континенты, и в то же время центром, где сохраняется самобытное культурное и историческое наследие[42]. В мае 2000 г. Екатеринбург стал центром Уральского федерального округа, однако статус «столицы Урала» не утолил его амбиции, ибо ему хотелось большего. В конце мая 2002 г. эти претензии были озвучены на Всероссийской научно-практической конференции «Екатеринбург: от завода-крепости к евразийской столице». Там мэр города А. Чернецкий подчеркнул расположение города на границе Европы и Азии, назвав это большим символическим капиталом, и, исходя из этого, было принято решение о строительстве туристического комплекса «Европо-Азия»[43]. Знаковое название «Евразия» пользуется в городе популярностью. В частности, его гордо носит местный баскетбольный клуб, и в области ежегодно проводится лыжный марафон «Европа-Азия».

7. *Символическое освоение территории* происходит не только путем присвоения чужого прошлого или претензий на привнесение туда «цивилизации», о чем говорилось выше. Для этого существуют и иные способы.

А) Оно может осуществляться путем возведения памятников, имеющих знаковый характер. Однако иной раз это встречает протест на местах. Например, летом 2005 г. раскол в Адыгее вызвали планы установки памятника православному святому Николаю Чудотворцу в Майкопе, столице республики.

---

[41] Абашев В. В. Пермь как центр мира. Из очерков локальной мифологии // Новое литературное обозрение, 2000, № 46. С. 275-287; Кондаков Б. В. Пермская земля: реальность и мифы // Ахметова М. В. (сост.). Современная российская мифология. М.: РГГУ, 2005. С. 124-132. Не исключено, что эта тревожная атмосфера, созданная мифом, повлияла на местных сектантов, объявивших в конце 2007 г. о близящемся Конце Света.

[42] Болотова А. Европа – Екатеринбург – Азия // Родина, 2003, № 8. С. 61-63; Давыденко А. Власть языка и язык власти (анализ регионального мифа) // Венедиктова Т. (ред.). Популярная литература: опыт культурного мифотворчества в Америке и в России. М.: Изд=во Московского университета, 2003. С. 83-84.

[43] Казанцева Т. Стефан обещал вернуться // Уральский рабочий, 24 мая 2002. С. 1; Мэр подвел итоги конференции // Уральский рабочий, 25 мая 2002. С. 1

Противоречивость этого мероприятия заключалась в том, что оно затрагивало глубокий этнополитический конфликт, годами будораживший Адыгею. Ведь власть там находилась в руках адыгейцев, составлявших меньшую часть местного населения, тогда как большинство было представлено русскими. В начале 1990-х гг. была введена квотность политического представительства: 50% депутатских мест автоматически отдавались адыгейцам притом, что они составляли 22% населения республики[44]. Мало того, если традиционно адыгейцы связывали себя с исламом, то русские себя – с православием. Наконец, в середине 2000-х гг. началась кампания по укрупнению регионов, и в Адыгее опасались передачи республики в юрисдикцию Краснодарского края, что привело бы к утрате автономии. В этих условиях возведение памятника православному святому имело огромное символическое значение и воспринималось активистами адыгских общественных организаций, «Черкесского конгресса» и «Адыгэ Хасэ», как покушение на сложившийся политический порядок и угроза сложившемуся в республике «межнациональному и межконфессиональному миру и согласию». Заодно они подняли вопрос о снесении памятников русским полководцам Суворову, Зассу и Лазареву, участвовавшим в насильственном присоединении адыгских земель к Российской империи. Однако после некоторых колебаний президент Республики Адыгея, очевидно, под давлением из центра поддержал строительство памятника, и тот был открыт 15 февраля 2006 г.[45]

Активная роль социальной памяти проявляется не только в сооружении памятников, но и в их разрушении. В этом случае речь идет уже не просто об освоении территории, а о политическом освоении территории, наделении ее символами нового политического режима с его собственным видением истории. Например, на наших глазах происходило разрушение памятников наиболее одиозным коммунистическим деятелям и возведение – царям и церковнослужителям[46]. В Москве было убрано немало памятников Ленину[47], зато рядом с восстановленным Храмом Христа Спасителя был установлен памятник Александру II. Накануне предвыборной кампании 2007 г. губернатор Краснодарского края А. Ткачев, покинувший к тому времени ряды союзников бывшего губернатора, коммуниста Н. Кондратенко, и перешедший в «Единую Россию», прекратил проведение майских и ноябрьских демонстраций в центре

[44] В начале 2000-х гг. эта норма избирательного законодательства была отменена.

[45] В Адыгее обсудили проблему государственности и памятника Николаю Чудотворцу // ИА REGNUM, 22 июля 2005 (http://www.regnum.ru/news/487739.html); Адыгейцы протестуют против русских памятников // Агентство Национальных Новостей, 11 августа 2005 (http://annews.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=12808); Президент Адыгеи поддерживает идею строительства памятника Николаю Чудотворцу // Caucasus Times, 11 января 2006 (http://www.caucasustimes.com/article.asp?id=7040); Аслан Шаззо. В Адыгее состоится открытие памятника Николаю Чудотворцу // Кавказский узел, 14 февраля 2006 (http://kavkaz.memo.ru/newstext/news/id/938400.html)

[46] Об этой проблеме см.: Абрамян Л. Борьба с памятниками и памятью в постсоветском пространстве (на примере Армении) // Acta Slavica Iaponica, 2003, t. XX. С. 25-49.

[47] Тем не менее, и в середине 2000-х гг. в столице оставалось 68 таких памятников.

Краснодара, а на площади Труда в 2006 г. был возведен Храм Александра Невского, святого покровителя кубанских казаков. Тогда же оттуда был убран памятник Ленину, но зато вместо этого там поставили памятник Екатерине II[48]. В Ростове-на-Дону приняли компромиссное решение: на месте памятника Кирову появился памятник императрице Елизавете Петровне, однако и Кирову нашлось место, но уже в другом месте города.

Парадоксальное почитание памяти общественных деятелей, бывших при жизни заклятыми врагами, является зримой чертой постсоветской действительности. Например, после перенесения праха бывшего городского головы г. Владикавказа, Гаппо Баева, из Германии на кладбище Церкви Рождества во Владикавказе его могила оказалась напротив могилы бывшего первого секретаря Северо-Осетинского обкома ВКП(б) Кубади Кулова, в свое время всячески поносившего его как «фашиста» и «изменника Родины». Теперь бюсты этих когда-то непримиримых противников, позабыв прежние разногласия, тихо взирают друг на друга. Такое «примирение» оказывается возможным только в обстановке утвердившегося национализма, нуждающегося в своих исторических героях, выступавших в защиту «народа», что бы ни понималось под «народом» и «его интересами». В таком контексте разное видение историческими героями этих «интересов» и их выступления по разные стороны баррикад оказываются далеко не самым главным фактором. Наиболее ценным в их духовном наследии и деятельности признается преданность Родине и готовность отдать за нее свою жизнь. Иными словами, восприятие таких героев окрашено скорее эмоциями, чем рациональными оценками.

Смена памятников происходит и во многих постсоветских государствах. В Павлодаре (Северный Казахстан) был демонтирован памятник Ермаку, и это было негативно воспринято местными русскими. А в Туркменистане ликвидировали не только памятники Ленину и другим большевистским деятелям, но даже первым руководителям Советской Туркмении, репрессированным при Сталине. При этом из центра Ашхабада был убран Некрополь героям революции и гражданской войны. Зато по всей республике появилось множество памятников президенту Ниязову и его изображений. В новом Национальном музее советский период вовсе не представлен; нет его и в школьных учебниках по истории Туркменистана. Были отменены и советские праздники. Вместо них были введены местные, включая День поминовения, посвященный жертвам, понесенным туркменами при взятии Геок-тепе русскими войсками 12 января 1881 г. Так одна, советская, амнезия замещается другой, постсоветской[49].

---

[48] Костенко Н. Война памятников // Независимая газета, 25 августа 2006. С. 3. Любопытно, что, если кубанские казаки приветствовали установление памятника Екатерине II, то черноморские казаки в Одессе тогда же выступили с протестом против аналогичной акции местных властей, напомнив, что императрица упразднила Запорожскую Сечь. Иными словами, если для кубанских казаков первостепенное значение имеет ценность имперской идеи, то для черноморских – украинского национализма.

[49] Демидов С. М. Постсоветский Туркменистан. М.: Наталис, 2002. С. 53-55, 59, 121, 142, 183.

Еще одним интересным случаем служит разрушение ваххабитами в конце 1990-х гг. бюста Шамиля, который власти Дагестана намеревались установить на родине имама в селе Гимры. А в августе 2001 г. по решению местных азербайджанских властей был взорван памятник Шамилю в г. Закатала, установленный там в 1992 г.[50] Зато в Махачкале в постсоветское время появился проспект Шамиля и обелиск, отдающий дань памяти знаменитого имама. Все это говорит о неоднозначном восприятии образа Шамиля сегодня на Восточном Кавказе[51], а также об интенсивной борьбе между разными версиями социальной памяти.

Б) Важным методом символического освоения пространства служит топонимика. В ряде случаев пришлое население пытается укорениться, маркируя заселяемую территорию своими собственными названиями. И, напротив, окончание «колониального господства», требует смены топонимики как символа полного разрыва с прежней властью. Так, после присоединения Крыма к России в конце XVIII в. значительная часть местной тюркской топонимики была заменена новой, стирающей память о прежнем населении. То же самое произошло с топонимикой на территориях депортированных народов в 1943/44-1957 гг. После осетино-ингушского столкновения осени 1992 г. ингушская топонимика Пригородного района была заменена осетинской. В 1990-х гг. после обретения Казахстаном независимости русские названия в Северном Казахстане начали сменяться казахскими[52]. В Чечне делались попытки переименовать столицу республики: в 1998 г. было предложено назвать ее Джохаром, а два года спустя – Ахмад-Калой. Правда, ни то, ни другое реализовано не было[53]. Зато во Владикавказе Тбилисская улица превратилась в проспект Коста Хетагурова, что имело большое символическое значение в свете современных грузинско-осетинских взаимоотношений. А в Махачкале проспект Ленина превратился в проспект Расула Гамзатова. Так советский поэт победил советского вождя, что подтверждает высказанную выше мысль о притязаниях и силе постсоветского национализма. О том же говорит и тот факт, что памятники дагестанским большевикам и местным советским деятелям до сих пор украшают ландшафт Махачкалы, тогда как общесоветским вождям здесь места почти не осталось. Правда, Ленин по-прежнему остается в почете, и памятник ему украшает одноименную центральную площадь города. Зато в постсоветское время столица Дагестана была украшена проспектом Петра I, начало которого сегодня отмечено бюстом первого российского императора. Тем самым, и в Махачкале память о

[50] См., напр.: Войны памяти: уничтожение аварских памятников в Азербайджане // Миацум.ру, 22 ноября 2007 (http://miacum.ru/gazeta/2007/11/22/avarci_vs_azeriturki_protivostoianie)

[51] Об этом см.: Shnirelman V. A. A revolt of social memory: the Chechens and Ingush against the Soviet historians // Ieda O., Uyama T. (eds.). Reconstruction and interaction of Slavic Eurasia and its neighboring worlds. Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2006. P. 300-302.

[52] Ларюэль М., Пейруз С. «Русский вопрос» в независимом Казахстане: история, политика, идентичность. М.: Наталис, 2007. С. 184-185.

[53] Великая Н. Н., Пылков О. С. О попытках передатировок…

советском вожде мирно уживается с памятью об основателе Российской империи.

В случае смены политических режимов и исторических эпох переименования имеют особый смысл. Иной раз новая власть сознательно порывает с прошлым и соответственно стирает с политической карты страны ненавистные ей названия. Так произошло в Иране после революции 1979 г. Зато в условиях реставрации, делающей упор на исторической преемственности, стираются уже новые и восстанавливаются прежние исторические названия. В этом отношении Россия как бы остановилась на перепутье. В постсоветское время ряд русских городов вернули себе прежние дореволюционные названия: Ленинград вновь стал Петербургом, Горький – Нижним Новгородом, Калинин – Тверью, Куйбышев – Самарой, Свердловск – Екатеринбургом. А в Москве ряду улиц были возвращены их дореволюционные названия. Однако этому примеру последовали далеко не все. Так, Волгоград не стал ни Сталинградом, ни Царицыном, Краснодар не стал Екатеринодаром, Киров – Вяткой, а Ульяновск – Симбирском. Очевидно, в разных регионах власти руководствовались разным видением истории: некоторых сдержал Кремль, не пожелавший возрождать слишком уж одиозную память и вносить раскол в общество (случай со Сталинградом)[54], другие вовсе не стремились отказываться от именитых земляков (Киров, Ульяновск), третьи сохраняли приверженность левым настроениям (случай с Краснодаром).

И уж вовсе не шло речи о восстановлении исторических названий на недавно завоеванных землях, где они были связаны с недавними врагами. Поэтому Калининград и не стал Кенигсбергом. В этом случае задача обрусения края оказалась приоритетнее восстановления исторической преемственности. И это показывает нам, как избирательно работает социальная память, чем она дорожит и от чего с легкостью готова отказаться. Однако в случае с Калининградом дело обстоит сложнее, и здесь политические приоритеты расходятся с интересами развития туризма. И именно учитывая последний фактор, местные власти выступили в начале 2006 г. с предложением о восстановлении разрушенных замков и кирх, которые в советские годы стояли в развалинах[55].

Итак, версии исторического развития регионов и визуальные репрезентации этого развития нагружены глубоким политическим или этнополитическим смыслом. Они находятся на службе символической политики и связаны с символическим освоением исторического времени и пространства. Показательно, что в рассмотренных выше версиях истории нет и намека на гражданскую идентичность, зато постоянно подчеркивается идентичность этническая, русская. При этом символическая экспансия русскости идет как вширь (смена топонимики, возведение памятников), так и

[54] Колесников А. Из Сталинграда в Волгоград // Известия. 11 сентября 2001. С. 2.

[55] Башин А. Королевский замок – культурная и архитектурная доминанта Калининграда // Достояние поколений, 2006, № 1. С. 86-90.

вглубь (углубление истории русского народа в целом или, в частности, в данном регионе). Любопытно, что это происходит на фоне отлива русского населения с северных территорий, с Дальнего Востока и из республик Северного Кавказа. Поэтому речь должна идти не столько о реальной экспансии, сколько о стремлении сохранить за собой территорию символическими способами. Ярким свидетельством этому служит «арийский миф», и весьма показательно, что «народная археология» направляет свои усилия на изучение крайних пределов территории России – крайнего юга (Эльбрус, «раскопки» Асова) и крайнего севера (Кольский п-ов, «раскопки» Демина), где русское население продолжает таять и его присутствие становится эфемерным. Кроме того, объявляя Арктику «гиперборейской прародиной», т. е. прародиной «славяно-русов», «арийский миф» пытается наделить русских абсолютной самобытностью и противопоставить их остальному миру, подчеркивая «особый путь», которым якобы испокон веков следует «русская цивилизация». Но, изолируя первопредков от всех других народов мира, он, во-первых, страдает очевидным изоляционизмом, а во-вторых, имеет безусловный расистский привкус.

В то же время в национальных республиках политика памяти обслуживает этнонациональную идею. Там она направлена на упрочение этнической идентичности, связанной с титульными народами. Именно их героям отдается дань уважения: их памятники занимают господствующее положение в местном городском ландшафте и их имена увековечиваются местной топонимикой.

Иными словами, если в нерусской среде выковываются этноцентристские мифы о прошлом, то в русских регионах доминирует стремление не столько заявить о своей какой-то особой этничности, отличной от русской (хотя, как мы видели, и такие примеры встречаются), сколько, напротив, продемонстрировать свою некую сверхрусскость. Фактически регионы борются за статус «суперрусских», достойных быть русскими в большей степени, чем все остальные. Этому придается исторический ракурс, т. е. в регионах связывают свою землю с истоками тех или иных атрибутов русского народа: происхождением его языка, государственности, традиционной культуры или даже его самого. Мало того, иной раз русский народ рисуется едва ли не первонародом с присущей ему культуротворческой и цивилизаторской миссией. Свое крайнее выражение это находит в «геологическом подходе», выводящем как данный регион, так и Россию в целом за пределы человеческой истории и наделяющем их некой космической энергетикой, позволяющей претендовать на особое место в современном мире. Все это хорошо согласуется со становящейся вновь популярной имперской идеей и претензией на доминирующее положение русских в России как «государствообразующего народа», а также со стремлением России вернуть себе статус сверхдержавы на мировой арене.

Особая ситуация наблюдается в окраинных регионах, где русские не столь уверены в своей безопасности, как обитатели центральных территорий. Поэтому там принимаются особые меры по интенсивному символическому освоению пространства, наполнению его символами русскости. Создателям местных версий истории это кажется тем более важным, что в постсоветское время наблюдается все большее расхождение между имперскими представлениями о «присоединении» и «добровольном вхождении», характерными для федеральных учебников, и постколониальным настроем многих историков в этнонациональных республиках, где прежней популярностью пользуется идея о «колониальном завоевании»[56]. Все это приводит к конфликтам, которые иной раз выходят далеко за рамки интеллектуальных битв.

В то же время нетрудно заметить, что сегодня региональные или локальные версии истории нередко создаются для одноразового использования – празднования юбилеев и получения для этого обильного финансирования. Кроме того, некоторые из таких версий предназначены своими создателями для развития туризма.

Данная статья не претендует на то, чтобы дать полное представление о разнообразных версиях истории, представленных в разных регионах России. Рассмотренные в ней модели конструирования исторической памяти являются, разумеется, далеко не единственными. Однако они дают представление о некоторых важных дискурсах, встречающихся сегодня в российском обществе и у его властных элит.

[56] Шнирельман В. А. «Патриотическое воспитание»: этнические конфликты и школьные учебники // Расизм в языке образования / Под ред. В.Воронкова, О.Карпенко, А. Осипова. СПб.: Алетейя, 2008. С. 88-111.

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ НА ПЕТРОГРАДСКОМ ФРОНТЕ[1]

В.В. Поликарпов
кандидат исторических наук, доцент,
научный редактор журнала «Вопросы истории»

Роль масонов в событиях предреволюционного времени и 1917 года остается мало и плохо изученной. Сохраняет силу наблюдение, принадлежащее А.Я. Авреху: в большинстве масоноведы «используют только те публикации, которые работают на их концепцию. Свидетельства, противоречащие ей, просто игнорируются». Делать «то, что в исторической науке принято называть критикой источников», считается излишним[2]. А когда, в виде исключения, попытки в этом смысле предпринимаются, то приносят только плачевный результат. Обычно же анализ заменяется традиционными штампами: «признал позднее» такой-то «масон», «откровенно признал», «по мнению ряда историков» — таких, как Берберова, Яковлев... В литературе господствует абсолютно не отвечающая трагическому содержанию происходившего в России авантюрно-опереточная стилистика, привлекательная для любителей остросюжетной дешевки и удобная для пропаганды черносотенства.

Опубликование сфабрикованных НКВД показаний Некрасова не оставило равнодушными историков, занимающихся масонской темой. Ранее они удовлетворялись обрывками «воспоминаний», внедренными «в научный оборот» в 1974 г. Андроповым–Бобковым–Яковлевым. Теперь некоторые из этих специалистов, не ведая сомнений, используют полную публикацию, хотя природа «известий» Некрасова вполне очевидна. Без такого рода источников масоноведение ныне уже не мыслит своего существования. Появились и возражения по поводу критических замечаний, высказанных в статье «Из следственных дел Н.В. Некрасова».

Выдвинут аргумент в пользу достоверности показаний Некрасова[3]. Не отрицая ложность их основного содержания (признания в антисоветской террористической и вредительской деятельности), И.С. Розенталь в то же время усматривает «познавательную ценность» показаний в их «масонской части». То, что

[1] Первая публикация: Поликарпов В.В. От Цусимы к Февралю. Царизм и военная промышленность в начале XX века. М.: "Индрик", 2008, с….

[2] Аврех А.Я. Масоны и революция. М., 1990. С. 68–69, 176.

[3] Розенталь И.С. Масоны и попытки объединения политической оппозиции в России начала XX в. // Вопросы истории. 2000. № 2. С. 65.

сообщил Некрасов на допросах, по мнению Розенталя, заслуживает доверия потому, что совпадает «со свидетельствами на ту же тему, достоверность которых вне сомнений». В том же смысле высказался В.И. Старцев: «Сопоставление каждого факта, упоминаемого Некрасовым, с аналогичными (?) материалами, опубликованными или хранящимися за рубежом, показывает полное соответствие. Это я и называю проверкой его показаний по первоисточникам».

Такая методика не выдерживает критики. Если сведения о масонах имеются в надежном (допустим) источнике и те же сведения — в источнике заведомо фальсифицированном, то «познавательную ценность» фальшивка от этого не приобретает. Выдвигается на очередь лишь вопрос, как достигнуто это совпадение, делающее фальшивку правдоподобной. Отсюда и дальнейший вопрос: какими материалами о масонстве располагало ОГПУ–НКВД.

Ложными представлениями в этом вопросе руководствовался В.И. Старцев. Утверждая независимость своих (и Л. Хеймсона) занятий масонской темой от интересов КГБ, отрицая здесь связь с яковлевской провокацией 1974 г., Старцев ссылался на хронологию: на поприще масонских исследований он сам явился еще за семь лет до 1974 г. (Хеймсон так даже за десять лет), а не по призыву КГБ. Но никто и не собирался подозревать Старцева, как и Хеймсона, в секретном сотрудничестве с КГБ. Другое дело, что успешное внедрение масонской темы в середине 1960-х гг. в американскую академическую литературу должно было вдохновить андроповское ведомство на проведение той идеологической спецоперации, к которой и были привлечены Яковлев и другие подобные масоноведы. Приведенные же Старцевым хронологические расчеты значения не имеют, поскольку не решают вопроса о приоритете. Принять их — значит думать, что до 1974 г. чекисты стояли в стороне, масонство их не интересовало.

Возьмем, к примеру, показание некоего «розенкрейцера» (А.В. Барченко), данное в 1937 г., о том, что Я.Г. Блюмкин (расстрелян 3 ноября 1929 г.), желая его запугать, сообщил — «истерично орал», по элегантному выражению «литератора Олега Шишкина», — «об их [сотрудников ОГПУ Г.И. Бокия и Я.С. Агранова] связях с масонами с дореволюционных времен»[4]. Иному масоноведу покажется, что «известие» об этих связях не лишено «познавательной ценности» (худо ли: Бокий, один из руководителей Октябрьского переворота, — то ли сам из масонов, то ли их сообщник). Объективный же смысл данного известия лишь в том, что в 1937 г. (не за семь и не за десять лет до провокации 1974 г.) на Лубянке, свойственными тому ведомству методами, вплотную занимались масонской проблемой. «ГПУ теперь особенно внимательно интересуется масонством и может пытаться искать непосредственные нити от прошлого к

[4] См.: Велидов А.С. Похождения террориста. Одиссея Якова Блюмкина. М., 1998. С. 255, 266. Приложение. Это показание Барченко о масонстве Бокия даже «подтверждается» вполне «аналогичным материалом», столь же надежным источником — показаниями самого Бокия на допросе в мае 1937 г. (см. Андреев А. Оккультист Страны Советов // Бережков В., Андреев А. Оккультисты Лубянки. М., 2006. С. 396).

настоящему», — писал в январе 1931 г. Б.И. Николаевский М.А. Алданову[5]. Из материалов ОГПУ второй половины 20-х гг. следует, что Управление «особенно интересовалось заграничными связями российских масонов»[6]. При реабилитации в 1956 г. начальника 9-го управления НКВД Г.И. Бокия прокуратура нашла, что он «действительно занимался изучением структуры и идейных течений масонства»[7]. Как установлено французскими и отечественными специалистами, русское масонство в эмиграции в 1930-е гг. обслуживало разведку. Масонскую штаб-квартиру в Париже на улице Иветт они аттестуют как «центр шпионажа русской эмиграции... на советское посольство». Доклад, представленный одним из таких «масонов» на Лубянку в 1933 г., содержит «развернутые характеристики» 92 «братьев» вплоть до указания на их «чисто человеческие струны», на чем можно было бы сыграть при их последующей вербовке. Контакты с советскими агентами поддерживались и позднее и раньше; «органы» не раз проводили операции «по заманиванию масонских шефов в свои сети». В «агентах Коминтерна» состоял «метр венерабль» ложи «Великий Восток Италии». Масонов, проводивших свою конференцию в Брюсселе в 1935 г., агенты «советских кругов» уверили, что уже «приближается время, когда Россия созреет для масонской деятельности», и «братья» радовались этим попыткам контактов, устанавливавшихся «всегда по инициативе советских кругов»[8]. Груду материалов, предоставленных ФСБ и отражающих напряженную работу ОГПУ в 1920-е гг. с масонскими и иными подобными организациями, опубликовал (не умея, впрочем, использовать ее в исследовательских целях) В.С. Брачев; их дополняют материалы, изданные А.Л. Никитиным[9].

Все это лишает почвы утверждения, будто те или иные масонские материалы, хранящиеся за рубежом, в силу самого этого обстоятельства якобы делались «недоступными НКВД», а значит, могут служить независимым источником для анализа сведений о масонах, вписанных в показания Некрасова[10]. Анализ источников по этой линии — задача более сложная, чем иногда представляется. Факт, не оспоренный, но и не учитываемый Розенталем, заключается в том, что ОГПУ и НКВД разными способами энергично обзаводились «масонскими» материалами и сами их плодили. В 1937 г. формула обвинения: «создание масонской контрреволюционной террористической организации и шпионаж в пользу Ан-

[5] Николаевский Б.И. Русские масоны и революция. М., 1990. С. 121.

[6] Андреев А. Указ. соч. С. 412.

[7] Соловьев О. Русские масоны. М., 2006. С. 397–400, 425.

[8] Соловьев О.Ф. [Рец. на книги О.А. Платонова и А.И. Серкова] // Вопросы истории. 1998. № 9. С. 158–159; ЕГО ЖЕ. Масонство в мировой политике XX века. М., 1998. С. 146; ЕГО ЖЕ. Русские масоны. С. 397–400.

[9] Никитин А.Л. Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в советской России. М., 2000.

[10] Розенталь И.С. Указ. соч. С. 52, 65; Старцев В.И. Письмо в редакцию // Вопросы истории. 1999. № 4–5. С. 173–176; Соловьев О.Ф. Русские масоны. С. 238; Седова Я.А. Великий магистр революции. М., 2006. С. 287. Вопреки утверждению Седовой, причастность сержанта госбезопасности к составлению протокола вытекает не из догадки, основанной на факте получения Яковлевым этого протокола от КГБ, а из имеющихся под протоколами подписей этого сержанта по фамилии Иванов (Вопросы истории. 1998. № 11–12. С. 37, 48).

глии» уже «звучала совершенно стандартно»[11] (вариант: «руководитель ленинградского отделения ордена розенкрейцеров, связанного с заграничным центром масонской организации» плюс шпионаж в пользу Японии). До 1941 г. нацисты и Лубянка, состязаясь, делали в Берлине, Париже и Москве одно общее дело, а сформированная их усилиями коллекция материалов о масонстве досталась в конечном счете советским спецслужбам. Десятки лет спустя КГБ их эффективно использовал[12].

Нет никаких признаков осведомленности Розенталя относительно того, какими же материалами о масонстве в действительности «органы» владели (и какими — нет). Старцев, нужно отдать ему должное, попытался через Яковлева добраться до некрасовских свидетельств, но его ждало фиаско. «Я очень добивался встречи с Яковлевым после выхода в свет его книги, — вспоминал Старцев, — а когда встреча состоялась, то просил показать текст этих показаний. Он привел меня в кладовку, на полтора метра от пола набитую копиями разных документов, и сказал, что найти в этой куче нужные копии невозможно»[13]. Этим и закончилась археографическая экспедиция. У Старцева пропал интерес к критике источника, даже детального сопоставления «воспоминаний» Некрасова с доступными материалами Николаевского он не произвел, хотя в общей форме высказал убеждение в их совпадении.

Почему-то Розенталь считает, что в не удовлетворившей его статье «Из следственных дел Н.В. Некрасова» обязательно нужно было использовать «материалы, собранные в эмиграции Б.И. Николаевским» и опубликованные Старцевым в 1989–1990 гг. Старцев в той же связи проводил мысль, что отсутствие ссылок на этот его труд (действительно, только одна!) — признак вопиющего незнакомства с предметом; незнанием такого важнейшего источника и объясняется полное отрицание существования масонства — «попытки вновь представить масонство как нечто выдуманное и несуществующее». Но где же, кто делает такие попытки? Не слишком ли легкий избирается способ полемики, когда подменяют предмет обсуждения? Речь ведь шла о правомерности использования вполне конкретного источника сведений о масонах — показаний Некрасова. Здесь Родос! Какие именно известия в материалах Николаевского настолько существенны для подтверждения достоверности протоколов допросов, что заслуживают, по мнению Розенталя, обязательного упоминания? Отсылка к названной публикации Старцева in corpore, каким бы ценным ни считался в масоноведении этот материал, имеет, по сути, безадресный характер.

Возможно, оценка протоколов допросов плохо подытожена в статье «Из следственных дел Н.В. Некрасова», раз она вновь и вновь порождает впечатле-

[11] Андреев А. Указ. соч. С. 418, 420.

[12] Понимание характера источника — показаний следователям НКВД — не устраняет соблазна. Х. Вада, например, упрекает Ц. Хасегаву, за то, что тот не использовал материал Яковлева (показания Некрасова) и «не придал значения масонским связям». «Хотя этот человек [Яковлев] одиозный из-за связей с КГБ, эти показания были важными... Я поддерживаю концепцию Старцева» (Вада Х. Россия как проблема всемирной истории. Избр. труды. М., 1999. С. 46).

[13] Старцев В.И. Письмо в редакцию. С. 173.

ние об «огульном отрицании» этих документов как источника[14]. Подобное отрицание было бы неверно: это полезный источник, проливающий свет на занятия ОГПУ–НКВД в 1920–1930-х гг. (разработка «масонства»). Но «познавательная ценность» того же источника для изучения самого масонства начала XX в. нуждалось бы в серьезном обосновании, а пока это не сделано — близка к нулю.

С масонскими источниками вечно какие-то тайны да недоразумения — вспомним, например, исчезнувшее интервью о масонах А.И. Гучкова[15], доживавшего свой век в Париже в окружении агентов советских спецслужб. Все прочие мемуарные записи Гучкова, по самым разным вопросам, сохранились, лишь именно эта куда-то запропастилась. Или, наоборот, загадочное обретение рукописи «Красной симфонии» доктора И. Ландовского с разоблачениями заговора «мировой иудейской закулисы». Опять, как у Элькина, приобретение от таинственного покойника: концы в воду![16] Прежде использования материалов Николаевского также следовало бы разрешить некоторые археографические вопросы, которые они вызывают.

«Подлинность всех этих документов не вызывает никаких сомнений», — уверял скептиков публикатор этих материалов, ознакомившись с ними в Колумбийском университете. Масонский устав «обследован и идентифицирован лично мною. Интервью даны свободно и под условием их неопубликования». Со Старцевым соглашается Б. Витенберг: по его мнению, документы эти дают «вполне убедительные свидетельства»[17]. Другой специалист по масонам, О.Ф. Соловьев, однако, все же сеет сомнения. Его «настораживает... признание публикатора об использовании машинописных копий, не оригиналов». Тут «не спасает и ссылка его [Старцева] на то, что “машинописные копии, а потом и ксерокопии” якобы “фактически сохраняют весь внешний вид оригиналов”. Как удалось произвести такое сличение публикатору, не видевшему подлинника, да еще умалчивающему о том, подписаны ли копии, какую имели правку и т. д., остается неизвестным»[18].

Все эти источниковедческие премудрости О.Ф. Соловьев ныне отбрасывает и, не вдаваясь в объяснения, становится на противоположную точку зрения. Теперь те же материалы Николаевского–Старцева уже не только не вызывают у него сомнений — наоборот, сами они годятся для того, чтобы подкрепить познавательную ценность показаний Некрасова. Но и без этого, по мнению Соловьева, поставить под сомнение протокол допроса — значит «походя бросить

[14] Макушин А. Узловые проблемы истории российского либерализма // Исторические исследования в России. II. Семь лет спустя. М., 2003. С. 358.

[15] Александр Иванович Гучков рассказывает... Воспоминания Председателя Государственной думы и военного министра Временного правительства. М., 1993. С. 140, примеч. 70 и 67, 131.

[16] Виноградов А. Тайные битвы XX столетия. М., 1999. С. 451сл.; Брачев В.С. Масоны, мистики и богоискатели в России. XX век. СПб., 2003. С. 189–190; его же. Чекисты против оккультистов. М., 2004. С. 147; Ландовский И. Красная симфония. (Откровения троцкиста Раковского). Новосибирск, 2000.

[17] Витенберг Б. Между мистикой и политикой: российское масонство в начале XX века (обзор новых книг о русском масонстве) // НЛО. 2004. № 70. С. 388.

[18] Соловьев О.Ф. Русское масонство. 1730–1917. М., 1993. С. 216.

тень на безвинно расстрелянного» «видного отечественного деятеля Н.В. Некрасова»[19]. («Безвинно»? А ведь в том же протоколе он все признал? При этом «узник Некрасов ничего не выдумывал» и никакого сценария не было, потому что «невежественные следователи не могли разработать» его?) Это веха в науке, неслыханная доселе, новейшая по духу современности, постановка вопроса!

Суть ранее высказанных соображений О.Ф. Соловьева все же сохраняет свою силу, в объективированном, так сказать, виде историографического факта, существующего, получается, теперь уже независимо от автора.

Критические указания Соловьева в отношении «материалов Николаевского» Старцев не принял во внимание. Но нельзя видеть в них мелочную придирку, памятуя, как Старцев выяснял у Яковлева достоверность «воспоминаний» Некрасова. А как исполнено им обещание обнародовать данные собственного «источниковедческого, текстологического и графологического анализа» документов Б. Элькина? Крохоборы (А.В. Островский в первую очередь[20]) привязались, не раз напомнили об этом обещании, и оно было исполнено Старцевым так: «Кстати, документы этой публикации (факсимильные копии!) подлинные. Это подтверждается наличием на них (все-таки: подлинники или копии? — *В.П.*) входящих штампов «Великого Востока Франции», типографскими формулярами списков, подписями Сеншоля и Буле».

Вот и вся текстология и графология. Да и к чему все это. Чекистская совесть разве позволила бы сфабриковать факсимильные копии, да еще с подписями двух «венераблей». К тому же не всегда приходилось подделывать оттиск печати: подлинной печатью ложи «Астрея» чекисты обзавелись еще в 1919 г. (отняли у С.П. Мельгунова)[21]. По поводу имеющихся в документах Элькина десятков несоответствий действительно независимым источникам, на что указал Островский, Старцев высказался столь же лаконично — что «наблюдения А.В. Островского относительно нахождения или отсутствия тех или иных людей в Москве в период составления списков... нисколько не опровергают подлинность этих делопроизводственных источников “Великого Востока Франции”».

Категоричность ответа не снимает проблему.

Во-первых, сомнения, высказанные Островским, не сводятся к составу списков «братьев», а относятся также и к особенностям формуляра делопроизводственных документов, к удостоверяющим их подлинность элементам, а также к происхождению. Все это оставлено Старцевым в стороне.

Во-вторых, и в списках Островский обратил внимание не только на путаницу с московскими адресами, но также на расхождения в указании дат и мест (Париж или Петербург?) приема ряда лиц в масоны, нелепости в обозначенных

[19] Соловьев О. Русские масоны. с. 238. Впрочем, в другом месте О.Ф. Соловьев и сам оспаривает утверждения Некрасова в его показаниях (с. 264).

[20] Островский А.В. Указ. соч. С. 167.

[21] Мельгунов С.П. Воспоминания и дневники. М., 2003. С. 199

датах рождения; на ошибочно проставленную «подлинную» подпись одного лица (Баженов) вместо другого — однофамильца, с соответственно перепутанным указанием адреса. Скептику — повод подумать, что составитель списка (не сержант ли госбезопасности опять?) в спешке и небрежно списывал на типографский бланк сведения о Баженове из дореволюционного городского справочника. Сплошной перечень подобных «недоразумений», обнаруженных в документах Элькина, занимает у Островского девять страниц, и это вовсе не такие пустяки, какими они представлены в возражениях Старцева.

Подлинные тетради Николаевского отсутствуют в архиве Колумбийского университета. Старцев объяснял это предположением, что они, «видимо», «были проданы в 60-х гг.» Николаевским кому-то. Известно, однако, что какая-то часть бумаг Николаевского поступила в Москву еще до войны. Независимость же показаний Некрасова от тетрадей Николаевского или каких-либо еще «заграничных» материалов, сфабрикованных на Лубянке, — даже не гипотеза, а лишь произвольное допущение. Оно и останется в том же качестве до тех пор, пока не откроется возможность свободно работать с архивами этого ведомства и выяснится, чем оно располагало и какие ставило цели, запасаясь подобными «источниками». Упование на такую возможность в будущем, вопреки мнению Розенталя, не пессимизм в отношении источников, — скорее, неуемный оптимизм[22]. На нынешний день известно, что бывшие Центральный партийный архив и ЦГАОР (РГАСПИ и ГАРФ) получили часть бумаг Николаевского из Оперативного архива госбезопасности (ЦГОА) «без указания источника» их поступления. При этом ЦГОА жертвовал в посторонние хранилища не огульно те или иные фонды, а лишь такой материал, какой, по заключению начальника архива, «не может быть использован для оперативно-чекистской работы»[23]. И поныне лишь отдельные документы такого рода Служба внешней разведки предоставляет отдельным исследователям[24].

Бесчисленные протоколы допросов, имеющие «масонскую часть», сочинены следователями по нехитрой схеме, воспроизводящей, в основе, образцовый шаблон наставления по тактике допроса: подследственный сначала все отрицает, пытается увести следствие от сути дела к пустякам. Но проницательный чекист выбирает нужный момент и, вооруженный знанием истинных обстоятельств (поскольку располагает признательными показаниями, уже полученными от других «братьев»), ловко припирает вражину к стене[25]: «Это неправда. Где в настоящее время находится имярек?» («брат» допрашиваемого). Застигнутому врасплох незадачливому «масону» ничего не остается, как пролепетать:

[22] А до тех пор, пока новые возможности не откроются, действительно, «вряд ли можно рассчитывать на что-то большее, чем незначительное уточнение масонских списков», а оно «дает не очень много» «для изучения собственно масонской деятельности» (Витенберг Б. Указ. соч. С. 388).

[23] Гримстед П.К. Дважды захваченные или «дважды спасенные»? Розыск российских «трофейных» архивов и добычи Главного управления имперской безопасности // Социальная история. Ежегодник, 2004. М., 2005. С. 430—431.

[24] См. Соловьев О. Русские масоны. С. 400.

[25] Бережков В., Аандреев А. Указ. соч. С. 90—91, 478.

да, его «брат» и сообщник был расстрелян как английский шпион. «Я признаю, что мне были известны факты, указывающие на шпионскую деятельность “брата”». От следствия, видно, ничего не скроешь, деваться некуда, надо сознаваться и дальше: «Я признаю, что наша ложа входила в состав общемасонской системы шпионажа». Итог: умелой тактикой допроса следователь вынудил сознаться еще одного упорного и хитрого врага, а меры «физического воздействия» — это уже не вопрос тактики, это регулируется инструкцией и в протокол не попадает.

От утверждения о недоступности для НКВД тетрадей Николаевского Розенталь переходит к попытке провести собственный анализ показаний Некрасова, сводящийся на практике к авторским предположениям о смысле действий «ежовских масоноведов». Оказывается, как «легко заметить» (конечно! вот же протокол!), на допросе Некрасов проявил такую исключительную стойкость, выносливость (или Ландовский отдыхал в отпуску?), что «не выполнил требование следователя» и не выдал чекистам страшные масонские тайны. Но в то же время следствие, по мнению Розенталя, получило «достаточное количество (достаточное для чего — не сказано. — *В.П.*) вырванных пытками “*признаний*” Некрасова». Из этого Розенталь заключает, что как по одной причине (Некрасов не рассказал), так и по другой (рассказал «достаточно») «масонская *легенда* не была использована в 1939 г. в качестве обвинительного материала».

Если «масонская часть» показаний Некрасова — легенда, выдумки; если его «признания» — заслуживают красноречивых кавычек, то против чего же спор?

Если такова устоявшаяся — и рекомендуемая в кругу части специалистов — «традиционная» методика критики источника, то перед нами наглядное свидетельство незавидного, вопреки самооценкам, состояния масоноведения. Трудно ожидать, что ему удастся преодолеть собственную пристрастность, побуждающую злоупотреблять источниками темного происхождения и более чем сомнительного качества.

Масоноведы, как правило, избегают выяснять те недоразумения, которые обнаруживаются в подобных источниках, порождая недоверие к ним, и повторяют, вместо аргументов, нечто вроде заклинания: примите на веру этот источник, «в точности которого нет оснований сомневаться». Например, М.В. Назаров из тетрадей Николаевского (запись беседы с А.Я. Гальперном) «узнал» о масонстве А.В. Карташева (Гальперн-де представил его как одного из «руководящих деятелей Верховного Совета»[26]). Когда же Назаров в последующем встретил опровержение этих сведений самим Карташевым, то ему показалось «странным» не сообщение Гальперна, а заявление Карташева: «Я масоном не был и не буду, как человек сознательно отдавший свою волю церковной дисциплине и не могущий вместить какого-то духовного двоеподданства». Объясняя эту «странность», Назаров в духе Берберовой строит предположения, противо-

[26] См.: История СССР. 1990. № 1. С. 149, 142.

речащие одно другому: либо Карташев к этому времени «отошел от масонства», либо просто вводил в заблуждение и пытался «отмежеваться» от «думского» масонства, используя некие «формальные моменты», какие-то «внутримасонские проблемы», которые, опять же, «вряд ли можно считать существенными для нашей темы»[27], т. е. и тут — предположения, загадки, намеки, понятные только посвященным в сугубые тайны «настойчивой работы масонов и евреев».

Спор масоноведением решается в пользу Гальперна: это «достоверное свидетельство», оно к тому же «частично подтверждено менее полным» — но не менее надежным! — «свидетельством Н.С. Чхеидзе» в тех же копиях тетрадей Николаевского; так считает патриарх масоноведения, изучавший этот источник на протяжении почти 50 лет[28].

Для разоблачения заговора «мировой иудейской закулисы» пользуется популярностью в «патриотических» кругах и такой «документ», как протокол допроса Х.Г. Раковского 26 января 1938 г. Его используют по тексту, приведенному в «Красной симфонии» — сочинении, опубликованном от имени «доктора Ландовского», якобы служившего с 1936 г. в токсикологической лаборатории НКВД. (Рукопись «Красной симфонии» будто бы была обнаружена «на трупе» Ландовского где-то «на Петроградском фронте» второй мировой войны.) Показания о своем участии во всемирном масонском заговоре Раковский дал, как сказано в «Красной симфонии» от лица Ландовского, под воздействием наркотического средства, незаметно введенного ему самим этим «доктором». У «Ландовского» не без основания вся описанная процедура именуется «пыткой». Масоноведов определенного сорта («группа русских ученых патриотов» во главе с генералом спецслужбы) такая подробность не озадачивает, в их глазах «познавательная ценность» «документа» оттого едва ли не возрастает. Да, собственно, с точки зрения этого генерала и не видна разница между допросом-пыткой и «непринужденно» проходившим «разговором»: ведь была «закуска и выпивка», «обстановка была создана уютная», а пилюля в рюмку — это лишь средство, «возбуждающее энергию и поддерживающее бодрое настроение»[29].

Порочное происхождение «Красной симфонии», задуманной как подтверждение «Протоколов Сионских мудрецов», очевидно. Единственное в этой фашизоидной легенде похожее на факт обстоятельство — личность «доктора И. Ландовского», поскольку указаны место, время его службы в таком ведомстве, где о людях должно быть все известно. Таким образом, хотя бы этот факт поддается объективной проверке. Редакция журнала «Вопросы истории» и обратилась в компетентное ведомство с просьбой дать возможность «проверить некоторые фактические сведения» о Раковском, «появившиеся в печати за последние годы». Требовалось установить, «достоверны ли сведения о том, что с

[27] См.: Назаров М. Миссия русской эмиграции. Ставрополь, 1992. Т. 1. С. 130, 131.

[28] Хеймсон Л. Проблема социальной стабильности в городской России 1905–1914 гг. // Между двух революций. 1905–1917. СПб., 2005. С. 156. Авторизованный перевод статьи 1964/1965 гг. из «Slavic Review».

[29] Ландовский И. Красная симфония. (Откровения троцкиста Раковского). Новосибирск, 2000. С. 5, 6.

1936 г. в НКВД работал некто И. Ландовский, медик и химик (фармацевт) по профессии, участвовавший в подготовке допроса Х.Г. Раковского 26 января 1938 г.»; «если да, то что известно о судьбе этого Ландовского». В ответном письме ведомство исчерпывающе прояснило вопрос: «Какими-либо сведениями о И. Ландовском Центральный архив ФСБ России не располагает».

Биограф Раковского М.Г. Станчев получил возможность ознакомиться со следственным делом своего героя. Протокола, напечатанного в «Красной симфонии», в нем, разумеется, не оказалось. Зато есть два других документа, имеющих свою «масонскую часть». На очной ставке Раковского с К.К. Юреневым, проведенной в присутствии Н.И. Ежова 22 сентября 1937 г., Раковский, подобно Некрасову и Бокию, рассказывал о своем и Юренева участии в «троцкистско-пораженческом течении», в работе на английскую разведку, в подрыве обороноспособности СССР путем ослабления борьбы с распространением венерических заболеваний (по заданию японцев) и пр. Заодно он «вспомнил» еще и о том, что якобы видел письмо Юренева Пятакову, в котором Троцкий именовался «венераблем», а Пятаков — «мастером», и пояснил: «Это клички, обычно применяемые в масонских ложах... “Венерабль” — это старшина ложи, “мастер” — это первый ранг, а потом идут братья». (ЮРЕНЕВ: «В сознании не умещается этот своеобразный бред»; «Это просто бред сумасшедшего»; «Письма не было, покажите мне его...») Между тем Раковский ранее, 8 сентября, не имея перед собой Юренева, привел те же сведения (в собственноручно написанном показании) и, ссылаясь на то же письмо, где Троцкий якобы именовался «венераблем», на этот раз произвел в «мастера» не Пятакова, а самого Юренева: из письма «я узнал, что подпольная кличка Юренева, под которой он известен Пятакову, “мастер”». Следователь, проводивший очную ставку, не исправил показания Раковского. В результате — еще одна непостижимая масонская тайна: то ли сержант снова напутал, кто «мастер» — Пятаков или Юренев, то ли сам «железный нарком» запасался, как умел, «уликами» на любые возможные варианты сценария о всемирном масонском заговоре[30]. Так что, кому — «бред сумасшедшего», а кому — «познавательная ценность». По словам первого заместителя Ежова М.П. Фриновского, на допросах и очных ставках «очень часто показания давали сами следователи, а не подследственные». Ежов и Фриновский «поощряли» такую практику[31]. Сопоставление двух показаний Раковского о «мастере» Юреневе/Пятакове обнаруживает образчик подобного литературного творчества. «Познавательную ценность» придает протоколам как раз то, что и является «показаниями следователя».

Читая показания «брата» Бокия, масоновед не слишком затрудняется в оценке источника: «Хотя мы хорошо знаем цену подобных признаний, все же в показаниях Бокия наряду с явным самооговором можно найти и немало досто-

[30] См. Станчев М.Г. Христиан Раковский в застенках НКВД // Bulgarian Historical Review. 2005. № 1–2. P. 222; № 3–4. P. 167, 169.

[31] Викторов Б.А. Без грифа «Секретно». Записки военного прокурора. М., 1990. С. 229—230.

верных сведений»[32]. Действительно, ведь нет оснований считать познавательную ценность «масонской части» показаний Раковского или Бокия меньшей, чем «масонской части» показаний Некрасова. Фальшивка, конечно, ясно как божий день, но местами чудо как достоверно выглядит!

«Академическое», так сказать, масоноведение мало заботится о чистоте ремесла, отчасти, видимо, потому, что тогда пришлось бы отказаться от существенных элементов собственной источниковой базы. Думается, что еще одна из причин его изначального кризиса заключается в узком определении самого изучаемого предмета. Идя по «масонскому следу», историк нередко смотрит на «братьев» через призму их собственных специфических представлений, и на первый план выступают маргинальные детали, никак не влиявшие на ход грандиозных событий[33], маниловские мечтания (вот бы навести мосты сотрудничества между враждующими группировками!), простительные, может быть, в благополучные времена в процветающей стране. Мельгунов, который «объединению оппозиции очень всегда сочувствовал», считал увлечения «отжившими формами масонства» — «смешными и ненужными вещами»[34]. К чести некоторых из видных фигур, в свое время приобщившихся к столь «пошлому... предприятию», мистические грани их политических биографий позднее порождали у них чувство «неловкости и даже некоторого стыда перед своей публикой»[35], — отметил Аврех.

Серьезная же сторона «масонской проблемы» — в меру ее реальности — обращена к состоянию российской политической культуры. На этом материале раскрывается истинный калибр многих деятелей, столпившихся на авансцене общественной жизни и не знавших, как с пользой употребить свои дарования. О времяпрепровождении на заседаниях лож мало что конкретно известно. Как свидетельствует один из немногих источников, проливающих на эту важную сторону вопроса свет, «братья» при встрече старательно избегали обсуждения «внутреннего положения» и «настроения трудового народа», что могло вызвать разлад в их среде, но зато с упоением делили Европу — Константинополь, проливы. Таким способом они «получали ощущение причастности к высокой политике, не выходя из помещения собраний ложи»[36]. Не находя в себе воли и разума сосредоточить усилия на насущных задачах, они растрачивали иссякающий запас времени на политическое столоверчение[37]. Масштабу исторического действа, в котором им довелось играть роль, не отвечали их интеллектуальные и моральные ресурсы.

[32] Андреев А. Указ. соч. С. 396.

[33] В 1917 г. масонство на ход событий «не оказывало никакого влияния» (Розенталь И.С. Москва на перепутье. Власть и общество в 1905–1914 гг. М., 2004. С. 188).

[34] Мельгунов С.П. Указ. соч. С. 198.

[35] Аврех А.Я. Указ. соч. С. 190.

[36] См. Соколов А.В. Еще раз о Великом Востоке народов России // Политическая история России первой четверти XX века. Памяти профессора Виталия Ивановича Старцева. СПб., 2006. С. 110, 114).

[37] Витенберг обращает внимание на перспективность «изучения феномена масонства в связи с общей психологической атмосферой эпохи... с характерными для нее мистическими и оккультными настроениями» (Витенберг Б. Указ. соч. С. 388–389).

То, что в исторической литературе, в согласии со стандартами политологии, именуется элитой русского общества, в Феврале держало экзамен на такое звание. Как оказалось, эти деятели, делившие свое время между заседаниями в Думе и в масонских ложах, отличались «общим непониманием» жизненных интересов России, народа; они «неадекватно представляли истоки революции и реальную степень ее “созревания”», не уловили появления «предпосылок стихийных революционных выступлений рабочих и солдатских масс Петрограда», потому что пребывали в плену «совокупности мифов»; эта «элита» и в дальнейшем оказалась неспособной выполнить свою функцию[38].

[38] См. Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 — весна 1917 г.). М., 2003. С. 378–380, 352; Архипов И.Л. Российская политическая элита в феврале 1917 [года]: Психология надежды и отчаяния. СПб., 2000. С. 320, 331.

ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ Н.В. НЕКРАСОВА[1]

В.В. Поликарпов
кандидат исторических наук, доцент,
научный редактор журнала «Вопросы истории»

Необходимость обнародования документов следствия 1939 г. по делу Н.В. Некрасова — как бы ни оценивались они в качестве источника — существует с 1974 г., когда КГБ СССР с сенсационным антуражем напечатал фрагменты показаний двух масонов, Н.В. Некрасова и Л.А. Велихова. Введение их в оборот составляло звено идеологической операции, нацеленной на укрепление мнимо-оппозиционной национал-коммунистической альтернативы диссидентству, пропагандировавшему демократические и общечеловеческие ценности.

По свидетельству непосредственного исполнителя данной акции, Н.Н. Яковлева[2] (оно вполне правдоподобно по сути, подтверждается самим характером использованных им документов КГБ — вплоть до оперативных, и никем не опровергалось; имеются и косвенные подтверждения), текст показаний Некрасова и прочие «масонские» материалы он получил из рук председателя КГБ Ю.В. Андропова и генерал-майора Ф.Д. Бобкова — тогдашнего заместителя начальника 5-го управления[3], ведавшего идеологическими спецоперациями КГБ, борьбой с диссидентством. Втолковывая смысл даваемого поручения, Андропов, по словам Яковлева, «многократно повторял мне (судя по четким формулировкам, он постоянно делал это многократно в другой обстановке)», что «извечная российская традиция — противостояние гражданского общества власти — в наши дни нарастает»; «объявились диссиденты», которые подрывают «политическую стабильность страны», и это при том, что «внутренние проблемы нашей страны»

[1] Первая публикация: Поликарпов В.В. От Цусимы к Февралю. Царизм и военная промышленность в начале XX века. М.: "Индрик", 2008, с….

[2] Яковлев Н. 1 августа 1914 [года]. Изд. 3-е. Дополненное. М., 1993. Приложение: О «1 августа 1914», исторической науке, Ю.В. Андропове и других. С. 288, 290–295, 298, 301, 312.

[3] Положившись на сведения, имевшиеся в ведомственной литературе, я ошибочно назвал время создания 5-го управления, связывая это событие с решением Политбюро ЦК КПСС от 17 июля 1967 г. (Поликарпов В.В. От Цусимы к Февралю. М., 2008. С. 103). В действительности 5-е управление примерно с теми же функциями существовало после реорганизации ведомства еще в 1949 г. (см. Костырченко Г.В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. М., 2001. С. 458). На 1967 г. пришлась, таким образом, лишь очередная реорганизация, вызванная приходом нового председателя КГБ — Андропова.

дают повод «для вмешательства Запада». Их мало судить — «слову нужно противопоставить слово». «Дело не в демократии, он [Андропов] первый стоит за нее, — передает Яковлев слова председателя КГБ, — а в том, что позывы к демократии неизбежно вели к развалу традиционного российского государства».

В качестве конкретного противника на этот раз рассматривался автор «Архипелага ГУЛАГ» (тогда еще рукописного) и «Августа 1914 года», где, с точки зрения КГБ, Россия изображена слишком «безотрадно», недостаточно патриотично. Андропов «со смаком говорил об идеологии... настаивал, что нужно остановить сползание к анархии в делах духовных, ибо за ним [сползанием] неизбежны раздоры в делах государственных». Официальная идеология изжила себя (даже Бобкову, по наблюдению Яковлева, «обрыдла») и не выдерживала спора с диссидентами; требовались «книги должного направления» — помогающие борьбе с нынешними «нигилистами», «демократами» и «русофобами». Со своей стороны генерал Бобков преподал такие «основополагающие посылки: 1) не навязывать читателю своей точки зрения... 2) писать так, чтобы книги покупались, а не навязывались читателю». При этом Бобков «охотно делился своими пугающе-громадными познаниями» в области истории России накануне революции 1917 г., «в том числе о масонах», и «дружески» посоветовал Яковлеву «попробовать силы на этом поприще».

Появившаяся в результате в 1974 г. книга Яковлева «1 августа 1914» не содержала каких-либо действительно новых истолкований истории 1917 г. Он воспроизвел те трактовки роли масонов, которые распространялись в черносотенной, а затем эмигрантской литературе и были собраны вместе и привязаны к общеизвестным фактическим сведениям Дж. Катковым в его книге 1967 г. о Февральской революции; книги обоих авторов претендовали на сенсационность именно акцентированием масонских влияний. Свержение монархии изображалось Яковлевым как результат козней хитроумных вездесущих русофобов-масонов, задавшихся целью погубить великую могучую державу. К версии Каткова Яковлев добавил лишь, что масонским происками положили конец большевики, истинные русские патриоты, перехватившие инициативу и власть у масонского Временного правительства. «Меч революции поразил гадину в тот самый момент, когда она только-только становилась на ноги»[4].

Фантасмагории Каткова Яковлев подкреплял «документами». С загадочно-многозначительным видом он процитировал отрывки из записанных Некрасовым «в тридцатые годы» «рассказов» о прошлом, в полном виде известных лишь данному уникально осведомленному смелому исследователю, несравненному знатоку масонских тайн.

В целом проводимой операцией подавался сигнал к легализации ультранационалистической пропаганды: привычные официальные интернационалистские оценки революционных событий 1917 г. теряли монопольный статус и даже подменялись сугубо шовинистскими с камуфляжным коммунистическим налетом. Как и их исторические предшественники, новые, советские черносотенцы обвиняли во всех бедах России масонов, которые якобы служили орудием всемир-

[4] Яковлев Н. 1 августа 1914 [года]. Изд. 2-е. М., 1974. С. 226.

ного «жидо-масонского заговора»[5]. Низкопробная во всех отношениях работа Яковлева годилась только для того, чтобы произвести эффект идеологического шока; цель операции была бы достигнута только в том случае, если бы в разработку «подброшенной» версии включились менее сомнительные, чем Яковлев, как бы независимые авторы. И это в значительной мере удалось: «Среди части литераторов и историков вдруг вспыхнул острый интерес к русскому масонству начала XX в. ...Одна за другой стали выходить статьи и книги, в которых на все лады расписывалось могущество масонских организаций, коварство их замыслов и приемов, огромная отрицательная роль, которую они сыграли в ходе Февральской и Октябрьской революций»[6]. Однако не всякий историк, соприкоснувшийся со столь неожиданно взорвавшейся масонской темой, проявлял готовность идти по стопам Яковлева.

Существовало два препятствия. Многие сознавали, что обращение к ней чревато риском подыграть черносотенцам, антисемитам[7]. Что касается Яковлева, то он шествовал по грязи гордо, с удовольствием, демонстративно именуя И.И. Минца и Г.А. Арбатова (директора Института США и Канады, вынужденного держать «масоноведа» на службе) «Исааком и Абрашей», чтобы не оставалось сомнений насчет национальной принадлежности тех, кто совал ему палки в колеса. Но другие авторы оказывались перед определенным моральным выбором.

Имелась и иная, не менее серьезная причина сдержанности специалистов. Издаваемые сочинения о масонах вливались в общий поток литературы по «еврейскому вопросу», проистекавший из 5-го управления (специализация 6-го отдела). Вся обстановка появления книги Яковлева и зримое присутствие в ней материалов КГБ породили в научных кругах убеждение в том, что масонскую проблему вызвало к жизни именно это учреждение, преследуя собственные цели, что и стало «главной причиной, отпугивающей исследователей от масонской проблемы»[8].

Мало кто из историков долго ломал голову, какого жанра повествования довелось писать и подписывать в тридцатые годы деятелям старого режима, сгинувшим в застенках НКВД. Например, Е.Д. Черменский, как не без досады отмечал позднее В.И. Старцев, «отказался даже обсуждать степень достоверности многочисленных доказательств, приведенных в книге Н.Н. Яковлева»[9]. Нелишне, однако, задаться вопросом: а кто позволил бы в 1976 г. Черменскому обсуждать степень достоверности протоколов допросов НКВД, опубликованных с оперативными целями Андроповым и Бобковым? В то время было по слухам известно (и

[5] Серков А.И. История русского масонства. СПб., 1997. С. 23. Ср.: Попов А.И. Попытка реанимации одиозных идей // Вопросы истории. 1989. № 2.

[6] Аврех А.Я. Масоны и революция. М., 1990. С. 11–12.

[7] Красноречивое «совпадение»: на обороте титульного листа 3-го изд. своей книги Яковлев объявил, что «часть средств от реализации тиража будет перечислена в фонд восстановления Храма Христа Спасителя». Выходящие в последние годы «труды» в том же стиле другого американиста-масоноведа, О.А. Платонова, издаются за счет того же фонда.

[8] От редакции // Из глубины времен. 1992. Вып. 1. С. 171–172. В высшем руководстве Андропов принадлежал к числу сторонников жесткого курса в этом «вопросе» (см. Костырченко Г.В. Указ. соч. С. 699).

[9] Старцев В.И. «Заговор буржуазии» перед Февралем 1917 года в новейшей советской исторической литературе // Нарастание революционного кризиса в России в годы первой мировой войны (1914 — февр. 1917 г.). Межвуз. сб. науч. трудов. Л., 1987. С. 137.

Яковлев теперь это подтвердил), что Черменский в соавторстве с В.М. Шевыриным и В.И. Бовыкиным пытался-таки опубликовать разбор книги Яковлева в виде рецензии размером в печатный лист, предназначенной для «Вопросов истории КПСС». Рецензию сняли уже из сверки, «то есть, — торжествовал Яковлев, — схватили за считанные дни» до выхода в свет, «и подарили мне»[10]. Неудивительно, что Черменский в издававшейся одновременно монографии не взялся «серьезно рассматривать источники, на которые опираются сторонники противоположной точки зрения»[11].

Однако тому, кто уж очень соблазнился бы редкостными материалами, нарочитая неопределенность Яковлева в вопросе об их происхождении (цитировалось «просто» то, что Некрасов «рассказал» кому-то, неизвестно кому, в 30-е гг.) оставляла формальную возможность «не понять», с каким источником приходится иметь дело. Даже отнесшийся критически к работе Яковлева А.Я. Аврех придавал подсунутому Бобковым материалу «определенную научную ценность», видел в нем «реальный вклад в науку», считая, что «на этот раз Н. Яковлев имеет в своем распоряжении действительный, реальный козырь» («Недаром Некрасов в своих воспоминаниях...»; «Что же нам поведал Некрасов...»; «Названная Некрасовым цифра в 300–350 человек...»)[12].

Аврех смерил Яковлева по своей мерке и не задался вопросом, что же за козыри один за другим появляются из его рукава: «Яковлев приводит еще свидетельство кадета Л.А. Велихова, депутата IV Думы». Речь идет о той выдержке из допроса Велихова, которая подшита в следственном деле Некрасова. (Этим показанием Некрасов изобличался в том, что и после июля 1917 г. участвовал в кадетской деятельности.) Аврех так и остался при убеждении, что Яковлев «ввел в научный оборот еще один документ, за который мы должны ему быть признательны, хотя, к сожалению, он не датирован и неизвестно, что это такое — воспоминания, письмо или что-либо другое»[13]. Святая простота![14]

Характерно, что и Н.Н. Берберова, ознакомившись с теми же «документами», насторожилась, но моментально подавила в себе инстинктивное недоверие. Она знала, что НКВД уничтожал остатки недобитых ОГПУ небольшевистских дея-

[10] Яковлев Н. Указ. соч. (1993). С. 298.

[11] Старцев В.И. «Заговор буржуазии». С. 142.

[12] Аврех А.Я. Указ. соч. С. 134, 193, 142, 184. И Л. Хасс, легко распознавший в этом материале «следственные показания», однако, нашел возможным сослаться на них как на некое «сообщение Н.В. Некрасова» (ХАСС Л. Еще раз о масонстве в России начала XX века // Вопросы истории. 1990. № 1. С. 29, 31). Ряд авторов предпочитал брать те же показания не из первых, одиозных, рук Яковлева, а косвенно, ссылаясь на цитаты, приведенные Аврехом (Басманов М.И., Герасименко Г.А., Гусев К.В. Александр Федорович Керенский. Саратов, 1996. С. 64).

[13] Аврех А.Я. Указ. соч. С. 150–151. И А.И. Серков в недавней работе считает, что яковлевские источники, хотя и неизвестно, откуда они взялись, — результат «поиска новых свидетельств» о масонстве и принадлежат к числу «свидетельств», которые исследователю «позволяют восстановить жизнь» масонских сообществ (Серков А.И. Указ. соч. С. 12).

[14] Точно так же Аврех излишне поторопился удостоверить «стопроцентную подлинность» документов, опубликованных в 1966 г. в английском журнале Б. Элькиным и полученных последним от какого-то «русского друга», вскоре якобы скончавшегося. Как показал разбор этих «источников», вопрос об их подлинности на деле настолько сложен, что уважающий свое ремесло историк «не имеет права использовать их» ни для чего, кроме «специальной научной экспертизы» (Островский А.В. Осторожно! Масоны! // Из глубины времен. 1996. Вып. 6. С. 172).

телей, видела, что в цитированных Яковлевым отрывках «фамилии близких друзей Некрасова и его братьев по масонской ложе полны ошибок, которые Некрасов сделать не мог» — и не попыталась найти этому объяснение. Наткнувшись на примечание «слово неясно в документе», она как будто спохватилась: «В каком документе? И почему этот документ не описан?» Но, уже попавшись на «подброшенную» приманку, тут же сглаживает впечатление и, дав волю своей богатой фантазии, уходит от сути дела: «Читателю предложен кусок прошлого, и он не прочь узнать о нем побольше, даже если оно слегка искажено и приукрашено». Более того, ей показалось, что приводимые сведения о масонстве Яковлев получил путем личного общения с Некрасовым: «Автор встречал министра Временного правительства Н.В. Некрасова (имеется пример прямой речи героя)» — хотя Яковлев нигде не упоминает о встречах и разговорах с этим «масоном», да и не мог упоминать, зная, где он обретался в 1939 г., когда 12-летний Коля еще ходил в школу, а не к «друзьям» на Лубянку. «В конце 1930-х гг. он [Некрасов] исчез», — отмечает Берберова и продолжает: «Впрочем, небольшой след остался: он положил в архивы одну бумагу, где изложил кое-что о самом себе, о 1917 годе, о масонстве», и эту «бумагу» «“художественно” подал» «беллетрист» Яковлев[15].

Берберова еще и строит предположения, не говорил ли Некрасов Яковлеву «о каких-то своих записках, мемуарах и документах, не то где-то зарытых, не то им замурованных». Очень не хотелось писательнице признаться самой себе, что загадка решается проще, — ведь тогда неловко будет использовать этот «источник», изготовленный сержантом госбезопасности, перевравшим фамилии всех этих «массонов» — «Колюбякиных», «Гогечкорий», «Чхенкелий».

Автор комментариев к русскому изданию книги Берберовой, отметив некоторые ее натяжки и ошибки, обходит молчанием явно неадекватное восприятие ею показаний Некрасова. По его оценке, «содержательная книга Берберовой не имеет себе равных и надолго останется необходимейшим первоисточником для всех историков», «книга Берберовой... остается первостепенным источником информации по истории XX века... Концепции видоизменяются... а факты остаются»[16]. Факты эти, однако, по компетентному заключению, таковы, что «нельзя говорить об ошибках и искажениях в работе, которая из них только и состоит»[17].

Показания Некрасова, труд Берберовой и «документы» Элькина заняли центральное место в источниковой базе народившегося советского масоноведения. Как решающий аргумент рассматривал показания Некрасова Старцев в своем споре с И.И. Минцем: Минц, как и Черменский, «игнорировал извлеченные из советских архивов (так!) показания Н.В. Некрасова 20–30-х гг., воспроизведенные в книге Н.Н. Яковлева»[18]. То, что Старцев предпочел датировать сей источник не слишком определенно, 20–30-ми гг., можно понять, объяснить. Но все же Яковлев ясно (и верно) писал только о 30-х гг.: в более ранних показаниях Некрасов о ма-

[15] Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. N. Y., 1986. С. 47, 265–266.

[16] Коростелев О. Книга «Люди и ложи» и ее автор // Берберова Н. Люди и ложи. Харьков; М., 1997. С. 387–388. Что ж, известно: и шило бреет.

[17] Серков А.И. Указ. соч. С. 43.

[18] Старцев В.И. Внутренняя политика Временного правительства первого состава. Л., 1980. С. 123. Речь идет о статье: Минц И.И. Метаморфозы масонской легенды // История СССР. 1980. № 4.

сонстве (якобы намеренно) умалчивал. Особую ценность его показаний Старцев усматривает в том, что они «даны дважды в 20-е и 30-е гг. и совершенно независимо от зарубежных публикаций»[19]. Между тем и для утверждения о «независимости» показаний Некрасова от литературных и иных источников, имевшихся к тому времени в распоряжении следователей госбезопасности[20], также вовсе нет оснований.

«Я лично старался в своих высказываниях о масонах соблюдать осторожность и держаться в рамках известных и поддающихся проверке любого заинтересованного исследователя документов», — объяснял Старцев[21]. Подводя в 1987 г. итог своим занятиям масонской темой, он писал, что в процессе подготовки книги «Революция и власть» (1978 г. изд.) ему удалось подвергнуть «проверке по первоисточникам свидетельства ряда бывших русских масонов из организации «Верховный Совет народов России» 1911–1917 гг., часть которых была использована и Н.Н. Яковлевым»[22]. Значит ли это, что тогда, в 70-х гг., Старцев тоже ознакомился со следственным делом Некрасова и, стало быть, видел, что в этих документах тот принял на себя вину не только за «масонские» увлечения, но и за покушение на Ленина в январе 1918 г., и за участие в подрывной работе сфабрикованных ОГПУ, никогда в действительности не существовавших Трудовой крестьянской партии, Союзного бюро РСДРП (меньшевиков) и во вредительской организации Г.Г. Ягоды, орудовавшей на таких стройках социализма, как Беломорско-Балтийский канал, канал Москва–Волга? Без санкции Бобкова эти документы не могли быть предоставлены кому-либо хранителями архивов НКВД. В изданной в 1978 г. книге Старцева пути этой «проверки по первоисточникам» никак не разъяснены[23], дело свелось лишь к отсылке все к той же книге Яковлева, причем с устойчивой ошибкой относительно датировки показаний Некрасова о масонах, данных им якобы «дважды», в 20-е и 30-е гг. Дальше — больше. Теперь уже этот источник именуется «воспоминаниями»: Некрасов не любил сам писать мемуары, он «делился своими воспоминаниями лишь со следователями ГПУ и НКВД»[24].

И Старцев, и Берберова, и В. Пикуль, и многие другие заинтригованные авторы подчинились правилам игры, навязанным Бобковым; в чужом пиру приняли похмелье и споривше с ними Аврех, Минц, О.Ф. Соловьев. По сути, для успе-

[19] Старцев В.И. Внутренняя политика Временного правительства. С. 122.

[20] Как стало теперь известно, еще ОГПУ в 20-е гг., а затем НКВД старательно собирали и создавали сами «масонские» материалы и начали какую-то крупную по масштабам организационную возню, что видно из документов, использованных О.Ф. Соловьевым и — совершенно некритически — В.С. Брачевым и «литератором Олегом Шишкиным» (Соловьев О.Ф. Рец. на кн. О.А. Платонова и А.И. Серкова // Вопросы истории. 1998. № 9; Брачев В.С. Религиозно-мистические кружки и ордена. Первая треть XX в. СПб., 1997; Шишкин О. Пламенный человек // Велидов А. Похождения террориста. М., 1998). Таинственный «русский друг» Элькина, предоставивший ему крайне сомнительные масонские «документы», изложил при этом такую версию их появления, которая не выдерживает критики. См.: Островский А.В. Указ. соч. С. 167сл.

[21] Старцев В.И. Русское политическое масонство. 1906–1918 гг. // История СССР. 1989. № 6. С. 119.

[22] Старцев В.И. «Заговор буржуазии». С. 144.

[23] Старцев В.И. Революция и власть. М., 1978. С. 254. Точно так же до сих пор не опубликованы и данные его «источниковедческого, текстологического и графологического анализа» документов Элькина. По заявлению Старцева, этот анализ «подтверждает несомненную подлинность» их (см.: За кулисами видимой власти. М., 1984. С. 100; ср.: Островский А.В. Указ. соч. С. 166–167).

[24] Козлова К.В., Старцев В.И. Николай Виссарионович Некрасов — радикальный политик (1905–1917 гг.) // Из глубины времен. 1996. Вып. 7. С. 80, 87.

ха операции КГБ неважно было, кто из спорящих выглядит убедительнее, она развивалась по законам не науки, а пропаганды: чем больше шума поднимали спорящие, тем больше внимание общественности, изнывающей от казенной железобетонной пропаганды и склонной к вольномыслию, отвлекалось от жизненных коллизий, обсуждаемых в диссидентских кругах, сдвигалось в «должном направлении» — к масонской «проблеме», а тем самым она уже и решалась в определенном духе: русский патриот не может быть либералом, демократом, евреем, космополитом, пацифистом — словом, масоном. Опыт Авреха показывает, насколько обращение к вызвавшей шумиху теме провоцировало даже искушенного в работе с источниками автора на отход от рациональной научной методики, опыт же Черменского и его соавторов показывает, какие пределы «свободе научного поиска» устанавливал КГБ.

Использование таких источников, какими являются следственные материалы ОГПУ–НКВД, требует выработки особой методики их анализа. Едва ли в данном случае может быть эффективной та методика, которую предлагает Н.Н. Покровский, основываясь на опыте работы с материалами средневековых процессов и дознаний. «Для этого типа источников, — полагает он, — хорошо действует то общее источниковедческое правило», согласно которому «в глубоко тенденциозном источнике наиболее достоверны сведения, противоречащие основной тенденции этого документа, а наименее достоверны — совпадающие с ней»[25] [24]. В нашем случае, однако, источник принципиально иного качества: в нем фиксируются не тенденциозно препарированные показания и свидетельства, а полностью сфабрикованные — в соответствии с заранее выработанным сценарием — измышления; тенденция не лежит на поверхности. Такие документы заговорят всерьез тогда, когда окажется доступным для исследования не только конечный результат костоломной работы, но и задачи, поставленные авторами инсценировки, когда архивы ОГПУ–НКВД откроются для нормальной исследовательской деятельности, не исключая материалов оперативного планирования, внутренней переписки, денежной отчетности и т. д.

Волей случая заглянуть в эту «кухню» ныне позволяет окно, проделанное самодовольными откровениями Яковлева, — и только потому, что появилась, наконец, возможность сопоставить их с использованными им «первоисточниками». Но этим не решается более общий вопрос: какую цель преследовали Ягода и Ежов, фабрикуя для своих жертв «масонскую» легенду. Масштаб этой деятельности, судя по отрывочным данным, позволяет предполагать существование колоссальных заделов, причем в 1974 г. Бобков пустил в ход лишь крохотную долю всего заготовленного ежовскими «масоноведами».

Публикуемые ниже материалы взяты из уголовных дел Н.В. Некрасова 1931 г. (дело №-7824, или т. 31 в составе делопроизводства по «Союзному бюро РСДРП») и 1939 г., в пяти томах, где подшиты (в томах 3-м и 4-м, являющемся делом ВЧК) также и материалы, относящиеся к аресту Некрасова в 1921 году. Многие документы уголовного дела № Р-45579 3-го управления ГУЛАГа (листы 278–442 тома 5-го)

[25] Споры вокруг судьбы академика С.Ф. Платонова // Отечественная история. 1998. № 3. С. 145.

остаются и теперь недоступными для изучения (эта часть досье опечатана). Не оказалось возможным ознакомиться также и с относящимися к Некрасову делом по надзорному производству № 13-215-97 и следственным делом № 102976 1-го отделения Секретно-политического отдела.

Писанные следователями протоколы допросов и собственноручно записанные показания 1939 г., как правило, соседствуют с машинописными авторизованными копиями. Отдавая при отборе для публикации приоритет материалам, содержащим показания по вопросу о «масонстве», мы не видели смысла воспроизводить десятки других протоколов с однообразными «свидетельствами» о вредительской деятельности Некрасова и его товарищей по несчастью на строительстве каналов в системе ГУЛАГа, об организации покушения на Ленина, связях с Троцким, тем более что подобные темы представлены и в материалах, отобранных для публикации.

К сожалению, почти все изъятые у Некрасова при аресте в 1939 г. материалы — 190 писем, записные книжки, фото — числятся в описи на уничтожение (т. 1, л. 13), для установления его вины они оказались излишними, все доказательства сводятся исключительно к признаниям и свидетельствам жертв НКВД.

Какие методы воздействия применялись к арестованным, ныне хорошо известно. Любопытный казус стоит отметить в одном случае: в томе 1-м подшиты протоколы допросов Некрасова 1939 г. (не публикуемые по указанным выше причинам), в которых зафиксировано точное время начала и окончания процедуры. Внимание привлекают два таких «подлинных документа». Один допрос, согласно этим «документам», продолжался якобы с 21.00 1 октября 1939 г. до 2.00 2 октября (т. 1, л. 192–202). Другой допрос того же Н.В. Некрасова, начатый в 23.40, по мистическому совпадению, того же 1 октября, закончился в 1.20 2 октября (л. 203–206об.). К сожалению, при реабилитации, поскольку Некрасов прошел ее без индивидуального нового изучения обстоятельств дела, видимо, не были исследованы другие особенные приемы «работы» следователей.

Текст воспроизводится применительно к правилам публикации исторических документов. В тех документах, отрывки из которых Яковлев опубликовал в трех изданиях своей книги «1 августа 1914», а также в своей «Книге для учителя» «Последняя война старой России» (М.: Просвещение, 1994), допущенные им неточности исправляются без оговорок. Публикацию подготовили доктор исторических наук В.В. Шелохаев и кандидат исторических наук В.В. Поликарпов. Редакция выражает признательность сотрудникам Центрального архива ФСБ за предоставленные для опубликования материалы и родственникам Н.В. Некрасова, давшим согласие на ознакомление с этими материалами.

Эрнст Юнгер

ЧЕРЕЗ ЛИНИЮ[1]

(перевод с немецкого Гульнары Хайдаровой)

1.

В предисловии "Воли к власти" Ницше называет себя "первым совершенным нигилистом Европы, но уже пережившим в себе до конца этот самый нигилизм, — и имеющим этот нигилизм за собой, под собой, вне себя"[2].

Далее следует замечание, что в его работе уже возвещает о себе противоположная тенденция, которая "в недалеком будущем" придет на смену этому совершенному нигилизму, хотя она и нуждается в нем как в предпосылке.

Несмотря на то, что со времени возникновения этих мыслей прошло уже более 60 лет, они по-прежнему задевают, поскольку связаны с нашей судьбой. За прошедшее время они наполнились содержанием, прожитой жизнью, трудами и страданиями. Интеллектуальная авантюра нашла свое подтверждение в действительности.

Если мы рассмотрим высказывание Ницше с современных позиций, то окажется, что в нем выражен оптимизм, которого нет у поздних исследователей. Здесь нигилизм считается не концом, а фазой общего духовного процесса, и эту фазу может преодолеть и пережить не только культура в ее историческом развитии, но и индивид в своем личном существовании, или иначе, эта фаза подобна шраму, который может зарасти.

Как уже было сказано, более поздние исследователи не разделяют эти благоприятные прогнозы. Близость позволяет подробнее различить детали мас-

[1] В «Заметках на полях» Хайдеггера при чтении текста Юнгера сразу же после его публикации страницы 286, 287 и 290 написаны в 1954 в тетради, озаглавленной "Gestalt", страницы 463-465 названы «Примечания». Они стали доступны лишь в 2004 г. в 90-м томе полного собрания соч. М. Хайдеггера. На титульной странице текста Юнгера Хайдеггер замечает: «написано с учетом моего сочинения «Слова Ницше «Бог мертв»» в «Лесных тропах» — было послано Юнгеру издателем Клостерманном» (Heideggers Randbemerkungen in Ernst Jьnger // Martin Heidegger: Gesamtausgabe. Band 90: Zu Ernst Jьnger. Herausgegeben von Peter Trawny. Verlag Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M. 2004. S. 463). Полагаю уместным привести эти заметки как первую непосредственную реакцию при чтении текста Юнгера, позволяющую прикоснуться к «лаборатории» мысли Хайдеггера. В дальнейшем, приводя их, я буду указывать лишь страницу этого издания.

Комментарии к текстам Юнгера и Хайдеггера мои — Г.Х. Комментарии к текстам Кампера и Фигала — авторские.

[2] Ф. Ницше. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М.: “REFL-book”, 1994. С. 33. (Пер. Г. Рачинского).

сива, но не массив в целом. К тому же, в момент полного развития активного нигилизма перспектива гибели становится настолько впечатляющей, что не оставляет места для размышлений, выводящих за пределы ужаса. Пусть даже огонь, террор, страдания господствуют только временно. В вихре катастрофы дух, конечно же, не способен нести крест благоразумия; да и в благоразумии едва ли можно найти утешение. Что троянцам в момент, когда рушатся дворцы Илиона, предсказание, что Эней станет основателем новой империи? И по эту и по ту сторону катастрофы мы в состоянии обратить взгляд в будущее и рассудить, какой путь туда ведет, — но в ее эпицентре правит настоящее.

2.

За двадцать лет до этого Достоевский завершил рукопись "Раскольникова", которую он опубликовал в 1866 в "Русском вестнике". В этом произведении уже давно и по праву усматривают другое свидетельство о нигилизме. Здесь рассматривается тот же объект, что и в "Воле к власти"; но в другой перспективе. Внимание немецкого мыслителя направлено на идейно-конструктивные меры, а его взгляд сопровождается чувством отваги и духом авантюризма. Русского писателя же, напротив, занимают моральные и теологические содержания. Ницше упоминал его мимоходом — он мог знать лишь части его произведения, в которых его захватило, прежде всего, психологическое, то есть прикладное мастерство.

Этих двух авторов можно сравнить в их отношении к Наполеону. Одна из самых основательных работ на эту тему — работа Вальтера Шубарта[3]. Сравнение лежит на поверхности, поскольку как в "Воле к власти", так и в "Раскольникове" отсылки к Наполеону играют заметную роль. Великий персонаж, освобожденный от последних оков 18 века, здесь воспринимается со своей светлой стороны, а там — с теневой; здесь в наслаждении новой неограниченной властью, а там — в страдании, которое нераздельно связано с этой властью. Два этих подхода дополняют друг друга, представляя духовную реальность, как позитив и негатив.

Благоприятным знаком можно считать то, что прогнозы обоих авторов совпадают. Достоевский также как и Ницше оптимистичен; он не усматривает в нигилизме последней смертельной фазы. Он скорее считает его исцелимым, а именно, исцелимым страданием. В судьбе Раскольникова схематично представлен процесс великого преобразования, который происходит с миллионами людей. Как и у Ницше у Достоевского создается впечатление, что нигилизм понимается как необходимая фаза в движении к определенной цели.

[3] Вальтер Шубарт (1897-1941), немецкий автор, женился на русской девушке, проживал в Риге, пропал без вести в Риге в 1941. Наиболее известны его публицистические работы: «Достоевский и Ницше: символика их жизней», «Европа и душа Востока». На русский не переводились. Эрнст Юнгер в письме Карл Шмитту от 20.11.1943 указывает на книгу: Walter Schubart. Europa und die Seele des Ostens (1938), в которой есть цитата из юнгеровского «Рабочего». Здесь, видимо, речь о другой работе Шубарта: Walter Schubart. Dostojewski und Nietzsche: Symbolik ihres Lebens.

3.

Потому-то во всякой оценке положения, во всех беседах или в размышлениях наедине с собой, касающихся будущего, настойчиво возникает вопрос, какого пункта это движение уже достигло. Конечно же, ответ, если попытаться его сформулировать или сконструировать, всегда окажется спорным. Причина в том, что этот ответ зависит не столько от фактов и обстоятельств, сколько от жизненного настроения и вообще от перспективы жизни. Что опять же делает его иначе и более настоятельно продуктивным.

Оптимизм или пессимизм такого ответа хотя и облекает собой доказательства, однако, базируется он не на них. Речь идет о разных размерностях; оптимизм обязан глубине, а доказательство — чистоте силы убеждения. Оптимизм способен достичь слоев, где дремлет будущее, и оплодотворить их. В этом случае он встречается как знание, которое проникает глубже, чем власть фактов — и даже может творить факты. Его основа находится скорее в характере, чем в мире. Нужно ценить так обоснованный оптимизм сам по себе, поскольку его носителя воодушевляют воля и надежда, а также шанс выстоять в пертурбациях истории и в ее опасностях. От этого зависит многое.

4.

Оппозицией этому оптимизму служит вовсе не пессимизм. Катастрофа всегда окружена пессимистическими течениями, в частности в культуре. Пессимизм может выражаться как отвращение к тому, что наступает, как, например, у Буркхарда, — тогда обращают взор на прекрасные, пусть и оставшиеся в прошлом картины. Затем случаются переломы к оптимизму, как у Бернаноса, — в полнейшей тьме возникают проблески света. Именно абсолютный перевес противника работает против него самого. Наконец, есть пессимизм, который, хотя и сознает, что уровень снизился, все же считает возможным величие и на новой плоскости, в частности, дает высокую оценку упорству тех, кто удерживает проигранные позиции. В этом состоит заслуга Шпенглера.

Оппозицией оптимизму в большей мере является пораженчество, которое сегодня неожиданно широко распространилось. Ему невозможно противопоставить ничего из того, что наступает, ни по ценности, ни по внутренней силе. При таком настроении паника распространяется беспрепятственно, как вихрь. Кажется, что ярость противника, чудовищность применяемых им средств возрастают в той же мере, в какой растет слабость людей. Наконец, террор хватывает людей как стихия. В этом положении их силы подтачивает нигилистическая молва, готовя гибель. Страх алчно набрасывается на них, безмерно увеличивая ужас, который отныне гонится за ними постоянно.

"Слышал ли ты уже о новых зверствах Олоферна?" — спрашивает вместо приветствия один гражданин другого в "Юдифи" Хеббеля[4]. Вообще пьеса превосходно отражает настроение нигилистической молвы, которая сопровождает такие фигуры ужаса как Навуходоносор и их методы. За Олоферном молва числит, будто он мнит себя милостивым, если пламени одного города ему достаточно и для чистки меча и для ужина. "Счастье, что насыпи и ворота не имеют глаз! Они бы обрушились от страха, если бы могли видеть все зверства".

Эти слухи питают заносчивость властелина. Для любой силы, которая стремится вызвать ужас, нигилистическая молва представляет собой сильнейшее средство пропаганды. Это относится и к террору, направленному на внутреннее, и к террору, направленному вовне. Для первого важнее всего прокламировать ту мощь, которой обладает общество по отношению к индивиду. Общество должно раз и навсегда довести до сознания максиму: "Народ — это все; ты — ничто!" — и одновременно быть для духа постоянно присутствующей физической угрозой, близостью, то есть пространственной и временной неотложностью, лишения «всех прав и состояний» и ликвидации. В этом положении страх эффективнее, чем насилие; слухи драгоценнее, чем факты. Неопределенное действует более устрашающе. По этой причине механизм, наводящий ужас, обычно скрывают, а место его дислокации переносят в пустынные глухие места.

Внешним террором государства устрашают друг друга; они весьма заинтересованы в способности, которой обладала Горгона: в гибельном блеске, который излучает оружие, когда его издалека демонстрируют, и даже когда на него только намекают. И здесь рассчитывают на страх, который усиливается до апокалиптического видения, тем самым противника заставляют поверить, будто способны довести дело до мировых катаклизмов. В качестве первого примера можно привести пропаганду, которая предшествовала бомбардировке Англии и была подобна зловещему предвестию космической катастрофы.

Со временем методы пропаганды усовершенствовались, при этом увеличился ее объем. Они призваны продемонстрировать неограниченный потенциал и готовность пустить его в ход. В этой борьбе стремятся к сочетанию психического и идеологического превосходства, которое должно должно быть заметно далеко за пределами государства, даже если активные действия не происходят. Последние вряд ли желательны, ибо в таком случае военные потери, которых каждый стремится избежать, могут достичь значительного масштаба. Зато возможны случаи, в которых один из партнеров больше не способен выдерживать напряжение и сдается без всякого применения внешнего насилия. На это воздействие, в частности, рассчитаны те фазы, которые называют психологической войной. Такой крах, который описал Сартр в "Тошноте", всегда предполагает сумму индивидуальных крушений. Государство становит-

[4] Хеббель (Геббель) (Hebbel) Кристиан Фридрих (1813-63), немецкий драматург и теоретик драмы. Исходя из пессимистически-метафизического понимания истории, изображал «извечную» борьбу героя с миром («Мария Магдалина», 1844; «Ирод и Мариамна», 1850; «Нибелунги», 1861).

ся ничтожно пустым не только в лице своих руководителей, но, прежде всего в своих анонимных слоях. Индивид, оказавшийся во власти нигилистического настроения, сдается. Поэтому очень важно исследовать, какое поведение ему посоветовать в этом смятении. Ведь внутренний мир индивида есть подлинный форум внешнего мира, и его решение важнее решений диктатора и властителя. Оно есть их предпосылка.

5.

Но прежде чем мы обратимся к этой задаче, уместно поставить предварительный диагноз. Понятие нигилизма сегодня не только причисляется к неясным и спорным, но и используется полемически. Тем не менее, в нигилизме следует предвидеть великую судьбу, основную власть, влияния которой никому не избежать.

Тотальный характер нигилизма приводит к тому, что встреча с абсолютом невозможна без жертв. В нем нет ничего святого. Как нет и совершенного произведения искусства. Точно также, не найти, — хотя в планах нет недостатка, — высшего порядка мысли: отсутствует величие в проявлениях человека. В морали приходится констатировать то явление времени, которое в "Рабочем" мы обозначили как цеховой характер. С точки зрения морали мы можем рассчитывать только на прошедшее или на еще невидимое грядущее. В этом основа конфликта и, в частности, причина путаницы правовых языков.

Хорошее определение нигилизма можно сравнить с обнаружением возбудителя рака. Оно не привело бы к исцелению, но хотя бы стало его предпосылкой, если человек вообще способен к такому исцелению. Ведь речь идет о процессе, далеко выходящем за рамки истории[5].

Если мы проконсультируемся у двух упомянутых вначале авторов, то, по мнению Ницше, нигилизм является выражением переоценки всех ценностей. В качестве состояния он называет его нормальным, в качестве временного и промежуточного состояния — считает патологичным. Это хорошее различение, говорящее о том, что человек может вести себя соразмерно в актуальном состоянии нигилизма. Относительно прошлого и будущего — это не так; в отношении них слишком силен напор бессмысленного и безнадежного. Отказ от ценностей — это, прежде всего, отказ от христианских ценностей; он соответствует неспособности порождать более высокие типы или хотя бы иметь более высокие намерения, этот отказ влечет за собой пессимизм. Последний переходит в нигилизм, когда приведшую к разочарованию иерархию анализируют и с ненавистью отвергают. Остаются только регулятивные, то есть критические ценности: слабые при этом переживают слом, более сильные разрушают то, что не было сокрушено, сильнейшие преодолевают регулятивные ценности и продвигаются дальше. Нигилизм может быть как знаком слабости, так и знаком силы. Он есть выражение бесполезности другого мира, но не мира и бытия во-

[5] Комментируя этот абзац, Хайдеггер ставит вопрос, подчеркивая слово *предпосылка*: «в каком смысле?».

обще. Большой рост приносит с собой чудовищные разрушения и трансгрессии, и в этом аспекте наступление нигилизма, как крайней формы пессимизма, может быть благоприятным знаком.

У Достоевского результатом нигилизма является изоляция индивида, его выход из сообщества, которое по сути своей является общиной. Активный нигилизм подготавливается как бросок, как, например, в те недели, которые Раскольников проводит в одиночестве в своей комнате. Такой нигилизм приводит к росту физической и душевной силы за счет потери святости. Он может вылиться и в ужасное оцепенение, как это случается со студентом Ипполитом в "Идиоте". Он может завершиться самоубийством, как это происходит со Смердяковым в "Карамазовых", со Ставрогиным в "Бесах" или со Свидригайловым в "Преступлении и наказании", и чего так боятся Иван Карамазов и многие другие его герои. В лучшем случае он ведет к исцелению, после того как через публичное покаяние свершится возвращение в общину. Посредством очищения in inferno или в "Мертвом доме" могут быть достигнуты более высокие, чем прежде, перед вступлением на путь нигилизма ступени.

Нельзя не сознавать, что обеим концепциям присуще родство. Они проходят через три одинаковые фазы: от сомнения к пессимизму, потом к активным действиям в мире, лишенном ценностей и богов, и затем к новым свершениям. Можно заключить, что в них рассматривается одна и та же действительность, пусть даже из значительно удаленных друг от друга точек.

6.

Трудность в определении нигилизма заключается в том, что дух не имеет представления о ничто. Он приближается к зоне, в которой исчезают как созерцание, так и познание: два великих средства, без которых дух не может обойтись. О ничто невозможно создать ни образа, ни понятия.

Поэтому нигилизм лишь соприкасается зоной, предстоящей ничто, и никогда не вступит в связь с его основной властью. Точно также как можно иметь опыт умирания, но не смерти. Непосредственное соприкосновение с ничто конечно тоже мыслимо, однако за ним должно последовать мгновенное уничтожение, как будто сверкнул абсолют. Уничтожение иногда изображают, как, например, Мальро и Бернанос, чаще всего в связи с внезапным самоубийством. Есть достоверность ставшего невозможным существования — тогда бессмысленно продолжающееся сердцебиение, кровообращение, секреция почек, как бессмысленно тиканье часов рядом с трупом. Последствием будет ужасное разложение. Ставрогин предвидит его в своем пребывании в Швейцарии и потому выбирает веревку. Он предчувствует опасности, связанные с полной гарантированностью существования.

В литературе подробности уничтожения не только изображены, но и представлены. Художник, выбирая тему разложения, идентифицирует себя с ним. Оно входит в его язык, в его краски. В этом различие между эстетикой безоб-

разного и натурализмом, в котором, несмотря на некрасивые объекты, господствует оптимизм.

7.

Чтобы получить представление о нигилизме, хорошо бы сначала отделить те феномены, которые его сопровождают, и потому их часто с ним связывают. Поскольку именно они в первую очередь придают этому слову полемический смысл. Эти феномены делятся на три сферы: болезненность, зло и хаос.

Если начать с третьего, то различение между нигилизмом и хаосом благодаря приобретенному нами опыту дается без труда. Тем не менее, оно очень важно, поскольку хаос и ничто образуют альтернативу.

Как оказалось, нигилизм может вполне гармонично сосуществовать с устойчивыми системами порядка, это случается как правило там, где нигилизм активен и набирает силу. Порядок для него — наиболее удобный субстрат, который он преобразует для своих целей. Условие таково, чтобы порядок был абстрактен а значит, духовен — сюда в первую очередь относится идеальное государство со служащими и аппаратом, — и все это в тот момент, когда фундаментальные идеи с их номосом и этосом утеряны или разрушены, хотя на поверхности и кажется, что они продолжают существовать с большей очевидностью. Из них берется только то, что можно актуализировать, этому состоянию соответствует некий род журналистской историографии.

С положением дел, когда государство превращается в нигилистический объект, связано появление в больших городах массовых партий, действующих одновременно рационально и аффективно. В случае успеха они могут настолько уподобиться государству, что их сложно будет от него отличить. Сила, побеждающая в гражданской войне, образует органы, которые соответствуют государственным органам, проникая в государственную систему или же образуя придаток к ней. В конце концов, они срастаются.

Подобное можно наблюдать в армии, она становится тем больше подходящей для нигилистической акции, чем больше из нее исчезает старый порядок, именуемый традицией. В равной мере должны возрастать чисто дисциплинарные и инструментальные моменты, которые дают возможность тому, кто стоит у руля, использовать войско в любой момент.

Поскольку войска хранят в себе древние элементы, то там, где они служат средством проводить изменения, развитие будет менее прогрессивным. Там же, где они и вовсе выступают политическим субъектом, то есть, представлены генералами, вид успехов менее впечатляющий, чем там, где дорогу прокладывают массовые партии. Верность прежним авторитетам и ценностям, ставит под угрозу активные действия нигилизма. Можно сформулировать максиму: в таком положении генерал должен превосходить всех, как Цезарь, или же он ничего не значит.

В первую очередь подходящим для любого внедрения и подчинения[6] является технический порядок, хотя именно в результате этого подчинения он превращает использующие его силы в Рабочих. Порядок производит впечатление необходимой меры пустоты, которую можно наполнить любым содержанием. Это же верно и для связанных с ним организаций — союзов, концернов, больничных касс, профсоюзов и т.д. Они все настроены на чистое функционирование, идеал которого — нужно только «нажать на кнопку» или «включить». Поэтому все эти организации, как кажется, без всякого перехода, приспосабливаются к противоположным силам. Марксизм уже давно увидел в создании капиталистических трестов и монополий благоприятную среду. С ростом автоматизма войска приобретают совершенство муравьев. Они продолжают сражаться в тех ситуациях, которые, по чести говоря, классическое военное искусство сочло бы преступлением. Потом победитель рекрутирует из них воинские подразделения под новые знамена. Правда, надежность не очень то высока, но зато утончается принуждение к знаниям.

Точно также отдельный человек тем больше подчиняется произволу силы, чем больше его жизнь наполнена элементами порядка. Известны упреки, предъявляемые чиновникам, судьям, генералам, учителям. Эти упреки обращены против лицемерного перевоплощения, которое разыгрывается всякий раз, когда дело доходит до революции. Впрочем, нельзя же свести целые сословия к чистому функционированию и при этом ожидать, что они сохранят свой этос. Достоинство функционера состоит в том, что он функционирует, и хорошо, если на этот счет в спокойные времена нет никаких иллюзий.

Этого, пожалуй, достаточно, чтобы показать, что на самом деле нигилизм может гармонично сосуществовать с дисциплинированным миром, и даже более того, для того, чтобы проявить свою активность в полном масштабе, он не может без него обойтись. Хаос появится только тогда, когда нигилизм в одной из своих констелляций потерпит провал. Показательно, что даже во время катастрофы элементы порядка сохраняются до последнего момента. Это доказывает, что порядок для нигилизма не только приемлем, но и относится к стилю нигилизма[7].

Таким образом, хаос — максимум следствие нигилизма, и не самое худшее. Важно то, сколько настоящей анархии скрыто в хаосе, и тем самым неупорядоченной плодотворности. Анархию следует искать в индивиде и в обществе, а не в обломках, развалившегося государства. Сентенции в «Заратустре», направленные против «Драконова государства», и особенно идея о Вечном Возвращении — отчетливо указывают на то, что у Ницше нигилизм не проник в глубину. Анархист зачастую имеет отношение к избытку и к добру, а лучшие его представители подобны скорее Первому, чем Последнему человеку; если

[6] Хайдеггер выписывает эту цитату целиком, комментируя, что «подходящим для любого внедрения и подчинения» со стороны «“нигилистической акции”!!» (S. 286).

[7] Сравнивая высказывание о порядке с цитатой из «Рабочего» («к нигилизму относятся миры порядка»), Хайдеггер спрашивает: «почему?» (S. 287).

анархист придет к господству, нигилист будет считать его противником. В гражданской войне в Испании была анархистская группа, которую одинаково преследовали и красные и белые.

Отличие нигилизма от хаоса и анархии таково же как отличие от беспорядка в необитаемом или в оживленном. Форму могли бы задавать пустыня и первобытный лес. В таком смысле хаос нигилисту не нужен; это не то, без чего он не может обойтись. Еще меньше ему нравится анархия. Она бы нарушила строгий ход процесса, в котором он движется. То же самое относится к упоению. Даже в тех местах, где нигилизм обнаруживает свои самые жуткие черты, как то в местах физического уничтожения огромных масс людей, во всем господствуют рассудительность, гигиена и строгий порядок.

8.

Недоверчиво следует относится также к мнению, будто нигилизм — это болезнь. Присмотревшись, можно заметить, что с ним скорее связано физическое здоровье — особенно там, где он активно продвигается. При пассивном же нигилизме – все иначе. На этом основана двойная игра возрастающей восприимчивости и набирающих мощь действий, игра, которая определяет наше время. Нельзя же действительно полагать, будто нигилизм держится на болезни, или даже декадансе, хотя, разумеется, оба часто встречаются.

Огромные волевые и трудовые усилия, которые проявляет активный нигилист, его пренебрежение к боли и к сочувствию, его закалка контрастными температурами, а также его уважение к телу и его витальным силам, которых чаще всего нигилисту не занимать, позволяют считать, что он наделен хорошим здоровьем. И на самом деле можно констатировать, что активный нигилист набрал ту силу, которую он отмеряет себе и другим. В этом он не похож на якобинца, которого можно отнести к его предтече.

Своеобразие в том, что такие титаны и циклопы происходят из мира, в котором крайне возросла осмотрительность, и где стараются избегать даже сквозняка. В государствах всеобщего благополучия с их страхованием, больничными кассами, социальным обеспечением и наркозом возникают типы, кожа которых кажется задубевшей, а мышцы стальными. Это могут быть дополнительные в смысле учения о цвете фигуры: общая субтильность порождает свою противоположность. Если задаться вопросом об их школах, о формах, в которых они отливались, то они будут различными.

Во-первых, следует назвать школу гражданской войны — жизнь политических нигилистов и социал-революционеров, тюрьмы и каторги, Сибирь. Сюда же на другом полюсе относятся подвергнутые экспроприации, униженные, обесчещенные, избежавшие волн террора, чисток, ликвидаций. Мы видим здесь триумф одних, а там других, или, как в Испании, затяжное взаимовыравнивание. Но общее для всех — полная безжалостность. Противник больше не считается человеком, он стоит вне закона.

Второй источник — битвы Первой мировой войны. Они породили закаленных людей, а с ними новый характер действия и целый ряд фронтальных движений, против которых оказалась беспомощной традиционная политика. Можно предположить, что Вторая мировая война, особенно в России и Германии, проявит подобные формы. В опыте, в знании тех восточных лет, включая судьбу пленных, скрывается еще неисследованный капитал боли — настоящей валюты нашего времени.

Наконец в связи с этим важен специальный характер труда, называемый спортом. Он стремится не только сделать нормой высокую степень физического здоровья, но и, преодолев старые, установить новые рекорды. В альпинизме, в полетах, в прыжках с трамплина есть вызов, требования, превосходящие силы человека, а в соответствие с этими требованиями необходим становится автоматизм, который убивает естественность. Схема переносится также в цеха; она порождает героев Труда, которые перевыполняют норму 1913 года в двадцать раз.

Учитывая все это, данное развитие нельзя упрекнуть в болезненности, хилости или в декадентстве. Напротив, мы видим появление людей, которые действуют подобно железным машинам, бесчувственные даже там, где их настигает катастрофа. Чрезвычайно редко происходит соприкосновение пассивных и активных потоков, когда планктон опускается на дно, а акулы поднимаются наверх; нет, здесь нежнейший импрессионизм, там взрывные акции, здесь тончайшее и скорбное понимание, там избыток воли и силы.

В целом все разыгрывается даже литературно, даже, в первую очередь литературно, и при том более цельно и наглядно, чем это представляют себе современники. Уже столетие нигилизм — великая тема, неважно, излагают ли ее активно или пассивно. В этом отношении ценность произведения не зависит от того, слабости или силе отдает предпочтение автор: это варианты одной и той же игры. У таких различных авторов как Верлен, Пруст, Тракль, Рильке и в свою очередь у Лотреамона, Ницше, Рембо, Барреса много общего. Произведение Джозефа Конрада примечательно тем, что в нем разочарованность уравновешена активным действием, и они тесно переплетены. Но боль присутствует как здесь, так и там, и, пожалуй, мужество. Важно то, что уничтожение воспринимается болезненно. Это часто рождает эффект уходящей красоты, как первые заморозки в лесу, но также и изысканность, которой не было в классические времена. Потом тема переходит в свою противоположность; встает вопрос, как человеку выжить перед лицом уничтожения в нигилистическом потоке. На этом повороте мы и находимся; и в этом задача нашей литературы. Для подтверждения можно привести многочисленные примеры: возьмем, к примеру, Вольфа, Фолкнера, Мальро, Т.Е.Лоуренса[8], Рене Кентона, Бернаноса, Хемингуэйя, Сент-Экзюпери, Кафку, Шпенглера, Бенна, Монтерлана и Грэма Грина. Их

[8] Лоуренс (Lawrence) Томас Эдуард (прозвище Лоуренс Аравийский) (1888-1935), английский разведчик на арабском Востоке, переводчик Гомера, автор мемуаров «Семь столпов мудрости» (1926).

объединяет экспериментальная позиция, позиция времени и знание опасности положения, великой угрозы; эти два фактора определяют стиль поверх языка, народа и государства — ибо в том, что он есть и проявляется не только в технике, нет сомнения.

Нужно еще отметить, что к полному пониманию времени также относится знание его крайних флангов, то есть в данном случае как пассивная, так и активная встреча с ничто. Этот двухсторонний подход дал основу воздействию, которое оказал на умы Ницше.

9.

Итак, к деталям, касающимся здоровья. Будет ли здесь что-то отличаться у разных народов и рас? На этот вопрос следует ответить скорее отрицательно, ведь вряд ли кто может сказать, что нигилизм присущ только древним народам. В них живет некий род скепсиса, который делает их неуязвимыми. Если принять это предположение, в молодой и бодрый народ нигилизм будет внедряться успешнее. Примитивное, менее дифференцированное, некультивированное он охватывает более властно, чем мир с историей, с традицией и способностью к критике, такой мир к тому же труднее поддается автоматизации. Примитивные силы напротив легко принимают то, что им прививают. Поэтому у них можно встретить на некий вид страсти, с которой они овладевают не только машинной техникой, но и нигилистической теорией. Она превращается в эрзац религии. Профессорские теории XIX века становятся священными. Из соображений безопасности путешественникам сегодня рекомендуется узнавать, насколько в той или иной стране продвинулось Просвещение или же на какой ступени оно затормозилось.

Если рассмотреть нигилистическую корпорацию вблизи — при этом не нужно представлять себе группу сильных мира сего или отряд головорезов, скорее это будет группа из врачей, техников или чиновников-экономистов, которые занимаются специальными вопросами — то вряд ли удастся обнаружить какую-нибудь особенную болезненность.

Конечно, болезнь прогрессирует. Это диагностирует сонм врачей. Есть определенный род нигилистической медицины, отличающейся тем, что она не намерена лечить, но преследует другие цели, и эта школа растет. Ей соответствует пациент, который хочет оставаться больным. С другой стороны можно отметить специальный вид здоровья среди нигилистических проявлений — пропагандистскую бодрость, которая впечатляет физической неуемностью. Она встречается в привилегированных слоях, а также в фазах конъюнктуры, ориентированных на комфорт.

Ницше прав в том, что нигилизм есть нормальное состояние, и патологично оно только тогда, когда его сравнивают с уже недействительными или еще недействительными ценностями. Как нормальное состояние он включает в себя и здоровое и больное. В другом месте Ницше употребляет образ ветра, прино-

сящего оттепель, которая ведет к тому, что там, где прежде можно было пройти, продвигаться уже невозможно. Образ хороший: нигилизм своей разрушительной и прогрессивной силой напоминает ветер фен, который дует с гор. Он оказывает на системы похожее воздействие — одну парализует, в другую вносит беспокойство, в ее благополучие и ее дух. Известно, что в некоторых странах проступки осуждаются меньше, если они случились во время фена.

10.

Это приводит нас к третьему различению, различению нигилизма и зла. Зло может и не появляться в нигилизме — особенно там, где есть гарантированность. Там же, где дело приближается к катастрофе, зло вступает в сговор с хаосом. Тогда оно становится сопутствующим обстоятельством, как это бывает при пожаре в театре или при кораблекрушении.

С другой стороны, план и программа нигилистических действий могут отличаться добрыми намерениями и филантропией. Зачастую нигилистические действия являются контрударом на первые беспорядки, спасая порядок, но все же они продолжают начавшийся процесс, обостряя его. Это позже приводит к тому, что право и бесправие надолго становятся почти неразличимы, при этом для действующих более чем для их жертв.

Даже в тяжких преступлениях зло редко выступает мотивом; ведь должен был бы появиться злодей, который использовал бы нигилистический процесс в своих интересах. Такие натуры несут в большей мере материальные разрушения. Но чаще проявляется индифферентность. То, что люди с криминальным прошлым становятся опасными, настораживает меньше, чем то, что люди, которые встречаются повсюду, в том числе на чиновничьих должностях, впадают в моральный автоматизм. Это говорит об ухудшении климата. Когда погода улучшается, можно видеть, как те же самые экзистенциальные типы мирно возвращаются на привычные места. Нигилист — не преступник в принятом смысле, ибо для преступления нужно, чтобы существовал и действовал определенный порядок. Но как раз по этой причине преступление для него не важно; переход совершается из морального контекста в автоматический. Там, где нигилизм стал нормальным состоянием, индивиду остается только выбор между видами несправедливости. Однако регулятивные ценности не могут появиться из мест, которые еще не втянулись в процесс. Новое течение формируется скорее из глубины.

Если бы можно было считать нигилизм специфическим злом, то диагноз был бы благоприятнее. Против зла есть испытанные целительные средства. Тревожнее, когда происходит сплав добра и зла, когда границы добра и зла размыты настолько, что их не увидит даже самый острый глаз.

11.

Не будем касаться того, что позволяет в это время сохранить надежду. Если верны слова Гельдерлина, то с ростом опасности должно расти спасение[9]. В его первых лучах все бессмысленное потускнеет.

Нас больше интересуют эффекты поворота, который незаметно для масс предшествовал. Здесь наверняка найдутся знаки для практического использования в нигилистических потоках. Речь, стало быть, идет об описании симптомов, а не причин.

Из этих симптомов первым бросается в глаза основной признак, который можно назвать признаком редукции. Нигилистический мир по своей сути — это мир редуцированный и продолжающий себя редуцировать, как и положено движению к нулевой точке. Ощущение, господствующее в нем — ощущение редукции и редуцирования. Романтика больше не может противостоять этому движению, доносится лишь эхо исчезнувшей действительности. Избыток иссякает, человек чувствует себя эксплуатируемым в разнообразных, а не только в экономическом, отношениях.

Редукция может быть пространственной, духовной, душевной; она может касаться красоты, добра, истины, экономики, здоровья, политики, — только замечают ее всегда в итоге как некую утрату. Это не исключает того, что на больших дистанциях она связана с расширением власти и действенности. Мы видим это, например, в упрощении научной теории. Она, отказываясь от неровностей, спрямляет линии. Появляются цепи умозаключений, которые можно видеть, например, в дарвинизме. Для нигилистической мысли также характерна склонность приводить мир с его сложными и многообразными тенденциями к одному знаменателю[10]. Результат такого вмешательства, пусть и на время, ошеломляет. Этому приему обучаются, так как его диалектика представляет собой лучшее средство дезорганизовать противника, лишенного резервов. Но потом эту методику перенимает и слабая сторона. На этом основана идейная эффективность реакции. Приводить к одному знаменателю — может быть неизбежное средство в определенной фазе нигилистического развития; но по сути оно остается знаком редукции.

12.

К этим знакам относится также исчезновение чудесного, а с ним рассеиваются не только формы почитания, но и удивление как источник науки. Восхищение и изумление в нигилистическом состоянии вызывают лишь эффекты цифр пространственного и численного миров. Затем повсюду будет бросаться в глаза безмерное, образуя контр-соответствие точной науке, редуцированной наконец до чисто измерительного искусства[11]. Головокружение от космической бездны — это нигилистический аспект. Оно может достичь возвышенности как

[9] «Близок бог/ И непостижим./ Где опасность, однако,/ Там и спасенье». Гельдерлин. «Патмос», пер. В. Микушевича.

[10] Хайдеггер выписывает фразу и ставит на полях: «Рабочий»! (S. 463).

[11] Хайдеггер выписывает эту фразу без комментариев. (S. 463).

в «Ойреке» (Eureke) Э.А. По, однако с этим головокружением всегда будет связано особенное, относящееся к ничто чувство страха.

Уже Леон Блуа[12] установил корреляцию между нарастанием нигилистического движения и этой формой страха. Он объясняет изобретение все более быстрых машин волей к бегству, к отступлению, неким инстинктом, позволяющим человеку предчувствовать угрозу, от которой нужно спешно искать спасения в другой части земли. Это можно сказать противоположность, теневая сторона воли к власти: чуткость к затишью перед бурей. С каждым циклом ускоряющегося движения происходит и определенная редукция. Подобно тому, как вырабатываются богатые месторождения и пласты, также исчерпывается покой, и все приходит в движение.

Родственным знаком можно считать растущую склонность к специализации: разделение и детализацию. Она бросается в глаза и в гуманитарных науках, где почти полностью исчезает синоптический талант, подобно тому, как в мире труда исчезает ручное ремесло, требующее высокой квалификации. Специализация зашла так далеко, что индивиду остается развивать только частную идею, выполнять только одну операцию на конвейере. Нет недостатка в теориях, объясняющих причины утраты, которая обнаруживается на личностном уровне, этим процессом специализации, но верно как раз обратное, и потому средства, которые рекомендуются, по-настоящему не помогают.

Этой детализации, вызывающей в науках и на практике беспокойство, но в повседневности нарастащей, соответствует с точки зрения морали обращение к локальным ценностям. Тот факт, что «высшие ценности обесценились», ведет к новым инвестициям сил в освободившиеся места. Такие попытки могут осуществляться как в церквях, так и в других сферах. Редуцирующая инвестиция выдает себя, например, там, где Бог понимается как «благо» или там, где начинают на пустом месте возводить идеи[13].

Появляются эрзац-религии, число которых огромно, как будто мы оказались под одним из более низких божественных сводов. Можно сказать, что из-за низвержения высших ценностей теперь все и каждый получают возможность культового посвящения и толкования. Эту роль берут на себя не только науки. Множатся идеологии и секты; это время апостолов без предназначения. Наконец апофеоз выпадает и на долю политических партий, и божественным становится то, что служит их доктринам и их меняющимся целям.

13.

[12] Леон Мари Блуа (1846-1917), французский писатель, который сознательно жил в ужасной нищете и свой опыт критического существования трансформировал в автобиографические романы и памфлеты, критикуя эпоху. После эстетико-нигилистической фазы Блуа обращается в христианство, оказывается «нетолерантным католиком» и называет себя — в силу своей радикальной критики модерна и апокалипсического настроя — «духовным крушителем». Юнгер по совету Карла Шмитта, близкого к католико-политическим кругам и воспринявшего идеи Блуа, в 1934 начинает активно читать этого автора и цитировать его.

[13] Хайдеггер выписывает эту фразу и замечает: «Лесные тропы» (S. 463).

Можно назвать еще множество сфер, в которых утрата становится совершенно очевидной, как, например, в искусстве или эротике. Речь ведь идет о процессе, в который вовлечено все и который в конце концов ведет к совершенно однообразным, серым или же выжженным ландшафтам. В лучшем случае здесь появляются кристаллические образования. Своеобразная форма кристалла — это не что-то принципиально новое. Оно скорее впитывает в себя мир и содержит в себе его формы. Впервые мы наблюдаем нигилизм как стиль.

В мировой истории уже многократно, у индивида, в малых или в больших сообществах, случалось падение бессмертных иерархий со всеми его последствиями. И всегда в распоряжении еще оставались мощные резервы, в варварском или же в цивилизованном мире. Сохранялась нетронутой первобытная основа, и целые культуры оставались девственными. Сегодня же утрата, которая ведь не только утрата, но одновременно и ускорение, упрощение, интенсификация и стремление к неизвестным целям, распространяется на весь мир.

Когда рассматривают негативные стороны редукции, то, пожалуй, самым значительным признаком оказывается сведение множества к цифре или же символа к пустому знаку. Это создает впечатление наполненной мандалами пустыни, совершающей свое вращение под звездами. Все важнее становится всесторонняя измеримость. Еще совершают посвящения, хотя уже не верят в преображение. Затем преображение переинтерпретируют, сделав яснее.

В прошлое уходит тип денди. Он обладал высшей степенью культуры, смысл которой исчезает. Проституция относится сюда в качестве десимволизированной половой принадлежности. Затем прибавляется не только продажность, но и измеримость. Красота конвертируется в цифры, становясь универсальной. Наиболее тотальная редукция — это редукция к чистой причинности[14]; к ее разновидностям относится экономическое рассмотрение общественного и социального мира. Со временем все области (даже избегающие причинности, такие как мечта) можно привести к общему знаменателю.

Тем самым мы касаемся снятия табу — операции, которая более всего пугает, удивляет и, пожалуй, возбуждает. Позже отсутствие табу воспринимается как нечто естественное. Только в первый раз есть риск в том, чтобы моторизировать катафалк[15], потом это становится экономически выгодным предприятием. Сегодня такая жуткая книга, как книга Ивлина Во о похоронном бизнесе в Голливуде, уже относится к развлекательной литературе. Начало всегда связано с риском. Между тем наступила своего рода кульминация — участие в крупномасштабном нигилистическом процессе потеряло привлекательность.

---

[14] «Имеется в виду эффективность? и при том эффективность чисто временная», — поправляет Хайдеггер. (S. 464).

[15] Метафора и связанное с ней предсказание, которые в девяностых годах нашли свое подтверждение в деятельности (или как это называют в искусстве) доктора Хагенса. Скандально знаменитая выставка «Миры тела», заявленная как художественная, представляет пластинированные по высокой ии оригинальной технологии доктора Хагенса тела умерших людей (Prof. Dr. Med. Gunther von Hagens. Kцrperwelten. Die faszination des Echten). Как точно предсказывает Юнгер, это достижение науки (искусства?) оказалось весьма выгодным предприятием для Хагенса и его лаборатории.

На чем же основан разлад, грозящий среди прочего обесточить радикальные партии и позволяющий провести различие между послевоенными 1918 и 1945 годами? Основу его можно увидеть в том, что за это время мы перешли нулевую точку не только идеологически, но и с точки зрения внутреннего ресурса идеологии. Это ведет к новому умонастроению, воспринимающему новые феномены[16].

14.

Едва ли стоит ожидать, что эти феномены возникнут неожиданно и будут счастливой развязкой. Пересечение линии, прохождение нулевой точки *разделяет* драму, обозначая середину, но не конец. До гарантированного положения еще далеко. На него можно только надеяться. Барометр говорит об улучшении, несмотря на сохранение внешней угрозы, и это лучше, чем если бы его показания нормализовались при еще сохраняющихся аспектах гарантированности.

Трудно предположить, что эти феномены раскроются сразу же как теологические, если понимать слово в узком смысле. Скорее они объявятся на тех полях, с которыми сегодня связана вера, то есть как раз на полях мира цифр. И в самом деле следует признать, что на границах, где соприкасаются математика и естественные науки, происходят сильные изменения. Астрономические, физические, биологические представления изменяются значительно глубже, чем можно было бы представить, исходя лишь из смены теорем.

Мы, конечно же, еще не уходим от стиля цехов, хотя уже проглядывает важное отличие. Знакомый порядок цехов в основе своей является результатом разрушения, — «до основания», — старых форм ради большей динамики рабочего процесса. Это относится ко всему механизированному, транспортному, военному миру с их деструкциями. Разрушение достигает наивысшей интенсивности в образах ужаса, как, например, в пожаре городов. Боль чудовищна, и все же среди исторического уничтожения осуществляется образ времени. Его тень падает на вспаханную землю, падает на жертвенную землю. За этим следуют новые горизонты.

Глаз только еще привыкает к изменению декораций, которые уже отличаются от декораций мира прогресса и коперниканского сознания. Такое впечатление, будто верхний свод, как и панорама стали ближе, стали конкретными, что привело к образованию новой оптики. Уже можно предвидеть, как в этом театре появятся новые фигуры.

Вместе с тем нельзя не заметить, что в мире фактов нигилизм приближается к последней цели. При входе в зону его господства повреждена была только голова, зато тело было еще в безопасности. Теперь же наоборот. Голова — по ту сторону линии. В то время как динамизм снизу возрастает и требует взрыва. Мы живем на пороховой бочке, которой будет достаточно для уничтожение большой части человеческого рода. Не случайно, что здесь действуют те же са-

[16] «Какие?», — ставит вопрос Хайдеггер. (S. 464).

мые силы, которые дискриминируют солдата, не знающего еще ни правил борьбы, ни различий между воином и безоружным.

Тем самым процесс не следует квалифицировать как совершенно бессмысленный. И не поможет, если закрывать на него глаза. Он есть выражение гражданской войны, в которой мы находимся. Чудовищность сил и средств позволяет сделать вывод, что отныне на карту поставлено все. К этому добавляется тотальность стиля. Все это указывает на мировое государство. Речь больше не идет о национально-государственных интересах или о разделе регионов. Речь идет о планете в целом.

Это первый луч надежды. Впервые среди безбрежного прогресса и его перемен появляется твердая материальная цель. А также воля ее достичь, причем не с помощью силовой политики — скорее эта воля имеет характер повседневного мнения, которое услышишь на каждом углу.

Одновременно все больше сторонников того мнения, что третья мировая война, хотя и возможна, но не неизбежна. Не исключено, что достичь мирового единства можно с помощью соглашений[17]. Этому могло бы способствовать возникновение третьей силы, под которой мыслится объединенная Европа. Дело может принять и такой оборот, что одна из конкурирующих сторон потерпит поражение уже в мирное время. Кроме того, всегда есть нечто непредусмотренное. Все это приводит к выводу, что при достаточной силе духа нет причин ни для безоглядного оптимизма, ни для отчаяния.

15.

Что делать в таком положении? Многие ломают головы над этим вопросом. Это тема нашего времени. В ответах нет недостатка. Наоборот, их многообразие сбивает с толку. Выздоровление ведь не наступит от того, что каждый станет доктором.

Истинные причины нашего положения неизвестны и не проясняются поспешными объяснениями. Это не касается второстепенных выводов. Возможно, что мы судим слишком благосклонно. Также возможно, что на нашу точку зрения влияет близость катастрофы, и что более поздние фазы придадут смысл эпохе в целом. Тогда это стало бы знаком того, что нигилизм приближается к своему концу. Может быть, уже скоро его увидят в совершенно другом свете.

К тому же знание целительных средств ограничено. Ведь если бы мы знали великое снадобье, положение потеряло бы свою сложность. Но для нашего положения характерны скорее неопределенность, риск, страх, и любая более-менее крупная попытка справиться с ним остается экспериментом. Напротив, можно утверждать, что любой, кто расхваливает некий гарантированный рецепт, является шарлатаном или же еще не понял, что час настал. В науке или в

[17] Хайдеггер усматривает в этом предположении (подчеркивая слово «соглашения») противоречие с «Рабочим» (1932) и с сочинением «Мир» (1948). (Там же.)

любой другой сфере, сохранение *определенного* типа гарантированности позволяет только заключить, что ресурсы XIX века еще не совсем редуцированы.

Зато можно, пожалуй, посоветовать манеру поведения, дать практические советы относительно движения в нигилистическом поле, ведь в конце концов есть же какой-то опыт. Свободный человек из одного только чувства самосохранения обязан подумать о том, как ему себя вести в мире, в котором нигилизм не только стал господствующим, но и, что хуже, превратился в нормальное состояние. То, что такое размышление уже возможно, обещает лучшую, более ясную погоду; оно — признак открывающейся по ту сторону перспективы.

16.

Что касается оптики, то укажем еще на одно обстоятельство, которое покажется неопытному в этой сфере смущающим, и даже непостижимым: а именно, что при пересечении нулевого меридиана прежние цифры уже не соответствуют истине, и нужно начинать новое исчисление.

Это в частности касается необходимой деструкции. Консервативная позиция, представители которой достойны внимания и даже восхищения, более не в состоянии тормозить растущее движение, как это было возможно после первой мировой войны. Консерватор должен всегда опираться на слои жизни, которые еще не пришли в движение, такие как монархия, аристократия, армия, деревня. Но когда все начинает сдвигаться, то точка отсчета теряется. Соответственно можно видеть, как молодые консерваторы переходят от статичных к динамичным теориям: они настигают нигилизм на его поле.

Это знак того, что со времен старого пруссака Марвица[18] произошло значительное развитие. Тогда еще могло показаться, будто в огне только склады и хозяйственные строения. Но глобальный пожар требует совершенно другой амуниции. При этом нужно иметь в виду новый горизонт.

Нет сомнений, что весь наш состав[19] как целое проходит через критическую линию. При этом изменяются критерии опасности и гарантированности. Больше уже нельзя думать о том, как спасти от натиска огня дом или личное имущество. Здесь не помогут ни хитрость, ни бегство. Напротив, такому спасенному существованию присущ привкус нелепости, в лучшем случае музейности. Это верно и в духовной сфере, поэтому сегодня редко упоминают то, что мыслитель на протяжении десятилетий сохранял свою точку зрения. Даже развития кажется недостаточным в этих странных мирах — скорее нужны трансформации в смысле Овидия или мутации в современном смысле.

Что за фигуры открываются теперь духу, который подобно саламандре движется сквозь огненный мир? Он видит здесь структуры, скрепленные по-

[18] Прусский генерал-лейтенант Фридрих Август Людвиг фон Марвиц (1777-1837), известен тем, то выступал против ликвидации сословий и настаивал на ведущей миссии аристократии, которая по его представлениям, должна была стать военной и политической элитой.

[19] Следуя предпочтению Юнгером военной лексики, мы переводим der Bestand как состав, во множественном числе как резервы.

старому: они не могут устоять, даже если они находятся в Тибете. Там он видит линию, где расплавляются все ценности, а на их место заступает *боль*. Потом он вновь замечает вырисовывающиеся контуры. Они требуют, прежде всего, острого глаза: ведь они могут быть всего лишь ростком или будущим центром кристаллизации. И все эти состояния требуют другого подхода, который покажется противоречивым и сумбурным тому, кто не может реализовать негативную и позитивную стороны уничтожения. Вавилонское смешение разделяет умы, темой которых становится точное положение нулевой точки. И это понятно, ведь эта точка задает будущую систему координат.

Возможна также оптика, сквозь которую линия появляется как маркер глубины, как при раскопках. Когда убирают мусор времени и сносят постройки феллахов, то получают представление о порядке и мироустройстве. С этой целью видимо сильные духом используют нивелирующее насилие, которое присуще нигилистическим методам и терминологии. Сюда относится "философствование молотом", которым прославился Ницше, или "предприятие разлома", которое вынес на свою визитную карточку Леон Блуа.

Главный вопрос, насколько подчиняется дух необходимому разрушению, и ведет ли путь через пустыню к новым источникам. Это задача, которую таит в себе наше время. Каждый принимает участие в ее решении в меру своего характера. Поэтому возникает вопрос об основной ценности, и этот вопрос сегодня необходимо поставить перед личностью, произведением, организацией. Он гласит: насколько они перешли линию?

17.

Вышеназванное смятение появляется прежде всего там, где по праву предполагают корень наших трудностей, а именно в делах веры. Уже само *предположение* есть прогресс по отношению к полному безразличию позднего либерализма и чего похуже. Катастрофа Второй мировой войны обнаружила для многих, для огромных масс, порок, который иначе они не чувствовали. В этом проявляется продуктивная сила боли, и такие шаги к выздоровлению заслуживают особого поощрения и пестования.

Вполне естественно, что в таком положении в первую очередь отзываются церкви. Это их обязанность, к этому они призваны. Сразу же, однако, возникает вопрос, насколько они способны оказать помощь или, другими словами, в какой мере они еще владеют целительными средствами. От этого вопроса не стоит отмахиваться, так как именно непроверенные редуты могут быть особенно уязвимы для атаки нигилизма. Иначе вышло бы так, как мы описывали в самом начале: лицемерный спектакль благословения, которому нет никакого трансцендентного основания, и оно тем самым превращается в пустой жест, в машинальный акт, как и все другие — и даже уступает им, поскольку он призван отражать ценности. Есть мгновения, когда оборот мотора становится сильнее, осмысленнее, чем повторяемые миллионами молитвы. Перед этими мгновения-

ми в страхе отшатываются многие из тех, которым нигилизм придал остроту зрения.

Можно предвидеть, что поставленный так вопрос не долго будет оставаться нерешенным. В мгновение, когда происходит пересечение линии, возникает новый поворот бытия и тем самым начинает мерцать то, что действительно есть. Это будет очевидно даже притупившемуся глазу. К этому уже примкнут новые крепости.

Но по эту сторону линии невозможно судить о таких вещах. В случае нигилистического конфликта не только благоразумнее, но и достойнее, выступать на стороне церкви, чем на стороне тех, кто на нее нападет. Это обнаружилось только недавно и продолжает обнаруживаться сегодня. Повсюду за исключением нескольких солдат нужно благодарить только церковь за то, что среди ликования масс дело не дошло до откровенного каннибализма и восторженного поклонения зверю. Временами было недалеко до этого; уже в знаменах просвечивала и все еще просвечивает блеск каинова празднества. Другие силы, ведущие себя социально и гуманно, ретировались. Им с их вялыми декомпозициями не стоит больше оказывать помощь.

Дальнейшее подавление церкви либо обрекло бы массы на технический коллектив с его эксплуатацией, либо загнало бы в руки тех сектантов и шарлатанов, которые сегодня встречаются на каждом углу. Здесь заканчиваются век технического прогресса и два века просвещения. Можно услышать призывы предоставить массы своей воле, которая явно толкает их к уничтожению. Это значило бы увековечить рабство, в котором томятся миллионы и которое превосходит ужас античности, однако без ее света.

Чтобы избежать распространенной путаницы, это следует продумать заранее. Далее следует констатировать, что теология отнюдь не находится в том положении, которое может померяться силами с нигилизмом[20]. Теология скорее сражается с арьегардами Просвещения, и таким образом сама еще втянута в нигилистический дискурс.

Гораздо более обнадеживает то, что отдельные науки пробиваются к образам, которые можно толковать теологически[21] — прежде всего астрономия, физика и биология. Как кажется, науки от экспансии вновь перешли к концентрации, к более ограниченной, более четкой и тем самым, возможно, более человеческой точке зрения, имея в виду, что слово понимается уже по-новому. Здесь нужно остерегаться опрометчивых истолкований; лучше всего говорят результаты. Теперь эксперименты отвечают на новые вопросы. Это приводит также к новым ответам. Для их обобщения философии уже недостаточно.

[20] Здесь Хайдеггер указывает на состоявшийся с Юнгером разговор на эту тему в местечке Штюбенвазен, недалкео от Тоднаумберга (S. 464).

[21] У Хайдеггера здесь вопрос на полях. (S. 465).

Менее всего недостаток[22] ощутим там, где хватает богослужений — в ортодоксальном центре. Он быть может единственное место, где при пересечении линии не происходит разложения, но если он разваливается, то это приводит к небывалым изменениям. Недостаток сильнее проявляется у протестантов, чем у католиков, оттого их устремления более направлены на светские интриги и общее благо. Ни в коем случае не следует снимать бремени решения с духовных лидеров. Ибо это приводит к тому, что теологические темы все сильнее внедряются в литературу. Во Франции это наблюдается как возвращение к традиции. Выступление автора на стороне церкви или размежевание с ней — вечно возвращающийся конфликт. Новая экзегеза ведет к противостоянию пророков и священников, которое постоянно повторяется, как например между Кьеркегором и епископом Мюнстера[23]. Теологический роман, звезда которого закатилась, вновь появляется в англо-саксонских странах; порою ему даже предаются те писатели, которые только что занимались изображением сверхчеловека или последнего человека.

Эти три факта: метафизическое беспокойство масс, выход отдельных наук из коперниканского пространства и возникновение теологических тем в мировой литературе, — positiva высокого ранга, которые по праву можно противопоставить чисто пессимистической или упаднической оценке ситуации. Сюда же надо добавить энтузиазм, своего рода готовность, одновременно более трезвую и более сильную, чем после 1918 года. Ее можно встретить как раз там, где было больше всего боли, она отличает немецкую молодежь. Эта готовность проявляется более весомо по возвращении на родину после таких испытаний как разруха, окружение, унизительная неволя, чем в случае победы. После них не остается заносчивой храбрости, но возникает новое мужество, состоящее в том, чтобы испить чашу до дна. В атаке оно выступает ослабляющим фактором, но дает неимоверные силы для сопротивления[24]. У безоружного такие силы растут.

18.

Там, где сегодня обнаруживается этот резерв — готовность, воля к жертве и тем самым субстанция, — там всегда есть опасность бессмысленного его использования. Эксплуатация[25] — основная черта мира машин и автоматов. Она ненасытно усиливается, вплоть до появления Левиафана[26]. В этом нельзя обма-

[22] Недостаток, оскудение в противоположность избытку — понятия, которые употребляет Ницше для характеристики явлений жизни. В частности для характеристики искусства: «По отношению ко всем эстетическим ценностям пользуюсь я теперь следующим основным различением: я спрашиваю в каждом отдельном случае: «Стал ли тут творческим голод или избыток?» (Веселая Наука, № 370). К явлениям, выдающим «оскудение жизни», Ницше причисляет романтический пессимизм.

[23] Епископ Мюнстера, глава датской протестантской церкви, друг и духовный наставник отца Кьеркегора.

[24] «Противоречие с Рабочим», — замечает Хайдеггер, подчеркивая слово «атака» (S. 465).

[25] Хайдеггер ставит вопрос, усомнившись в слове «эксплуатация» (S. 465).

[26] Появление этой мифологической фигуры в тексте Юнгера как само собой разумеющейся, объяснимо многолетней дружбой и перепиской с Карлом Шмиттом (1888-1985), автором «Левиафана Томаса Гоббса». Карл Шмитт много раз обращался к творчеству Томаса Гоббса: «Государство как механизм у Гоббса и Декарта»

нуться даже там, где великая империя чуть только не озолотила лачуги. В комфорте Левиафан еще страшнее. Время сверхдержав, как предсказывал Ницше, наступило.

Поражение всегда достойно сожаления. Однако оно не относится к тому злу, которое полностью негативно; у него есть свои преимущества. Одно из значительных — моральное, поскольку поражение отстраняет от участия в действиях и тем самым от соучастия, связанного с ними. При этом может возрастать правовое сознание, которое превосходит сознание действующих лиц.

Не стоит поступаться этим и другими преимуществами только ради того, чтобы участвовать в сомнительных действиях. На нашу страну уже падают тени нового конфликта. Немец становится в глазах своих врагов желанным союзником, не только из-за срединного положения его страны, но и из-за стихийных сил, скрытых в нем. Это улучшает его положение, но и приносит новую опасность. Он принужден коренным образом заниматься проблемами, которые только на первый взгляд кажутся политическими.

Противоборство с Левиафаном, который тиранично принуждает то извне, то изнутри, — всеобщее явление нашего мира. Два великих страха охватывают человека, когда нигилизм достигает кульминации. Один основан на ужасе внутренней пустоты и принуждает человека любой ценой манифестировать себя вовне — проявлением власти, овладением пространством и повышенной скоростью. Другой страх воздействует извне, как атака могучего мира, одновременно демонического и автоматического.

На этой двойной игре основана непобедимость Левиафана в наше время. Эта непобедимость иллюзорна; и в этом ее сила. Смерть, которую она сулит — иллюзорна, и *потому* она страшнее, чем на поле боя. Даже сильные воины не доросли до этой смерти, их предназначение не выходит за пределы иллюзий. Поэтому военная слава меркнет там, где имеет значение последняя действительность, превосходящая видимость.

Казалось бы, если сразить Левиафана, то освободившееся пространство нашло бы свою реализацию. Но внутренняя пустота, состояние безверия неспособны на этот ход. По этой причине там, где образ Левиафана свергнут, головы гидры тут же вырастают вновь. Пустота востребует их.

Та же трудность не позволяет препятствовать внутри государства злоупотреблениям власти, направленным против индивида. Можно себе представить ситуацию, когда объединились бы немногочисленные элиты, подобно тому, как прежде против демоса, так сегодня против Левиафана, чтобы выбить ему зубы. Их гибель не осталась бы без последствий. Мы пережили это. По той же причине возможны и даже полезны были бы партии, которые готовят нападение на бюрократию, которая подобно полипу истощает общество. На их стороне было бы большинство, даже единодушное одобрение; но это ничего не изменило бы.

(1936/37), «Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. Смысл и неудача политического символа» (1938) и др. Он считал ветхозаветную фигуру Левиафана адекватной метафорой для описания политического суверена.

Самое большее, что можно было бы от этого ожидать, — создание недолговечной идиллии. Тогда образовались бы новые центры, если только Левиафан не завладеет извне легкой добычей, чтобы угнетать ее еще сильнее, чем собственные тираны. Ему нравится квиетическая идеология, он ее пропагандирует, хотя только для других.

То есть все не так просто. Удивительно унылое впечатление производит сегодня человек на улице; он, наконец, поплатился. Время идеологий, которые еще были возможны после 1918, прошло; они сегодня лишь косметически скрывают великие силы. Тотальная мобилизация вступила в стадию, которая по своим угрозам превосходит предыдущую. Немец — конечно уже не является более ее субъектом, и тем самым возрастает опасность, что он понимается как ее объект и обманом лишается своего вознаграждения за выполненные обязательства.

Разумеется, нельзя просто игнорировать этот процесс. Он требует политического реагирования тем более настойчиво, чем больше беззащитность — даже если политическое решение редуцировано и ограничивается только выбором покровителя.

К тому же можно предположить, что в целом процесс неизбежен и, в конечном счете, имеет смысл. Образование огромных территорий и, прежде всего, их растущий буржуазный характер указывают на то, что речь больше не о движениях национальных государств, а скорее о подготовке глобального единства, в пределах которого потом можно ожидать большей защиты и свободной жизни народов и отечеств.

Один из маневров Левиафана — попытка убедить молодежь в том, что его зов идентичен с призывом Отечества. Таким образом, он получает в жертву лучших.

19.

Наш путь ни извне, ни изнутри не гарантирует безопасности. Писатели и мыслители описывали его с каждым новым шагом точнее и сознательнее, ибо это путь, на котором катастрофы надвигаются все отчетливее и все более могущественно.

В таком незавидном положении человеку предлагает свои услуги какая-нибудь организация. Слово «организация» следует понимать в данном случае в самом широком смысле, прежде всего как порядок, основанный на знании и науке. Она позволяет экономические, технические, политические упрощения. Вряд ли человек в этом состоянии отвергнет предложенные ему средства, ведь они многое для него облегчают, прежде всего, мучительный выбор и личное решение. В рамках этого порядка он будет гарантирован. Конечно, множество снятых с плеч решений перекладываются на всего лишь несколько центров. Тем самым возникает опасность всеобщей катастрофы.

Можно предвидеть, что ограничение свободы будет продолжаться. Оно есть даже там, где по наивности воображают, что могут принимать решения самостоятельно. Есть ли разница, откуда получать заказ на изобретение и распространение средств массового уничтожения, от тиранической олигархии или по решению парламента? Несомненно одно отличие: во втором случае универсальный характер принуждения более очевиден. Страх господствует над всем, даже если он обнаруживается здесь как тирания, а там как рок. Пока он правит, все идет по порочному кругу, а оружие — зловеще блестит.

20.

Тем самым встает вопрос, возможна ли еще свобода, пусть даже в ограниченном виде. Конечно же, она не гарантирована нейтралитетом — прежде всего той иллюзией безопасности, в которой берутся морализировать по поводу тех, кто стоит на арене.

Равным образом нельзя посоветовать скепсис, особенно обнаруживающий себя. Дух, который исходил из сомнения и питался им, почти повсюду пришел к власти, но теперь сомнение по отношению к нему самому является святотатством. Он требует для себя, своего учения, своих «отцов церкви» такого почитания, на которое не претендовали ни императоры, ни папы. Усомниться в нем рискнет лишь тот, кто не боится пыток и каторги. Таких найдется немного. Обнаружить себя таким путем — это значит как раз оказать услугу Леивиафану, которая придется ему по душе, для которой он держит армию полицейских. Посоветовать такое угнетенным, например, со свободной радиостанции, — чистое преступление. Тех, кто говорит, сегодняшние тираны не боятся. Это было возможно только в добрые старые времена абсолютного государства. Намного страшнее молчание — молчание миллионов, а также молчание мертвых, которое день ото дня становится все более глубоким, пока не огласится на суде. В той мере, в какой нигилизм становится нормой, символы пустоты становятся страшнее, чем символы власти.

Но свобода не живет в пустоте, скорее она обитает в неупорядоченном и неразличимом, в той сфере, которую хоть и можно организовать, но нельзя причислить к какой-либо организации. Мы хотим назвать ее «стихия»; она есть пространство, из которого человек не только ведет борьбу, но из которого он может надеяться победить. Но это уже больше не романтическая стихия. Это первооснова его экзистенции[27], дебри, из которых он однажды, подобно льву, покажется.

Однако и в нашей пустыне есть оазисы, в которых правит стихия. В подобное же поворотное время понял это Исайя. Это сады, в которые Левиафан не имеет доступа, вокруг которых он бродит в ярости. В первую очередь это смерть. Сегодня, как и прежде люди, которые не боятся смерти, много выше самой великой преходящей власти. В этом основа тезиса, что нужно рассеивать

[27] «Что это? — вопрошает Хайдеггер (S. 465).

безграничный страх. Власть имущие постоянно живут в ужасном ожидании, что не только отдельные индивиды, но и массы смогут освободиться от этого страха; что неизбежно привело бы к их падению. Здесь же подлинная причина ожесточения против любого трансцендирующего[28] учения, в котором таится наивысшая опасность: бесстрашие человека. Есть такие районы, где уже слово «метафизика» преследуется как ересь. Само собой разумеется, что там любое почитание героя и любая великая человеческая фигура низвергаются в прах.

Вторая фундаментальная сила — эрос; когда два человека любят друг друга, они избегают областей Левиафана, создают неподконтрольное ему пространство. Эрос как настоящий посланник богов всегда будет одерживать победу над всеми титаническими структурами. Никогда не согрешит тот, кто выступает на его стороне. В этом отношении следует подчеркнуть романы Генри Миллера — в них против техники выступает пол. Он избавляет от железного принуждения времени; машинный мир уничтожается в той мере, в какой человек обращается к нему лицом. Ошибочно полагать, будто это уничтожение прицельно и должно постоянно возрастать. Секс не противоречит, но корреспондирует техническим процессам в органике. На этой стадии он столь же родственен титаническому, как и, например, бессмысленное кровопролитие, ибо влечение противостоит только тогда, когда ведет к любви или к жертве. Они нас освобождают.

Эрос живет и в дружбе, которая подвергается решающей проверке перед тиранией. Здесь она, как золото в печи, очищается и получает свою пробу. В те времена, когда подозрение проникает даже в семью, человек приспосабливается к форме государства. Он окружает себя крепостью, за стены которой не проникают никакие знаки. Там, где шутка, или даже только неисполнение знака могут привести к смерти, царит великая бдительность. Мысли и чувства остаются скрытыми в самой глубине; воздерживаются даже от вина, ведь оно пробуждает истину. В таких ситуациях беседа с надежным другом может быть не только бесконечно утешительной, но и возвращает и подтверждает мир в его свободной и справедливой размерности. *Одного* человека достаточно для свидетельства того, что свобода еще не исчезла; но *он* нам нужен. Тогда у нас прибавляется сил для сопротивления. Это знают тираны и пытаются растворить человеческое во всеобщем и публичном — это устраняет неподдающееся контролю, экстраординарное.

Тесно взаимосвязаны свобода и мусическая жизнь, которая расцветает там, где внешняя и внутренняя свобода находятся в благоприятном соотношении. Произведение искусства правда еще встречает внутри и снаружи огромное сопротивление. Это делает его тем более достойным. В творение ничто проникает с чудовищной силой, делая творческий акт интеллектуальным. В этом обычно усматривают недостаток, но в данном случае это скорее стиль времени. Сегодня в любом произведении искусства скрыто присутствует значительная

[28] «Что, как, зачем (трансцендирует!)», — выражает недоумение вопросами и восклицанием Хайдеггер (S. 465.)

доля рациональности и критического самоконтроля — именно эта особенность является условием его достоверности, печатью времени, по которой за ним признают подлинность[29]. Наивность сегодня пребывает совершенно в других сферах, нежели пятьдесят лет назад, а то, что старается насильно завладеть мечтой, попадает в круг механического повторения. Мы должны сегодня развить сознательный дух до инструмента, который спасет[30]. Он являет нам субстанцию невыразимого, а его образы позволяют и при наших средствах возвыситься до вечности. Подлинность — в самоограничении до данности.

Смысл искусства состоит вовсе не в том, чтобы игнорировать мир, в котором мы живем — это, правда, приводит к тому, что в нем мало радостного. Духовное преодоление времени и овладение им находит свое выражение не в прогрессе и совершенных машинах, а в том, что эпоха выражается в своей форме произведения искусства. В этом ее спасение. Хотя машины никогда не станут произведениями искусства, но метафизический мотив, стимулирующий мир машин, может получить в произведении искусства наивысший смысл и тем самым водворить в этом мире покой. Это важное отличие. Покой обретается в гештальте, в том числе в гештальте Рабочего[31]. Если рассмотреть путь, который прошла живопись в нынешнем столетии, то можно догадаться о принесенных жертвах. Можно, наверное, даже предугадать, что этот путь ведет к триумфу, для чего чистого служения прекрасному недостаточно. Это ведь еще спорный вопрос, что называть прекрасным.

Вряд ли можно найти такого человека, который позволит в своем саду властвовать экономике настолько, что даже цветам там не найдется места. Его посадки сразу же завоевываются жизнью, надстраивающейся над чистой необходимостью. То же самое испытывает человек, втиснутый в наш порядок, в наши государства, когда он обращается, пусть даже ненадолго, к произведению искусства. Возможно, только в катакомбах он может к нему приблизиться, как Христос к кресту. Ведь зона господства Левиафана характеризуется не только плохим стилем, но в ней мусический человек с необходимостью должен быть причислен к самым значительным противникам. Художника преследуют. Зато тираны расточают похвалы духовным рабам. Последние же оскверняют творение.

21.

Подобным же образом дело обстоит и с мыслителем. Он столь же рискованно ставит себя на границах ничто. Тем самым он *познает* страх, который люди воспринимают панически, как удары судьбы. Одновременно он приближается к спасительному, которое Гельдерлин связал с опасностью.

[29] «Писать стихи и мыслить», — дополняет Хайдеггер, подчеркивая союз (S. 465)
[30] Подчеркнув «сознательный дух», Хайдеггер замечает: «Иначе и больше чем «инструмент»— мимо! (S. 465).
[31] Здесь Хайдеггер ставит вопрос на полях: Что значит «покой» (S. 290).

При этом следует указать на редкую симметрию: мыслитель и поэт сегодня находятся в зеркальном отношении[32]. Поэзия стала интеллектуальной настолько, что превосходит все прежние попытки осмысления. Ее образы проникают до сплетения мечты и мифа. Сюда же относится тот факт, что все большее женщин принимают участие в духовной сфере. По эту сторону линии их участие считается процессом редукции; только по ту сторону станет ясно, есть ли от него польза и какая. И если бы сегодня на Земле появился разумный пришелец, то из поэзии он мог бы заключить, что мы обладаем знанием о рентгеновском излучении и даже о ядерных процессах. Еще совсем недавно этого не было, и остается удивительным, что слово отстает от движения духа. Таким образом, в языке все еще продолжается Возрождение.

Если язык, проступая на поверхности письма плодородным слоем, дает концептуальные всходы, то в мышлении он опускается в недра неразличимости. Эти два движения в непосредственной близости к ничто соотнесены друг с другом. Стиль мышления совершенно отличен от классических времен, например, от барокко, в котором он отличался полной гарантированностью, даже суверенитетом абсолютной монархии. Он больше не в состоянии вынести то требование позитивизма, что на любом поле, куда ступает дух, должно доминировать ясное сознание с его законами. Приток неизвестного превысил не только все метки футштока, но и критическую метку уровня воды. В результате гарантированность мысли стала сомнительной, и более того, она стала ответственностью и обузой, как наследственное владение, перешедшее в собственность. Мышление вынуждено искать другие гарантии и напоминать о других более отдаленных мотивах, как например, мотив гнозиса, досократиков, еремитов, поселившихся в Фивах. Возникают новые и все же древние лейтмотивы, как например, лейтмотив страха. И все же надо признать, что новое мышление предъявляет более точные метки, чем наследие XIX в. с его наукой. Но где встречаются друг с другом определенность с неопределенностью — риск с точностью? В области эксперимента.

На самом деле экспериментальный подход относится к самому характеру мышления. Это ведь стиль, который отличает не только живопись, науку, но и бытие отдельного человека. Мы ищем мутации, возможности, при которых жизнь в новом эоне была бы плодотворной, выносимой и даже счастливой. Научный эксперимент с его вопросами направлен на материальный мир. Мы все знаем поразительные ответы, которые дала наука, и которые угрожают мировому равновесию. Восстановить это равновесие может только мышление, получив из мыслящего космоса ответы, которые будут превосходить эти материалистические позиции. Своеобразие нашего положения позволяет заключить, что эти мыслительные акты по времени должны предшествовать теологическим установкам, более того, их подготавливать — может быть даже не столько они,

[32] «Гельдерлин?», — помечает Хайдеггер (S. 465.)

сколько ход наук вообще, как сеть, из которой вынимают другую добычу, нежели ожидали.

То, что мышления, которое мы получили в наследство недостаточно, ясно как день. Однако нельзя сказать, будто бы, как вообще, так и в мышлении осуществлена некая операция, направленная против предыдущего столетия — его стиль, особенно стиль познания скорее расширен и углублен. Он конечно при этом изменился, может быть даже стал несравнимо сильнее — также как и получение новой физической энергии имеет фундаментом исследовательские работы наших отцов. Скорее это даже не операции и методы нам отвечают, а новые силы. Это позволяет предположить, что методы с самого начала ведут к другой цели, нежели та, для достижения которой они предназначались.

Итак, мы в неизмеримом. Здесь меньше гарантий при большей надежде на результат. «Holzwege»[33] — прекрасное сократовское слово для этого. Оно означает, что мы находимся в стороне от твердых дорог и в царстве неразличимого. Здесь существует возможность поражения.

22.

Упрек в нигилизме сегодня популярен, и каждый приписывает его своему противнику. Весьма вероятно, что правы *все*. Поэтому нам нужно обратить упрек к себе, а не разделять позицию тех, кто неутомимо ищет виноватых. Менее всего знает время тот, кто не испытал на себе чудовищную силу ничто, и кто не уступил его соблазну. На собственный страх и риск: это как некогда в Фивах, в центре пустынного и разрушенного мира. Здесь пещеры, к которым толкают демоны. Здесь каждый, независимо от положения и ранга, оказывается в непосредственной и самостоятельной борьбе, и с его победой изменяется мир. Если человек окажется сильнее, то ничто отступит. На линию побережья будут выброшены затопленные сокровища. Они вознаградят жертвы.

Обзор:

1. Оценка нигилизма у Ницше,
2. у Достоевского.
3. Его оптимистическая и
4. пессимистическая характеристики.
5. Диагнозы нигилизма
6. в преддверии ничто.
7. Отношение нигилизма к хаосу и анархии,
8. к болезни,
9. которая для него столь же мало типична.
10. Нигилизм как преступление.
11. Нигилизм как состояние утраты
12. и демифологизации.
13. Он сводится к цифрам и измеримому существованию.

[33] Лесные тропы (нем.) — название сборника работ Мартина Хайдеггера (1950 г.).

14. Нигилизм приближается к последней цели.
15. Его чародейство — манера поведения, а не средство исцеления.
16. В зоне изменений вопрос об основных ценностях можно поставить только на линии, на нулевом меридиане.
17. Отношение к церкви,
18. к Левиафану.
19. Организация и безопасность.
20. Оазисы в пустыне.
21. Мыслитель и поэт в это время.
22. Критическая сила личности.

СУДЬБА НИГИЛИЗМА В РОССИИ

В.В. Савчук
доктор философских наук, профессор,
Санкт-Петербургский государственный университет

Как отнестись к нигилизму сегодня? Не затмили ли его сегодня понятия тоталитаризм и терроризм? Не остались ли нигилисты в эпохе бомбистов и анархистов? Может, он лишь указывает на эпоху, подобно якобинцам? А если содержание термина все же отражает реальность нашего времени, то каковы его новые формы? Ряд вопросов удостоверяет общее место: по поводу нигилизма всегда возникает много больше вопросов, чем дают ответов.

История термина

В дискуссии Э. Юнгера и М. Хайдеггера[1] о нигилизме, названной современниками эпохальной, писатель и философ не касаются истории термина, оставляя за скобками дискуссии предшествующих времен. Возможно, причиной тому персональная адресация, стиль которой задает соответствующие правила сообщения. Их эстафету принимают Дитмар Кампер и Гюнтер Фигаль, опуская историю вопроса и разъяснительную работу. Но для

[1] «Э. Юнгер написал работу «Через линию» в 1950 г. для юбилейного сборника в честь 60-летия Хайдеггера, посвятив ее европейскому нигилизму. Отметив вначале, что нигилизм восходит к Ницше и Достоевскому, Юнгер завершает свое сочинение сравнением позиций мыслителя и писателя, шире мыслителя и художника. Центральным пунктом работы является отличие нигилизма, не поддающегося строгому определению, от зла, хаоса, болезни. Текст-посвящение Юнгера интересен не только точностью образа: он представляет собой результат многолетних поисков, наблюдений, размышлений, жизненного опыта. Итог этот не столько личный, сколько естественно-исторический. Работа «Через линию» провоцирует яркостью картин, точным диагнозом и ригоризмом суждений. Для Юнгера как командира разведгруппы в Первую мировую войну опыт пересечения линии фронта был исходным в размышлении о нигилизме. Нужно также иметь в виду, что здесь изложена квинтэссенция представлений автора, трансформировавшихся начиная с 20-х годов в публицистических статьях, прошедших стадию первого оформления в его знаменитых эссе 30-х годов. Мартин Хайдеггер в ответной статье «О «линии»» в 1955 г. в такой же юбилейный сборник в честь Юнгера, переименованной им позже «К вопросу о бытии», оспаривает, прежде всего, саму попытку понимания нигилизма писателем. Отвечая на вызов, Хайдеггер ставит своей задачей установить «происхождение сущности нигилизма и сущности его окончания» (Хайдарова Г. Предисловие // Судьба нигилизма. Э. Юнгер, М. Хайдеггер, Д. Кампер, Г. Фигаль. Перевод с немецкого Г. Хайдаровой. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. с. 4-5).

понимания контекста, в который попадают их соображения о нигилизме, полагаю все же уместно привести краткую историю термина[2].

Отправной тезис — нигилизм есть европейский феномен. В истории мысли понятием нигилизм выражали свое отношение к различным философским позициям, например, философскому эгоизму или солипсизму, идеализму, атеизму, пантеизму, скептицизму, материализму и пессимизму, а кроме того, оно служило для *обозначением* религиозных, политических и литературных течений. Автор статьи «Нигилизм» В. Мюллер-Лаутер полагает: «Как «terminus novus» оно было употреблено в 1733 г. Ф. Л. Гетциусом, в отношении теологии и философии, а также к другим наукам, вплоть до юриспруденции и медицины»[3]. Слово «нигилист» использовали для *негативной* характеристики определенных политических и социальных установок во французской литературе после 1793 г., в которой оно не совпадало с философским значением понятия «нигилизм» в Германии[4]. Остается спорным, повлияли ли на последнее более ранние словообразования от «nihil». Вместе с «аннигиляцией» наиболее важным из них является «нигилизм» как обозначение еретического направления христологии во второй половине XII столетия, которое сводится к речи о «nichilianist(a)e» Готье де Санкт-Виктора. Согласно его мысли, вечный Логос не может *становиться* чем-то, поэтому Христу человеческое бытие присуще только акцидентально, как человек Христос «non aliquid», то есть не индивид. Нигилист (Nichilianist(a)e) раскрывается в отрицании человеческого воплощения Бога.

Широкую дискуссию вызвала трактовка понятия нигилизм Ф. Х. Якоби, с именем которого связывают популярность этого понятия[5]. Он использовал термин нигилизм для характеристики теоретической философии Канта[6], а также наукоучения Фихте (в котором он видел последовательного кантианца). В письме к Фихте (1799) Якоби указал, что тот достигает цели своей философии,

---

[2] Я воспользуюсь статьями Mueller-Lauter W. Nihilismus // Historisches Wоrterbuch der Philosophie. Bd. 6. / Hrsg. Joachim Ritter und Karl-Fridrich Grunder. - Basel; Stuttgart, 1984. S. 846 -853; Risenhuber K. Nichts // Handbuch Philosophischer Grundbegriffe. Muenchen, Koesel, 1973. S. 991 – 1008; Le Petit Robert. P., 2001. P. 1152.

[3] Mueller-Lauter W. Nihilismus // Historisches Wоrterbuch der Philosophie. Bd. 6. / Hrsg. Joachim Ritter und Karl-Fridrich Grunder. - Basel; Stuttgart, 1984. S. 846.

[4] Согласно словарю Робера термин нигилизм известен во Франции с 1787 г. Он выделяет три значения нигилизма: 1. Нигилизм как философская доктрина, согласно которой нет ничего, что существовало бы абсолютно. 2. Идеология, которая отвергает всякое социальное принуждение. 3. Настроения, характеризующиеся пессимизмом и моральным разочарованием. Например, пессимзм панков (Le Petit Robert. P., 2001. P. 1152).

[5] Эту позицию разделяет и Хайдеггер в работе «Европейский нигилизм» (см.: Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1994. С. 63).

[6] По Якоби, кантовский "нигилизм" имеет два аспекта. «Во-первых, Кант уничтожает реальность предметов чувственного опыта, именно тех предметов, среди которых мы живём и которые мы познаём. Во-вторых, сверхчувственные предметы идей разума (и прежде всего - Бога) он превращает в пустые фикции, продукт "гипостазирования", т.е. равным образом лишает их подлинной реальности» (Чернов С.А. Кантианцы против Якоби // Credo New. Теоретический журнал. 2004, №4. С. 14).

исходя из единичного Я, только за счет рефлектирующего разрешения всех «вещей» в мыслительной конструкции абсолютного Я, которое на самом деле есть только продукт абстракции эмпирического Я. Для человека, который таким образом абстрагируется и тем обожествляет себя, все растворяется «постепенно в его собственном ничто». Только вера в живущего, самосуществующего Бога может противостоять отчаянию, возникающему из такой философии, полагал Якоби. Именно это понимание нигилизма дало основание отечественному исследователю полагать, что «Ф.-Г. Якоби создал понятие «нигилизм», и это понятие было, если можно так сказать, его «эпохальным» открытием»[7]. Так, последовательный идеалист должен начинать с нигилизма, поскольку из него он никогда не доберется до чего-то конкретного. С другой, но в равной мере ведущей к нигилизму стороны, У. Гамильтон дополняет: «если ничего, кроме феноменальной реальности самого факта не позволено, то получится нигилизм». Он проводит различие между спекулятивным нигилизмом Фихте, который у него преодолевается в практической философии, и скептическим нигилизмом Юма. Но и сам Якоби, как утверждает гегельянец Ц. Ф. Гешель, незаметно для самого себя впал в идеализм и нигилизм, с которыми боролся[8]. Как здесь не вспомнить завершение статьи Юнгера «Через линию»: «Упрек в нигилизме сегодня популярен, и каждый приписывает его своему противнику. Весьма вероятно, что правы *все*».

Хотя Фихте в своих письмах отклонял упрек Якоби в нигилизме, показывая причину недоразумения, но с тех пор эта проблематика постоянно занимала его. Уже в наукоучении 1812 г. он задается вопросом о средствах избежать «крушения реальности» вследствие нигилизма рефлексии, и находит такое средство в рефлектировании-до-конца: знание должно признать себя наконец опирающимся «на чистую реальность». Продолжая спор, Ж.-Ф.Лиотар утверждает: «Абсолютное знание требует законченного нигилизма». Фихте, приняв в расчет критику Якоби, придал новый импульс дискуссии об идеалистическом нигилизме в работе «Определение человека» (1800).

Согласно же Гегелю, «для нигилизма нерешенная задача» состоит в том, чтобы «познать *абсолютное* ничто». Оно на самом деле должно было бы представлять абсолютный центр Бога, которому не присуще никакое для-себя-

---

[7] Михайлов Ал. В. «Эстетика» Жан-Поля. // Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. М., 1981. С. 21. Полнота картины требует оглашения другой точки зрения, которую приводит С.А. Чернов, собравший антиякобистские высказывания: Якоби — «дилетант» (Шеллинг), «вождь полузнаек в философии» (Гегель), «сварливый прохвост» (Гейне), «низшая монада», которая не в состоянии понять и оценить подлинный смысл кантовской философии» (Куно-Фишер), его работы — «аффектированное мечтательное гениальничание» (Кант), «в общем и целом, а также и в деталях… «просто не понял» Канта (Юлиус Лехман в диссертационном исследовании о критике Якоби) (Чернов С.А. Кантианцы против Якоби // Credo New. Теоретический журнал. 2004, №4. С. 6 - 7).

[8] Mueller-Lauter W. Nihilismus // Historisches Worterbuch der Philosophie. Bd. 6. / Hrsg. Joachim Ritter und Karl-Fridrich Grunder. - Basel; Stuttgart, 1984. S. 847.

существование. Вот как выглядит первоначальная интенция гегелевского проекта: дух ”достигает своей истины, только обретя себя самого в абсолютной разорванности. Дух есть эта сила... только тогда, когда он смотрит в лицо негативному, пребывает в нем”[9]. Согласно Хр. Вайссу, в основе гегелевского отрицания персональности Бога лежит возведение к божественности логической идеи, которая не только определяет никакого нового содержания, но и квалифицируется по Ф. Лаку-Лабарту и Ж. Л. Нанси как «логика Террора»[10]. Таким образом, диалектическое движение понятия у Гегеля, развивающееся из ничто, на самом деле остается в области ничто; *настоящее* становление закрыто для этого движения. Фихте вначале соглашается с акосмическим толкованием Гегеля у Вайсса, но позже резко возражает против предположения, что его логика нигилистична.

В раннем романтизме, особенно у Новалиса и Фр. Шлегеля (который впервые употребил слово «нигилизм» в 1787 г.) происходит «поэтизация принципов Фихте». Мысль о бесконечной деятельности абсолютного Я распространяется на творчество индивидуального Я. Это привело к упреку ранне-романтической поэзии в нигилизме из-за ее волюнтаризма и удаленности от природы. Понятие нигилизма приобрело статус эстетической категории, которая вырабатывалась в критике мистиков, поскольку они «весьма последовательно называли божество бесконечным ничто, и поэтому их образ мысли был назван нигилизмом»[11].

Во Франции XVIII века «нигилистом» называли того, кто был «ни за, ни против». В «Неологе или словаре новых слов» (1801) Л. С. Мерсье характеризовал «нигилиста или негативиста» как человека, «который ни во что не верит, ничем не интересуется». В подобном же смысле понятие «нигилизм» употребляли в 19 веке Дж. Герес, Д. М. в. Радовиц и Г. Келлер; им они обозначали жизненную позицию эгоистической ограниченности, представители которой обретали безопасность, равнодушно отказываясь от любой сильной идеи, и подчинялись смене господствующего мнения, то есть, безусловно полагались на существующее.

Чаще нигилистическими называли критические по отношению к обществу и революционные тенденции, которые коренятся в атеизме. Ф.Ф. Баадер

[9] Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. // Соч. Т. IV. М., 1959. С. 16. Подобный мотив мы встречаем у непримиримого оппонета Гегеля Артура Шопенгауэра, связывающего осознание негативного с рефлексией: “У человека, вместе с разумом, неизбежно возникла и ужасающая уверенность в смерти. Но как вообще в природе всякому злу сопутствует средство к исцелению от него или, по крайней мере, некоторое возмещение, так и та самая рефлексия, которая повлекла за собою сознание смерти, помогает нам создавать себе такие *метафизические* воззрения, которые утешают нас в этом и которые не нужны и не доступны животному” (Шопенгауэр А. Смерть и ее отношение к неразрушимости нашего существа // Шопенгауэр А. Избранные произведния. М., 1993. С. 81).

[10] Лаку-Лабарт Ф., Нанси Ж. Л. Нацистский миф. СПб., 2002. С. 20.

[11] Шлегель Ф. Избранные произведения. В 2-х т. Т. 2. М., 1983. С. 120 – 121.

находит в («прусском») «научном нигилизме» «деструктивное для религии злоупотребление интеллекта», в котором ничего нет, кроме «фундированной ненависти и игнорирования всех существующих (гражданских и религиозных) социальных институтов». После того как Евангелие было отнесено «нигилистической критикой» к мифам, «современный нигилизм» много раз пытался, как поясняет Б. Ауербах, «распространить в народе атеистическое отчаяние», не беспокоясь о проистекающем из этого следствии — «беспочвенности будущего». Отрицание греха привело к отрицанию как божественной, так и человеческой власти. Это давало нравственную основу революционному нигилизму. Но все же не все так однозначно. Революционный нигилизм мог, как показал К. Гуцков в своем рассказе «Нигилисты» (1853), социально адаптироваться. То, что это стало великим искушением для любого реально действующего нигилиста, подытожил А. Камю: «Конформизм - одно из нигилистических искушений бунта, преобладающим влиянием конформизма отмечена немалая часть истории нашего умственного развития. И она показывает: если бунтарь переходит к действию, забывая свои корни, он подвергается сильнейшему искушению конформизмом. Этим искушением проясняется XX век»[12].

Наследниками критики идеализма как нигилизма стали младогегельянцы. Перед лицом критики религии Д. Штрауса, Б. Бауэра и Л. Фейербаха логика и философия религии Гегеля кажутся всего лишь предтечей нигилизма. С нигилистической позицией исследователи связывают взгляды Фейербаха. Философский эгоизм получает практическое толкование у М. Штирнера, которого, замечу, активно изучал И. Тургенев. И наконец, К. Розенкранц констатирует развитие нигилистического радикализма до практики «радикального нигилизма, до революции пролетариата». Понятие нигилизм стало обозначать материалистический способ мышления уже с 40-х годов 19 века.

Немецкий романтизм начала 19 века пробудил интерес к *индийской* религии и поэзии (Ф. Майер, Фр. Шлегель). В последующие десятилетия у исследователей религии был популярен буддизм, который интерпретировался как нигилизм. Метафизика воли Шопенгауэра появилась как возврат к такому «пантеистическому нигилизму». Ф. Ницше усмотрел в пессимизме Шопенгауэра «новый буддизм», который он понимал как *пассивный* нигилизм. Чуткий к отслеживанию западных влияний Герцен обращает внимание Тугенева: «Замечаешь ли ты, что ты со своим Шопенгауром … становишься нигилистом», характеризуя последнего как «идеального нигилиста, буддиста и мертвиста».

[12] Камю А. Бунтующий человек. М., 1999. С. 184. Этот сюжет присутствует и у Юнгера, о чем пойдет речь ниже.

На ницшевское понимание нигилизма особенное влияние оказали лекции П. Бурже «Эссе о современной психологии». Ницше интерпретирует нигилизм как *волю к ничто*, которая, как скрытая воля к власти, создает фикцию трансцендентного мира, чтобы выносить суждения о реальном мире. Суждение ведет к саморефлексии и наконец к саморазрушению человека, который его практикует. Ницше описывает *европейский* нигилизм, как историческое движение *декаданса*, начавшееся с Сократа и продолжившееся в христианстве; нигилизм развивает, согласно Ницше, чувство истинности, которое сублимируется «в научную совесть, интеллектуальную чистоту любой ценой». При этом обнаруживается неморальный интерес, фундирующий всякую мораль. Всеобщая истина, к которой стремятся философы, разлагается на многообразие равноправных «истин».

Ницше называет себя “первым совершенным нигилистом Европы”, у которого “нигилизм уже позади”. Он определит ближайшие два столетия, чтобы позже ему на смену пришло *“контрдвижение” переоценки всех ценностей*. Но прежде нужна селекция *сверхчеловека*. В нем *воля к власти* переживает свое высшее творческое выражение. Учение о вечном возвращении содержит предел: нигилисты разбиваются об него, поскольку оно для них означает, что “Ничто (“бессмысленное”) вечно”.

С конца XIX века распространение получает ницшевское понимание нигилизма. Едва ли можно обозреть множество публикаций, в которых явления прошлого и настоящего определяются как нигилистические. Х. Рушнинг описал изменения нигилистического сознания в поколениях после Ницше. Вера в то, что нигилизм стал «нормальным состоянием» развенчивается в произведениях Г. Бенна, который противопоставляет нигилистическому процессу распада цельность художественной формы. По Т. Адорно, Ницше, используя против христианства термин «нигилизм», придал ему «другое значение». Оно стало «воплощением ничтожного состояния или состояния, обвиняющего себя в ничтожестве». Но такого рода «преодоление» является во много раз хуже, чем «преодоленное». Оно объединяется, наконец, с силами разрушения, является, таким образом, само нигилистичным. То, что осуждается с точки зрения кажущейся позитивности как нигилизм, нуждается в защите, поскольку нигилизм в конечном итоге является конкретным критическим сознанием.

Масштабный анализ нигилизма и попытку его преодоления предпринял К. Ясперс. Для него «открытое безверие» нигилизма является образом *нефилософии,* против которой нужно полагать философскую веру в трансценденцию. Так вопрос о *ничто* получает центральное значение у экзистенциалистов, а их самих часто характеризуют как нигилистов или причисляют к нигилизму: наряду с Ясперсом, прежде всего Хайдеггера и Сартра. Камю понимает под нигилизмом сознание тотальной *абсурдности*

человеческого существования. Внутренняя противоречивость этого сознания приводит его к разработке позиции бунта, поддерживаемого человеческой солидарностью; на место универсальной бессмысленности вступает достоверность, пусть даже обретенная загадочным образом.

Пусть и схематично здесь изложен контекст, в котором оказывается мысль приведенных здесь авторов. Не ослабевает интерес к нигилизму и пой сей день. Такие разные мыслители XX века, как Э. Юнгер, М. Хайдеггер, Ю. Эвола, М. Фуко, Ж. Ваттимо, А. Бадью и многие другие анализируют его в своих работах.

Нигилизм в России

Немецкие и французские трактовки понятия «нигилизм» и «нигилисты» были идейными истоками нигилизма в России. Однако теоретические истоки не могут нам объяснить подлинную причину столь широкого распространения его в России. Принято считать, что причиной такого распространения является появление среды разночинной интеллигенции. Возникнув неожиданно и в большом количестве, разночинцы оторвалась от своих мелкобуржуазных и церковных корней, но к правящему классу не примкнули[13]. Таким образом, появилась фигура и мировоззрение типичного маргинала, порывающего со своими семейными и сословными традициями, а других не обретшие. Вместе с тем увлеченность нигилизмом была способом борьбы за индивидуальность, особенно это касалось поиска путей эмансипации молодых женщин[14]. Маргинальность усиливалась культурной и чиновнической дискриминацией и оскорбительно высокомерным отношением к ним аристократов, на которое указывает Л.Н. Толстой в повести «Юность»: «Человек, дурно выговаривающий по-французски, тотчас возбуждал во мне чувство ненависти. «Для чего ты хочешь говорить, как мы, когда не умеешь? — с ядовитой усмешкой спрашивал его мысленно». Образованность, бедность, неукорененность и неопределенность убеждений вкупе с претензией на интеллектуальное превосходство были питательной средой радикального протеста, принявшего форму нигилизма.

Но до этого была история проникновения термина в Россию. Одним из первых в 1829 термин нигилизм использовал в критике поэзии Пушкина и его

---

[13] «Для «кухаркиных» и даже купеческих детей образование означало разрыв с семьей, классом, с целой культурой» — пишет Г. П. Федотов. В результате «привыкнув дышать разреженным воздухом идей, интеллигенция с ужасом и отвращением взирала на мир действительности. Он казался ей то пошлым, то жутким; устав смеяться над ним и обличать его, она хотела разрушить его — с корнем, без пощады, с той прямолинейностью, которая почиталась долгом совести в царстве отвлеченной мысли (Федотов Г.П. О судьбе русской интеллигенции. М., 1991. С. 44, 40).

[14] «Брак без любви и брачное сожительство без дружбы нигилист отрицал. Девушка, которую родители заставляли быть куклой в кукольном доме и выйти замуж по расчету, предполчитала лучше оставить наряды и уйти из дома» (Кропоткин П. А. Этика. М., 1991. С. 405).

плеяды Н. И. Надеждин, трактуя его в смысле «ничтожество»[15]. Белинский со ссылкой на Жана Поля употреблял его как синоним «идеализма». Добролюбов, критикуя книгу профессора Берви, выпущенную в 1858, трактовал нигилизм как «отрицание любого реального бытия» и скептицизм. В начале 1880-х Н. Н. Страхов в своих «Письмах о нигилизме» рассматривал «критику существующего порядка» как негацию «почти всего существующего». При этом по замечанию Н. Н. Скатова, являясь человеком «устойчиво консервативных взглядов», Страхов отдавал дань русскому контексту нигилизма, считая, что «мы вправе требовать серьезного отношения к нигилизму, вправе ожидать, что в нем обнаружились какие-нибудь немаловажные черты нашей духовной жизни и сделаны некоторые шаги в прогрессе нашего самосознания». И он не одинок, так религиозный мыслитель Архимандрит Феодор (А.М. Бухарев) принимает даровитого, честного и энергичного Базарова, указывая на то, что он выражает «отрицательную сторону истины». Усилив историческую необходимость, А. Григорьев полагает, что нигилизм заслуживает самого серьезного к себе отношения, поскольку имеет «совершенно законное место в общем процессе человеческого сознания»[16]. Позитивное прочтение нигилизма не исключает западный образ его; напротив, – и это точно подметил Н. Н. Страхов, – прямо и непосредственно наш нигилизм во всем уживается с «великим уважением к западу»[17]. На своих учителей указывает Базаров: «Да, немцы в этом наши учителя».

Широкое распространение в России идеи нигилизма получают благодаря М.Н. Каткову, редактору «Русского вестника», где печатался роман И. Тургенева «Отцы и дети», но более — благодаря самому роману, в котором дано точное определение: «Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед каким авторитетом, который не принимает никакой принцип на веру, пусть даже этот принцип пользуется всеобщим вниманием и уважением». Идеалистическая эстетика, метафизика, религия и автократия, держащиеся за что-то, есть *ничто*, которое нужно разоблачить и низвергнуть: «Нигилизм не преобразует *нечто* в *ничто*, но разоблачает, что *ничто* принимается за *нечто*, является оптическим обманом», — пишет А. Герцен в 1868 году.

Итак, вначале нигилизм был жупелом, им пугали и обзывали, но никогда не применяли к себе[18]. Более того, из его истории мы знаем, что часто критики,

[15] Стоит упомянуть, что и сам Пушкин употреблял это слово в смысле «ничто», связывая его с результатом разумного подхода: «Но тщетно предаюсь обманчивой мечте; / Мой ум упорствует, надежду презирает... / Ничтожество меня за гробом ожидает...» (А. С. Пушкин. «Надеждой сладостной младенчески дыша...»).

[16] Григорьев А. Эстетика и критика. М., 1980. С. 147.

[17] Страхов Н. Н. Нигилизм. Причины его происхождения и силы // Страхов Н. Н. Литературная критика. М., 1984. С. 76.

[18] Достоевский в «Бесах» связывал Нигилизм (не под влиянием ли прочитанного им Маркиза де Сада) с бесцельной, угрюмой энергией «ушедшей нарочито в мерзость». Нигилизм, по Достоевскому проявляется в

использовавшие оружие нигилизма, сами нередко были обвинены в нигилизме. Затем у Ницше, который назвал себя совершенным нигилистом, «впервые нигилизм становится осознанным… но он не воспевал его, так как предугадывал, что, в конце концов, апокалипсис примет гнусный деляческий облик, а стремился избежать его». Его нигилизм есть осознанная, но все еще *негативная* позиция. И, наконец, в России нигилизм становится не только самоопределением и самоутверждением, но и позитивной программой. Об этом после выхода романа «Отцы и дети», разъясняя, писал И.С. Тургенев: «Не в виде укоризны, не с целью оскорбления было употреблено это слово, но как точное и уместное выражение проявившегося — исторического — факта». Во времена написания романа нигилизм был тяжелым оружием на поле интеллектуальной брани, так как его использование означало бесповоротное осуждение и почти клеймо позора. Силу негативного означивания придавали консервативные силы российского общества. Эту же — и только эту — точку зрения мы обнаружим, например, в статье словаря Брокгауза и Эфрона. Но вопреки всему в России было и другое направление мысли, выраженное С. Степняком-Кравчинским: «Слово нигилизм получило права гражданства сперва как бранная кличка, а потом как гордо поднятый ярлык той философской школы, которая одно время занимала самое видное место в русской интеллектуальной жизни… мы были убеждены, что боремся за счастье всего человечества, и каждый из нас охотно пошел бы на эшафот и сложил свою голову за Молешотта и Дарвина». В точном соответствии с современным содержанием термина «стигматизированная идентичность» (когда внешняя отрицательная характеристика становится внутренней точкой опоры, позитивным отличительным знаком) нигилисты сменили негативный знак на позитивный и впервые использовали его в *самоназвании*.

Именно эту тенденцию трактовки нигилизма отразил И. Тургенев, вызвав тем у большинства исследователей убеждение, что именно в его романе «Отцы и дети» заявила о себе в полный голос специфика как отечественного, так и всего европейского нигилизма: «Вряд ли будет преувеличением сказать, что нигилистическое движение, несмотря на его исторические последствия, едва ли продвинулось дальше по сравнению с базаровскими лозунгами»[19], — пишет в конце XX века А. Данто. Эту точку зрения активно оспаривает В. Мюллер-Лаутер, полагая, что «Нельзя вводить новообразование слова «нигилизм» и при

отрицании Христа, на месте которого оказывается нечто ужасное, поскольку отрицая Бога, нигилист отрицал Россию, свой народ во имя «равенства, зависти и пищеварения». Исторически запаздывающая в модернизации Россия в XIX в. переживала те же этапы возникновения нигилизма, которые К. Ясперс связывал с Новым временем, когда происходит «разбожествление» мира (см.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994), «богооставленности» человека (Ницше). Антиклерикальный характер нигилизма был основой исключительно негативного его прочтения.

[19] Данто А. Ницше как философ. М., 2001. С. 37-38.

этом забывать о его длительной традиции. Например, И. Тургенев думал, что он изобрел это слово в 1861 г., и многие с тех пор разделяли это мнение»[20]. Как заметила обстоятельно проанализировавшая этот вопрос Г. А. Тиме, немецкие идейные источники нигилизма не только оказали решающее влияние на роман И. Тургенева «Отцы и дети», но и сам автор вполне отчетливо осознавал их влияние[21]. Заслуга Тургенева — *не в изобретении термина, но в позитивной трактовке его содержания*: если Базаров «и называется нигилистом, то надо читать революционером», — пишет он в дискуссии, развернувшейся после выхода романа.

Сила нигилизма в России не столько в радикальности и силе убеждений нигилистов, сколько в слабости интеллектуальной и аристократической элиты. Исследователи выделяют три источника широкого распространения нигилизма в России 1840 – 1880-х гг.[22]. Первая причина: «Террор революционеров начинается после того, как правительство «начинает бить и истязать учащуюся молодежь, сечет революционеров, всячески унижает человеческое достоинство». Вторая причина — опередить развитие капитализма: «Наша обязанность взвесить все условия и употребить все старания, чтобы ликвидация существующего государственного строя произошла как можно скорее, прежде чем под его покровительством успеет сформироваться и окрепнуть какие-либо сословия, враждебные народу». И третья, субъективные наиболее значимые причины: ««Кающиеся дворяне» шли в революцию, чтобы успокоить свою больную совесть», «протестующие разночинцы — чтобы отомстить за свои обиды». Но таковых было меньшинство, большинство же составляло третье направление, - люди, лелеющие юношеские мечты о всеобщем счастье и справедливости, у которых «был молодой задор, жажда подвига и готовность на жертву. Таково было громадное большинство революционеров 70-х — 80-х годов. Они были не мстители, а мечтатели», – заключает М. Дрей.

Реальность неправового общества, общества угнетения и несправедливости, уравновешивалась деятельным сочувствием к бедным, которые, по их мнению, были праведными. Справедливости ради заметим, что кроме разночинцев и мечтателей из состоятельных семей, живо воспринявших идеологию и практику революционного нигилизма, существовало и другое крыло — левые критики правительства, которые своей леворадикальной фразелологией и критикой правительства в прессе зарабатывали как символический, так и вполне приличный материальный капитал.

[20] Mueller-Lauter W. Nihilismus // Historisches Worterbuch der Philosophie. Bd. 1. / Hrsg. Joachim Ritter und Karl-Fridrich Grunder. - Basel; Stuttgart, Bnd. 6, 1984. S. 846.

[21] См.: Тиме Г.А. Немекая литературно-философская мысль XVIII-XIX веков в контексте творчества И.С. Тургенева (Генетические и типологические аспекты). Muenchen, 1997.

[22] См.: Исаков В.А. Концепция заговора в радикальной социалистической оппозиции. Вторая половина 1840-х — первая половина 1880-х годов. М., 2004.

Революционной идеей сытно кормилось не одно поколение радикалов. На это указывал Э. Юнгер, а прежде него, на конкретных примерах материального успеха целого слоя леворадикальной идеи, нигилистов — В. В. Розанов. Он нарисовал колоритную картину времени, на которой материальная нищета правых, консерваторов соседствует с благополучием, даже богатством, «революционеров» и критиков правительства. Нигилизм — это в первую очередь личная проблема и проблема нравственная. П.А. Кропоткин приводит характерное высказывание: «Я становлюсь безнравственным, — говорил молодой нигилист своему другу, иногда даже подтверждая мучавшие его мысли каким-нибудь поступком. — Я становлюсь безнравственным. Что может меня удержать от этого?»[23].

Итак, нигилизм приобрел в России особый статус, поскольку — и это распространенное мнение — радикальность западных идеологических проектов приобретает здесь крайнюю форму практического осуществления. И если теоретически и терминологически отечественный нигилизм вторичен, то *по силе* практического отрицания «отжившего», *скорости*, с какой нигилисты от философских и литературных образов переходят к практическим действиям и, наконец, по *количеству* идейных образованных людей, втянутых в водоворот практического нигилизма и, главное, по позитивному истолкованию его — ему не было равных. Именно это позитивное прочтение нигилизма, вернувшись в Европу, провоцировало мысль ведущих мыслителей осмысливать свое изменившееся настоящее, проводить переоценку всех ценностей, отрицать отжившее.

То, что есть, не должно быть

Невероятное, то есть сущее
Ив Бонфуа

Для понимания практики нигилизма в его крайней форме — терроризма, — аналитикам потребовался мощный ресурс архаической жертвы, которая неподвластна ни рациональному измерению, ни этической оценке, ни эстетическому катарсису. Она факт сообщества, гарантия символического порядка, способ коммуникации с трансцендентным и удостоверение высшей ценности его, уравновешивающегося одной лишь ценностью жизни. Первая — архаическая жертва — конкретна, жизнетворна, радостна, неразрывна с коллективным телом, которое ее приносит; в архаическом сознании нет ни иронии, ни нигилизма. Вторая — абсолютная жертва — ужасна, имперсональная, разрушительна. Она суть ничто, онтологическое следствие

[23] Кропоткин П. А. Этика. М., 1991. С. 283.

которого не разъято с оценкой. Исподволь происходит подмена конкретной жертвы символической инстанцией противостоящей злу — *абсолютной* жертвой. Сегодня, – делает вывод Жак Рансьер – «составилось абсолютное внеюридическое право жертвы бесконечного Зла. И наследуемо это абсолютное право защитником прав жертвы»[24]. Но абсолютное продумано не только в метафизической традиции, но и в древнейшей форме жертвоприношения, восстанавливающего устойчивый порядок круговорота событий в Космосе. Жертва — онтологическое условие существования культуры.

Приведенные мысли близки трактовке божественного насилия В. Беньямина, которое он противополагает мифическому: «Справедливость есть принцип любого божественного целеполагания, власть — принцип любого мифического правополагания … Мифическая манифестация непосредственного насилия в глубине проявляет себя идентично любому правовому насилию и доводит представление о его проблематике до понимания губительности его исторической функции, уничтожение которой тем самым становится непосредственной задачей»[25]. Он разводит их до противоположности по всем пунктам. Если мифическое насилие — правоустанавливающее, то божественное — правоуничтожающее; если первое устанавливает границы применимости, то второе безгранично и нелегитимно; если мифическое является источником вины и одновременно позволяет искупить вину, то божественное — вне вины, принуждая платить сполна; наконец, первое — грозяще и кроваво, второе — разяще и бескровно.

Божественное насилие не прочитывается Беньямином как правоустанавливающее и тем самым оказывается вне чувства вины. Последнее порождается тем, *что* Беньямин называет мифическим насилием (первородный грех и тотальное чувство признания вины — краеугольный камень христианской догматики — также не подпадают под юрисдикцию чистого божественного насилия). Обвиняя правовое сознание в том, что оно старательно замалчивает: несправедливость, насилие, лежащие в его основании, — Беньямин в классическом стиле психоанализа вменяет правовому сознанию чувство вины. Противопоставляя мифическому насилию *чистое* божественное, он выпытывает у правового бессознательного признание того, что своим рождением оно обязано «грязному» насилию.

И сегодня установлению демократической формы права предшествует насилие над стихийно сложившимся порядком. Слова Ротшильда: “Не спрашивайте, как я заработал первый миллион, я готов до копейки отчитаться, как я заработал второй”, — кажутся прямым политическим выпадом и

[24] Мир в войне: победители/побежденные. 11 сентября 2001 года глазами французских интеллектуалов. М., 2003. С. 55.

[25] Benjamin W. Zur Kritik der Gewalt. // Benjamin W. Gesammelte Schriften. Bd. II. 1. Fr. am M., 1977. S. 199.

“заказным” банкротством олигарха, когда его просят отчитаться за второй миллиард. Структуры порядка неизменно и скоро возрождаются после любых смут. И напротив, в отечественной истории столь же рьяно заявляют о себе силы, ведущие к беспорядку, после любых, пусть еще и не устоявшихся форм порядка. В отношении же вооруженности и обеспеченности мысли трудно не заметить сходство символического накопления концептов с ростом материального благосостояния философа. Не спрашивайте, откуда я взял те или иные концепты, смотрите, как я *от своего лица* могу ими пользоваться. Но философия сама есть этот тиранический инстинкт, духовная воля к власти, к «сотворению мира», к «causa prima». Претензия на власть из своего места, топоса, тела — дело правое, а претензия на власть под видом проведения всеобщих интересов или, что едино, идеалов демократии — неуместное. Но от этого различия существо претензии на власть не меняется. Понять чужую мысль гораздо проще, чем собственный топос, тем более, внятно и последовательно заявить о его интересах на философском языке.

Отсутствие *традиции развития собственной мысли, мысли на собственных основаниях* ведет, с одной стороны, к бунту по отношении к предшественникам и, с другой — к некритическому доверию чужой мысли. Преломившись подобным образом, идея нигилизма обретает чистую форму отрицания. О том, что рискованно *полностью* полагаться на чужие технологии, — известно, однако господство чужих философских концептов не оценивается как форма колонизации. Внешние же топосу концепты ввиду особой восприимчивости отечественных интеллигентов, а теперь — интеллектуалов, перерастают границы *разумного*. Некритическое *восприятие* западной философии легко превращает ее в господствующую идеологию, со всеми вытекающими (например, ложное, в силу несоответствия времени и месту, сознание) следствиями. Зарубежная философия завораживает неизвестностью контекста, из которого она произрастает. Она потому с легкостью преодолевает несоответствие местным условиям жизни, что дает абстрактные, всеобщие, а потому и *неуместные* ответы на актуальные проблемы общества. При этом всегда есть соблазн думать, что их проблемы уже стучатся в дверь, что они вызваны к жизни меняющимися (по аналогии с Западом) условиями жизни. Например, сила ницшевского нигилизма *покоится* на устойчивом порядке, благополучии среднего класса стран центральной Европы. Современная постструктуралистская философия (острием негации направленная на структуры порядка, власти, нормирования во имя утверждения свободы от насилия в них заключенного) обладает ограниченным потенциалом объяснения процессов, происходящих на все еще огромной территории России. Философ XX века борется не только против насилия государства, но и против обыденного сознания, *доверяющего* своему государству. Зазор между ответственностью за свое государство и дистанцией к нему выражает состояние интеллектуалов и общества. Но в ситуации традиционного для соотечественников неприятия

государства, власти вооружаться тотально деструктивной концепцией — значит загонять себя в тупик, в котором оказывается любое рыхлое коллективное тело, в котором солидарность возникает лишь на негативной основе, а созидательные импульсы проявляются лишь после великих потрясений.

На этом фоне следовало бы выступить в защиту отечественного производителя философских концептов. Ибо главное их достоинство в том, что они подвержены критике соотечественников столь же радикально, сколь безапелляционно принятие иностранных концептов, поэтому у отечественной философии не может возникнуть *безусловного* авторитета и она не превысит предельно допустимую норму влияния на общество и, поэтому, не станет господствующей идеологией. По крайней мере, в обозримом будущем. Парадоксальность актуальной ситуации в том, что отказавшись от одной формы идеализации западной философии (многие по-прежнему отождествляют отечественную форму марксизма с философией как таковой), просвещенная нашими университетами публика полагает, что вред исходит *от своей философии* (на поверку марксистской). «Выход» находят в доверии новым направлениям западной мысли. Именно врожденный нигилизм по отношению к отечественным мыслителям не допустит их концепты в качестве *безоговорочных* авторитетов при анализе российской действительности. В этом смысле своя философия хороша тем, что *не имеет и не может иметь тотального господства*. Тому подтверждение ничтожно малое ее влияние на общественную жизнь, политику, мораль и искусство страны. Местный философ — если не пария, то уж точно фигура неудобоваримая, поскольку максимум для чего пригодны его образ мысли и образ жизни — для частного, изысканного использования разума. Ведь он не удостоверяет комфортность здравого смысла, который дает популярный писатель, не попадает в структуры поверхностного реагирования, подобно журналисту, не обладает ни холодной формальностью ученого, ни практической пользой результатов его исследования, не работает в режиме наигранной толерантности теле- и радиоведущего, не проясняет скрытые цели принятых политических решений подобно политологу, не использует фигуры речи, опирающиеся на показной гуманистический лоск политиков, не зовет нарушать табу, как это делает актуальный художник, — он предлагает радикальные авантюры мысли, выходящие за скобы повседневности.

После очередного заката того или иного популярного философского направления в Европе отечественные интеллектуалы воспроизводят каждый раз архетипическую ситуацию выбора философской веры. В неразрывной связи с критикой современных отечественных мыслителей стоит негативное отношение к предшественникам, к своим непосредственным учителям. Каждый, отрицая все до него существующее, начинает с нуля. Наш нигилизм в отношении предшественников, способность «забыть отцов», всегда начинать заново — в

эпоху катаклизмов, войн и массового самоистребления нации — спасительное качество нашей души, губительно в ситуации более-менее размеренной жизни.

Ситуация непризнания своего, в том числе своего ближайшего прошлого — не нова. Трудно не согласиться с проницательным В.В. Розановым: «У русских нет сознания своих предков и нет сознания своего потомства. От этого — наш нигилизм: «до нас ничего важного не было! И нигилизм наш постоянно радикален: “мы построяем все сначала”». Прошедший век лишь усилил эту способность забывать и начинать с начала. Но сегодня эти качества не только не отвечают времени, но и — вот власть удобной формулы — вредны, поскольку не позволяют включить механизм идентификации и соотнести современника с предшественниками, которых трудно понять и тем более оправдать. Как результат, интеллектуал не может настоящее увидеть в свете прошлого и посмотреть на конкретную ситуацию с позиции целого и изнутри целого.

Актуальный нигилизм соотечественника по своему типу не является ни западным (этап развития), ни восточным (тотально и жертвенно отрицающим Запад), отрицая свою, он осваивает, исправляет и дополняет философию Гегеля, Гельмгольца, Гуссерля, полагая при этом, что он закладывает *начало* новой отечественной традиции. Но следующий, «начиная с начала», забывает «начала» предшественников, обращаясь к новому или все тому же западному философу, и все повторяется заново. Не эта ли юношеская пылкость в отрицании старших являет неоспоримое свидетельство подросткового характера нашей мысли, выход из которого, по Канту, является условием Просвещения, условием традиции, условием внимания к своему топосу, отстаивающего его особенности в глобальном мире.

Терроризм — современная форма нигилизма

Уже свершившаяся судьба нигилизма XX века есть история, которая осмысливается здесь изнутри своего века. Это дает остроту переживания, смутное, трудно артикулируемое ощущение конца истории определенной формы нигилизма, отождествляется с концом истории *как таковой*.

Следующей, покидающей определенность схемы анализа нигилизма как в форме государственного тоталитаризма, вычеркивающего индивидуума и личность государственной тоталитарной машиной (то, что так отчетливо проявило себя в ситуации Первой Мировой войны) и отрицание (уничтожение) персоны, олицетворяющей власть с позиций маргинальной идеологии группы, переприсвоившей себе функцию устанавливать новую конструкцию власти. Инновационный нигилизм радикальных одиночек и маргиналов осуществляет терапевтическую роль: его негативной энергией питаются экономика, политика управления массами, индустрия развлечений и мода. Это отразил еще в 30-у гг. Э. Юнгер: “Общество (бюргерское) обновляется в ходе мнимых нападок на

самое себя. Свойственный ему образ мыслей сказывается в том, что всякую противоположность оно стремится не отторгнуть, а вобрать в себя. Где бы не встретилось ему то или иное притязание, заявляющее о своей решимости, оно идет на утонченный подкуп, объявляя его очередным выражением своего понятия свободы и, таким образом, придавая ему легитимность перед судом своего основного закона, то есть обезвреживая его.

Это придало слову "радикальный" его невыносимый бюргерский привкус, и, кстати говоря, благодаря тому же сам по себе радикализм становится прибыльным занятием, которое было единственным пропитанием одному за другим поколениям политиков и художников"[26]. По сути дела, Юнгер выразил то же, что диагностировал в начале XX века В. Розанов: «нигилизм давно лижет пятки у богатого, … нигилизм есть прихлебатель у знатного»[27]. Культурная легитимность этого вида терроризма поддержана позитивностью обнаруженного противоречия, позитивностью дозированного конфликта и стресса. Того, что мы можем обнаружить в таких феноменах как «бунтующая экстравагантность» — течение моды, которое как нельзя точно отражающее позитивную оценку адаптированного протеста, к прирученному феноменом моды нигилизму, к радикализму в рамках буржуазного вкуса.

Творчество авангардного нигилиста питается состоянием восторга, эйфории, экстатической радости, есть рождение нового в реальном времени. Помещая себя в зону осуществленного будущего, и модернист, и нигилист оказывается на острие прогресса. Политической революции сопутствовала революция в умах авангардных художников; радикальный разрыв с предшествующей традицией уравновешивается появлением новых направлений — футуризма, авангарда, конструктивизма. Именно в этом ключе стоит читать утверждение Жана Полана: «Вместо того чтобы возмущаться приемами Террора, нам, возможно, стоит восхититься его мудростью»[28].

Нигилист действовал изнутри целого, направлял свои усилия на трансформацию целого (не случайны юнгеровские образы мутации, трансформации), террорист же действует извне. Если нигилизм это, в первую очередь, личная проблема и проблема нравственная, то терроризм — внеличностная, поскольку ставит человека перед фактом бесконечного и непоправимого зла, немыслимого в этических категориях; террор есть проявление зла в чистом виде. Нигилист имеет лицо, персонален, а террорист

[26] Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. СПб., "Наука". 2000. С. 75-76.

[27] Розанов В.В. Сочинения. Л., 1990. С. 351. И надо признать, что отмеченное Розановым и Э.Юнгером явление не есть исторический эксцесс, скорее унылый повтор судьбы строптивцев и бунтарей, с возрастом становящихся конформистами и консерваторами. Вот пример из настоящего: «несмотря на заложенный в роке элемент бунтарства, рок-индустрия стала в последнее время очень консервативным бизнесом» (Сибрук Д. Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры. М., 2005. С. 144). Речь идет об американской рок-сцене рубежа XX - XXI веков.

[28] Полан Ж. Тарбские цветы, или Террор в изящной словесности. СПб., 20002. С. 129.

— имперсонален, безлик. Терроризм — новое имя нигилизма. Нигилизма, который от шокирующего отказа от Бога и морали, от одиночных выстрелов и готовности к самопожертвованию революционеров XIX века, в XXI веке технически оснастился: взяв на вооружение архаическую логику «мы» и «они». Его цель — не прогрессивное развитие, но отказ от развития, сохранение традиционного уклада жизни, который внутренне враждебен современной цивилизации. Дело в том, что логика терроризма строится на других, не связанных *с рациональным проектом* основаниях.

Следовательно, и помощи в понимании терроризма «деконструкции» классической рациональности оказывают ничтожно мало. Нигилизм — доведенная до идеализма идея прогресса, терроризм — абсолютизация традиции, стагнация политики, веры и морали. Абсолютная жертва терроризма — производная новой формы нигилизма XXI века есть результат абсолютного преступления и она же инверсия абсолютизации уверенности не только в своей правоте, но и неуязвимости. Но любая абсолютизация чревата отрывом от реальности, в том числе отрывом от реальной угрозы. Эпоха глобализации вызвала к жизни стратегию фундаменталистского терроризма, утверждающую права аутсайдеров и маргиналов на *самобытность*, путем негации бытия господствующих. Идеологию столь эффективную, что уже «американское правительство приняло и установило в качестве аксиомы принцип, позаимствованный у тех, кто на них напал. Оно согласилось характеризовать конфликт в этических и религиозных терминах: «битва добра со злом, битва, тем самым, столь же беспредельная, как и само их противостояние», — точно фиксирует Ж. Рансьер.

Терроризм как крайняя форма проявления практического нигилизма существовал с тех пор, как на исторической сцене появился нигилизм. Террорист упивается не видением нового, но средоточием *взглядов на себе* в реальном времени, ведь теракты и 11, и 1 сентября, в которых погибли безвинные люди, весь мир смотрел в прямом эфире. Сверхценность индивидуальной жизни, проистекающая из западного ее образа, притягивает всех к источнику новостей. Террорист не представляет себя в будущем, но предоставляет возможность массам созерцать себя в настоящем. Он не открывает *еще не ставшее*, но давно уже ставшее отождествляет с неизменно сущим. Он провозглашает (всеми возможными средствами) конец истории становления. Терроризм тотально отчужден от производства и становления и в то же время консервирует *прототипы* организации современной жизни. Тотальная негация и радикальный жест вычеркивания — отличительная черта терроризма эпохи глобализации.

Неспособность создать идеологию рождает стихийный, аффективный способ поведения, обращающий себя к «мифическому праву» (В. Беньямин).

Терроризм — нерефлексивное понятие, отождествляемое с «божественным насилием», поскольку он стремится возродить ситуацию, очевидную для архаики «смена событий в мире определялась мгновенной волей богов — для новых людей она определялась вечным мировым законом»[29]. Меняющий фундамент жизни и связанный с крайней формой насилия и разрушения терроризм декларирует себя фундаментальным. Именно поэтому он нерефлексивен, тогда как нигилизм имел респектабильную связь с философски понятой и обоснованной формой отрицания; нигилизм связывает себя с революционным порывом, а терроризм — с контрреволюционным.

Но что, скажите, даст нам попытка увидеть след нигилизма в терроризме? Объяснит ли парадокс, зафиксированный Розановым: «в терроризм можно влюбиться и возненавидеть до глубины души». Не единство же территории, на которой и за обладание которой происходит акция. По крайней мере, именно в силу нерефлексивности термина «терроризм», мы не можем говорить о его привлекательности, зоне сверх-значимости происходящего, великого и мгновенного события, которое раскалывает жизнь на *до* и *после*. Рождается новая эпоха, новая культура и политика, новая философия. Однако ничто так не мешает аналитике, как абсолютизация уникальности феномена. В другом ключе трактовка его как очередной формы (еще одной, но, конечно же, не последней) дает другую точку зрения, скорее обустраивает место, из которого можно продумывать вместе с Юнгером и Хайдеггером ситуацию «у последней черты».

Уничтожение другого мира — вот цель новой формы нигилизма. Его территория, если придерживаться терминологии Юнгера, не театр военных действий Первой Мировой войны, но весь мир. Остался в прошлом нигилизм как побочный эффект неизбежности прогрессивного развития, нигилизм, который в радикальном авангардном порыве стремится в зону рождения нового, доселе неизвестного. Здесь мы имеем дело с *ре*акцией на западный тип воспроизводства жизни, одним словом — с *ре*активным нигилизмом. Кровавая архаическая жертва и терроризм есть то, чего не может быть согласно идеалам просвещенного разума, религии, морали. Когда нигилизм принимает форму терроризма, тогда отрицание не есть момент внутреннего развития, а бытие сущего отрицается тотально. В таком случае переход через линию есть переход последней черты существования, что ведет не только в другой, лишенный метафизики мир, но в мир иной, где другой (новый, цивилизованный мир) вычеркивается как вид сущего. В итоге, высвобождая в нигилизме бездну ужаса, терроризм сковывает жизнь холодом небытия.

[29] Гаспаров М. Об античной поэзии. СПб., 2000. С. 59.

Древние были мудры, когда резонно опасались менее развитых соседей, числя за ними магию и колдовство[30]. Сегодня утрата чувства самосохранения обернулась трагедией. При этом трагедия прямо противоположным образом прочитывается ее участниками. Жертвами себя считают обе стороны, победителями — никто. Первые, потому что акты террора направлены на них. Вторые, считают так потому, что они выступают от имени народов-жертв, неспособных сохранить свою общность, устои и традицию перед лицом очевидных трансформаций традиционных ценностей, и которые, поэтому, не находят других средств противопоставления всесилию визуальных образов, тотальности медий, подкрепленных военной и экономической мощью. На терроризм сегодня уповают как на универсальное средство магического преображения реальности. Идеологи терроризма «подмораживают» Восток, пытаясь сохранить ритм жизни цивилизации, которая по образному замечанию Э. Чорана — “млеет в величественной косности”.

При этом терроризм вступил в эпоху машинизации социальных связей, онтологической реальностью которых является образ. Здесь происходит тотальное сращивание тела производящего, передающего и получающего информацию. Человек замыкается в мире вторичных изображений, а любая попытка поиска референта прямо или косвенно отсылает к реальности образа. В результате рождается одно обезличенное тело, которое быстро разбирается и собирается в точках информирования. В цивилизации, девальвировавшей слово, эффект «разорвавшейся бомбы» приобретает *образ взрыва*, двумерная геометрия которого подобно наскальным рисункам архаической эпохи наследует их магическую силу. Режим глобализации опирается не на девальвировавшие себя тоталитарные механизмы власти, но на всесилии образа, которому решительно уподобляется коллективное традиционное тфяело. В цивилизации образа люди видят не образы, а образами; они схвачены его организацией.

Терроризм завершенного постмодернистского проекта не схватывается ни притязанием классического разума, ни интенцией подозрения, ни искусством деконструкции любой инстанции власти. Дело в том, что сам акт манифестации его 11 сентября 2001 г. перформативен: он завершает проект капитуляцией как техники, его породившей, так и техники аналитики его. Учреждается новая эпоха, яркость осознание которой входит в противоречие с «глубиной» ее постижения.

[30] Э. Б. Тайлор собрал многочисленные примеры, подвигнувшие его к выводу о том, что «в любой стране изолированное или отдаленное племя, уцелевший остаток более древней народности могут приобрести репутацию колдунов» (Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1989. С. 92).

Школа нигилизма

Первый взрыв атомной бомбы 6 августа 1945 — точка концентрации разума, финальный аккорд прогресса и знак кризиса цивилизационной (планетарной, сказал бы Хайдеггер) модели общества. 11 сентября 2001 — конец эпохи постмодерна, а 1 сентября 2004 года — конец иллюзии *однородности* общества, темпов цивилизационнного развития России, связанной с осознанием специфики различных топосов. Первое сентября — констатация рыхлости коррумпированного социального тела перед лицом плотно сбитого инородного тела террористов. Но коррумпированность надо понимать не как привнесенность и разложение, но как сохранение отношений традиционного общества, единого непосредственно данного тела традиции: похищение, выкуп, откуп, дар. Первое событие потребовало для своего осуществления чистоты производства, технологических процессов, обогащенного урана, второе, результат идеализации прогресса и технического превосходства, родившего чувство успокоенности, а третье событие стало возможно благодаря тотальной коррупции, скрытому господству до-цивилизационного — традиционного — типа общественных связей.

Во времена даманского кризиса стала известна концепции войны, принятой Китаем: всеми силами смять дистанцию, сблизиться настолько, чтобы враг не мог применить оружие массового поражения, не задев своих. После этого в ближнем бою, используя превосходящий человеческий ресурс и дисциплину тела, опрокинуть противника. Если Китай и стал стратегическим партнером России и изменил сегодня концепцию войны, то ее взяли на вооружение террористы; сняв черные маски и приняв гражданский облик, они, став неразличимыми, приблизились к нам. В отношении террористов бесполезно техническое превосходство, или, если избегать прямолинейности, нельзя уповать только на техническое превосходство. Их коллективное тело, находящееся на другой стадии социального возраста, и, следовательно, иначе относящееся к смерти, неизменно превосходит цивилизованного человека, человека, привыкшего воевать *внешней техникой*, террористы использует *технику внутреннюю*: психо-технику, религиозные технику проповеди, техники, устраняющие страх смерти, боль и сочувствие к другому.

Путь террориста — путь религиозного спасения. Еще А. Шопенгауэр заметил: «бесспорно, что одна религия или философия больше, чем другая, рождает в человеке способность спокойно глядеть в лицо смерти. Брахманизм и буддизм, которые учат человека смотреть на себя как на первосущество, Брахмана, которому, по самой сущности его, чужды всякое возникновение и уничтожение, — эти два учения гораздо больше сделают в указанном отношении, чем те религии, которые признают человека сотворённым из ничего и приурочивают начало его бытия, полученного им от другого существа, к реальному факту его рождения. Оттого в Индии и царит такое спокойствие и

презрение к смерти, о котором в Европе даже понятия не имеют»[31]. Сегодня религиозное презрение к смерти объединилось с техногенной фазой нигилизма — терроризмом.

Радикально поменять полюса своего-чужого и стать ответственным, создать из неукорененного, коррумпированного, а потому рыхлого социального тела, тело плотно сбитое — является условием асимметричного ответа, который явил нам терроризм. Но подобное лечится подобным. Когда я вижу сеть разбегающихся грунтовых дорог у границ своего географического тела, когда я знаю, что по ним идет контрабанда, я получаю послание о том, что вслед за контрабандной товаров придут наркотики, оружие, террористы. Чтобы выжить, необходим ряд мер, в том числе и идеологических, для чего нужно сделать выбор интеллектуалам, включая тех, которые комфортно чувствует себя на информационном рынке и по старой интеллигентской привычке отделяют себя, свою позицию от государства, власти, правительства и, в конце концов, от интересов *земли* в забытом у нас, но актуальном, например, в Германии, смысле. Отчуждение от места, дает право считать *чужой* власть, политику, военные действия и специальные операции страны, в которой родился и в которой продолжаешь жить. Признать же ответственность за происходящее – это значит признать правительство, которое ты не/выбирал правительством *своей страны*, следовательно, необходимость работать на трудном (потому что грязном, по определению) пути политики, борьбы за приход во власть *своих лидеров, своих политиков*, за которых ты будешь отвечать — неимоверно трудно.

По прошествии времени “Вехи-2” — если таковые будут написаны — не смогут обойти стороной вину интеллектуалов за происходящее. И главная их вина — *неучастие*. Если интеллигенция виновна в свершившейся революции 1917-го, то современные интеллектуалы, все силы бросившие на чтение, перевод и изучение западных концептов, виновны в забвении местного контекста; о реальных проблемах редко говорят, еще реже размышляют и пишут, а тем более публикуют свое мнение. Неангажированность на руку тем, кто под видом общечеловеческих ценностей проводит собственные интересы. Все еще в ходу индивидуализм. Он же причина неумения обращать внимание и разоблачать демагогию и мужественно заявлять об интересах топоса. «Интеллектуалам не хватает внутреннего терроризма» (С. Л. Фокин) — решимости утверждать свою, а не щедро оплаченную оппозиционную точку зрения. При этом на выражение интересов топоса претендуют те, кто говорит несдержанно, неполиткорректно, агрессивно, а посему — неумно, либо те, кто говорит с постыдной интонацией оправдания, оговорок, робея перед властью микрофона и камеры. Исправить ситуацию — архиважнейшая задача.

Не замечать происходящего или, напротив, впадать в обличительный по отношению к власти пафос, с дрожью в голосе говорить о трагедии (вполне объяснимая и понятная позиция интеллигента) — не выражает существа дела.

[31] Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. В 2-х т. Т. 2. М., 1992.

Кстати, обвинения в недемократической и неинтеллигентной позиции являются одним из наиболее страшных обвинений мыслителя наряду с национализмом, шовинизмом, имперским мышлением. Эти средства обуздания топологической рефлексии, которые, например, эффективны в отношении к власти, являются признаком правоты позиции интеллектуала; его правота растет тогда, когда его обвиняют во всем сразу. Философ не может работать в поле, в котором работает политик, телеведущий, журналист. Подтверждается точный диагноз, который поставил нигилизму в начале XX века В. Розанов: «нигилизм давно лижет пятки у богатого, … нигилизм есть прихлебатель у знатного»[32].

Интеллектуал призван анализировать события, говорить от имени тех, у кого есть чувства, но нет навыка рефлексии. Но здесь я вижу прямую зависимость между отсутствием в рядах призывников на военную службу детей элиты и отсутствием в рядах интеллектуалов тех, кто бесстрашно подвергает рефлексии современное положение дел, исходя из интересов людей проживающих в определенном историей месте, то есть интересов целого. Мало доверия интеллектуалам, которые *здесь* лишь одной ногой. Однако власть, лишенная философского анализа, страдает иммунодефицитом и поэтому подвержена вирусам чуждой топосу политики, в итоге, она становится слабой. Если нет своей философии, мы получаем «независимый» публицистический дискурс с оглядкой на интересы другого. (В свое время В. Беньямин своей концепцией “Критики насилия” развязал языки тем, у кого были связаны руки, указал на право быть правым, критикуя большинство, западное правовое государство, власть.) Сегодня не менее остро востребован дискурс борьбы с властью — или, что одно и то же, демократической элитой, осуществляющей свое господство медиасредствами а, следовательно, через общественные настроения, мнения, волеизъявления.

Но вернемся к теме нигилизма и границ. Граница – это то, что внутри нас, то, что трудно преодолеть, то, что картографирует наши траектории физического движения, траектории осуществления желания. И образ стены времени точнее раскрывается не непреодолимой стеной и автоматными очередями, прерывающими бег к границе. Ее образ ближе табу: нарушение которого невозможно изнутри только потому, что прежде ужасное наказание за нарушение было неотвратимо. Граница всегда несет облик ландшафтной линии, которая проведена на собственном геополитическом теле, она разделяет не природу и культуру, но культуру природопользования, культуру внутреннюю от внешней, к примеру, дорогу от поля и леса. Дикая, естественная природа сегодня самый культивируемый объект природы. Они требуют доброй воли и непрестанных усилий по сохранению дикости как дикости. Глубокая и безграничная душа соотечественника принадлежит *безграничному* же географическому его телу, которое *не знает*, а следовательно не соблюдает границу своего и чужого, частного и публичного пространства, дороги и газона,

[32] Розанов В.В. Сочинения. Л., 1990. С. 351.

города и окружающей его природы, границу своих и чужих интересов. Когда нет четкости границы — появляется обширная зона маргинального. Нет зоны беспорядка, поскольку он тотален. Таков внутренний закон идеализма, таков же и нигилизма.

Нигилизм в XX веке, став нормой, отошел в историю. Появилась новая форма его. Оправдался диагноз Хайдеггера: «Позиции нигилизма благодаря пересечению линии, как кажется, в значительной степени уже сданы, но *язык нигилизма остался»*. Суммируем современный контекст словоупотреблений нигилизма: государственный, социальный, религиозный, внутренний, правовой, национальный, смертоносный, метафизический, абсолютный и т.д. Таковы наиболее частотные определения ситуации в России, ситуации, когда уже ставшая форма требует иной рефлексии, иного языка, иной формы организации индивидуального и коллективного тела, а господствует аналитика нигилизма дотеррористического периода.

Итак, мы уже оказались по ту сторону черты, линии, границы эпохи. Но нашли ли мы новое «точное и уместное выражение» проявившегося — исторического — факта, новую интонацию, изобрели ли новый язык, на котором можно говорить об открывшейся нам реальности XXI века, из которой не изъять терроризм, поскольку он самым тесным образом связан и с обществом потребления, и с массмедиальной формой жизни, и закатом постмодернизма? – Вопрос остается открытым.

Размышления над книгой В.П. Макаренко «Аналитическая политическая философия. Очерки политической концептологии»

С.Г. Чукин
доктор философских наук, профессор,
Санкт-Петербургский военный институт
внутренних войск МВД России

Создание науки о политике, сопоставимой по своей строгости, ясности и точности прогноза с физикой или математикой, можно сравнить с проектом «супружества как точной науки» из одноименного рассказа О.Генри. Желание иметь надежное теоретическое руководство, опираясь на которое можно было бы разобраться в хитросплетениях текущей политической и экономической жизни и выработать правильные решения, вполне понятно. Более того, оно естественно, и рано или поздно приводит к тому, что сейчас принято называть «концептуализацией» политики. Если в рамках относительно небольшого и более-менее однородного социального и культурного пространства рационализация и схематизация представлений и действий, относящихся к политике, особой проблемы не представляет, то совсем иное дело – разработка универсального учения о политике. Речь, впрочем, идет не только о политике, а о социальной теории вообще, частным случаем которой является наука о политике. Дело в том, что концептуализация социальной жизни происходит посредством внедрения онтологических координат в имеющийся массив эмпирических данных. А в качестве этих онтологических представлений чаще всего выступают идеи и ценности локальной культуры. Создать науку об обществе – значит предложить универсальные идеи и ценности, равно признаваемые всеми локальными культурами. История концептуализации социальной жизни демонстрирует тщетность попыток отыскать или сконструировать такие универсалии. Даже рациональность, на которую уповали и уповают многие, является, как показал Вебер, культурно обусловленной.

Существо проблемы, таким образом, состоит в статусе ценностей, их месте в реальной жизни общества и в способах их концептуализации. Известно, что причиной религиозных войн в Европе были не столько догматические разногласия между католиками и протестантами, сколько поддержка властями одной из сторон, то есть официальное предпочтение одной системы ценностей другой. Внедрение принципа ценностного нейтралитета в политику и право помогло преодолеть эти

войны и другие подобные конфликты, а принцип формального равенства всех участников общественного договора считается основополагающим в либерализме. Ценности были отнесены к сфере внепубличной жизни индивидов и отданы на откуп философам, богословам, писателям и политикам, озабоченным своей популярностью в период выборов. В качестве социального цемента, скрепляющего общество, эти ценности, по мнению теоретиков либерализма, выступать не могут. А, следовательно, не могут быть и предметом научного интереса. Наука об обществе имеет дело с рационально обосновываемыми факторами, причем оперирует строго определенным стандартом рациональности, в соответствие с которыми рациональное обоснование состоит в формально-логической дедукции одного суждения из другого в определенной аксиоматизированной синтаксически-семантической системе суждений.

К.-О.Апель называет сложившийся в последние три столетия подход к изучению общественной жизни «комплементарным». Он имеет в виду то, что ценностный и научный анализы сосуществуют параллельно, не пересекаясь, и дополняют друг друга в цельной картине общества. Соединить же их в рамках одной теории невозможно: представления людей о достойной жизни различны, обусловлены индивидуальными и коллективными предпочтениями и не могут быть рационализированы.

Этот комплементаризм, на наш взгляд, был решением проблемы, поскольку допускал существование пространства, в котором действовали общие (то есть объединяющие) интересы, и рамки которого были границами, блокирующими вторжение локальных ценностей. Все попытки преодолеть дихотомию сущего и должного, фактов и ценностей, не имели успеха, поскольку в них происходило банальное расширение локального пространства со специфической системой ценностей, которое представлялось как неумолимая и неизбежная поступь процесса универсализации. «Любовь к ближнему» расширялась до «любви к дальнему».

В конце прошлого столетия философы истории и социологи констатируют изменения в онтологии общественной жизни и изощряются в изобретении ярлыков для новой эпохи: «постмодерн», «мультикультурное общество», «постиндустриальное общество», «общество риска» и т.п. Можно по-разному относиться к этим лейблам, но справедливости ради следует признать, что за ними действительно стоит озабоченность социальных теоретиков обозначившимся тупиком в обществознании. Он проявился в том, что до этого старательно обходимые ценности фактически вторгаются в политику, экономику, право и уклониться от их включения в социальную теорию оказывается невероятно трудным делом. Глобализации мировой экономики и политики с не меньшим успехом противостоят стремления государств, народов, социальных групп и индивидов к сохранению своей культурно-исторической идентичности. Это проявляется в виде требований учитывать представления указанных субъектов о достойной жизни в политических программах, проектах социально-экономических преобразований и в законодательствах. Ценностный плюрализм на онтологическом уровне – это та

данность, с которой соглашаются большинство теоретиков и которая задает направление всем социально-теоретическим исследованиям.

К настоящему времени обозначились различные способы теоретической реакции на обозначенную проблему. Нас интересуют те, в которых признается факт «давления» ценностей на теорию и предпринимаются попытки создания концептуальных моделей общественной жизни, учитывающих это обстоятельство. В западной мысли основополагающей работой такого рода считается «Теория справедливости» Дж.Ролза. Дискуссия вокруг этого труда, возникшая сразу же после его опубликования, способствовала оформлению различных способов осмысления проблемы и, соответственно – её решения. В России ситуация менее радужная.

Книга В.П.Макаренко «Аналитическая политическая философия. Очерки политической концептологии» (Москва, Праксис, 2002) является на сегодняшний день первой серьезной попыткой концептуализации проблемы. Главной целью работы является «развитие политической концептологии». Именно «развитие», а не «создание», ибо концептуализация политики началась давно, но периодически она сталкивается с содержательными и методологическими трудностями, для преодоления которых требуются какие-то новые решения. Автор описывает состояние современной политики и политической науки как неудовлетворительные, констатирует их перегруженность идеологией, политико-правовым утилитаризмом, разнообразными стереотипами обыденного сознания и поведения, в результате чего «политика стала неопределенным множеством действий…» (с.11). Требуется «строгое знание о способах соединения в одно целое философских, аксиологических и прагматических элементов всех политических доктрин, концепций и программ. Такого знания не существует» (с.12). В.П.Макаренко надеется на то, что аналитическая философия может предложить методологию искомого синтеза. Он обстоятельно рассматривает результаты и контекст аналитических исследований во всех отраслях обществознания и в заключение предпринимает попытку развития политической концептологии на основе данных результатов. Независимо от результатов этой попытки, книга заслуживает внимания уже потому, что в ней представлен обзор и анализ работ и авторов, малознакомых отечественному читателю, а по большей части – вовсе неизвестных. В этом смысле «Политическая аналитическая философия» может по праву считаться учебным пособием-справочником по современной западной философии.

Во введении автор уточняет смысл применяемых им терминов и словосочетаний. Ключевыми из них являются: «политическая философия», «политическая теория», «аналитическая философия» и «концептология». Намеренно или нет, но автор не употребляет словосочетания «политическая наука», а говорит о политической философии, отождествляя её с политической теорией. Различие между ними он видит в том, что политическая философия – это нормативное мышление о политике, а политическая теория, помимо нормативной части, включает и эмпирическую мысль. Однако, философия – это тоже теория, равно как теорией является и богословие. Любая философия пытается легитимировать

или подвергнуть критике существующее знание, институты, практику с точки зрения тех идей, принципов, ценностей, которые она объявляет основополагающими (онтологическими) для данного времени. Политическая философия – не исключение. Автор видит цель политической философии в «определении типов политических институтов, которые необходимы для эффективного функционирования и динамики данного общества». За исключением термина «эффективность», который не входит в основную часть философских словарей, все верно. Философия – это перспектива должного. А перспектива сущего принадлежит наука. В этом смысле, политическая теория в понимании автора включает в себя философскую и научную части, связь между которыми не проясняется. В одном месте говорится о том, что философия оценивает наличные политические институты и процессы, а в другом – о том, что она их изучает.

Много вопросов возникает и относительно аналитической философии. Что это такое? – Автор видимо, полагает, что у читателей имеется общее представление о ней, и поэтому, в начале первой главы, он лишь вскользь дает характеристику аналитической философии. Она позиционируется как одно из самых влиятельных направлений в современной западной философии, отличающееся антиметафизической направленностью, особым интересом к методу научного познания, склонностью к точности и ясности используемых понятий, и, самое главное, - пониманием анализа языка как ключа к правильному мышлению. Аналитическая философия, таким образом, определяется как стиль философского мышления, в котором установлен запрет на предельно широкие обобщения на основе интуиций и веры, устранены разнообразные метафоры и аналогии, а основное внимание обращено на аргументацию и логичность рассуждений. Справедливости ради, следует сказать, что в разделах, посвященных аналитическому правоведению, политологии, социологии и т.д., автор постоянно уточняет содержание и смысл аналитической философской традиции на примере разбора учений конкретных её представителей.

Поскольку книга имеет подзаголовок, – «очерки политической концептологии», - хотелось бы, что знать, что такое «концептология». К сожалению, в книге автор не считает нужным остановиться на этом вопросе, ссылаясь лишь несколько раз на работу С.Х.Ляпина, посвященную идеальным типам фактуальности. Можно лишь предположить, что в виду имеется учение о политических концептах, прежде всего о концепте «политика». О «концептах» в последнее время много говорится и пишется. Особенно в этом усердствуют лингвисты. Концепт то приравнивается к логическому понятию, то представляется как единица, сводящая воедино результаты логических, образообразующих и оценочных операций. У одного из авторитетных российских специалистов в области лингвистики Ю.С.Степанова концепты трактуются как «культурные константы». Несмотря на различие позиций по структуре и содержанию концептов, исследователи сходятся в том, что концепты позволяют представить более полную картину исследуемого объекта, чем логическое понятие или художественный образ, взятые по отдельности. Их можно назвать «конспектами», в которых присутствует описание

объекта как феномена определенной культуры. Принципиальным, на наш взгляд, является вопрос об архитектонике концепта, то есть, о том, как обеспечивается его целостность как единицы сознания и знания. То, что пытается сделать В.П.Макаренко, и есть создание концепта политики, а также концептов, обслуживающих политику, за счет синтеза философских, экономических, социологических, исторических, правовых знаний, необходимых для понимания политики. Аналитическая философия, по его замыслу, делает возможным этот синтез.

«Мысль» - так называется первая глава книги, в которой рассматривается вклад аналитической философии в политическую философию, понимаемую «как нормативное мышление о социальных и политических институтах, которые требуются для политической деятельности» (с.18).

Многие имена и работы, которые В.П.Макаренко привлекает в качестве образцов аналитичности в политическом мышлении, или вовсе неизвестны читателям, даже из числа профессиональных философов, или знакомы лишь понаслышке. К примеру, мы не нашли упоминания о Б.Барри, работу которого автор считает важной вехой в становлении аналитической политической теории, ни в одном из отечественных словарей и справочников, а также в русскоязычных поисковых системах Интернета. В то же время, это имя присутствует в большинстве западных библиографий современной политической мысли, а также в словарях по политическим наукам. То же самое можно сказать о С.Бенне и Р.Петерсе. Автору, таким образом, можно быть признательными уже за одно это «просвещение».

Говоря о методологических и содержательных барьерах, длительное время препятствующих созданию аналитического обществознания, автор справедливо видит причину в жестких демаркациях, установленных для разграничения научного и ненаучного знания в первых формах аналитической философии. Принципиально важным здесь является исключение ценностей из предметного поля науки. Из факта, посредством логического вывода, невозможно получить ценностного суждения и нормативного высказывания. Кроме того, интерсубъективная обязательность суждений считалась тождественной объективной обязательности в смысле свободной от ценностей констатации фактов. Именно поэтому автором выделяется книга Б.Барри, в которой были разрушены «…преграды на пути дискуссии о ценностях» и преодолено «аналитическое «табу» на изучение предметов эмпирических дисциплин» (с.23).

Ключевой фигурой в современной аналитической политико-правовой мысли В.П.считает Дж.Ролза. То, что Ролз действительно является авторитетом номер один в этой области, не подлежит сомнению хотя бы на основе индекса цитирований, который считается показателем значимости современного ученого. Но отнесение его к аналитической традиции возможно только при предельно широком и достаточно неопределенном понимании этой традиции.

Ролз, в отличие от большинства других имен, привлекаемых автором, знаком российскому читателю. Но знаком поверхностно. За исключением монографии Т.А.Алексеевой, специально посвященной анализу теории справедливости Ролза и вышедшей еще в 1992 году, российские философы, правоведы и политологи чаще

всего лишь ритуально ссылаются на его авторитет при обсуждении проблем современной политической и правовой философии. А между тем именно полемика вокруг Ролза, начавшаяся сразу после выхода его книги в 1971 году, привела к серьезной коррекции теории либерализма и способствовала формированию коммунитаризма – важного направления в современном западном обществознании. Хотя В.П.Макаренко, ограниченный рамками своей работы, уделил Ролзу не слишком много места, тем не менее, он адекватно эксплицировал его вклад в политическую теорию, а также описал содержание указанной выше полемики. При этом автор оперирует не только текстом самой «Теории справедливости», но и вышедшими в 80-90-е годы статьями Ролза, в которых тот уточнял свою концепцию и, в частности, особо настаивал на том, что его теория является не метафизической, а политической и характеризует западную либерально-демократическую политическую культуру.

Автор кратко, но точно описывает содержание различных типов теоретической реакции на концепцию Ролза. Критики её были и из стана либералов (Р.Нозик), и из лагеря коммунитаристов. В.П.Макаренко отдельно выделяет еще феминистскую критику теории справедливости, но мы полагаем, что она укладывается в рамки коммунитаризма. Больше внимания уделяется положительной реакции на теорию Ролзу, поскольку, по мнению автора, именно в её русле выкристаллизовались основные положения аналитической политической теории. При этом точно указываются ошибки последователей Ролза. В особенности их попытка представить ситуацию, в которой происходит заключение контракта, как справедливую, в то время, как справедливость является как раз таки искомой целью. Говоря об экономическом и политическом контрактуализме, В.П. Макаренко считает последний более соответствующим концепции Ролза. Но почему-то отказывает «этике дискурса» Апеля и Хабермаса в праве принадлежать к аналитической традиции, хотя различие между ними и тем же самым Акерманом, включаемым в неё, не принципиально.

Самая интересная часть главы – та, где автор рассуждает о том, как аналитическая философия может помочь политической теории в основополагающих для неё вопросах: Какие свойства политического мира следует считать благами? Как осуществить правильный политический выбор? Уже самой постановкой этих вопросов В.П. Макаренко допускает возможность преодоления, с помощью аналитической философии, барьера между фактами и ценностями.

Специфику аналитического подхода к важнейшим проблемам политического бытия определяют, по мысли автора, «универсальный персонализм» и «ценностный солипсизм». В частности, посредством «универсального персонализма» можно определить «объективную ценность» политических институтов сравниваемых государств: достаточно сравнить, как в них живут индивиды (с.43). А интерес индивидов – главный критерий оценки политических структур. То есть, персонализм не признает общих интересов, господствующих над частными интересами и считает, что политика не должна пытаться эти общие интересы обнаруживать и защищать. На наш взгляд, в этой идее нет ничего нового, ибо она является сквозной для классического либерализма, в котором права и свободы

именно отдельного индивида считаются объектом политической и правовой защиты. Проблема как раз таки в том, что понимать под выражением «хорошо живут» (с.43). Можно, конечно, назвать ряд используемых в статистике и социологии критериев, по которым оценивается благополучие индивидов и имидж государств, но в число этих критериев не входят нравственные и эстетические ценности, без учета которых оценить жизнь как «хорошую» или «плохую» невозможно. Ориентировать политическую философию только на интересы индивидов, - значит упустить из виду то, что содержание политических конфликтов сейчас изменилось, и в их перечне важное место занимают разногласия между равными в экономическом отношении субъектами по поводу, скажем, престижа и признания. В настоящее время значительно увеличилось число критериев, посредством которых индивиды и социальные группы себя идентифицируют. Поэтому недостаточно утверждать, что базисная структура общества должна соответствовать благу индивидов, избегая при этом разговоров о содержании этого блага.

Позиция автора по вопросу о ценностях несколько проясняется при рассмотрении им второго принципа политической аналитической философии – «ценностного солипсизма». Признавая, что обычно политические дискуссии базируются на социальных ценностях (с.47), В.П.Макаренко, тем не менее, далее утверждает, что для АПФ именно внесоциальные ценности считаются главными политическими благами и критериями политической оценки (с.48). Хотя, как признает сам автор, солипсистская посылка начинает пересматриваться и коммунитаристами и либералами, АПФ незыблемо придерживается позиции ценностного солипсизма. Причина такой твердости заключается в «социальном атомизме аналитической традиции» (с.49).

Автор кратко и точно описывает существо позиций атомизма и холизма в социальной философии, реконструирует историю полемики между ними. Отмечается, что недоразумения часто проистекают из-за смешивания конститутивного и каузального подходов к определению меры социальности индивидов. АПФ занимает атомистическую позицию, в соответствие с которой «бытие изолированного индивида полагается основанием политической оценки всех альтернатив» (с.52). Примером может служить ролзовский индивид в «первоначальной ситуации». Бытие одинокого индивида объявляется нормой социальной жизни, а политические оценки осуществляются с учетом этой нормы. В.П. Макаренко заключает этот сюжет следующей констатацией: «Для аналитического философа и политического теоретика нет другого выхода, кроме признания внесоциальных ценностей главными критериями политической оценки» (с.53). Вывод закономерен, поскольку идеал научности, которому следует аналитическая философия, в качестве несомненного факта признает атомарные факты. Действия отдельного индивида могут быть просчитаны и изучены достаточно точно, чего нельзя сказать о действиях коллективных субъектов.

Для разъяснения сути аналитического подхода к проблеме политического выбора автор использует различие консеквенциализма и деонтологизма. Эти подходы различаются тем, что в первом цель (искомое благо) влияет на полити-

ческие институты, необходимые для её достижения и допускает даже отступление от желаемых ценностей, а второй обращает внимание на то, чтобы политические институты, в процессе достижения цели, уважали сами ценности. Проблема действительно существует, и В.П. Макаренко наглядно её представляет посредством образа «усердного функционера». Различие консеквенциализма и деонтологизма предлагается использовать для классификации политических теорий и институтов. Но сама-то аналитическая философия на чем останавливается: на первом или втором? – Автор об этом не говорит.

Обобщая сказанное в этой главе, В.П. Макаренко приходит к выводу, что присущая аналитической традиции интеллектуальная строгость позволяет исследовать политическое бытие и мышление особым образом. Проблематика и методы аналитической политической философии, которые обозначены автором выше, обладают, по его мнению, универсальным значением по отношению к социальным наукам. И в последующих главах он анализирует социально-гуманитарные дисциплины в той их части, которая сложилась под влиянием аналитической традиции. Оговоримся сразу: нужно обладать поистине энциклопедической образованностью автора, чтобы прорецензировать эту часть работы. Особенно, когда речь идет о «внутренней жизни» экономической, социологической, правовой теории и истории политической мысли.

Глава «Интересы» начинается с уточнения определения АПФ (подобные уточнения происходят постоянно) и посвящена рассмотрению точек соприкосновения между аналитической философией и «теми направлениями экономической теории, которые определяют экономику как определенный метод мышления» (с.68). Автор показывает на примере конкретных авторов, как, с помощью аналитических процедур экономическая теория включает в себя этическую проблематику, актуальную в связи с необходимостью реализации выбора.

Автор говорит о нормативном мышлении. Но нормативное мышление и оценочные суждения – это не одно и тоже. Научное мышление – это нормативное мышление, но оно исключает оценочные суждения. Утилитаризм, который позиционируется как первая аналитическая политическая и экономическая теория, скорее можно назвать вариантом телеологизма. Цель – польза, счастье людей – выступает в качестве мотива и критерия оценки политики и экономики. Если привлекательность цели доказана, то все остальное – дело техники, или, если угодно, целевой рациональности. Автор пишет: «АПФ базируется на определенной модели морального выбора. Индивид размышляет о существующих возможностях при принятии решения, соответствующего этическим нормам» (с.69). И далее: «Но его желания и возможности не совпадают. Поэтому индивид нарушает требования этики» (Там же). – Поскольку цель действий индивида определена, то речь идет о действиях, которые должны быть и рациональными и нравственными. Выше автор устанавливает различие между консеквенциализмом и деонтологизмом как между чисто рациональным и этическим решением. Но проблема заключается как раз в том, чтобы рациональное и этическое совпадали в одном решении. Или, выражаясь языком персонажа известной советской кинокомедии, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Есть ли

способы установления предпочтений между желаниями и целями? - К примеру, можно ли желания, которые явно осуществимы, считать более предпочтительными перед желаниями, явно выходящими за пределы возможностей? То же самое относительно целей? – Если да, то, как быть с поэтами, философами, вообще, - с одержимыми в хорошем смысле этого слова людьми? Как сам автор далее говорит, одержимыми «конструктивным безумием»?

В.П. Макаренко пишет, что интерес экономистов к этической проблематике определяется спецификой нормативной социальной теории, которая «… изучает конфликт между желаниями и возможностями» (с.79). В рамках разрешения этого конфликта формулируется понятие *привлекательности,* используемое экономистами при выработке стратегии реализации выбора и для критики традиционной концепции человеческих желаний. В качестве образца теории привлекательности берется концепция аттракторов В.Парето, из которой вытекает этическая и социальная норма, включающая свойства «консеквенциализма, персонализма и индивидуального выбора», соответствующие исследовательским приемам АПФ (с.72). Привлекательность состоит во влиянии действий/программ/институтов на такое состояние мира, «при котором «желания индивидов удовлетворяются лучше (или не хуже) по сравнению с актуальным состоянием (с.72-73). Такой мир, по Парето, является оптимальным. Последователи Парето считают, что на основе этого оптимума можно вырабатывать нормативные рекомендации по вопросам текущей политики. Но опять-таки, вопрос в том, что считать нормой? - У Парето – это идеальная конкуренция в условиях абсолютно свободного рынка.

В ходе рассмотрения экономической теории аттракторов автор приходит к выводу, который сам называет радикальным: «если политические действия/программы/институты функционируют на основе человеческих желаний, они ведут к нежелательным последствиям» (с.83). Мы вновь приходим к тому, с чего начинали: мораль исключается из экономического поведения, поскольку представляет собой не подлежащий учету фактор. В то же, время, как признает автор, возможность реализации выбора «предполагает ведущую роль морали в человеческом поведении» (с.84). Но человек морально несовершенен. Как быть в этой ситуации? – Взять на вооружение концепцию «человека экономического» и согласиться с тем, что «невидимая рука рынка» сама расставит все по местам. Именно он помогает сбалансировать частный и общий интересы, в то время как стремление навязать определенные концепции «общего блага» ведет к социальному хаосу. Автор иллюстрирует проблему с помощью известной «*дилеммы заключенного*». Институциональной оболочкой рынка выступает государство, призванное, прежде всего, сгладить недостатки рыночного распределения дохода.

Критиков рыночной экономики в настоящее время гораздо больше, чем её апологетов и все они, в большей или меньшей мере, исходят из признания существования «общих благ». А рынок не нацелен на производство и поддержание таких благ. Это может сделать только государство, обладающее максимально возможной обобщенной информацией об индивидуальных вкусах и предпочтениях граждан. Но «максимально обобщенная» – не значит «исчерпывающая», и

поэтому, констатирует автор, «невозможно определить полюса индивидуальных и общих благ» (с.110). - Может быть, выходом станут всеобщие демократические выборы? – Тоже нет, как показывает далее автор. Обобщенный вывод сделан им, выглядит так: «проблема общего блага далека от решения» (с.120), а теория общего блага не является адекватным описанием главных обязанностей правительства (с.122).

Таким образом, аналитическая традиция в экономической теории, в качестве главных представителей которой В.П. выбирает утилитаристов, Парето и Бьюкенена, помогает прояснить ситуацию, характеризующую проблему общего выбора в условиях рынка, который все децентрализует, и деятельности государства, озабоченного централизацией. Но только прояснить. И эта проясненная картина не радует, заключает автор. Ибо, по прежнему, социальная теория и практика исходят из пессимистических представлений о человеческой природе, а потому уклоняются от любых вторжений морали в политику и экономику. Но уклоняться становится труднее с каждым днем.

В главе третьей рассматривается взаимодействие политической философии и социологии. При этом на аналитическую социологическую теорию возлагаются особые надежды в связи с тем, что она делает теорию общества менее утопичной, чем это выходит у неаналитических теорий.

Заслуживает внимания обстоятельное рассмотрение автором социологических теорий Дюркгейма и Вебера, которое осуществляется в перспективе проблемы взаимосвязи морали и социальной структуры общества. Хотя Дюркгейм и уделял исследованию этого взаимоотношения много внимания, каких-то строго определенных причинно-следственных связей между моралью с одной стороны, социальными структурами и формами общественной жизни с другой стороны, он не выявил. В.П. Макаренко - признанный специалист по Веберу, автор многочисленных работ по его социологии политики, и потому, рассматривая веберовский вклад, он ограничился лишь общим указанием на эмотивизм веберовской этики, согласующийся с отстаиваемым им принципом исключения оценочных суждений из науки об обществе. Вебер настаивал на том, что из фактов, которые мы получает относительно социальной жизни, невозможно вывести оценочных суждений. Современная социология и социальная философия признают невозможным настаивать на нейтральном характере социальных фактов и на возможности создания социальной теории, свободной от этики. В этом пункте – ядро полемики между Ролзом и его сторонниками, с одной стороны, и теми социальными теоретиками, которые настаивают на существовании общих благ и на важности этических импликаций в социальную теорию, - с другой. В.П. Макаренко анализирует эту полемику, взяв в качестве представителей коммунитаризма А.Макинтайра, Ч.Тейлора, М.Сэндела, У.Кимлику. Существо претензий одних к другим хорошо описано в западной литературе еще в конце 80-х годов. Коммунитаристов разделили на три разновидности: этических (Макинтайр, Уолцер), социально-философских (Ч.Тейлор, М.Сэндел) и социологических (А.Этциони, Р.Беллах). Все они отстаивают существование «неразложимо социальных благ» (Тейлор), критикуют принцип этической нейтральности, ко-

торый «всех учитывает, но никого не предпочитает» (Уолцер), и требуют от государства поддержки определенного набора этических ценностей как этической нормы (Этциони). И все ведут свой спор с либералами на фоне ролзовской концепции справедливости. Но если Ролз считает справедливость свойством политико-правовой системы, то у коммунитаристов это скорее индивидуальная добродетель, формируемая через принадлежность к локальной культурной группе. Автор достаточно точно воспроизводит существо критических инвектив, которыми обмениваются стороны. Очень к месту приведены аргументы Бьюкенена в пользу того, что рост индивидуальных прав укрепляет, а не ослабляет общество (с.176-177), но далее подчеркивается, что в современных условиях, когда в число индивидуальных прав все чаще попадает право на особую идентичность, рост таких прав может привести к нарастанию сепаратизма. А это, в свою очередь, приводит к проблеме аутентичного общества. Таковым однозначно признается «малое» общество или «община» (гемайншафт), в котором достигается максимально возможное приобщение индивида к общим ценностям.

Но как это связано с аналитической философией? Только ли тем, что конкретные социологические исследования могут быть точным индикатором состояния общества? – Это не факт, поскольку перспектива эмпирических исследований задается определенной теорией общества, которая содержит явные или скрытые элементы «хорошего общества».

Обзор тенденций в экономической и социологической теориях, свидетельствует, по мнению автора, об изменении исследовательских предпочтений ученых: на первый план в них выдвигаются общие ценности, а индивидуальная инициатива и ответственность отодвигаются на второе место. Политическая философия учитывает это смещение акцентов. Она соглашается с тем, что при ориентировании политики на индивидуальные ценности, проблематичной становится защита наиболее обездоленных членов общества и работа над общими проектами, связанными с глобальными опасностями. Но результаты, достигнутые здесь, пока не впечатляют.

В.П. Макаренко рассматривает возможный вклад аналитической политической науки в решение указанной проблемы, имея в виду эмпирические исследования, в которых выражается аналитический подход к действительности. Центральным объектом этих исследований является власть, прежде всего её распределение. Автор убедительно демонстрирует утопичность утверждений о том, что власть при демократии принадлежит народу (избирателю), который посредством выборов участвует в её распределении. В действительности, действия избирателя не рациональны, он руководствуется при выборе не разумом, а чувствами. Чувства же не поддаются строгому анализу и учету. То же самое можно сказать о распространенном мнении по поводу политических элит как настоящих творцов политики. Действительно, эмпирические исследования подтверждают факты концентрации власти в руках определенных групп, которые получили эту власть помимо демократических процедур и распоряжаются ею исключительно в своих интересах. Поэтому, даже при демократии, власть распределена неравномерно и несправедливо. Политические элиты и политические партии не предлагают

избирателям действительно альтернативных программ, и никогда своих обещаний не выполняют. Не рационализирует поле борьбы за власть и принцип: Ты – мне, я – тебе». Он показывает, как создаются группы по интересам, но бесполезен при описании механизмов и способов формирования сотрудничества.

Заставляет задуматься один из выводов автора: «Если считать критерием рыночную экономику, можно эмпирически доказать следующие положения: распределение при плановой экономике равномернее; пропасть между социальными верхами и низами меньше; слой привилегированных людей значительно меньше. Иначе говоря, плановая экономика дает больше равенства» (с.215-216). А вот утверждение о том, что неравенство при плановой экономике становится более кричащим – спорно и вряд ли можно найти ему эмпирические подтверждения. Нам кажется, что плановая экономика (и плановая политика тоже) еще ждет своего часа для более беспристрастного рассмотрения в контексте попыток сделать экономику и политику более предсказуемыми.

Заслуживает внимания сюжет, посвященный консенсусу (с.220 и далее). Автор показывает, как, при разногласиях по принципиальным позициям, затрагивающим так называемые «последние» вопросы, всегда возможны компромиссы по «предпоследним» вопросам. Они и составляют пространство, в котором отыскивается социальный консенсус. Но поступая таким образом, мы исключаем из обсуждения ценности, ибо они всегда входят в состав «последних» оснований. Однако консенсус, достигнутый на основе согласования интересов, всегда надежнее, чем политика терпимости, политкорректности и т.д. Ценностный консенсус весьма хрупок и недолговечен, как показывает история. На наш взгляд, устойчивость многокультурных политических образований, в том числе империй, достигалась прежде всего за счет отказа от попыток договариваться о ценностях, то есть сознательно уклоняться от анализа различий. У автора это называется «политикой аккомодации» (с.221).

Автор пишет о том, что АПН сформулировало положение о преодолимости всех барьеров. – Что касается экономических и социальных барьеров, то они действительно преодолеваются, и этому есть свидетельства. Но в отношении культуры речь идет не о преодолении барьеров, а о выравнивании горизонтов. Причем число этих горизонтов постоянно множится. Правда, сейчас, в социальном анализе, можно наблюдать две крайности: попытки культурализации социального, экономического, политического, и социализация, политизация, экономизация, культурного.

Таким образом, достижения аналитической политической науки в деле решения этических проблем, возникающих в связи с властью, сводятся к описанию ситуации, но не к её разрешению. Введенное же автором понятие «конструктивного безумия», нуждается в прояснении.

Следующая глава посвящена аналитической философии права, которая, по мысли автора, связана с аналитической политической философией. Говоря о философии права, он должен высказать позицию по вопросу о взаимоотношениях науки о праве (теории права) с философией права, социологией права и другими дискурсами права. С теорией права все понятно – это наука о праве, которая

изучает право «изнутри», с точки зрения те, кто это право применяет: чиновников и судейских работников. Социология права исследует социальный контекст права. Чем же занимается философия права? – Только ли методологическими проблемами правоведения? – Если придерживаться позитивистско-аналитической традиции в философии права, то она действительно, как подчеркивает В.П. Макаренко, пытается применять философские методы к познанию положительного права, а также занимается анализом природы юридических процедур. Но задачи философии права не ограничиваются только логико-методологическими проблемами. Главной её целью, на наш взгляд, является исследование так называемого «первичного права», то есть права человека на нечто, что действительно ему принадлежит. Показать, что это «нечто» действительно является правом человека и есть цель философии права. Примерно об этом пишет Р.Дворкин в статье «На что мы имеем право?» А то, чем занимается правоведение – это изучение социальной инфраструктуры, создаваемой для того, чтобы человек смог реализовать это «первичное» право. Философия права, кроме этого, занимается легитимацией положительного права в перспективе того, насколько оно соответствует этому «первичному праву». Аналитическая же философия права, по сути, совпадает с юридической наукой, поскольку делает предметом своей заботы безупречную работу правового механизма. Пусть даже при этом её интересует не внутренние поломки, а внешние помехи, - это принципиального значения не имеет. Поэтому право так тесно связано с политикой.

Для интересующихся проблемами теории и философии права ценность представляет предпринятый автором обзор философско-правовых теорий Г.Харта, Л.Фуллера и Р.Дворкина. Особенно последнего, ибо Р.Дворкин считается самым почитаемым философом права в англо-саксонском мире, а его труд «Серьезное отношение к правам» стал каноническим в современной философии права. Фигура «Юридического Геракла», с помощью которой В.П. Макаренко проясняет один из аспектов концепции Дворкина, очень удачна, поскольку наглядно отражает главную трудность в сфере применения права – недостаточность простого наложения закона на конкретное правонарушение. Чтобы приговор в современных условиях был справедливым, он должен учитывать столько много нюансов, что судья действительно должен быть «Гераклом». Плюс к этому, он должен быть моральным Иисусом Христом. В идеале, конечно. Хотя автор иронически относится к концепции Дворкина, считая её апологией деятельности судебного корпуса.

Также интересен представленный обзор авторов и работ, относящихся к «критическому правоведению». Его философским базисом является постструктурализм и деконструктивизм, зацикленный на различных разборках и переконструированиях традиционных и модерных институтов, в том числе права и политики. Ничего нового не создается. То же самое можно сказать и о критическом анализе права. Феминистская философия права – это разновидность коммунитаризма, замешанного на Фуко и марксизме. Автор это хорошо показывает на примере теории права и государства Мак-Кинон. Выводы феминистского

правоведения, имеющие эмпирические подтверждения, хорошо вписываются в аналитическую кратологию.

В поле зрения автора находятся только те концепции права, которые принято называть «эмпирико-позитивистскими». Все они, будучи обобщениями реальной истории и политики, настолько укоренены в политику, что провести границу между политикой и правом, практически невозможно. Даже когда право пытается противостоять политике. Одна из причин несправедливости права состоит в его явной или завуалированной политической ангажированности. Косвенным подтверждением этого служит то, что очень редко сейчас можно найти учебник по теории права для обучения будущих юристов. Всегда это «Теория права и государства» или «Теория государства и права». Заранее постулируется неразрывная связь государства и политики. Мы согласны с автором в том, что правовое регулирование социальных отношений неэффективно. Возможно, причина заключается в том, что право по-прежнему понимается как воля господствующего класса, возведенная в закон. Несмотря на камуфляж. Может быть, философии права следует отказаться от анализа права как инфраструктуры, то есть, правопорядка, и заняться тем, чем она занимается в лице Аристотеля, Фомы Аквинского и Канта, то есть выяснением того, что же это такое - право? Чье это право? И на что мы имеем право?

Завершается книга главой «Контекст», в которой рассматриваются непростые взаимоотношения аналитической традиции, укорененной, по преимуществу, в Англии и США, с европейской философией.

Аналитическую философию автор считает продолжательницей линии Просвещения, а континентальную – преемницей традиции критики Просвещения. В качестве основных свойств континентальной философии выделяются её скептицизм по отношению к аисторическому рационализму Просвещения, а также настаивание на культурно-исторической обусловленности мышления. Сквозь призму этих свойств В.П. Макаренко рассматривает конкретные воплощения антипросвещенческой традиции в европейской философии, - от Руссо, Гердера, Гегеля, Маркса и Ницше, до Маркузе, Хабермаса и постмодернистов. Хотя последние критикуют Гегеля и Маркса не меньше, чем это делают сторонники проекта «Просвещения». Да и поздний Хабермас гораздо ближе к аналитической философии, чем к Гегелю и Марксу. На наш взгляд, эта братская могила под названием «континентальная философия», в которую автор сваливает все философское наследие Запада, за исключением аналитических философов, определяемых достаточно произвольно, незаслуженная для неё участь. Каждый из них заслуживает отдельной эпитафии. Гегелю вряд ли уютно было бы покоиться рядом с Ницше, а Марксу – с Хайдеггером. Однако с автором, безусловно следует согласиться в оценке роли постмодернизма как критики западной философии за её метафизичность и метанарративность.

В.П. Макаренко констатирует: политика – это мир «реализованного абсурда», но без неё все было бы намного хуже. Следовательно, чтобы политика становилась лучше, в ней нужно участвовать. Но как сделать так, чтобы это участие было бы более-менее успешным? Могут ли помочь в этом политическая наука и

политическая философия? – Только не те, что основываются на классической антипросвещенческой традицию Если помощь философии и науки возможна, то только в лице аналитической традиции, утверждает автор. Однако результаты предпринятого обзора достижений аналитической традиции в философии, социологии, экономике, правоведении, политологии, истории политической мысли пока не богаты вкладом в решение проблем современной политологии. Автору удалось лишь показать, что аналитическая традиция продуктивнее всякой другой, на сегодняшний день имеющейся.

Резюме: Книгу следует, конечно, оценивать по тому, что в ней есть, а не по тому, что в ней могло бы быть, по мнению рецензента. Работа В.П.Макаренко представляет собой первую в отечественном обществоведении попытку создания предельно обобщенного знания о политике на основе синтеза множества дискурсов общественной жизни. Подобное знание необходимо по той причине, что в современных условиях именно политика является основным институтом, обеспечивающим необходимый минимум согласия в обществах, страдающих от плюрализма ценностей. Ценности – вечный камень преткновения на пути к науке об обществе. С ними, время от времени, что-то пытались делать, но как-то вяло. Сейчас, как признает автор, настало время более решительных действий. Ценности должны стать предметом научного исследования, а возможность и пути такого исследования демонстрирует аналитическая традиция в философии. Таков посыл книги. В.П.Макаренко следует ему, демонстрируя более успешные, чем у континентальной философии, успехи аналитической традиции во всех отраслях обществознания. Не следует упускать из виду подзаголовок книги: «Очерки политической концептологии». Это действительно очерки, хотя и связанные единой проблематикой, но не объединенные пока в искомую концептологию. На наш взгляд, одно из препятствий к этому, непроясненность, для самого автора, с тем, что же такое «концептология?»

В книге, несмотря на стремление автора к обобщенной науке о политике, на примере рассмотрения взаимоотношений континентальной и аналитической философии, показано, что время «-измов» прошло. Они сыграли свою роль, в том числе и в политологии. Под «-измами» понимаются те самые «метаповествования», о которых говорит Лиотар и другие постмодернисты. Но концептология, о которой пишет В.П.Макаренко – это не пример очередного «-изма», а принципиально новая модель обобщенного знания, основу которой составляют знания, полученные в условиях строгости, точности, объективности и интеллектуальной честности. Но как быть с ценностями? – Книга подталкивает, лично нас, к выводу о том, что ценности лучше всего оставить в покое. Пока, по меньшей мере. Ценности – это то, что разделяет, а для политической концептологии важно то, что объединяет. Обсуждение ценностей, попытка выяснить, какие из них более «ценные», - повод к столкновению. А когда этим занимаются политики, то открытый конфликт почти гарантирован.

Если консенсус на базе культурных ценностей невозможен, его следует искать там, где различия не столь принципиальны, где они подлежат калькуляции. Это - сфера политических и экономических интересов. А в её исследовании, как показал

автор, аналитическая традиция намного продуктивнее всех остальных. Что касается культурных различий, то они будут иметь место до тех пор, пока будут существовать носители этих различий, - народы, коллективные субъекты и отдельные индивиды. Значительную роль в конфликтах, проистекающих из этого, играют не сами различия, а незнание, порождающее невежество, от которого только один шаг к войне. Помочь здесь может культурная компаративистика, активно развивающаяся в последнее время. Её результаты также могут быть учтены политической концептологией.

В заключение, не можем сказать об авторском стиле. Он очень специфичен, отличается категоричностью суждений, включает оценки, даваемые посредством, в том числе, и обыденного языка. Это смесь научности и публицистичности, свидетельствующая о том, что В.П.Макаренко политика интересует не только как ученого, но и как человека, вынужденного как-то реагировать на характерный для реальной политики абсурд.

ЕЩЁ РАЗ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ «НАЦИСТСКОГО МИФА»

В.В. Савчук
доктор философских наук, профессор,
Санкт-Петербургский государственный университет

Лаку-Лабарт Ф., Нанси Ж.-Л. Нацистский миф. СПб., Владимир Даль, 2002. — 78 с.

Контекст работы

Наряду с дорогими (блокирую автоматизм языка, на который, видимо, и рассчитывает издательство «Владимир Даль» серии «Полис» — *сердцу*) книгами появилась брошюра Филиппа Лаку-Лабарта и Жан-Люка Нанси «Нацистский миф» в переводе и с предисловие авторитетного специалиста по интеллектуальной ситуации Франции XX века проф. С.Л. Фокина.

Обстоятельства появления оригинального текста таковы: в 1991 году французские философы переделывают статью (стоило бы пристальнее всмотреться в характер этих изменений: ограничились ли они сносками, проясняющими европейский контекст, добавили ли своим высказываниям идеологическую прямолинейность, усилили аргументацию?) о немецком национал-социализме, для публикации в Соединенных Штатах. Поставив после каждого слова восклицательный знак, можно было бы исчерпать рецензию. Здесь, как говорится, комментарии излишни. Соавторы, осознавая *некоторую несвоевременность и неуместность* работы, предуведомляют читателя образца 1991: «могло сложиться впечатление, что философское исследование «нацистского мифа» имеет исключительно исторический интерес». Нет, замечают они, ставки философа всегда в *настоящем событии*, то есть в актуальном, задевающем и заставляющем нас реагировать. С последним нельзя не согласиться.

Агон немецкой и французской философских традиций имеет предысторию. Сошлюсь на Ж.-Ф. Лиотара, который объясняя почему дело Хайдеггера «французское» дело, говорил следующее. «С конца XVIII века во Франции, по сути дела, отсутствовала сколь бы то ни было серьезная (то есть адекватная развивающемуся миру) философия. Философия была немецкой. Французы фор-

мулировали факты этого нового, буржуазного мира в исторических, политических и (быть может, в первую очередь) литературных и художественных терминах. Французские философы, как повелось со времен Просвещения, были одновременно политиками и писателями. Иными словами, отношение к мысли они разрабатывали вместе с социальными и лингвистическими отношениями.

По другую сторону Рейна развивалась великая традиция спекулятивного мышления (и в этом его глубинное отличие от французской мысли) непосредственным наследниколм теологии и пытающегося преодолеть кантовский кризис».[1] Широко распространено мнение, что хайдеггеровский проект поиска корней европейской философии, сбившейся с пути в переводе на латынь, включает *всю* Европу, частью которой является Германия. Речь у Хайдеггера шла о «спасении Запада». Французские мыслители указывают на социальный и идеологический контекст его предприятия. Деструкции подвергаются латиняне, франки и римляне в первую очередь. Исключив наследие латинского языка, германские народы вполне могут приобщиться к истинной — не испорченной философии, — философии греков, и на этом основании полагать, что именно они являются подлинными их наследниками.

Еще Винкельман говорил: «Нам следует подражать древним, чтобы самим стать, коли это возможно, неподражаемыми». Но оставалось понять, в чем же следует подражать древним так, чтобы добиться коренного отличия немцев от соседей. Дело в том, что немцам для идентификации (в силу запаздывающего развития) приходилось подражать не Греции, но «подражать тому подражанию античности, которым Франция или Италия живут на протяжении двух по меньшей мере лет веков. Другими словами, — заключают наши авторы, — Германия не только лишена идентичности, но и ей недостает также права собственности на средство идентификации»[2]. Для прояснения сути дела мне придется привести довольно длинную цитату из Филиппа Лаку-Лабарта и Жан-Люка Нанси: «Ни для кого не секрет, что открытие, которое сделали немцы на заре спекулятивного идеализма и романтической филологии (в последнем десятилетии XVIII века, в Йене, где-то между Шлегелем, Гельдерлином, Гегелем и Шеллингом) состояло в том, что было, дескать, две Греции: Греция меры и ясности, теории и искусства (в собственном смысле этих слов), «прекрасной формы», мужественной и героической строгости, закона, Града, светлого дня; и Греция погребенная, темная (или слишком уж слепящая), Греция исконная и первобытная с ее леденящими ритуалами, леденящими душу жертвоприношениями и повальными опъянениями, Греция культа мертвых и Земли-Матери, – короче говоря, Греция мистическая, на которой первая с большим трудом (то есть, «вытесняя» ее) воздвигла себя, но которая все время глухо давала о себе знать вплоть до конечного крушения, в особенности в трагедиях и мистериальных религиях. И след этого раздвоения «Греции» можно проследить по всей немецкой мысли,

[1] Лапицкий В. Е. Так говорил Лиотар // Лиотар Ж.-Ф. Хайдеггер и «евреи». СПб., 2001. С. 166.
[2] Лаку-Лабарта Ф., Нанси Ж.-Л. Нацистский миф. СПб., 2002. С. 33.

начиная, например, с гельдерлиновского разбора Софокла или «Феноменологии духа» и кончая Хайдеггером, захватив по пути «Mutterrecht» Баховена, «Психею» Роде или оппозицию дионисийского и апполоновского, структурирующую «Рождение трагедии».

Разумеется, мы немного упрощаем: далеко не все описания этой двоякой Греции согласуются между собой, и чаще всего принципы оценки у разных авторов весьма ощутимо расходятся. Но если взять (против правила) своего рода средний показатель, – а идеология действует именно так – то можно утверждать, что это открытие подразумевает, вообще говоря, некоторое число решающих следствий.

Мы остановимся на четырех:

1) Очевидно, что это открытие позволяет выдвинуть вперед новую историческую модель и отделаться от неоклассической Греции (Греции французской и даже, если копнуть глубже, Греции римской и возрожденческой). Что дозволяет Германии с маху отождествить себя с Грецией. Следует отметить, что с самого начала это отождествление будет основываться на идентификации немецкого языка греческому (разумеется, поначалу все это чистая филология).

Это значит, что было бы заблуждением думать, слишком уж упрощая дело, что идентификация произошла с другой Грецией, забытой и мистической, и что этим все исчерпывается: этого было немного, все время, но в силу ряда причин, о которых нам предстоит говорить, всегда было не только это. Никогда идентификация с Грецией не была единственной формой вакханалии.

Это значит также, с другой стороны, что этот тип идентификации, в истоке своем исключительно лингвистический, как раз и присовокупился к призыву к «некоей новой мифологии» (Гельдерлин, Гегель и Шеллинг в 1795 г) или к призыву к насущному строительству «мифа будущего» (Ницше, via Вагнер в 80-е годы). В самом деле, сущность изначального греческого языка, *mythos*, в том, что он, как и немецкий язык, способен к *символизации* и тем самым способен к производству или формированию «созидательных мифов» – для народа, который сам по себе определяется лингвистически. Стало быть, идентификация должна пойти по пути строительства мифа, а не быть просто возвращением к старым мифам. От Шеллинга до Ницше попыток такого рода вполне хватает.

Следовательно, строительство мифа по необходимости будет теоретическим и философским или, если угодно, сознательным, пусть даже проходит оно в стихии поэзии. То есть ему предстоит принять форму аллегории, как в «Кольце» Вагнера или в «Заратустре» Ницше. Таким образом, диалектически будет снята оппозиция между богатством изначального мифологического творчества (которое является бессознательным) и абстрактной всеобщностью рационального мышления, Логоса, Просвещения и т. п. Согласно схеме, представленной Шиллером в работе «О поэзии наивной и поэзии сентиментальной», строительство современного мифа (или, что сводится к тому же самому, современного произведения искусства) всегда мыслится как результат диалектического

процесса. Вот почему то, что мы назвали «эстетическим выходом», неотъемлемо от выхода теоретического или философского.

2) Та же самая логика (диалектическая) работает в том, что можно было бы назвать механизмом идентификации. В этом отношении следует провести строгое различие между тем, как была использована первая или вторая Греция.

Греция, скажем опять же, не вдаваясь в подробности, «мистическая» предоставляет, вообще говоря, не собственно модель, но скорее ресурс, то есть идею некоей энергии, способной обеспечить идентификацию и ее функционирование. В целом она призвана предоставить *идентификационную силу*. Вот почему немецкая традиция к греческой и классической теории мифологического подражания, *мимезиса* добавляет – или настойчиво развивает то, что, к примеру, у Платона было лишь в зародыше, а именно теорию мистического слияния или приобщения (*метексиса*), как скажет в ином контексте Леви-Брюль)[3], наилучшим примером которых служит по сути дионисический опыт, как его описывает Ницше.

Но это не значит, что модель для подражания непосредственно восходит – или может быть промыслена как непосредственно восходящая – к мистической неразличимости. Напротив: в дионисическом слиянии, – если оставаться на ницшевской почве – и на выходе из этого слияния появляется не что иное, как символический образ, похожий, говорит Ницше, на «образ сновидения». На деле этот образ является сценическим образом (персонаж или, еще лучше, фигура, *Gestalt*) греческой трагедии. Он выступает из «духа музыки» (поскольку музыка, как это было известно также и Дидро, является самой стихией слияния), но диалектически рождается из любовной борьбы дионисического принципа с противостоящей ему аполлоновской фигуративностью. Стало быть, модель, или тип, есть форма компромисса между дионисическим и аполлоновским. Так, впрочем, объясняется трагический героизм греков, вызванный к жизни по большей части, как говорит Ницше (и этот мотив не будет забыт), нордическим слоем дорийцев, которые только и были способны восстать перед лицом пагубного распада, неизбежно порождаемого восточным мистицизмом.

3) Все это объясняет преимущество, предоставленное в рамках немецкой проблематики искусства театру и музыкальной драме, то есть повторению трагедии и трагического празднества, которые гораздо лучше, чем какие-либо другие формы искусства, годятся на то, чтобы запустить процесс идентификации. Вот почему Вагнер, превосходя в этом плане Гёте, будет мыслить себя немецким Данте, Шекспиром или Сервантесом. И вот почему, основывая Байрейт, он будет преследовать и политическую цель: а именно, объединение немецкого народа посредством театрального празднества и церемониала (объединение, сравнимое с объединением полиса в трагическом ритуале). Именно в этом основополагающем смысле и следует понимать «всецелое произведение искусства».

[3] Lévy-Bruhl L. Les carnets. Paris: PUF, 1949.

Всецельность, или тотальность, является не только эстетической: это знак в направлении политики.

4) Теперь, возможно, более понятно, почему национал-социализм представлял собой не просто, как говорил Беньямин, «эстетизацию политики» (на которую достаточно было бы ответить, на манер Брехта, «политизацией искусства»: ибо тоталитаризм и это вполне может взять на себя), но слияние политики и искусства, *производство политики как произведения искусства*. Уже для Гегеля греческий мир был миром «полиса как произведения искусства». Но то, что у Гегеля остается в рамках первого из двух типов соотношения с Грецией и к тому же не оставляет места ни для какого призыва к подражанию, теперь уже проходит через второй тип соотношения и становится неким приглашением, или побуждением к мифологическому производству»[4].

Если задаться вопросом: почему мысль Хайдеггера, его сочувствие к национал-социализму не отпускают французских интеллектуалов: «Осмыслению дела Хайдеггера присуща неотложность» (Ж.-Ф. Лиотар), — то, видимо, мы будем не далеки от истины, подозревая, что имеем дело с предубеждением, глубоко сидящем в подсознании французов, о своем вечным сопернике и северном соседе, который сегодня неуклонно набирает экономическую и политическую силу. Мысль Хайдеггера — одна из величайших XX века, и в тоже время вступление в нацистскую партию, как полагает все тот же Лиотар, не есть «ошибка» (по Лаку-Лабарту); на сделку с нацизмом Хайдеггер пошел «обдуманно, глубоко и по-своему упорно».[5] Упорна не только мысль Хайдеггера, но вся предшествующая мысль Германии.

Немцы — новые греки

Открыто заявленную позицию Ницше, что мы, немцы, «становимся с каждым днем *все более и более греками*, вначале, конечно, в понятиях и оценках, словно грецизирующие призраки, но в надежде сделаться греками также и *телом*»[6], можно встретить и сегодня: Раймар Зонс, например, утверждает, что “Наследие немцев — как новых греков — означает — вопреки идеям 1789 года — антропологический и политический пессимизм»[7]. Дело Хайдеггера, хотя подробно французскими интеллектуалами не разбирается, но подразумевается; текст неявно вменяет вину немецкой мысли. Впрочем, это оправдано. Отчасти. Хотя Хайдеггер на декартовский конгресс в Париже 1937 года не поехал, — по мнению Хайдеггера, приглашение от чиновников пришло оскорбительно поздно, — однако он связывал с ним большие планы. Декарт был основателем философского модернизма, спор с ним во многом определял собственную философию Хайдеггера. В своей статье «Пути к диалогу» он, не касаясь конкретных

[4] Лаку-Лабарта Ф., Нанси Ж.-Л. Нацистский миф. С. 36-42.
[5] Лиотар Ж.-Ф. Хайдеггер и «евреи». СПб., 2001. С. 80.
[6] Ницше Ф. Воля к власти. Посмертные афоризмы. Минск, 1999. С. 201.
[7] Zons R. Ironisches Patos. Deutschland gibt es nicht // Das Patos der Deutschen / Hrsg. Norbert Bolz. München, Vilchelm Fink Ferlag, 1996. S. 124.

вопросов противостояния двух ведущих европейских держав, писал: «Момент, переживаемый ныне миром, поставил перед народами Европы, творящими историю» задачу «спасения Запада». Заметим, вопрос о спасении в то время был чисто идеологический, так как ни роста «желтой» опасности, которая так волновала В.С. Соловьева, ни нынешнего исламского фундаментализма, ни экспансии на богатый север эмигрантов из бедного юга в Европе не было. Хайдеггер указывал на стихию «азиатского окружения Древней Греции», в борьбе с которой последняя могла выстоять лишь благодаря тому, что бытие и становление в ней полемически взаимодействовали. Сила греческого полиса заключалась в нераздельном единстве моментов, которые ныне представляют Франция с ее картезианством (представлением о возможности рационально распоряжаться «res exsterna», внешним миром) и Германия с ее историческим мышлением. Под азиатским окружением Хайдеггер мыслил в то время *модернизм, осуществившийся в Северной Америке и России*. В 1938 году он все же читает свой доклад, который позже выходит под названием «Время картины мира». Собственно четыре игрока (Германия, Франция, США и СССР), выстроенные в горизонте исторического эксперимента, продумывались в то время Хайдеггером столь основательно, сколь основателен был взгляд мыслителя, ответившего себе, почему он остался в провинции. Хотя философия производится в центре, однако экономический и культурный вес страны может отставать или опережать уровень развития ее философии. Так же обстоит дело и с регионами внутри отдельной страны, в частности в том из них, который не покидал Хайдеггер, *несмотря* на все искушения и соблазны столицы.

Французские учителя

Вернемся к теме эссе, «нацистскому мифу». Для Эрнста Юнгера — яркого представителя идеологии консервативной революции — в ранний период важной темой был национализм. Это часто ставилось ему в упрек. Однако позже он эти работы не комментировал, не извинялся за них (тем не менее, в полное собрание своих сочинений не включил). Лишь однажды в интервью крупнейшему французскому германисту Жюльен Хервье, данном по поводу его 90-летия, на вопрос о том, как на него повлияла первая мировая война, он сказал: «Я стал националистом только благодаря Франции, и в частности благодаря чтению Барреса; Баррес действительно меня воодушевлял. Он говорил: «я не национален, я националист», — это я от него перенял»[8]. Армин Молер, литературный секретарь Юнгера, свидетельствует, что тот говорил ему: «еще гимназистом я прочитал с восхищением перевод на немецкий «О крови, наслаждении и смерти» Барреса, который оставил глубокий след в моем становлении».

Интересна оценка, высказанная ангажированным историком Третьего Рейха после победы Гитлера на выборах 1933 года Вальтером Франком в работе

[8] Hervier Julien. Entretiens avec Ernst Juenger. Paris: Gallimard 1986, p. 23.

«Национализм и демократия во Франции третьей республики 1871-1918». В ней он указывал на преемственность традиции, которая ведет от французского плебисцитного национализма через итальянский фашизм к национал-социализму. Для Франка национал-социализм является логичным завершением этой традиции, так как она, наконец, расквиталась с устаревшим либеральным государством и осуществила соответствующий XX веку политический порядок. В связи с этим же Франк пишет о Моррисе Барресе, что в нем видели "учителя", "творца новой националистической доктрины"[9].

Не лишним будет привести мысли о национализме самого Барреса: народу нужен "идеал" и "если бы он не был никогда нереализуемой иллюзией, то я бы воздал ему хвалу как цели, к которой нужно приложить усилия масс, как укрепление сердца, которое пробуждает энтузиазм…».[10] Национализм Барреса базировался на трех опорах: 1) нация — это континуум во времени и пространстве, «вечная Франция», созданная королями, святыми и средневековыми воинами в той же степени, как и революционерами, которые установили «естественные границы» страны и Наполеоном, который подчинил своей власти всю Европу, все великие люди были — осознанно или бессознательно — «преподавателями национальной энергии; 2) принадлежность к нации неизменна, ибо нация образует объективный биологический и психологический фактор, поскольку человеческий универсализм остается научно несостоятельным; и 3) понимание этого приходит только в национализме, единственное адекватное политическое поведение состоит в усилении национального сообщества, через исключение чужих, устранение их духовного влияния, интеграцию нижнего слоя в «национальный социализм» и организацию обороноспособности вовне, которая в случае Франции обязывает к отвоеванию Эльзац-Лотарингии. «Для определенного круга людей со сверхприродным покончено. Их благочестие, которое нуждается в некоем предмете, не находит его на небе. Мое благочестие я перенес с неба на землю, на землю моих предков».[11]

Впрочем, С.Л. Фокин не преминул справедливо укорить авторов: ««Демон немецкого национализма» появился на свет не без деятельного участия «французского империализма», вызванного к жизни Революцией. Другими словами, «нацистский миф» восходит — среди прочих истоков – к «революционному мифу», укорененному во французском Просвещении; он владел и – в отличие от «нацистского мифа» - продолжает владеть современным сознанием. В связи с этим не может не показаться странным, что в своем блестящем разборе «нацистского мифа» французские философы почти что (за исключением крайне важной и крайне показательной сноски о Руссо и Терроре) обходят молчанием импульс, полученный немецким национализмом. Можно даже подумать, что напряженное внимание французской философии к немецкой мысли скрывает

[9] Frank Walter. Zur Geschichte des Nationalsozialismus. Hamburg 1937, S. 206.
[10] Barrès Maurice. L'idéal et les premières étapes. // La Cocarde, 18. septembre 1894.
[11] Barrès Maurice. Scènes et Doctrines du Nationalisme. Paris: Editions du Trident, 1987. P. 13.

некий разрыв или даже «травму» французской философской традиции, причиненную *собственной* историей.[12].

После постструктурализма, к которому оба философа имеют непосредственное отношение, трудно блокировать вопросы: какие цели преследуют и чьи интересы отстаивают видные французские философы? Помимо очевидного: показать историю становления нацистского мифа, его существо[13] и указать на неизжитость его в современности, тем самым поставить разговор на философские рельсы, — лежащий на поверхности ответ — реванш. Есть и другие соображения. Нехватка другого, зависимость французской философии от немецкой спекулятивной традиции, вменяемая ей несамостоятельность — «неоницшеанство» — дают повод дорисовать другого. Иллюстрацией нехватки может послужить анализ *инструментального* тела музыканта, который(ая) срастается со своим инструментом. Ибо даже при его отсутствии исполнитель ведет себя так, как если бы тот присутствовал. Напомню часто тиражируемую фотографию музыканта Ростроповича среди защитников Белого Дома, где он сидит с автоматом, стоящим на полу, так, как если бы это была виолончель. Нехватка прилаженного, пригнанного, почти сращенного с телом инструмента выдает себя как в эмоциональной реакции, в телесном жесте, так и в мысли.

Французская мысль без опоры, от которой она отталкивается (причем чем более незыблема и прочнее основа, тем больше амплитуда самостоятельного движения, оригинальность мысли), не мыслит себя. Неравнодушие вызывает духов и создает двойников. Соперничество, война, как известно, — самая сильная форма зависимости. Одна из ее составляющих — убийство Отца или каннибализм. Об этом с безоглядностью конквистадора пишет бразильский философ Норвал Байтелло (младший): «Антропофагия» выступает за пред-логику, за вид первобытной логики, с помощью которой культурная традиция не просто передается, являясь объектом подражания, но и перерабатывается. Как в примитивных обществах только враги могли быть съедены, с тем, чтобы их силой усилить себя, так “Антропофагия” — интернациональный поток тенденций, моды, — хочет селективно усвоить и так сказать переварить, т. е. переработать, и при том не на националистических критериях, а на таких, как эффективность и витальность».[14] Словно бы развивая и интерпретируя мысль Вальтера Беньямина: "Настоящий критик берется за книгу с такой же любовью, с какой каннибал берется готовить себе младенца"[15].

---

[12] Фокин С.Л. Эпигоны, или сцена политики. Послесловие переводчика // Лаку-Лабарта Ф., Нанси Ж.-Л. Нацистский миф. С. 77.

[13] На то, что фашисткий миф воскрешает иррационализ и культивирует «темное прошлое», а также является «националистическим язычеством, культом Вотана и романтическим варварством» указал Т. Манн еще в начале 20-х годов XX века (Манн Т. Собр. соч. В 10 тт. Т. 9. М., 1960. С. 602).

[14] Baitello N. (jun.) Die Dada-internationale. Der Dadaismus in Berlin und der Modernismus in Brasilien. Frankfurt am Main, Peter Lang, 1987. S. 125.

[15] Walter Benjamin, Einbahnstraße. Die Technik des Kritikers in dreizehn Thesen. Thesen // Gesammelte Schriften. . Hrsg. Rolf Tiedemann und Herman Schweppenhдuser. 7 Bde, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1972-1989. Bd.IV/1, S. 108.

Но перед лицом реальной угрозы террора — с одной стороны, и формирование однополюсного мира и европейского сопротивления-объединения этому — с другой, брошюра более чем 20-летней давности могла быть воспринята «сугубо» академическим исследованием одного, пусть и значимого, исторического вопроса. Если бы не фигуры ее написавшие, да не контекст появления. Несущей конструкцией строительства новой Европы является Германия, экономическая и политическая стабильность которой — гарант успеха этого предприятия. Французские авторы определяют истоки нацистского мифа в работах немецких мыслителей от романтиков и Гегеля до Ницше и Хайдеггера, тем самым поднимают котировку философа в жизни общества, то ли разделяя, то ли иллюстрируя мысль Делеза: «Все есть политика». Для отечественного читателя такая позиция, хотя и подготовлена широко известной фразой о «революции в мыслях», предшествовавшей французской революции, все же не может не оказаться новаторской. Для соотечественника, у которого философ как идеолог в лучшем случае остался *вехой* в революционной эпохе, лестна сама постановка вопроса о *вменении вины* мыслителям. Политик зачастую вынужден быть демагогом (в исходном смысле слова, ибо речь обращенная к народу, воспринятая народом и поддержанная им и речь аналитика, требующая выхода из очевидности, разнятся), и напоминание об опасности возрождения национал-социализма, адресованное «широкой» аудитории, неизбежно несет следы популяризации мысли.

Вопрос новизны

Трудно избавиться от настойчиво возникающего вопроса: что добавляет, и что нового вносит эссеистическое прочтение нацистского мифа на фоне дотошных, многотомных исследований историков, политологов и философов по этой теме? Инвектива французских философов, их призыв к бдительности — и исторически, и идеологически оправданы. Их memento: «Нацизм не есть итог Запада, что не мешает ему быть его неизбежным свершением. Но также невозможно просто отмахнуться от него как от ушедшего в прошлое искажения. В удобной защищенности достоверностями морали и демократии мы не только ни от чего не застрахованы, но и рискуем не увидеть, как приходит или возвращается то, возможность чего не сводится к чистой случайности истории. Анализ нацизма никогда не следует понимать на манер обычного судебного дела, это, скорее, всегда какая-то деталь в общей деконструкции истории, из которой мы происходим». Воля к самоутверждению, к проведению своей политики, к выражению и отстаиванию интересов своей страны – основа моего подозрения, что это как раз и есть та самая деталь, сигнализирующая о возможности возрождения того, что «не сводится к чистой случайности истории», к истории немецкого фашизма. Мы, предупрежденные авторами «Нацистского мифа», не должны пребывать в уверенности о естественности буржуазно-демократического устройства Западного общества.

Показать *устройство естественности*: как делается и с помощью каких механизмов создается *привычное*, *само собой разумеющееся* – это всегда было задачей интеллектуала. Пусть другие пребывают в уверенности в безальтернативности формы своей государственной жизни. Но умение собрать коллективное целое на основе очевидности, тем более собрать в любом месте и времени (употребив научную примету всеобщности) для своих целей и интересов, позволяет в случае необходимости разрушить эту форму, с той легкостью, с какой разрушает мост инженер его проектирующий. Но дело в том, что конструкция терроризма строится на других, не связанных *с рациональным проектом* основаниях. Надо полагать, что и помощи в предотвращении терроризма подобные «деконструкции» оказывают ничтожно мало. Постмодернизм, отметившийся тем, что легализировал различные формы перверсивного поведения и неконвенциональных способов получения удовольствий, впал в немилость из-за того, что в ситуации консолидации и обретения общего дела, остается ироничным, не признает объективную истину, дает различные трактовки, вроде той, которую терракту 11 сентября дал Штокхаузен выдающимся перформансом. Здесь место задаться вопросом: как изменились акценты восприятия работы «Нацисткий миф» с изменением политического ландшафта, произошла ли переориентацией фобий с баллистических ракет вероятного противника на собственные пассажирские самолеты или письма и бандероли per Post?

Спор двух философских сверхдержав сегодня уже не столь *безусловен*. Англосаксонская традиция после Второй мировой войны стала постепенно захватывать Европу. Вначале были охвачены скандинавские страны, а затем в конце XX века все ощутимее стало влияние аналитической традиции на континенте. Американский полюс властно заявляет о себе в праве судить, быть над схваткой, как это проявляется, например, в позиции Р. Рорти, судящего из-за океана схватку «неоконсерваторов» и в первом лице его — Ж.-Ф. Лиотара, который «к сожалению, поддерживает одну из самых глупых левых идей» и приверженца проекта модерна Ю. Хабермаса: «Мы могли бы согласиться с Лиотаром в том, что нам не нужны больше метанарративы, а с Хабермасом в том, что нам нужно меньше сухости. Мы могли бы согласиться с Лиотаром, что исследование коммуникативной компетенции трансисторического субъекта не слишком полезны для усиления нашего чувства идентификации себя с сообществом, продолжая в то же время настаивать (вместе с Хабермасом) на важности этого чувства»[16]. Рорти хорошо осведомлен о том, что происходит в американской и европейской философской мысли. Его сознательный отказ от профессиональной клановости и провинциальной замкнутости, разъедающих современную философскую культуру, ради чего он много ездит по миру, участвуя в диалоге культур (подтверждением является его посещение России, во время которого он читал лекции, участвовал в «круглом столе», проявляя намерение вовлечь российских фи-

[16] Рорти Р. Хабермас и Лиотар о постсовременности // Ступени: Философский журнал. - 1994, № 2 (9). - С. 128 – 129.

лософов в общемировой разговор[17]), его вопрошание о том, что же мешает «глобальному разговору» и как возможны консенсус и солидарность в обществе, свидетельствуют об осознании возросшей ответственности философа, представляющего *ведущую* страну мира. Это его личная позиция.

Североамериканская же интеллектуальная элита в целом может быть снисходительна, она может приглашать читать лекции ведущих европейских мыслителей в том числе и посструктуралисткого направления, может до поры до времени культивировать его — постструктурализм по видом литературоведения, а постмодернизм как стиль искусства — у себя, но после резкой смены курса государственной политики на выработку объединяющей стратегии борьбы с терроризмом, с легкостью отказаться от декларируемого постмодернизмом игрового, ускользающего, дистанцированного отношения к *жизни*. Американские философы, и шире интеллектуалы, ощущают себя на острие прогресса — иноназвание информационного общества, — поэтому любую критику извне воспринимают как «зависть» или, более остраненно, как досаду не желающего изменяться мира. Подвергать же сомнению американский миф или официальную политику, находясь на государственной службе, — могут позволить себе лишь отчаянные радикалы или, что одно и тоже, самоубийцы. Ибо реальности, вспомним известный тезис, на Западе больше нет. Ее репрезентирует, а затем окончательно подменяет реклама, и в первую очередь «западного — американского — образа жизни».

Однако очевидно, что число философских сверхдержав не связано напрямую ни с территорией и населением, ни с экономической и военной мощью страны. В случае философии играет роль традиция, культурное и интеллектуальное влияние. Философия всегда появляется в центре, и смещается вместе с ним. Таков ее рок. В эту схему укладывается нынешняя ситуация. Американский фактор в философии, ориентированный на «однополюсный», в том числе философски однополюсный мир, диктует свои правила дискурса: уровнять на основе банковской процентной ставки, сделать спекуляцию ценными бумагами тождественной философской спекуляции, опровергая выводы Фалеса, что философские занятия предпочтительнее спекуляций с маслобойнями, сколь бы успешными они ни были.

Спасительность иллюзии

В своем послесловии проф. Фокин С.Л. отмечает, что Лаку-Лабарт и Нанси устроили «настоящую сцену всей немецкой мысли». Нам же, глядя со стороны Уральских гор — из-за кулис, — выяснение отношений выглядит сценой, которую разыгрывают французские и немецкие интеллектуалы перед американской общественностью. Но есть резон и для нашей. Наглядность противоречий обна-

[17] Философский прагматизм Ричарда Рорти и российский контекст. М., 1997.

жает слабости каждой из сторон, избавляет от привычки всеприятия и некритического следования чужой мысли.

Закрадывающуюся мысль о том, что отработать ожидание американской аудитории и при этом получить удовольствие — уязвить набирающего силу соседа, — высокий профессионализм, придется сразу же отбросить в силу веса и ответственности позиции, которую отстаивают Филипп Лаку-Лабарт и Жан-Люк Нанси. К тому же не лишним будет вспомнить о том, что Нанси является видным представителем католической мысли. Возможно исток их позиции во Франции. Нельзя же не вспомнить, а тем более проигнорировать травму французской интеллектуальной элиты, которая так и не осознала, что она делала во время Второй Мировой войны. В психоанализе это называется форклюзией - когда травматическое событие не просто замалчивается, но вообще не признается символический статус события, которое оказывается как бы вне смысла. Тем самым оно отменяется и выводится за пределы умопостижимого.

Обратившись же к отечественным реалиям, следовало бы задаться вопросом: к чему российскому интеллектуалу созерцать агон двух философских сверхдержав? Здесь уместно вспомнить замечание гениального политика о том, что в споре двух идеалистов (а именно идеализм вменяется французскими мыслителями немецким философам и писателям как первопричина и исток нацизма) всегда выигрывает материалист. А вот мысль современника: «Пора сказать без обиняков: существование фашистской партии во все времена поддерживало иллюзию, будто политика еще есть (так будет и дальше). Следует признать, что любая политика была заинтересована в сохранении спасавшей ее иллюзии».[18] Эта мысль одного из самых страстных и последовательных критиков капитализма — который безуспешно/успешно критикуют вот уже более двух веков — Мишеля Сюриа заслуживает внимания. Ибо скрытая пружина, двигающая его мысль, что капитализм, утратив *перспективную* — коммунистическую — модель общественного устройства**,** утратил горизонт самоопределения, самоулучшения, конкуренции, ретроспективные же — архаические, эскапистские, традиционные формы критики — приоткрывает способ, каким *конструируется актуальность* «нацисткого мифа». Техника работы Сюриа примененная в отношении партий буржуазно-демократического общества, пригодна к анализу философских партий и, более широко, к интеллектуалам обслуживающим государство, в том числе посредством *радикальной* критики, которая, по точному наблюдению Эрнста Юнгера дала пропитание не одному поколению интеллектуалов. Последние, лишившись серьезного противника, обратили свой взор на самих себя, на окружающее пространство, прозрачность которого стало притчей во языцех; не оставляя ничего тайного, сокровенного, личного, наблюдая и обсуждая события личной жизни знаменитостей «интеллектуальная элита» оказалась неподготовленной к серьезным испытаниям террором.[19] Существование

[18] Сюриа М. Деньги: крушение политики. СПб., Наука, 2001. С.137-138.
[19] Томас Эпстайн. Письма из Америки // Красный. 2002. № 01. С. 95.

угрозы «Нацисткого мифа», оправдывает как полноту жизни «мифа демократического», так и критику наследников этого мифа и, наконец, подозрение о возможном его зарождении.

Плохой философ

Их эссе дает повод к размышлению о национальном мифе. Фоном ему — тема патриотизма, которую все чаще и чаще затрагивают в СМИ, не проходит спрос на конференции по проблемам самоидентификации и трансформации менталитета, все настойчивее звучат слова о национальных интересах, при этом не иссякает ирония по поводу национальных интересов и идеи, их выражающей.

Философский пароход 1922 года, увеличив интеллектуальную концентрацию европейских столиц от Парижа до Берлина (присутствие русских не ограничивается Койре и Кожевым, Шестовым и Бердяевым), возвращается в Россию лекторами, собирающими полные аудитории. А нидерландский специалист не без основания полагает, что в советской и постсоветской России «традиция мысли характеризовалась перманентным эсхатологическим настроением. Преобладающий стиль философии аподиктичен: “Это удача — и я действительно так считаю, — если русский философ всерьез касается аргументов другого философа. Господствует аподиктическое философствование ... Их философия не имеет связи с обществом исследователей и интеллектуалов, которые не только спорят друг с другом, противопоставляя свои позиции, но и принимают во внимание исследования друг друга”[20]. С нелицеприятной оценкой трудно не согласиться. Эверт фон дер Цвеерде, мнение которого приводилось на конференции “Самоопределение философа в современной России”, замечает «на Западе говорят о Бердяеве, его приводят, в нашей учебной программе в качестве примера плохого философа, плохого типа философствования. Может быть, это неправильно, потому что создаётся стереотип, что он плохой философ именно как русский». В такой ситуации и с таким багажом предрассудков о российской философии тяжело выступать от ее имени и репрезентировать российский/русский топос.

Имеется и другая сторона дела, как кажется, не менее важная в силу неявности, точнее, вытесненности проблемы *своего* прошлого. Проблематизировать место, из которого ведется речь, отбросив конвенциональные умолчания о причастности к определенной традиции (большей частью декларируемой как рационалистическая) — значит задаться вопросом об ответственности не только аналитики происходящего, но и прагматики интересов и целеполагания своего сообщества. Скольжение по поверхности чужой мысли столь же продуктивно

[20] Evert van der Zweerde. Philosophie und Philosophieren in der Sowjetzeit und danach. Die Kultur der russischen Philosophie // Russische Philosophie im 20. Jahrhundert. / Eichler K.-D., Schneider U.L. (Hgg.) Leipzig, 1996.

(в силу авторитета последней у соотечественников), сколь и травматично для отечественного мыслителя, которому указывают на истоки характера его мысли, которые он должен знать, и которые, даже если он сознательно их игнорирует, вынужден признавать. Михаил Ямпольский — тому яркий пример — поделился своим самоотчетом мысли: «Почему мы всегда возвращаемся к теме русской философии? Потому что её существование — неприятный для всех нас факт. Например, Борис Гройс сказал, что ничего не может сделать с собой, он всегда будет русским философом, каким-то образом, и я буду всегда соотнесён с какой-то группой лиц, которые являются моим Другим, моим alter ego, с которым я неизбежно соотношусь. А что это за группа лиц, с которыми я в силу моего происхождения неизбежно соотношусь? Это группа лиц, которая маргинализирована мировым философским развитием и отправлена куда-то в область провинциального, локального российского явления. И моё существование сегодня в мире, — а я хочу быть сегодня универсальным человеком — в значительной степени зависит от этой группы провинциальных, локальных людей, которые мне подарены без моего ведома и с которыми я почему-то должен себя соотносить. Неприятность всего этого заключается ещё и в том, что все эти философы отделяли себя от мира. Одна из тем русской философии — это отделённость судьбы России, русской идеи, её своеобразие, критика Запада. То есть в значительной степени русская философия изначально моделирует себя как философия, которая не может войти в западную культуру и осмысливает себя как что-то, не желающее быть признанным на Западе. И вот я сегодня являюсь наследником группы лиц, с которыми я насильственно соотнесён, и мне это очень не приятно. Что-то я должен с этим делать?»[21]. Философ – не математик и даже не писатель. Его очевидная укорененность в языке, технике мысли, предзаданности оценок и стилей мышления всегда найдет повод проговориться. Нельзя же действительно ограничиться простым указанием на современность, не давая себе отчет, о *современности какого места* идет речь и как это место влияет на текст. Очевидность самоотчета намекает на присущую любой очевидности глубину связи с существенным. Вложив в тезис о принадлежности всю общность принимаемых нами значений современной философии, мы превращаем «само собой разумеющееся» в концептуальную схему, с помощью которой отвечаем на возникшее затруднение. Мы замечаем, что спрашивать о том, что такое *абстрактное* и *конкретное* в приличном обществе столь же не принято, как и о том, что же сегодня понимать под русскостью или корректнее современной российской философией.

Но проблема русскости не ограничивается тем, что так эмоционально было заявлено выше. Она имеет ряд аспектов.

---

[21] Русская философия: вердикт, реальность или\и миф? Круглый стол // http://artinfo.ru/ru/news/main/ProPodoroga.htm (правда открытым отстается вопрос, насколько я могу доверять интернетной версии этого круглого стола. Быть может печатно автор приведенных слов выразился бы иначе.) Дата создания оригинала документа: .02.2002. Дата индексирования: 02.06.2002.

1. Первый из них — ответственное принятие советской истории как своей собственной истории. На мой взгляд, это развитие и доведение до логического завершения принципа отказа от кровавого и жертвенного истока культуры. Тематизация этой проблемы на уровне философской рефлексии позволила бы создавать свое концептуальное поле и, что в данный исторический момент, полагаю более важно, определиться по отношению к своему прошлому. Если у немцев чувство вины, а у французов забвение (форклюзия), то у русских налицо механизм подросткового отрицания и запирательства. Распространено отношение к истории страны в XX веке как *к не моей* (или жестче, *их* коммунистической) *истории*. Местоимение *они* всплывает даже тогда, когда речь заходит о своем НКВэдешном или комиссарском деде, родителях, которые были ответственными гос- или партработниками. Наша удивительная способность не помнить прошлое, забыть отцов, всегда начинать с нуля — спасительное в эпоху катаклизмов, войн и массового самоистребления нации качество нашей души. Напомню, что ситуация непризнания своего, в том числе своего прошлого — не нова. Трудно не согласится с проницательным В.В. Розановым: «У русских нет сознания своих предков и нет сознания своего потомства... От этого — наш нигилизм: «до нас ничего *важного* не было! И нигилизм наш постоянно радикален: “мы построяем все с начала”». Не потому ли привилась и по сей день живет формула: «Сын за отца не отвечает». Но сегодня не только не отвечает, но и — вот власть удобной формулы — не может соотнести себя с ним, поставить себя в его условия. Как результат, не может настоящее увидеть в перспективе прошлого и посмотреть на конкретную ситуацию с позиции целого и изнутри целого. Впрочем, маргинальными интеллектуалами уже артикулируется потребность «присвоения советского в качестве собственной, а не чужой истории», в таком признании есть позитивный ресурс».[22]

2. По поводу русской философии существует предрассудок, что круг ее философов ограничен XIX и началом XX века, делая исключение лишь для М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева. И когда же проводится сравнение западной и русской философии, то делается это по разному основанию: западная берется в современном ее изводе, а русская — в указанном выше смысле. Что касается современных философов, то мнение уже упоминавшегося Эверта фон дер Цвеерде, полагающего, что философ в России должен отказаться от предиката русский. Это провоцирует поставить вопрос о самоопределении в режиме *настоящего* времени. Итак, его требование дискриминационно, так как, с одной стороны, никто ведь не заставляет современных немецких, французских и прочих западных философов отказаться от национальностой составляющей их мысли. С другой — его требование оправдано тем, что под русскостью часто понимается возвращение к тому стилю мысли, который господствовал в прошлом и даже позапрошлом виде. Такой консерватизм и традиционализм оказывается инвалидным в попытках отнестись к актуальным процессам.

[22] Провокация? Безусловно! Интервью Александра Иванова // Ex Libris НГ. № 33 (244), 19.09.2002. С. 7.

3. Современной русской философией игнорируется то, что я бы назвал теорией «среднего уровня». У нас практикуется либо высокий уровень абстракции, например о темпоральности сознания как такового, либо уровень журналистики и публицистики, на котором обсуждаются реальные проблемы, которых чураются философы; словно первые незыблемо верят в справедливость мнения, приведенного Платоном: «они вдаются в мелочи, значит они нищие». Особняком стоит фигура В.А.Подороги (не поэтому ли писатели и культурологи из жюри премии «Андрея Белого», запеленговали его особость и признали его текст достойным победы в номинации по столь неопределенной позиции как «Критика» за 2001 год?). Отсутствие инвестиций философов в культурное пространство страны, их мнений по актуальным проблемам, касающихся каждого человека (эту функцию перехватывают сегодня у журналистов и публицистов культуралы), — убедительное тому свидетельство.

Отсутствие того уровня анализа, который, не теряя глубины рефлексии, не забывая об умозрении и подозрении, о неявных причинах, позволяет все же говорить о явленном жизненном противоречии. Примером такого анализа могут служить и вечные башмаки и «Картина мира», написанные по конкретному поводу, тексты Делеза, Фуко, Бурдье, Жижека и Слотердайка.

4. Михаил Гаспаров как-то заметил, что древнегреческий полис был создан щитом с двумя рукоятями, которым можно было прикрывать друг друга, что повлекло появление “сплоченного строя” — главной военной силы греков. Российскую же интеллектуальную атмосферу по-прежнему определяет «длинный меч» и щит с одной рукоятью. В результате мы имеем рыхлое коллективное тело, не схваченное общей идеей, школой, направлением. Все против всех. В ходу вера в возможность создания своей философии ex nihilo, характеризующая родовой признак отечественных мыслителей, у которых нигилизм в крови. Замечу, что ситуация непризнания своего, в том числе своего прошлого — не нова. Так, если в Европе не может быть философа самого по себе — он должен называться и рекомендоваться учеником кого-то, продолжателем школы, укорененной в национальной традиции, — то феномен русскости, как мы помним, является досадной помехой. Как в живописи, где художник может спокойно признаваться во влиянии на свое творчество картин мастеров ушедших эпох, например прерафаэлитов, тем не менее, сказать, что его учитель Рафаэль, Рембрант или Дега — проявить нескромность, он всегда укажет своего непосредственного учителя. В наших же палестинах, человек не стесняется, не видит противоречия, не считывает вскинутых бровей иностранного, случись такой, собеседника при заявлении, что его учитель Гуссерль или Хайдеггер, забывая, правда, снестись с ними и спросить об их согласии взять в их ученики. Равно как и “собеседники” Гуссерля, которые, игнорируя весь корпус критической литературы, все дискуссии, могут по-батаевски заявить: “Если бы не было Гуссерля, я был бы им”. Но его личные обстоятельства, вряд ли привлекут соотечественника, кто в будущем захочет говорить с *самим* Гуссерлем в его поле мысли

и на его языке. И напротив, интересен как раз тот, кто *не считает себя обязанным всюду строго следовать духу и букве гуссерлевской философии* (Я.А. Слинин).

5. Борьба за подлинность истоков философской традиции — это не столько исток мысли, сколько ее ресурс, справедливо полагают Лаку-Лабарт и Нанси. Это привлекательная схема. Так, например, петербургский философ Вячеслав Сухачев на конференции “Самоопределение философа в современной России” предлагает радикальную трактовку отечественного философа: “философ может быть только на собственном основании. Нет истории философии. Все философские системы подобны архипелагам, и дело мыслителя — выбрать, на каком из них жить. Он может читать только Аристотеля и ничего больше, и быть философом, философом на собственном основании, а уж потом мыслить о политике, человеке, обществе и искусстве». По поводу актуальной ситуации в отечественной философии он заметил: “Современной русской философии весьма часто свойственно представлять переживаемое Россией время как некий пункт исхода, нулевую точку отсчета. Все предшествующее объявляется несуществующим или, по крайней мере, не имеющим исторического бытия, «темным временем» невежества и хаоса. Все это происходит в ситуации медленной эрозии, мгновенного коллапса различного рода институций (идейных, концептуальных, символических, дискурсивных, социальных и т.п.), интенсивных процессов социокультурного «раз-очарования» [Entzauberung], что влечет за собой потерю социоэкзистенциальной, культурной и, конечно, философской идентичности. Рецепция "русской идеи" для определенной группы философов стала своего рода ответным шагом на эти трансформации, шагом двойственным и парадоксальным в размерности философского мышления”.

По прошествии времени, спровоцировавшем новые формы террора, интересным оказывается мнение известного философа А.Н. Исакова, предлагавшего (еще до 11 сентября) иначе решить проблему “нулевой точки” мысли: сверхзадача настоящего философа — «*угадать характер будущей войны*». Основной вопрос его доклада: «Где возможен философский опыт, опыт соучастия в историческом процессе? Разделив философов на тех, кто стремится к традиции, и тех, кто опирается на личный интеллектуальный опыт, опыт откровения, который, по его мнению, сегодня возможен только вне стен университета, Исаков утверждает: «В русской традиции сильны философским опытом непрофессионалы-философы” (в пример он привел крупного военного историка и теоретика А.А.Свечина). Но парадоксальность видится ему в том, что как раз в философии ничто не может заменить собой традицию, ибо “оценить актуальный опыт трудно, если нет традиции».[23]

Итак, самоопределение русской философии, это не модная тема конференции, но злободневная задача отечественных философов. И пока она будет игно-

[23] Философ в России. Кто он? Конференция на философском факультете СПбГУ 2001 // http://antropology.ru

рироваться и вытесняться, отмеченные проблемы будут расти как опухоль вплоть до необходимости оперативного вмешательства.

Традиция базируется на мифе и предполагает преемственность. Рефлексия собственной традиции — это указание истоков. Русская философия утратила не только традицию, но и культуру ее передачи и сохранения. При отсутствии такого опыта сложно понять контекст столкновения европейских направлений философии, их агон.

Если же вернуться к книге, то нельзя пройти мимо идеологии издательства — наполнить прилавки брошюрами и «двинуть их в массы», подобно тому как последние овладевали классическими работами типа «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии». Это тем более вступает в противоречие с тем, что издательство не имеет или на чем экономит: на корректорах и редакторах, которые сняли бы, например, неконвенциональный способ написания латиницей слова миф (muthos). Но, слава Богу, нет ошибок в logos`e. И то хорошо. У книги есть и другие привходящие обстоятельства: фрагмент аляповатой, призванной репрезентировать «нацистский миф» «картины» на обложке (фрагмент какой картины использован — издатель тайны нам не открыл, что удивительно на фоне того, как старательно указывает фрагменты картин других авторов, например, Дм. Яковина), и реклама университета МВД — намек ли это на то, что у нас все под контролем и «фашизм не пройдет? Ну да, еще удивила величина кегля, которым обычно печатают детские книжки. Не намек ли это на то, что основной контингент читателей книги — люди пожилые и, следовательно, с плохим зрением? – Не ведаю.

НАШИ АВТОРЫ

Гудков Лев Дмитриевич – доктор философских наук, профессор, директор Аналитического центра Юрия Левады (Левада-Центр).

Колчинский Эдуард Израилевич – доктор философских наук, профессор, директор Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И.Вавилова РАН.

Макаренко Виктор Павлович – заслуженный деятель науки РФ, академик Академии педагогических наук Украины, доктор политических и философских наук, профессор, Южный федеральный университет.

Неретина Светлана Сергеевна – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН.

Оболонский Александр Валентинович – доктор юридических наук, профессор, Государственный университет – Высшая школа экономики

Огурцов Александр Павлович – лауреат Государственной премии, доктор философских наук, профессор, зав. отделом Института философии РАН.

Олейник Антон Николаевич – доктор социологии, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований РАН.

Поликарпов Владимир Васильевич – кандидат исторических наук, доцент, научный редактор журнала «Вопросы истории».

Савчук Валерий Владимирович – доктор философских наук, профессор философского факультета СпбГУ.

Хайдарова Гюльнара Равилевна – кандидат философских наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры им. П.Ф. Лесгафта.

Чукин Сергей Георгиевич – доктор философских наук, профессор, Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД.

Шнирельман Виктор Александрович – доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН.

Contents

Editor's Word
Makarenko V.P. The Narrow-minded Scientific Knowledge: an Intellectual-Political Fashion?.....5

General Problems of Political Conceptology
Kolchinsky E.I. Science and Crises in the 20-th Century: Some Results of Comparative Analysis.....29
Neretina S.S., Ogurtsov A.P. The Concepts of Political Consciousness (Concluding part).....41
Oleinik A.N. The Taxonomy of Power Relations.....103
Obolonsky A.V. Moral as Determinant of Political Behavior.....129

Social Concepts, Institutes and Symbols
Gudkov L.D. The Mass Identity and Institutional Violence.....157
Shnirelman V.A. Identity and Politics of Post-Soviet Memory.....209

Reverse Perspective
Polikarpov V.V. The Manuscript Found at Petrograd's Front.....231
Polikarpov V.V. From the Investigative Files of N.V. Nekrasov.....243

Translations & Comments
Ernst Jünger. Over the *Line*.....251
Savchuk V.V. Nihilism's Destiny in Russia.....280

Bookshelf
Chukin S.G. Reflections over V.P. Makarenko's Book.....303
Savchuk V.V. Once More About the Topicality of 'Nazi Myth'.....319

Our Authors.....337
Contents.....338

Научно-аналитическое издание

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ:

журнал метадисциплинарных исследований

2009. № 2